



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav4345.8.2

THE SLAVIC COLLECTION



Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner.

May 17, 1897.



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

СОЧИНЕНІЯ
НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

—
Повѣсти и Разказы.

II
—

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ типографіи И. Фишона.

1852.

Slav 4345.82



Gift of
W. A. Gardner.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было
въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпля-
ровъ. С.-Петербургъ 26 Іюня 1851 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

ПРОКУРОРЪ.

I.

Было время зимнее, досужее... День такой коротенькій; мигнетъ глазкомъ, да и зажмурится, словно въ шутку светло станетъ; солнца во всю зиму и въ поминъ не было; между работниками ходили слухи, будто свейскіе Нѣмцы, не чѣмъ взять, такъ того, на питерское солнышко туманъ навели. И дѣлать-то нечего: ни каналовъ копать, ни липъ и дубковъ сажать, ни невскій флотъ къ морю неволить, ни кораблей спускать, да бѣлыми крылышками убирать, ни фонтановъ подь Стрѣлинской Мызой проводить, ни домовъ строить; ничего дѣлать нельзя; просто такой гнилой досугъ, что со скуки плакать, а отъ льни спать приходится. То-то должно быть скучно батюшкѣ Петру Алексѣвичу!.. Какъ бы не такъ!

Государь давно уже за бумагами сидить; читаетъ, да надписываетъ резолюціи, а Александръ Ивановичъ у стола стоитъ: передъ нимъ корзина съ пакетами; знать почта. Онъ то все бумаги иешлущить; на полу гора обвертышей, передъ Государемъ другая разныхъ писаній; Александръ Ивановичъ знай только подкладываетъ. Государь на окно глянулъ, потомъ на часы; стрѣлка, ро-

стомъ чуть не съ якорь, IV показываетъ. Да и у Александра Ивановича въ исподнемъ карманъ куранты жалованой луковицы четыре проиграли. — «Далеко еще до свѣта...» сказалъ Петръ Алексѣевичъ, и пошелъ опять писать да читать. Прошелъ еще добрый часъ. Государь всталъ и снимая шлафоръ, сказалъ въ полголоса: «Ухъ, уморился!

На немъ осталась канифасная фуфайка съ костяными пуговками... Скоро и работа кончилась. Румянцевъ загрузилъ обвертышами ту же корзину, понесъ въ лакейскую мазанку, и бросивъ на полъ, сказалъ: «Вотъ вамъ затапливать печи, обувать свѣчи...» и воротился въ домикъ Государевъ. Государь на всѣхъ бумагахъ письменныя отмытки подблалъ, только двѣ отложилъ. Когда Александръ Ивановичъ воротился, Государь пересматривалъ отложенныя бумаги съ особеннымъ вниманіемъ.

— «Что ты будешь дѣлать?» сказалъ Государь съ приметною досадою: «Право, надоли! Видно, Чернышевъ съ Крейцомъ въ адмиралтецъ-коллегіи ужиться не могутъ; обоихъ вонъ нельзя; люди на мѣсть и дѣло смыслятъ; одного вонъ, другой зачванится. Ахъ ты, Господи! Бѣда, право, доносъ за доносомъ, и объясняются безъ обиняковъ, такъ, даже не прилично! И всегда у нихъ размолвка оттого, что оба на одну и ту же вещь съ разнаго бока смотрятъ. Будь у нихъ умный и толковый прокуроръ — и все бы пошло на ладъ. Не знаешь-ли ты, Александро, на это мѣсто человека честнаго и способнаго?..»

— «Гмъ! Честнаго и способнаго?» отвечалъ

Александръ Ивановичъ Румянцевъ, денщикъ Государевъ: «Способность и честность, Государь, не сворная пара; коли одна лоядка ретивая, такъ другая пристаесть. — Есть у меня одинъ на примѣть, — куда способенъ, а безъ батога честнымъ не будетъ. Развѣ изволишь, Государь, впередъ его порядкомъ наугать.»

— «Нѣтъ, Александро, изъ-подъ страха плохая честность. Нѣтъ-ли кого, другаго? Или придется самому искать?»

— «Самому, самому! У тебя, Государь, на это дѣло больше моего смѣтки. Иной разъ, право, такой вздоръ на мысль приходитъ.»

Александръ Ивановичъ улыбнулся, и поспѣшилъ принять важный видъ...

— «А что такое?..»

— «Да такъ! Иногда, грѣхъ вымолвить, подумаешь, не то чтобы колдовство, а такъ, маленько не чисто.»

— «Какъ не чисто?..»

— «Да иной разъ глядишь: моржъ морской; ну, хамъ хамомъ... Глядишь, годъ, другой пройдетъ, чудо — не служивый, какъ будто и родился на то мѣсто, куда ты его, Государь, поставилъ... Оно, скажешь, случай! Какой тутъ случай! Отчего-же я, что ни найму истопника, — или воръ или пьяница! Вотъ намѣдни, Чухонца надо было нанять, съ кунткмеры соръ вывозить; такого добренькаго нашелъ; гляжу, а онъ мнѣ изъ-подъ дождеваго стока и кадку со двора вывезъ. На Охтѣ ужъ догналъ! Поди, случай!»

Государь уже не слушалъ Александра Ивановича, разсматривая другую бумагу. Прочитавъ два раза сряду, Петръ Алексѣевичъ подалъ ее Румянцеву.

— «Прочти!» сказалъ Государь: «Что-бы это могло значить?»

— «Ума не приложу!» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ: «Должно быть, ты, Государь, наскоро его воеводой назначилъ; не довольно поразсмотришь.»

— «Да гдѣ-же всякаго, словно въ школь, экзаминовать! Только это право странно: на Олонцъ дѣль не мало, а у воеводы третій годъ въ канцеляріи нѣтъ чиновниковъ. Что пошлютъ изъ коллегіи въ Олоонецъ нужныхъ людей, — мѣсяць, два пройдетъ, по рапортамъ гляжу: всѣ выбыли или перемѣстились... И это уже въ третій разъ!»

— «Въ третій разъ всѣ чиновники изъ воеводской канцеляріи въ отставку пошли!» воскликнулъ Александръ Ивановичъ, всплеснувъ руками: «Вотъ долженъ быть пила, сварливый хрычъ, брюзга, ябедникъ, или что нибудь и того хуже...»

Государь примѣтно измѣнился въ лицѣ, и сказалъ угрюмо: «Не гадай дурнаго, Александръ, а то я себя не прощу, что три года злу росту позволимъ. Лошадей! Одѣваться!...»

— «Куда ты это, Государь?»

— «Въ Олоонецъ!»

— «Сей часъ?»

— «Сию минуту!»

II.

На самомъ концѣ мыса, образуемаго соединеніемъ рѣки Олонки съ Мерегою, въ многолюднѣйшей части города, стояла Богоявленская Олонецкая Ярмарка, уже дней пять. Купцы жаловались на морозы и на покупателей; не только сушеная рѣпа, главный продуктъ Олонецкаго Уззда, даже чернобурья лисицы не шли съ рукъ. Многіе заключили, что должно быть войнѣ, и собирались въ обратный путь. Не знали только докладно, съ кѣмъ будетъ война: съ Султаномъ ли Турскимъ или съ Свейскимъ покойнымъ Королемъ, потому что Карлъ XII былъ въ Турціи, и во всей Россіи назывался покойнымъ. Полтавскую побѣду считали его смертію. Уже было часовъ одиннадцать утра, а купцы и на сто рублей не наторговали. Съ горя почти все отправились сводить барыни въ Заведеніе... Тогда еще роскошь не подточила патриархальныхъ нравовъ жителей Олонца: все заведеніе заключалось въ одной широкой избѣ. Въ углу стоялъ столъ съ чашками и чарками; на тарелкахъ и дощечкахъ лежало множество разстегаевъ съ соленою рыбою, и между ними три бутылки, больше ради украшенія, потому, что посятители заведенія болѣе вридерживались штофнаго, нежели бутылочнаго. За столомъ, въ самомъ углу избы, была печь на нѣмецкій манеръ: съ исподу тѣнлаась, а на верху стояли кастрюли съ олонецкой рѣпой и разными рыбами. Заведеніе въ одно мгновеніе наполнялось купечествомъ, которое расположилось вокругъ стѣнъ на прилавкахъ. Буфетчикъ и половой были

въ ужасныхъ хлопотахъ, тѣмъ болѣе, что дурной торгъ Богоявленской Ярмарки дѣлалъ поствителей и взыскательными, и сварливыми. Хозяинъ, замѣтивъ съ чердачка, что гости съ площади повалили въ заведеніе, сошелъ внизъ, и появленіемъ своимъ разогналъ тучи неудовольствія и досады. «Семень Пафнутычъ, Семень Пафнутычъ!» кричали гости со всѣхъ сторонъ, отздоровивались и разсѣлись. Только и осталось два пустыхъ мѣста у окна, и то потому, что больно дуло изъ-за отклеившейся сахарной бумаги, замѣнявшей разбитое стекло. Вошелъ городской мѣщанинъ Рѣпкинъ, помолился на иконы, молча поклонился хозяевамъ, и сѣлъ подъ окно. Нечего дѣлать. Только и оставалось мѣста. Обтягивая поясъ, онъ съ досадою посмотрѣлъ на гостей и хозяина, и отплюнулся. — «Тѣфу ты, брюква гнилая!» сказалъ онъ въ полголоса: «Знаемъ мы, братъ, твою рѣпу; у Савельевны откупилъ по поламъ съ гнилою, а продалъ три четверика сегодня; а у меня, поди, вся рѣпа на подборъ; просто сласть, не плодъ: вмѣсто сахара чаемъ прихлебывай, и здоровая вся, ни червинки, а поди, одной штуки не продалъ, окаанный ты барышникъ!»

Романъ Иванычъ Рѣпкинъ погружился въ размышленіе. Вошелъ Иванъ Романычъ Брюквинъ, и помолясь на иконы и поклонясь хозяину, отправился было мѣста искать. Негдѣ присѣсть. Подъ окномъ Романъ Иванычъ сидитъ. Дуетъ, — не бѣда. Да Романъ Иванычъ врагъ; также на ярмаркѣ рѣпу продаетъ; по его милости Иванъ

Романычъ сегодня три четверика въ убытокъ продалъ, лишь бы торгъ отбить. Ръпкинь, видя, что кто то къ окну подходитъ, поглядѣлъ на Брюквина, и усмѣхнулся такъ злобно, такъ презрительно, что Иванъ Романычъ не вытерпѣлъ, поослабилъ поясъ, пріосамился и сълъ возлъ подъ окномъ. Сосѣди отвернулись другъ отъ друга.

— «Постой же!» подумалъ Романъ Иванычъ Ръпкинь: «Пафнутычъ, Семень Пафнутычъ!» сказалъ онъ громко: «Нельзя-ли полынной поднести!»

— «Не важничай!» подумалъ Иванъ Романычъ Брюквинъ: «Эй, Семень Пафнутычъ, прикажи-ко настойки! И на зубокъ чего нибудь...»

Поднесли обоимъ на одной жестянкѣ; чарки были перемѣшаны; оба схватили, и залпомъ выпили каждый не по своему заказу...

— «Тьфу ты!» сказалъ Ръпкинь: «Чужое пьеть!»

— «Настойка-то видно лучше полынной...» замѣтилъ Брюквинъ..

— «Постой, постой!» подумалъ Ръпкинь, и сказалъ громко: «Теперь бы, Семень Пафнутычъ, попробовать Изосимовскихъ пискарей!»

— «А мнѣ бы, прибавилъ Брюквинъ, мегрежской шуки отъ хвоста, да съ хрянкомъ. Раззорюсь, была не была, а ужъ не уступлю.»

Половой поставилъ столъ передъ сосѣдями, и подалъ рыбу.

— «Что это у тебя...» спросилъ Ръпкинь: «одинъ столъ на всю компанію?..»

Половой былъ малый проворный, шутникъ и

дерзкій такой; даже купцамъ, что пушнымъ товаромъ торгуютъ, и тѣмъ свуску не давалъ.

— «Кушайте, господа, на здоровье! Вонъ, Лука Алексѣичъ, не рьпой, а мѣдью всякою торгуетъ, а тоже за однимъ столомъ съ другими ѣсть; на всякаго не припасешь.»

Не дожидаясь возраженій, половой отшелъ.

— «Постой, постой!» думалъ Романъ Ивановичъ, убирая пискарей: «Эй, Пафнутычъ, Семень Пафнутычъ, того, сладкой...»

— «Тминной?» спросилъ хозяинъ.

— «Всякой!» отвѣчалъ Рьпкинь и улыбнулся.

— «Я тебѣ носъ утру!» почти ворчалъ Брюквинъ: «Раззорюсь, въ пухъ раззорюсь, а ужь не уступлю!» и закричалъ: »Пива!»

— «Съ церемоніей?» спросилъ хозяинъ.

— «Съ церемоніей!» грубо отвѣчалъ Брюквинъ. Половой поднесъ на тарелжъ бутылку пива съ двумя стаканами... Въ то же время Рьпкинь закричалъ: «Вина съ церемоніей!» Половой ослабилъ и отвѣчалъ:

— «Ужъ спрашивали бы, что знаете; а гдѣ это вино подаютъ съ церемоніей? Вино не рьна.»

— «Зачѣмъ два стакана?» спросилъ гнѣвно Брюквинъ.

— «Затѣмъ, что безъ тарелки и безъ двухъ стакановъ церемоніи не бываетъ. Не изъ одного же стакана оба будете пить; а вино пьютъ рюмками, такъ церемоніи не нужно.»

Сосѣди замолчали, и спокойно допили каждый свой пай, покашливая, поглаживая себя по брюху, и

похваливая напитки. Только и слышно было: «Бархатъ, не пиво!» — «Важное вино, чай заморское!»

— «Что-жъ онъ не встаетъ?» подумалъ почти въ слухъ Иванъ Романычъ: «Опять важничаетъ! Я первый не встану.»

— «А небось я встану!» отвѣчалъ также про себя громко Романъ Ивановичъ. — Оба прислонились къ стѣнкѣ, и упорствуя въ забавномъ соперничествѣ, вздремнули. Купцы, закусивъ и обогрѣвшись, разбрелись къ своимъ товарамъ; въ избѣ остались только два соперника, продавцы олопецкой рѣпы; они уже спали на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ; только у Романа Ивановича голова перевалилась на сторону сосѣда, такъ, что носъ пришелся прямо противу разбитаго стекла. Половой съ буфетчикомъ вышли на площадь, и глядѣли съ глупымъ любопытствомъ, какъ подѣ церковью Рождества Богородицы ярмарка раскипалась.

— «Теперь-то самый торгъ идетъ, а наши-то спятъ! Какъ бы ихъ выжить, Ефимъ; можно бы и самимъ на ярмарку сбѣгать.»

— «А что въ самомъ дѣлѣ!» отвѣчалъ половой, поглядѣвъ на окно, и усмѣхнулся...

— «Чего?» спросилъ буфетчикъ...

— «Да ужъ была не была!» сказалъ Ефимъ рывительно, далъ щелчка въ носъ Роману Ивановичу, и присѣлъ подѣ окномъ.

Сколько упрековъ потерпѣлъ бѣдный Корнель за легкій ударъ по носу перчаткой, въ Сидѣ; и это всегда на позорищѣ дѣлается такъ деликатно; актеръ размахнется, а другой подставитъ руку; звонъ,

будто въ самомъ дѣлѣ крупно обошлись, а ни боли, ни безчестья; что же скажутъ Гг. читатели про моего Ефима, а еще пуще про Рѣпкина? Романъ Иванычъ вскочилъ отъ щелчка, слезы на глазахъ выступили; оглянулся: во всей избѣ кромѣ спящаго Ивана Романыча ни живой души; и боль и досада помутили разумъ Рѣпкина, и соперникъ его пропустилъ отъ сильныхъ и хлестскихъ поздравленій Романа Иваныча. Иванъ Романычъ, ничего не понимая, вцѣпился въ волоса Роману Иванычу; пошли въ потасовку, и вскорѣ вся ярмарка наполнила избу и окружила заведеніе. Съ трудомъ развели бойцовъ; откуда имъ возмись, явились подъячіе; горожане раздѣлились на двѣ партіи; стали писать челобитныя, и вся ярмарка отправилась въ воеводскую канцелярію.

III.

Рано поутру того-же дня, Олонецкій Воевода пришелъ въ узаконенный часъ въ воеводскую канцелярію. Сторожъ, Архипъ, зналъ воеводскую походку, и всегда отворялъ дверь въ самое то мгновеніе, когда Иванъ Михайловичъ протягивалъ ногу, чтобы толкнуть половинку, которую во всегдашней шлотности съ другой половинкой содержали два кирпича, привязанные къ веревкѣ съ блокомъ. Три года сряду Иванъ Михайловичъ каждый день говорилъ въ эту минуту: «Здравствуй, Архипъ!» и получалъ въ отвѣтъ: «Здравія желаю, ваше высочествоблагородіе...» — «Что, никого не было?» —

«Никого!» Съ этимъ словомъ Архипъ принималъ воеводскую трость и шляпу, въшалъ на деревянные точеные гвозди; потомъ принималъ и туда же въшалъ шубу; между тѣмъ Иванъ Михайловичъ садился на большой ларь, и протягивалъ объ ноги... Архипъ снималъ съ нихъ длинные сапоги на волчьемъ мѣху, и ставилъ къ печкѣ, а за симъ уже Иванъ Михайловичъ отправлялся въ присутствіе. Воевода садился на свое мѣсто; прочія оставались незанятыми, потому что во всей канцеляріи не было ни одного чиновника; вынималъ очки, протираалъ ихъ большимъ цветнымъ платкомъ, и принимался читать бумаги; но какъ на столѣ таковыхъ не оказывалось, то Иванъ Михайловичъ очки снималъ, платокъ пряталъ, и около получаса сидѣлъ въ размышленіи, изрѣдка поглядывая въ окно.

— «Архипъ! Поди сюда!» кликнулъ Иванъ Михайловичъ, и отставной бомбардиръ, на деревянной ногѣ, явился къ услугамъ своего повелителя. Архипъ носилъ свой старый артиллерійскій мундиръ; былъ крикъ на одинъ глазъ; сапоги и волосы всегда были смазаны свѣчнымъ саломъ; однимъ словомъ, Архипа можно было почестъ образцемъ чистоты и опрятности...

— «Ну, таѣ что?» спросилъ Иванъ Михайловичъ.

— «Не можемъ знать! Какъ прикажете!»

— «Ярмарка идетъ плохо?»

— «Говорять.»

— «Да, говорить.»

За симъ послѣдовало продолжительное молчаніе.

— «А что, Архипъ, былъ ты въ воскресенье у объѣдн?...»

— «И у заутрени былъ.»

— «Ходи, ходи, Архипъ! Богу молиться надо...»

— «Христіанское дѣло, ваше высокоблагородіе...»

— «То-то же...»

Молчаніе второе.

— «Ну, а не прочитаетъ ли тебѣ, Архипъ, о Кончезерскихъ Минеральныхъ Водахъ, что у насъ въ уездъ? Самъ Государь изволилъ пользоваться ими, и приказалъ тѣ воды описать и напечатать книгой, для всеобщей извѣстности. Вѣдь это нашему уезду по всему государству честь. Не такъ-ли!»

— «Какъ же не честь!»

— «Такъ не прочитаетъ ли тебѣ, Архипъ; а?»

— «Не извольте, ваше высокоблагородіе, трудиться. Я уже эти маральныя воды наизусть знаю; двадцать разъ мы читали ихъ цѣликомъ, да малыя приѣмами разъ со сто. Пускай, ваше высокоблагородіе, маленько позабудутся...»

«Экой ты какой, Архипъ! Вотъ Государь—царство къ ученю неволить, а вы такіе неблагодарные!»

— «Да воды-то я уже выучилъ; развѣ что другое ваше высокоблагородіе придумаете.»

— «Ну, хорошо, Архипъ; такъ генеральный регламентъ...»

— «Тоже знаю; да и что мнѣ; я бурмистромъ не буду.»

— «Экой ты какой, Архипъ! А погляди, что тутъ въ зеркаль написано: Не смѣй никто отговариваться незнаніемъ законовъ.»

— «Да вѣдь, ваше высокоблагородіе, помилуйте, я не отговариваюсь. У меня все по закону, и еще ни одинъ проситель съ шляпой и съ тростью въ присутствіе не входилъ...»

Молчаніе третіе.

— «Послушай, Архипъ, расскажи пожалуй, какъ это тебѣ глазъ покривило и ногу оторвало.»

— Да я вашему высокоблагородію, надо быть, уже сотню разъ объ моей причинѣ докладывалъ: оскому набило, и вамъ прискучится...»

— «Да что будешь дѣлать, Архипушка? До окончанія присутствія куда еще далеко; не играть же въ молчанку. Расскажи, расскажи, Архипушка; ты, знаешь, такъ молодецки рассказываешь, что у меня старые кости отъ страха дрожать; я не знаю, будь я за три версты тогда отъ Нарвы, умеръ бы, право умеръ. — Пушки, пожалуй, и у насъ есть въ Олонецкой крѣпости, да слава Богу, не стрѣляютъ. Ужъ не знаю какъ-то Свейскому Королю на томъ свѣтъ будетъ; и съ кѣмъ онъ не ссорился; и кого онъ не обидѣлъ; и у насъ подъ Нарвой всѣ пушки отнялъ; какъ это еще олонецкія остались...»

— «Да это сѣртъ другой, ваше высокоблагородіе.»

— «Вотъ что!.. Такъ расскажи пожалуй, какъ это было... Вы пришли было подъ Нарву, кажется, съ Государемъ...»

— «Позвольте, ужь если рассказывать, такъ не прикажете ли про тотъ случай, что тому назадъ недѣли двѣ я вамъ докладывалъ; всего то, я думаю, разъ пять ваше высокоблагородіе про него изволили слышать. .»

-- «Про пушкаря? Пожалуй, давай!..»

— «Надо быть это было давно, ваше высокоблагородіе; послѣ Нарвы будетъ съ мѣсяць, Государь въ Москву пріѣхалъ, да прямо въ Коломенское, чтобы народу не видѣть. Что тутъ бѣды! Не съ ружьемъ насъ Шведъ взялъ, а измѣной, дѣло извѣстное. Всю ночь насъ кололи, стрѣляли, въ полонъ, какъ сушеные грибы, одного къ другому вязали на веревочку. Глупое дѣло, ваше высокоблагородіе, измѣна.. Пожалуй, такъ, его взяла; да самъ-то измѣнщикъ по уни отъ стыда красенъ; и кого въ полонъ берутъ, и тотъ все таки не утерпитъ, скажетъ ворогу: чѣмъ не бось взялъ, измѣнщикъ? Право лучше въ полонъ итти, чѣмъ на такую побѣду. Какъ изволите думать, ваше высокоблагородіе?..»

— «Не знаю, любезный другъ, я военного дѣла не знаю; кажется, твоя правда. Ну, такъ Государь прямо въ Коломенское отъѣхать соизволилъ...»

— «Да ужь я вамъ говорю. Думать въ Коломенскомъ попросторнѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Въ Кремль всякое боярство; народъ на окна не наглядится; попы то и дѣло со крестами и со святою водою ходятъ; колымаги мимо оконъ такой стукъ творять, что упаси Господи; издали поду-

маешь, пушки везуть; все одно что дразнять, потому что все пушки Шведъ подь Нарвою отобралъ, и объ этомъ-то и думалъ Государь; такъ чтобы колымажки обмана не наводили, въ Коломенское увхалъ. Слякоть такая была; погода сырая, гнилая; больно къ водкѣ клонило, а пушкарь Самсонъ и въ хорошее время чарки придерживался. Самсонъ, нельзя сказать, чтобы просто пушкарь былъ; а и еще... то есть пушкарь пушкаремъ, да и пушки отливать умѣлъ. А тутъ не то, чтобы новыя отливать, и старыхъ чинить не надо; все забралъ Шведъ; ходилъ Самсонъ по Москвѣ безъ дѣла, да и набрелъ въ кумовья. Шелъ онъ по Пречистенкѣ...

— «Какой это городъ, Архипушка?» спросилъ Иванъ Михайловичъ.

— «Какой городъ! Улица на Москвѣ.»

— «Не бывалъ, не бывалъ! Ну, такъ шелъ Самсонъ по Пречистенкѣ...»

— «Шелъ и встрѣтилъ другаго пушкаря изъ Нѣмцевъ, да у него жена была Русская, сына ему родила; вотъ онъ и зоветъ въ кумовья Самсона. «Некогда,» говоритъ Самсонъ: «Завтра опять на службу; говорятъ, мѣди подвезуть...» — «А сегодня что-то будемъ дѣлать? У насъ сборы не важные; пойдемъ!..» Пошли. Вотъ дорогой-то Нѣмецъ и говоритъ: «А откуда, Самсонъ, мѣдь привезуть? Ты, видно, ничего не знаешь... Во всемъ царствѣ мѣди на подсвѣчникъ не осталось; все на пушки выдѣлали, и Король все забралъ!..» — «Что ты врешь, кумъ?» — «Какое вру! Госу-

дарь и въ Москву не хотѣлъ завѣзжать, въ Коломенскомъ, запершись, все сидитъ, да думаетъ, гдѣ бы мѣди достать... Теперь по всемъ приказамъ по Москвѣ справки наводятъ.» — «Что ты врешь, кумь! Ужъ коли Государь думаетъ, такъ зачѣмъ справки наводить...» Дошли они до дому, да сына-то и окрестили. Какъ окрестили, тутъ и пошли крестины. Чарка за чаркой. Самсонъ все только на гнилую погоду жалуется; нализался и заснулъ; хозяинъ, по нѣмецкому норову, часомъ раньше въ уголъ повалился... Стало свѣтать. Вѣрно приходилъ праздникъ какой; по всей Москвѣ какъ грянули въ колокола, Самсонъ не выдержалъ, проснулся; голова кругомъ идетъ; въ виски словно штыкомъ жарить; глаза раздуло; а колокола все пуще; звонъ такъ и стелется; словно все небо дрожить. Домъ-то кума, какъ на бѣду, подъ самой колокольной стоялъ. «Не могу!» сказалъ Самсонъ, и выбѣжалъ на улицу. Глядь на колокольную, а противъ нее другая, черезъ улицу только; и тамъ и тамъ мальчишки одни передъ другими вызваниваютъ... «Эй, вы, сорванцы!» закричалъ Самсонъ: «Чему обрадовались? Ради небось, что пушки подъ Нарвой забрали? Долой!» А мальчишки пуще, а колокола громче, а звонъ надъ головой и подъ ногами ходитъ, Самсону итти мѣшается; не знаетъ, куда ступить; будто провалъ подъ ногами... «Омутъ!» сказалъ про себя Самсонъ, и ну бѣжать, а ноги врознь... Кое-какъ проползъ въ другую улицу, а тамъ пять колоколенъ; онъ въ Кремль, а тамъ Иванъ Великій, слов-

но генераль, командуетъ. «Э!» подумаль Самсонъ: «Постойте! я же васъ уйму!» и давай улепетывать и все подъ заборами держится, видно для того, чтобы его колокола не видали... Шелъ, шелъ, и опомнился уже въ Коломенскомъ; весь трезвонъ въ голову перешель; чуть не развалится. Самсонъ прямо на царскій дворъ, и сълъ на каменной бляскъ. «Вотъ, поди, какая благодарность!» говорилъ Самсонъ: «Самъ штукъ десять колоколовъ, больше будетъ, съ молитвами отялъ. И какой звонъ, нные безъ серебра, а за серебрянные пошлн; просто малпна; я же ихъ сынками кликалъ; бывало иду мимо Николы, что на Курьихъ Ножахъ, всегда скажу: «Здравствуй, сынокъ!» А они дѣти неблагодарные, отъ мальчишекъ слышали, что я пьянъ, да и ну во весь городъ про меня рассказывать. Постойте же, пусть только Государь встанеть. .» Самсонъ говорилъ, да безъ оглядки; хуже инаго колокола глотку дралъ; въ теремъ окно растворилось, и раздакъ голосъ, знаете, ваше высокоблагородіе, Государевъ голосъ; такъ, что у Самсона сразу голова перестала болеть, за то языкъ отнялся. «Кто тамъ?» спрашиваетъ Государь. — Молчитъ. — «Отвѣчай!» — «Я» — «Кто я?» — «Извѣстно кто!» — «Да говори, кто?» — «Я, твой пушкарь, Самсонъ!» — «Мѣди нтъ!» отвѣчалъ Государь съ досадою, и захопнулъ окно... «Есть!» закричалъ Самсонъ, такъ, что безъ малаго въ Москвѣ было слышно. Какъ Государь слышалъ, что есть, такъ у него сердечко и ёкнуло... И окна не успѣлъ отворить, кричить: «Поди, Самсонъ,

поди сюда!..» Откуда ни возмись челядь надворная, и поволокла Самсона наверхъ... Государь былъ въ одномъ камзолъ; жарко было и мвди не было; лице у него было такое, словно небо у инведскаго моря; онъ все ходилъ по горенкв и воду пилъ; прохлаждался, знаете. Самсона челядь къ стѣнкѣ прислонила и отошла...

— «Ну, зачѣмъ ты пришелъ?» спросилъ Государь на половину гнѣвно, наполовину ласково. — «Я?» сказалъ Самсонъ, да со страху и позабылъ, что хотѣлъ сказать Государю; а зналъ Самсонъ, что не приведи Богъ Государю подъ гнѣвный часъ попадаться; стоитъ зажмурясь; языкомъ безъ голоса мотаеть, а голова словно сосновыя дрова такъ и растрескивается; только искры въ глаза сыплются. «Тѣфу ты, Господи!» подумалъ онъ: «Вотъ причина; знать, еще я пьянъ...» да съ разу, такъ не подумавши, и брякъ: «Прикажи Государь, чегонибудь крѣпкаго поднести; опохмѣлюсь, такъ верно припомню; не можетъ быть, чтобы я позабылъ; да крестины, Государь, все таки домовый праздникъ!» — «Подайте мастеру стаканъ пѣннаго!..» сказалъ Государь, и сталъ опять, по-прежнему, ходить по горенкв. Самсонъ выпилъ безъ приговорокъ, и началъ: «А гдѣ же, Государь, мои труды, гдѣ мои пунички, что я словно изъ хлѣба выкаталъ?» — «Шведы взяли!..» коротко отвѣчалъ Государь. «Всѣ?» — «Всѣ.» — «Такъ стало быть надо новыя лить.» — «Надо, да не изъ чего.» — Пушкаръ усмѣхнулся. — «Что, ты шутишь со мной!» прикрикнулъ Государь, и Самсонъ опять къ стѣн-

къ прислонился. «Тьфу ты, причина!» подумалъ Самсонъ: «Ай да Нѣмецъ, ай да кумъ; уподчиваль... Быть крестному—то семи пядей, о двухъ желудкахъ... Шутинь!.. Какія тутъ шутки, Государь! Ты и на мастерствѣ со мною не шутишь, такъ ужь въ своихъ хоромахъ... Только право не могу... просить стыдно.» — «Что, еще развѣ чарку?» — «Коли милость твоя, Государь... Противу доброй хмѣли—чарка опохмѣля — все равно, что чугузная пушка противу мѣдной, не во гнѣвъ будь сказано.» — «На!» сказалъ Государь: «только третьей не проси.» — «Самъ дашь, Государь!» отвѣчалъ Самсонъ, выпилъ и совсѣмъ отрезвился... Пріосамясь, Самсонъ выступилъ впередъ, поклонился и сказалъ: «Государь! У тебя пушки ни одной, а на Москвѣ колоколовъ черезъ чуръ много; по одному только съ колокольни долой, двадцать пушекъ будетъ, а по два, гдѣ по три — артилерія, вся артилерія... Имъ все одно — и въ одинъ звонить, а плохо прійдется если, не мы, а Шведы все до одного московскіе колокола на пушки перельютъ; а вели батюшка Государь, по всему царству указомъ, такъ будущимъ лѣтомъ свейскую столицу съ мѣста сострѣлимъ. Третьей чарки не прошу, самъ поръши, стоитъ ли?» — «Стоитъ...» сказалъ Государь. По лицу было видно, что Самсоновъ толкъ Царю понравился; онъ подошелъ къ столу, налилъ третью, поставилъ на поднось, бросилъ туда же десять цѣлковиковъ, поднесъ Самсону, и сказалъ: «Спасибо, Самсонъ!» — «Не за что, Государь; это я съ сердцовъ сдѣлалъ; я го-

ворилъ колоколамъ: отплачу! Не послушались, такъ я ихъ въ некруты и отдалъ...»

Тутъ вдругъ воевода ни съ того, ни съ сего, будто осердился и сказалъ: «Смирно, Архипъ! Твоя рѣчь впереди. Ступай на мѣсто! Челобитчики идутъ.»

Не успѣлъ воевода этого вымолвить, какъ на улицъ послышались крики, блокъ на канцелярской двери завизжалъ, и вошелъ въ присутствіе Архипъ съ докладомъ: «Горожане съ просьбами.»

— «Пускай по одному...» сказала Иванъ Михайловичъ, надѣвая очки.

— «Всѣ разомъ просятъ.»

— «Да развѣ всѣ съ просьбами?»

— «Двое, а иные прочіе за свидѣтелей.»

— «Свидѣтелей на улицу; позовутъ, когда нужно.»

Вошли Романъ Ивановичъ и Иванъ Романовичъ, избитые, исцарапанные; платье также было безъ признаковъ удамой схватки; оба упали въ ноги воеводѣ, и заговорили разомъ. Нельзя было понять, о чемъ они просили, на что жаловались. Воевода молчалъ, и когда обидчики истощили все свои обвиненія и оправданія, и подавали ему на коленяхъ челобитныя, Иванъ Михайловичъ отодвинулъ ихъ рукою, и сказалъ гнѣвно:

— «Драгаться, пьянствовать! Вотъ я васъ! Архипъ, сбвгай за городничимъ.»

— «Государь воевода, помилуй!» завопили челобитчики.

— «Да миловать-то мнѣ васъ не приходится. Ну, возьму я отъ васъ просьбы; я одинъ, у меня

чиновниковъ нѣтъ; кто ихъ запишетъ, кто ихъ къ докладу приготовить, кто ихъ будетъ слушать; кто приговоръ положить? А приговоръ, — известное дѣло, — батоги.»

— «Пусть меня высъкутъ...» сказалъ Иванъ Романычъ: «только бы и Рѣпкина отодрали.»

— «Пожалуй, да вѣдь по міру пойдешь; вотъ сейчасъ вѣлю всю рѣпу подъ секвестръ, на казну...»

— «Да, рѣпа-то чѣмъ виновата?»

— «Не умничай! Законъ свое дѣло знаетъ. Домъ твой на казну...»

— «А Рѣпкина?..»

— «И его на казну!»

— «Шускай берутъ!»

— «Да ты еще рублей сорокъ приплатишь.»

— «А Рѣпкинъ?»

— «Нѣтъ, вѣдь не Рѣпкинъ, а ты искъ начинаешь.»

— «Не я, государь воевода; онъ, ей Богу, онъ...»

— Не слушай его, государь воевода, не я, а онъ; я насилу подъячаго сыскалъ, чтобы отписаться.»

— «Вотъ видишь, сорокъ рублей плати!»

— «Государь воевода! Ужъ если съ Рѣпкина ты сорока рублей взять не хочешь, такъ возьми съ меня одного, только Рѣпкина по приговору присуди...»

— «А, взятки! Въ тюрьму, въ острогъ! Тамъ и сгниешь, а Рѣпкинъ на свободѣ по міру ходить будетъ.»

— «Да вѣдь не я истецъ. Я отъ иска отрекаюсь, а онъ на ябедѣ стоитъ; у него двоюродная сестра за подьячимъ...»

— «Врешь ты, озорникъ, я отвѣтчикъ, и ни какого иска не имѣю...»

— «Полно ссориться! Мнѣ некогда; дѣлъ много. Ну, кто зачинщикъ? Подавай челобитную!..»

Никто не рвался. Воевода поглядѣлъ на нихъ съ улыбкою, и продолжалъ:

— «Ну, что за охота ссориться! Одинъ другому торгу не отобьешь; рѣпа олонецкая всегда разойдется; сушеная не испортится; день, недѣлю лишнюю пролежить, и оба будете съ барышками, а вотъ изъ глупости, вы оба, по одному заведенію, больше барышей протранжирили. И прилично ли такимъ бѣднымъ горожанамъ пиво и вино пить? Вѣдь грѣхъ! Ваше дѣло—пѣнное, и то по воскресеньямъ, да послѣ трудной работы; а вы... Нѣтъ, родимые, если не помиритесь, то и тяжбы не будетъ, а безъ батовъ не обойдется...»

— «Помилуй, государь воевода!»

— «Помиритесь, такъ помилую; да и то на кондичіяхъ, чтобы впередъ про ваши ссоры я не слыхалъ.»

— «Да я изуботычился...»

— «А я раззорился.»

— «Все таки домъ и рѣпа остались. Ну, что-жъ миритесь, или нѣтъ? Право, некогда.»

Оба молчали и поглядывали искоса, не начнетъ ли мириться противникъ. Воевода изъ подъ очковъ наблюдалъ за ихъ нѣмымъ разговоромъ, и примѣ-

тивъ, что обоихъ въ краску бросило, сказалъ торжественно:

— «Ну, нечего дѣлать, коли не хотите сами, такъ я васъ помирю.»

Полагая, что тайный смыслъ сего предложенія заключается въ батогахъ, оба вскричали разомъ:

— «Миримся, миримся, государь воевода!» и стали другъ другу кланяться.

— «Поцѣлуйтесь!» сказалъ воевода. — Поцѣловались.

— «Три раза.» — Три раза.

— «Ну, теперь въ церковь Рождества Богоматери, да отслужите молебенъ, а чтобъ не убыточиться, вотъ вамъ полтина, пошли съ Богомъ!..» Челобитчики откланялись и вышли. На улицѣ ожидали ихъ свидѣтели, и закричали въ одинъ голосъ: «Ну, чья взяла?» Челобитчики рассказали. Свидѣтели остались весьма недовольны. «Экой воевода!» ворчали тихо: «Только и знаетъ, что на миръ сводить. И поссориться въ Олонцѣ нельзя... И самъ-то въ волчьей шубѣ ходитъ, а у городничаго, поди, и у самого и у жены и у дѣтей — шубки изъ черныхъ лисицъ...» Между тѣмъ Архипъ воротился отъ городничаго.

— «Ну, что?» спросилъ воевода.

— «Его благородію нельзя быть...» отвѣчалъ Архипъ.

— «А что?»

— «Да съ купцами завтракалъ, лежитъ.»

— «Погоди же: миръ хорошъ, да не со всякимъ;

съ нимъ я поссорюсь... Погляди, Архипъ, какіе это офицеры вдутъ...»

— «Батюшки свѣты!» закричалъ радостный Архипъ: «Государь, самъ Государь!..»

— «Государь!» воскликнулъ воевода и уронилъ очки: «Пойдемъ на встрѣчу, на крыльце...» Но пока воевода собирался, Государь вошелъ уже въ присутствіе.. На лицъ Государя примѣтны были гнѣвъ и подозрѣніе; сбросивъ шубу на ларь, Онъ вошелъ въ присутствіе въ валеныхъ сапогахъ, и развертывая съ шеи родъ шали, или толстаго гаруснаго шарфа, спросилъ гнѣвно: «Гдѣ воевода?»

— «Здѣсь, Государь!» отвѣчалъ, дрожа, Иванъ Михайловичъ.

— «Одинъ?»

— «Одинъ.»

— «А гдѣ же твои чиновники?»

— «Въ отставку!»

— «Въ отставку?» почти крикнулъ Государь: «А покажи-ко дѣла!»

— «Дѣла?» запинаясь, спросилъ воевода: «Какія дѣла?»

— «Какъ какія? Тѣ, которымъ въ воеводской канцеляріи быть слѣдуетъ... Наприкладъ, челобитныя.»

— «Челобитныя?»

— «Ну, да!..»

Иванъ Михайловичъ совершенно смутился, поглядывая на Архипа, не выручить ли его изъ бѣды; подозрѣнія Государя оправдывались, гнѣвъ возрасталъ...

— «Ну, что же ты стойшь!» сказалъ Государь, топнувъ ногою: «Показывай дѣла!»

— «Ахъ ты Господи!» подумалъ Иванъ Михайловичъ: «Непоказать ли Ему старыхъ дѣлъ изъ архива, да Архипъ ключъ потерялъ, уже больше года будетъ.» Иванъ Михайловичъ совершенно разстерялся, и только хлопалъ глазами, согнувшись кольцомъ...

— «Э, старый плуть, ты отъ меня не отмолчишься...» сказалъ Государь, и собственноручно отстегнулъ кожаный клапанъ съ гвоздика, замыкавшій шкафъ. Тамъ, въ величайшей чистотѣ и опрятности, стояла запасная пара сапоговъ Архипа, его же амуниція и казенные подсвѣчники...

— «Гдѣ же твои дѣла?» еще разъ спросилъ Государь: «Говорю тебѣ, не отдѣлаешься; а я только за этимъ и въ Олонецъ прѣхалъ...»

— «Ну...» подумалъ воевода... «Кончено! Изъ бѣды не выскочишь. Видно, злые люди постарались. Нечего дѣлать! Повинюсь, авось помилуешь...» и съ этими мыслями, бухъ Государю въ ноги.

— «Ага!» сказалъ царь: «Давно бы такъ!»

— «Не буду!» завопилъ Иванъ Михайловичъ: «Не буду, только помилуй!»

— «О милости послѣ, а велика ли твоя вина? Разказывай!»

— «Все разкажу, батюшка Государь! Право не буду! Не утаю ничего, хоть въ Сибирь посылай. Не я виноватъ, а глупость моя; ужъ это стало быть отъ рожденія Богъ смѣтки не далъ, а теперь право не буду; все по законамъ пойдетъ.»

— «Да рассказывай ты мнѣ о томъ, что я спрашиваю: плутовать умѣешь, а оправдываться трусишь; ну, видно, ты еще неважный ябедникъ, не изъ самыхъ злодѣевъ...»

— «Ябедникъ!» завопилъ Иванъ Михайловичъ «Какъ хочешь казни, только ябедникомъ не называй!..»

— «Покажи дѣла, я самъ разсмотрю...»

— «Да гдѣ мнѣ дѣлъ взять, коли ихъ нѣтъ, и въ три года ни одного не было!»

— «Какъ не было!» спросилъ государь, примѣтно изумленный неожиданнымъ отвѣтомъ.

— «Были бы, Государь, грудами были бы, когда бъ Ты Самъ не указалъ по всемъ тяжбамъ, искамъ къ миру клонить; такъ я и раздумалъ: двѣ стороны во всякомъ дѣлѣ; не могутъ быть объ правы; отыскать виноватаго не трудно, когда добрая воля есть; я обоихъ и выслушаю, бумаги пересмотрю, и знаю съ кѣмъ что говорить, а челобитень до времени не беру. Виноватъ, Государь! Чиновниковъ у меня нѣтъ; такъ я прежде должность стряпчаго справляю; потомъ виноватаго напугаю, праваго умилю, да изъ присутствія обоихъ къ себѣ на домъ, пошлю за протопопомъ, да и поставлю изъ собственнаго жалованья мировую бутылочку; отъ одной рюмки такого вина, знаешь, Государь, право, всякій страхъ пройдетъ. Ты меня напугалъ только, Государь! Я съ разу не понялъ, а теперь вижу, что я дѣло дѣлалъ!»

Иванъ Михайловичъ всталъ самъ собою, выпрямился и смѣло смотрѣлъ въ глаза Государю. Память

добрыхъ дѣлъ воскресла и укрѣпила добродѣтельнаго воеводу. Государь глядѣлъ на него со слезами на очахъ.

— «Ну, воевода!» сказалъ Государь. «Помиримся? Чего хочешь, говори!»

Воевода посмотрѣлъ на часы и отвѣчалъ: «Время присутствія отошло; можно мнѣ и домой, жена къ обѣду блины готовить, а Архипъ за мировую сбѣгаетъ, такъ можетъ быть, не откажешь...»

— «Послунай, Воевода! Я самъ терпѣть не могу ссоръ и ябеды, а у меня въ адмиралитецъ-коллегіи каждый день Чернышевъ съ Крейцомъ ссорятся; теперь пойдемъ обѣдать, и выпьемъ мировую бутылочку, не за олонецкаго воеводу, я сюда другаго пришло...»

Въ это время и Государь и воевода вышли на крыльце.

«Поздравь меня, Александръ!» сказалъ Государь: «Въ адмиралитецъ-коллегію знатнаго прокурора нашелъ! Иванъ Михайловичъ, помиримъ пожалуйста Крейца съ Чернышевымъ; право, спасибо скажу. Ну, Александръ, ступай съ нами; выпьемъ за новаго прокурора, Ивана Михайловича.»

— «Какъ? что?» спросилъ Александръ Ивановичъ.

— «Пойдемъ, пойдемъ!» отвѣчалъ Государь: «За обѣдомъ все расскажу.»



АНТОНІО.

Величайшіе счастливыцы, по моему мнѣнію, скрываются въ неизвѣстности: ихъ не замѣтитъ взоръ милостивца, минуетъ почеть, забываетъ или лучше, не помнитъ потомство. Ничтожество спасло ихъ отъ благодарности, славы и исторіи, и схоронило безъ монументовъ и похвальныхъ словъ. Поступки ихъ не были подчинены самовольной контроли крикуновъ, составляющихъ отъ *ничего дѣлать*, общественное мнѣніе, какъ журналисты составляютъ моды картинками повременныхъ изданій.

Завидная участь! Но есть родъ людей страннаго порядка, не менѣе счастливый, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ потомству: это люди съ огромною, посмертною славою и безъ исторіи. Они оставили великолѣпные памятники своихъ геніальныхъ способностей, но ни одного преданія о своей жизни. Одна невьгода: жизнь такихъ людей дѣлается добычею поэтическихъ сказаній, основанныхъ большею частію на личномъ характерѣ разскащиковъ и одно другому противорѣчащихъ до того, что, на примѣръ, Антоніо Аллегри да Корреджіо, по ихъ словамъ, былъ и богатъ и бѣденъ, женатъ на двухъ женахъ и холостъ, имѣлъ мно-

гихъ дѣтей и ни одного, родился и умеръ въ разныхъ годахъ, былъ и не былъ въ Римъ, и т. д. Мало. Поезія сочинила для него ростъ, лице, глаза, характеръ, языкъ; нанесла ему множество обидъ и оскорбленій, и наконецъ уморила подъ тяжестію мѣдныхъ денегъ. Со смертію, казалось бы, все должно кончиться. Нѣтъ; поезія преслѣдовала дѣтей, и вотъ разсказъ, почти переписанный съ итальянской рукописи XVI-го столѣтія, какъ доназательство.

Не доѣзжая до Модены, можно сказать за нѣсколько шаговъ, на небольшомъ пригоркѣ стоитъ еще и донинѣ некрасивая австерія съ больною вывѣской. Дождь уничтожилъ даже слѣды красокъ, и только внизу на полиняломъ полѣ съ трудомъ можно разобрать MCCCC(D)XXIV. Не смотря на совершенное отсутствіе изображеній, хозяева австеріи, одинъ другому наследуя въ продолженіи четырехъ столѣтій, ни за какія благополучія не хотятъ смѣнить мѣдной доски, продолжаютъ называть ее *Золотымъ Роюмъ*, часто упоминаютъ о богинѣ Изобилія, а простолюднѣ, считая древность святынею, никогда не проходитъ мимо, не преклонивъ колѣна и не сотворивъ креста передъ вывѣскою *Золотая Роя*.

Но, въ 1573 году, и австерія, и вывѣска еще были въ весьма хорошемъ состояніи; Модена кипѣла жизнію; каждый день новые гости; посольства, обозы, пѣшеходы часто у австеріи ожидали утра, многіе любовались изображеніемъ «богини Изоби-

лія»; многіе приходили въ австерію нарочно для прекрасной вывѣски. Дѣйствительно, живопись не лишена была нѣкоторыхъ достоинствъ, носила характеръ новой школы, недавно распространившейся въ Сѣверной Италіи, и считалась произведеніемъ самого Корреджіо. И неудивительно, что вывѣска съ такимъ знаменитымъ именемъ привлекала толпу любопытныхъ. Прошло не болѣе сорока лѣтъ послѣ смерти божественнаго Корреджіо: въ каждомъ трактирѣ утверждали, что Корреджіо былъ постояннымъ его посѣтителемъ; вывѣски съ его именемъ умножались, какъ ручки и копы въ монастыряхъ италіанскихъ; во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ были картины Аллегри, рассказывали анекдоты о великомъ мастерѣ; противорѣчіямъ не было конца: въ Пармѣ онъ былъ богачемъ, въ Моденѣ нищимъ, въ Корреджіо домовитымъ, счастливымъ семьяниномъ. Въ австеріи Золотаго Рога ни о чемъ болѣе не говорили, какъ о знаменитомъ творцѣ вывѣски.

Утро воскреснаго дня освѣщало шумную Модену; посѣтители въ этотъ день не засиживались въ австеріи: они спѣшили въ городъ, опасаясь опоздать къ обѣднѣ. Хозяинъ, плечистый, высокій мужчина, отпустивъ всѣхъ гостей, лежалъ подъ навѣсомъ, пристроеннымъ къ австеріи, откуда путешественники могли любоваться панорамой Модены и видомъ на озеро, которое, какъ въ золотомъ ковнѣ, колыхалось въ высокихъ скалахъ. Изрѣдка приподымался онъ поглядѣть на дорогу, и угадать въ далекой пыли богатаго всадника или

поселянского мула; привычное ухо не походив узнавало бѣднаго пѣшехода, и Бартоло (хозяинъ) оставался недвижимъ. Вдругъ онъ услышалъ пѣсню, которая заставила его содрогнуться, не по содержанію, — въ пѣснѣ не было смысла, — но по странному голосу пѣвца. И такъ близко! На небольшомъ лугу, передъ самымъ навѣсомъ, гдѣ стояли скамьи и столики, и распивалось дешевое вино. Какая-то злоба въ голосѣ; дикость, грубость, и вдругъ тоска черная, неисходная въ словахъ бессмысленныхъ! Бартоло вскочилъ, и съ высокаго навѣса громовымъ голосомъ закричалъ: «Кто тамъ?» Въмѣсто отвѣта, старикъ продолжалъ пѣсню.... На сердце Бартоло стало еще страшнѣе, когда онъ увидѣлъ, за однимъ изъ столовъ, старика лѣтъ около шестидесяти, безъ шляпы; на пышивой головѣ торчало два три клока желтыхъ волосъ; весь лобъ въ крупныхъ и мелкихъ морщинахъ; уста неизмѣнно хранили злобную улыбку; глаза свѣрые, но блестящіе, бѣгали въ разныя стороны, какъ-будто вѣчно искали чего-то; одежды на немъ почти не было; какія-то лохмотья покрывали туловище; босыя ноги носили всѣ признаки далекихъ или по крайней мѣрѣ частыхъ путешествій пышкомъ и безъ обуви; нагія руки, прогорѣлыя отъ солнца, были протянуты вдоль стола и такъ же неподвижны, какъ и весь старикъ; только бѣгающіе глаза и уста, шевелившіеся отъ пѣсни, свидѣтельствовали о жизни страшнаго посвѣтителя. Бартоло долгое время не могъ произнести ни слова. Ему не въ диковину были посвѣтители

разнаго рода : онъ видѣлъ на своемъ вѣку и разбойниковъ , и военныхъ грабителей , и нищихъ-мощениковъ , и полу-умныхъ , но такой страшный старикъ никогда и не снился Бартоло. Опомнясь нѣсколько , и тихо творя молитву , сошелъ Бартоло внизъ , подвязалъ къ поясу ножъ , схватилъ дубину и вышелъ на свой лугъ съ повелительнымъ видомъ , но со смутною въ душѣ. Почти въ то же мгновеніе въ городѣ раздался въ разныхъ мѣстахъ благовѣстъ ; старикъ вскочилъ изъ-за стола , бросился на колѣни и началъ громко читать молитву ; въ словахъ молитвы было почти столько же смысла , какъ и въ пѣснь , но лице и глаза выражали искренность. Бартоло самъ невольно снялъ шляпу , преклонилъ по обычаю колѣно , обратился къ городу и сотворилъ краткую молитву. Почти въ одно время оба встали , взглянули другъ на друга и безмолвствовали. Злобная улыбка не оставляла старика , глаза бѣгали.

— «Что тебѣ нужно?» спросилъ наконецъ Бартоло.

Старикъ не отвѣчалъ , а приложилъ руку ко лбу , какъ-будто стараясь припомнить , что ему нужно ?

— «Кто ты ? откуда ? зачѣмъ ?» продолжалъ спрашивать Бартоло.

Старикъ расхохотался.

— «Кто я?» со смѣхомъ спросилъ онъ : «кто я ? кто я?» И этотъ вопросъ былъ повторенъ нѣсколько разъ , и съ каждымъ разомъ старикъ становился мрачнѣе : «Не дай Богъ вспомнить ! Только

животныя не узнають дѣтей своихъ.... а впрочемъ, она невиновата; бесплодная самка ласковве римской матроны.... Да кто же я? Пошли спросить въ ближнюю деревню у сестры моей.... Насъ было двое.... Можетъ быть, она проснулась.... Она все помнитъ.... все расскажетъ.... Нѣтъ! напрасно, не посылай: она ничего не расскажетъ.... Мы любили его....»

Во время этой рѣчи, злобная улыбка смѣнилась грустною; глаза перестали бѣгать; на лицѣ разлилось тихое пламя; старикъ вдругъ поумнѣлъ; взглянувъ на Бартоло и какъ-будто припомнивъ первый вопросъ, сказалъ тихо, почти шепотомъ: «Извини, хозяинъ! Мнѣ ничего не нужно...» и пошелъ по дорогѣ медленно, съ трудомъ передвигая дряхлыя ноги.

Бартоло, не смотря на званіе, въ которомъ рѣдко живетъ состраданіе, былъ человекъ набожный. Не накормивъ, отпустить нищаго, по справедливости, считалось тогда грѣхомъ смертельнымъ; разрѣшеніе такого грѣха дорого стоило прихожанамъ, и Бартоло успѣшилъ удержать старика, усадилъ за столъ, вынесъ бѣлый хлѣбъ, домашній сыръ и стеклянный сосудъ съ туземнымъ плохимъ виномъ. Старикъ молча пожиралъ пищу и запивалъ виномъ. Бартоло считалъ долгъ свой совершенно исполненнымъ, вошелъ въ австерію, заперъ ее изнутри, и опять улегся подъ навѣсомъ.

Далеко на дорогѣ поднималась пыль; несочныя облака, приближаясь, дѣлались больше и больше;

взтеръ дуль въ спину всадникамъ, и Бартоло, не смотря на всю зоркость и опытность глазъ, не могъ угадать ни достоинства, ни числа путешественниковъ. Уже у самой австеріи, на поворотъ, пыль пошла въ сторону, и счастливый Бартоло увидѣлъ до двадцати всадниковъ въ богатыхъ костюмахъ: нѣкоторые были вооружены съ ногъ до головы, другіе вовсе безъ оружія и безъ бороды, иные только съ поясными ножами. Безбородые тотчасъ забѣгали и засуетились; успѣли узнать имя хозяина, что у него есть, чего нѣтъ. Бартоло, съ своей стороны, успѣлъ узнать, что ѣдетъ графъ ди Кастаней изъ Пармы въ Модену съ порученіями и полномочіями отъ самого императора. Безбородые пажы успѣли овладѣть всеми комнатами австеріи и бросились на старика. Страшный видъ его могъ испугать графиню Розалію ди Кастаней, въ которую, между прочимъ, всѣ пажы были влюблены до безумія. Одинъ изъ нихъ схватилъ уже старика за руку, но старшій, изъ прекрасной фамиліи Константины, благовидный и статный юноша, маркизь Лука, остано­вилъ иналуна.

— «Не троньте, синьоръ, бѣднаго старика; онъ уйдетъ и самъ.»

— «Когда кончу мой обѣдъ...» сквозь зубы сказалъ старикъ.

— «Это невозможно!» воскликнулъ маркизь. «Графиня сейчасъ пріѣдетъ. Возьми свое вино съ собой, и окончи его гдѣ нибудь за кустомъ.»

Старикъ молчалъ. Бартоло подошелъ къ нему съ гнѣвнымъ видомъ, и сказалъ:

— «Ступай, ступай съ Богомъ! Возьми съ собою и стекло. Пригодится воды зачерпнуть на дороге».

— «Хлѣбъ съ попрекомъ хуже яда...» сказалъ старикъ, подымаясь: «Иду, потому что ты въ своемъ домѣ хозяинъ. А жаль, что отъ добраго дѣла тебя могутъ отвлечь ливрейныя мальчишки!...»

— «Ливрейныя мальчишки! ливрейныя мальчишки!» закричали пажы, и бѣдный старикъ былъ уже у воротъ низкой ограды, отдѣлявшей область австеріи отъ дороги. Въ самое то время поѣздъ графа появился у той же ограды; пажы бросились впередъ, а старикъ, измученный ихъ толчками, упалъ безъ чувствъ и загородилъ тѣломъ своимъ узкія ворота. Напрасно Бартоло старался оттащить его въ сторону. Кастаней, примѣтивъ послѣдствія шалостей своихъ пажей, первый соскочилъ съ коня, гнѣвно взглянулъ на нихъ, и благородными руками помогаль Бартоло.

«Воды!» закричалъ графъ.... Бартоло бросился въ австерію; дамы и рыцари окружили старика и старались помочь графу. Скоро очнулся старикъ, и дамы, съ крикомъ, безъ оглядки, убѣжали въ австерію отъ страшныхъ глазъ его. Припадокъ сумасшествія испугаль даже графа. Старику казалось, что ангелы изгнали его изъ дома блаженства; потомъ ему казалось, что мачиха подкупила уличныхъ мальчишковъ убить его, и онъ схватилъ огромное бревно, котораго не поднялъ бы ни одинъ изъ предстоявшихъ рыцарей, и гонялся за пажами.

Послѣ многихъ выходокъ безумія, онъ бросилъ бревно за ограду съ необыкновенною силой, упалъ передъ графомъ на колѣни и залился слезами. Кастаней не препятствовалъ слезамъ, и держалъ въ рукахъ своихъ горящую голову безумца. Когда онъ успокоился, графъ, съ помощію рыцарей, приподнялъ его, усадилъ на прежнюю скамейку и сѣлъ возлѣ. Опять то же странное, грустное спокойствіе воцарилось на лицѣ старика; опять то же упрямое молчаніе. Рыцари въ сторонѣ разспрашивали, что случилось съ нимъ; Бартоло радъ былъ поразсказать повѣсть, съ прикрасами, выхваляя свою щедрость, но графъ прервалъ его разсказъ: «Хозяинъ! Вина, и чего нибудь закусить страннику». Принесли. Старикъ посмотрѣлъ на графа ласково, улыбнулся и началъ во второй разъ обѣдать. Желая возстановить общее спокойствіе, графъ приказалъ позвать пажей и просилъ за нихъ у старика прощеніе.

— «Дѣти, дѣти!» говорилъ старикъ: «Мы сами ишалили...» и началъ смѣяться: «Да не долго; насъ умѣли унять...» и началъ плакать.

Графъ перемѣнилъ разговоръ. «Что у васъ, хозяинъ, слышно хорошаго въ Моденѣ?»

Бартоло началъ разсказывать всѣ слухи, оставленные провзжими въ его австеріи; старикъ продолжалъ ѣсть, не обращая ни малѣйшаго вниманія на его разсказъ; но когда Бартоло коснулся вывѣски Золотаго Рога, старикъ поставилъ кубокъ, взглянулъ на хозяина, на вывѣску и затрепеталъ всѣмъ тѣломъ. Всеобщее вниманіе естественно

обратилось на него. Онъ глядѣлъ на вывѣску, протянувъ къ ней коричневыя руки; слезы лились изъ глазъ, уста были открыты. Послѣ минутнаго молчанія, онъ схватилъ за руку графа и на ухо сказалъ ему: «Не вѣрьте! Эта вывѣска моя, а отецъ мой поправилъ только лѣвую руку и прошель драпировку на правомъ коленѣ. Я не хочу, чтобы плохія произведенія сына вредили заслуженной славы отца!»

Эти слова въ высочайшей степени возбудили любопытство графа.

— «Не хотите-ли отдохнуть?» спросилъ онъ старика, который, казалось, дремалъ: такъ онъ погруженъ былъ въ грустные размышленія!

Старикъ какъ-будто проснулся, всталъ, перекрестился, поклонился графу и хозяину.

— «Да, пора отдохнуть. Авось приснится что-нибудь лучше моихъ воспоминаній!.. Прощайте! Благодарю!..»

— «Куда-же?» спросилъ графъ.

— «Тамъ, у ручья, я видѣлъ прекрасную рощу...»

— «Что вы? что вы? Въ ваши лѣта! Приближается зной: вы сгорите на открытомъ воздухѣ. Пойдемте лучше со мною!»

Старикъ повиновался, и чрезъ нѣсколько минутъ спалъ на походномъ тюфякѣ графа сномъ праведника.

Когда старикъ проснулся, графъ стоялъ надъ нимъ, облокотясь обѣими руками на спинку высокога стула.

— «Каково почивали?»

— «Сладко!» отвѣчалъ старикъ: «сладко!»

— «А что случилось?»

— «Отецъ. Мы съ нимъ помирились.»

— «Но, онъ, я думаю, давно уже умеръ?»

— «Вчера!.. Я былъ на его погребеніи, на зло маичихъ. Я оттолкнулъ ея дѣтей отъ дорогой могилы, и собственными руками набросалъ землю на гробъ Антонію Аллегри. Вся Корреджіо плакала со мною. Священникъ отъ слезъ не могъ читать молитвъ. Одна она не плакала: злоба въ ней была сильнѣе печали!..»

Старикъ закрылъ лицо руками; мгновеніе, — онъ отеръ кулакомъ градъ слезъ; еще мгновеніе, — онъ сталъ веселъ, любовно смотрѣлъ на графа и опять заговорилъ:

— «Я много помню, много! Зачѣмъ я это все помню?.. Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ; я возвращался изъ школы; меня встрѣтила сестра моя, Вероника, со слезами на глазахъ.

— «Скорѣе, Лоренцо, скорѣе!» кричала она мнѣ издали: «маменька плачетъ.»

— Маменька плачетъ! Это показалось мнѣ такъ невѣроятнымъ! Кромѣ улыбки и сладкой слезы вовремя молитвы, другаго выраженія никогда не видалъ я на прекрасномъ лицѣ матери. Я бросился прямо къ ней въ спальню... О, ужасъ! Она точно плакала. Я цѣловалъ ея руки, плакалъ самъ и молилъ открыть причину слезъ. Она укачала на грудь и проговорила только одно слово: «Болитъ!»

Старикъ всталъ и повторилъ слово «болитъ»

такимъ пронзительнымъ голосомъ, что даже самъ графъ невольно вздрогнулъ, а въ дверяхъ показалась блѣдная женская головка и опять спряталась.

— «Не спина, не плечи...» кричалъ старикъ: «несутъ бремя жизни, но одна грудь, кладбище живыхъ покойниковъ, кровавыхъ тайнъ. Не отпадаютъ эти аспиды, пока не замучатъ жилицу сердца, пока не обратятъ въ пустыню ея жилища!... Четырнадцать тысячъ пять сотъ девяносто два раза я видѣлъ восхожденіе солнца съ тѣхъ поръ, какъ у моего сердца виситъ аспидъ. У меня былъ другъ — *сонъ*, измѣнилъ; была подруга — сестра, умерла; все и всѣхъ мнѣ замѣнилъ аспидъ; мы подружались; тайна стала моею жизнію... Славно! Это все одно, что деньги, что хлѣбъ... Средство существованія... Не правда-ли?»

— «Такъ! Но чѣмъ-же была больна твоя мать?»

— «Тайною, кровавою тайной; страннѣе тайны у женщинъ не бываетъ. Но я, ребенокъ; я ничего не понималъ. Я бросился къ отцу, нашелъ его въ мастерской: онъ писалъ Мадонну...» Маменька больна, маменька больна!» кричалъ я еще издали.

— «Знаю!» отвѣчалъ Антонио такъ равнодушно, что я, по невольному чувству, какъ вконанный, остановился посреди мастерской, и не могъ произнести ни слова...

— «Гдѣ ты шатаешься? Ступай работать, лентяй!» продолжалъ онъ сурово. — Вторая печальность. Обыкновенно Антонио встрѣчалъ меня

поцѣлуемъ и ласковымъ привѣтомъ. Смущенный, я не зналъ что говорить, что дѣлать; сами собой губы мои лепетали: «Но маменька... маменька...»

— «Пройдетъ, пройдетъ! Не въ первый разъ...» сказалъ Антоніо и ушелъ, хлопнувъ дверью.

«Скоро все пришло въ прежній порядокъ; ввечеру мы съ Вероникой шалили на лугу; маменька тольковала съ сосѣдкою, сидя на земляной софѣ у дома; отецъ выдѣлывалъ для насъ изъ дерева какую-то хитрую игрушку; совершенно по вчерашнему... и мы забыли о прошедшемъ. Нѣсколько дней спустя, поутру, ни свѣтъ ни заря, поднялся въ домъ шорохъ; первый проснулся я. Мимо меня мелькнула какая-то женщина... Иду въ комнату, которая раздѣляла нану спальню отъ мастерской Антоніо; за нею и самъ Антоніо, совершенно одѣтый... Такъ рано! Я вскочилъ; въ комнату, — двери заперты... Къ матери, — она поспѣшно одѣвалась. На вопросы мои она довольно покойно сказала: «Пришла натурщица.» И это меня почти успокоило.

— «Но зачѣмъ такъ рано?»

— «Видно дѣло къ спѣху.»

— «Но зачѣмъ папенька заперъ не мастерскую, а комнату съ круглымъ столомъ?»

— «Не знаю:» отвѣчала Марія, съ примѣтнымъ смущеніемъ: «Видно: такъ нужно. Иди, мой другъ, спать. Напрасно ты встаешь такъ рано. Иди, иди, Лоренцо!» Взявъ за руку, она отвела

меня въ спальню и заставляла улежаться. Пока я раздвигался, она невольно поверачивала голову къ дверямъ комнаты, прислушивалась къ малѣйшему шороху, и, уходя, коснулась тихонько замка роковой двери. Я не могъ уснуть; опять всталъ и одѣлся; пошелъ къ матери, — нигдѣ нѣтъ; я направилъ ее въ садъ. Ночь высокимъ, но открытымъ окномъ мастерской. Примѣтивъ меня, она приложила пальцы къ устамъ и я невольно замолчалъ; останавливаясь довольно далеко, я ничего не могъ слышать; но Марія выросла, стояла почти все время на цыпочкахъ; выраженіе лица ея изображало любопытное вниманіе, и въ то-же время тысяча разнообразныхъ ощущеній пробѣгали по лицу ея; какъ гонимыя бурною облака проходятъ по лицу солнца. Вдругъ Марія опрометью бросилась въ садъ; я, вѣдущій, въ столовой мы остановились, и оба ждали кого-то; голова моя поверачивалась за движеніями головы матери; изрѣдка я поглядывалъ на нее; волненіе груди было слышно; примѣтивъ, у меня также стѣснилось сердце...

— «Долго прощаются!» проговорила она, задыхаясь:.....

«Двери отворились и женщина, укутанная въ покрывало, вошла въ комнату; примѣтивъ насъ, она вздрогнула и приостановилась. Потомъ съ быстротою лани бросилась къ стекляннымъ дверямъ, на крыльце, а по лугу бѣжала уже бѣгомъ, какъ будто боясь погони. Антоніо шелъ следомъ, но примѣтивъ, что мы въ столовой, остановился. Марія, безъ словъ и безъ слезъ,

стояла передъ нимъ; но лицо ея пылало, глаза бросали ужасные взоры; Антоніо покраснѣлъ, и также не могъ выговорить ни слова; «поминись и запинаясь, онъ спросилъ наконецъ: «Что это все значить?»

Марія начала смѣяться; смѣхъ усиливался, и наконецъ совершенно овладѣлъ ея дыханіемъ; она хохотала непрерывно, держась за грудь, и упала отъ смѣха на полъ; Антоніо поспѣшилъ поднять ее, я тоже; но она была безъ чувствъ. Я началъ кричать во все горло, что маменька умерла; Антоніо приказывалъ мнѣ молчать, нѣсколько разъ ударилъ, — ничто не помогало: я продолжалъ кричать, люди сбѣгаться; скоро столовая наполнилась домашними и посторонними людьми; Марію унесли въ спальню: отецъ учтиво разогналъ созванныхъ мною гостей, а меня втащилъ въ мастерскую и заперъ.

Поплакавъ, я нѣсколько успокоился и обратилъ вниманіе на окружающіе меня предметы: мой трехножникъ лежалъ въ углу, на боку и съ работою; на его мѣсть стоялъ стулъ и подножки, а противъ него рабочій столъ и стулъ Антоніо; я поднялъ въ столъ доску, подъ ней нашелъ я портретъ женщины; онъ только-что былъ начатъ; но уже можно было видѣть, что натурщица удивительно хороша собой, а по очерченному костюму, не пещелянка. Услыхавъ шумъ шаговъ, я заперъ столъ, бросился въ кресла и притворился спящимъ. Вошелъ Антоніо, усѣлся противъ меня на стулъ, и предался размышленіямъ. Изрѣдка, съ величайшею

осторожностью, я открывалъ одинъ глазъ, закрытый пальцами, и глядѣлъ на Антонио. Вздохи твѣнились въ груди его, борьба страсти явственно выражалась на печальномъ лицѣ; инепотомъ иногда онъ говорилъ слова, которыхъ смысла не упомяну; вынулъ портретъ, поглядѣлъ, спряталъ, опять вынулъ, опять спряталъ; а я, утомленный притворнымъ сномъ, наконецъ предался дѣйствительному, и не знаю, чѣмъ окончилась бесѣда Антонио съ самимъ собою.

Какъ дымъ, промелькнули съ небольшимъ три года; прошедшее казалось, — глупымъ, темнымъ; бессмысленнымъ сномъ; Вероника была уже невѣстой; я порядочнымъ живописцемъ; замѣчательно было только одно: это перемѣна домашняго обращенія со всеми. Антонио потерялъ веселость, и простодушный въ разговорахъ, сдѣлался принужденнымъ, сварливымъ, вспыльчивымъ; спорилъ изъ пустяковъ, изъ пустяковъ сердился; когда противорѣчили, онъ доходилъ до бышенства; когда умышленно уступали, обижался и уходилъ изъ дома. Марія уже болѣе не улыбалась; печаль глубокой грусти сдѣлала ее еще прекраснѣе, небеснѣе! Антонио не могъ смотреть на нее: изрѣдка бѣглый взглядъ, какъ воръ, бросался къ ней и уходилъ безъ добычи, скрывался во глубинѣ души, — и задумчивость осыпала печальное, но прекрасное лицо Антонио. Мое положеніе было ужасно! Сердца наши потеряли родственную связь. Я видѣлъ въ немъ только учителя, только знаменитаго худож-

ника, мужа моей матери, но не отца. Я не искалъ его ласки; онъ намекомъ даже не требовалъ отъ меня сыновнихъ чувствъ, но все-таки я любилъ его; не доставало объясненія: оно, можетъ быть, возвратило-бы мнѣ отца, но именно отъ объясненія мы уклонялись оба; присутствіе мое было для него тягостно, а я, какъ нарочно, будто опасаясь чего-то новаго, страшнаго, старался быть всегда при немъ, когда онъ былъ дома. Одна Вероника была счастлива, ничего не зная, потому что я, по просьбѣ матери, скрылъ отъ нея странное событіе, о которомъ и съ матерью не говорилъ болѣе ни слова. Сердце Корреджіо, навѣ я замѣтилъ, въ семействѣ нашемъ принадлежало только одной Вероникѣ. Какъ вѣжно онъ ласкалъ ее! Какъ восхищался ея уснѣхами въ обществѣ, любвами, толпою жениховъ; осаждавшихъ домъ навѣ! Но когда Вероника, не знаю почему, съ болѣею вѣжностью ласкалась къ матери, съ дѣтскими прямодушнымиъ называла ее ангеломъ, — брови Антонио хмурились и онъ, тихо, сквозь зубы, ворча какую-то мѣсню, уходилъ иногда въ мастерскую, иногда даже изъ дома.

Въ такомъ состояніи засталъ насъ однажды какой-то пармскій художникъ, пріѣхавшій съ приглашеніемъ переселиться въ Парму.

— «Ни за что!» отвѣчалъ Корреджіо: «Я здѣсь родился, выросъ: я и умру въ моей Корреджіо; а если угодно, я могу завтра-жъ повзять въ Парму, съдѣлать что нужно, и воротиться домой на покой. Тамъ уже немало моихъ работъ; я и такъ хотѣлъ ихъ

провѣдать, да вотъ не могу собраться...» И покраснѣлъ, какъ-будто стѣны мастерской знали причину его нервынтельности. Художникъ согласился; переночевалъ у насъ; на другой день, чуть свѣтъ, оба уѣхали; я просилъ отца взять меня съ собою...

— «Посмотримъ!» отвѣчалъ онъ: «Если будетъ нужно, я приищу за тобою.»

«Но прошелъ мѣсяць, — ни слова; другой, — то-же молчаніе. Мы получали объ немъ извѣстія отъ провѣзжихъ, знали, что онъ живъ и здоровъ; не удивлялись; одна Вероника только не понимала, какъ онъ забылъ ее, и рѣшилась написать письмо. Нечего дѣлать: я усѣлся за письменный столъ моего отца; она продиктовала съ полнымъ простодушіемъ свою жалобу; я написалъ.

— «Припниши, Лоренцо, что нибудь отъ тебя и отъ маменьки!» сказала Вероника.

— «Отъ себя...» отвѣчалъ я: «не чего, а отъ маменьки...»

«Я не кончилъ что хотѣлъ сказать, сложилъ письмо, обвязалъ снуркомъ, привѣсилъ печать и пошелъ въ трактиръ, надѣясь тамъ встрѣтить кого нибудь, ѣдущаго въ Парму... На дорогъ меня остановили мулы: они медленно передвигались по пармской дорогѣ. На двухъ мулахъ тащили домашнюю рухлядь, корзинки и коробки, на третьемъ сидѣла женщина и разговаривала съ двумя всадниками.

— «Я боюсь только бури...» говорила дама.

— «О, будьте спокойны!» отвѣчалъ кавалеръ: «Небо должно покровительствовать своимъ любимицамъ...»

— «Поэзія!» сказала дама: «Если встрѣтимъ бурю, поэзія насъ не укроетъ.»

— «Такъ укроютъ австеріи, которыми уснана вся дорога до самой Пармы.»

— «Пармы!» невольно вскрикнулъ я, и дама и кавалеръ оглянулись.

«Великій Боже! То была — она!»

И старикъ опять вскочилъ съ тюфяка, на который было-услся; опять глаза запылали и забьгали; вѣчный спутникъ его безумія, злобная улыбка, исковеркала уста, и голосъ сталъ страшно силенъ и звонокъ.

«Воспоминанія!..» почти кричалъ старикъ: «зеркала безмѣрные: они ловятъ предметы; событія вопьются въ ужасное стекло: гдѣ сила, которая вырветъ ихъ оттуда? Или вы не видите ея? О, какъ прекрасны, какъ обворожительны голубые глаза! Вы ихъ видѣли на безсмертныхъ картинахъ, а я, несчастный, на маскѣ злобной фуріи!... И что ваши картины? — тлѣнь, прахъ, карриатура, насмѣшка на природу!.. Небо въ озерѣ — обманъ; Небо въ глазахъ женщины — обманъ!.. И я обманулся!»

«Это она! Первый подмалевокъ не оставлялъ сомнѣнія, что это была она. Онъ писалъ съ нея портретъ; для того нужна была тайна: можетъ

быть, она хотѣла подарить его счастливому мужу, и Антонию стоить и доверенности и чести положить на полотно черты небеснаго лица. А наша глупая ревность все испортила; и она, невинный ангелъ, невольно бросила пламя раздора въ счастливое семейство! Можетъ-ли злой умыселъ гнѣздиться подъ такимъ прекраснымъ челою?.. Я готовъ былъ упасть къ ногамъ ея и просить прощенья за все, за все! Какой-то стыдъ меня удерживалъ; я не нускалъ на глаза мои слезъ, а онъ толпились въ груди, запылавшей новымъ и непонятнымъ чувствомъ...

— «Что ему надобно?» спросила дама съ приметнымъ волненіемъ.

— «Что мнѣ надобно?..» Я покраснѣлъ, сердце забилось сильнѣе; я не могъ отвѣчать.

— «Что тебѣ надобно?» повторилъ съ презрѣніемъ кавалеръ. И я испыталъ еще одно новое чувство — *ревность*. Глаза мои бросили презрительный взглядъ на гордеца, и снова обратились къ ней, и снова упали въ землю.

— «Я сынъ Антонио Аллегри!» сказалъ я тихо, но внятно. Гляжу — она покраснѣла хуже моего. О, блаженство! Гордость обольстила меня, и я принялъ ея замѣнательство счастливимъ признакомъ въ собственную пользу.

— «Да!» повторилъ я съ большею твердостью: «Я сынъ Антонио Аллегри.»

— «Такъ что же?» спросила дама почти со страхомъ.

— «Онъ въ Пармъ, вы ѣдете туда. Возьмите письмо отъ его дочери: намъ не съ кѣмъ послать.»

— «Вотъ сумасшедшій!» закричалъ кавалеръ: «Что мы — разсыльные гонцы, что ли?»

«Дама была снисходительнѣе: стала веселѣе, смотрѣла на меня съ видимымъ удовольствіемъ, и тихо сказала кавалеру: «Перестаньте, синьоръ! Возьмите письмо!» А потомъ, обратясь ко мнѣ, съ особенною лаской сказала: «Съ удовольствіемъ исполню твою просьбу, а будешь любить меня?»

«Отъ этого страннаго, неожиданнаго вопроса Божій міръ перевернулся въ глазахъ моихъ. Я медлилъ; дама съ нѣжностью прибавила: «Что же, Лоренцо, будешь любить меня, — не теперь, а послѣ, когда нибудь, въ свое время?..»

«Она знаетъ мое имя!.. Смотритъ на меня съ нѣжностью!..»

— «О, вѣчно, вѣчно!» закричалъ я. Дама протянула руку, я облилъ эту прелестную руку поцѣлуями и слезами.

— «Прости!» сказала она тихо: «Не забывай обѣщанія!»

«Мулы тронулись, рука выскользнула изъ моихъ рукъ, и пыль насъ разлучила.

«Прибѣжавъ домой, счастливый ребенокъ, я предался воспоминаніямъ. На той же самой доскѣ, гдѣ рисовалъ портретъ ея Антоніо, я началъ карандашемъ припоминать черты прелестной женщины; недовольный, я хотѣлъ спрятать въ столъ мою неудачу и на свободѣ употребить всѣ усилія къ болѣе успѣшному ея изображенію. Подымаю

доску... о, счастье!.. нахожу тотъ же подмалевокъ; работа недалеко подвинулась. Въ тотъ же день я снялъ копию; ночь не спалъ, а со свѣтомъ я перевелъ ее на мѣдную доску, приготовленную для отца, желая увѣковѣчить образъ красоты истинно восхитительной. Я представилъ ее въ видѣ богини изобилія съ золотымъ рогомъ, изъ котораго сыпались только цвѣты — эмблемы пріятныхъ надеждъ, любовныхъ чувствъ и восторговъ. Мнѣ тогда былъ шестнадцатый годъ въ исходѣ; съ утра до ночи трудился я, и съ небольшимъ въ мѣсяцъ картина была готова. Какъ теперь помню, я окончилъ ее къ самому дню моего рожденія. Матушка была въ восхищеніи и отъ красоты моей богини, и отъ исполненія; она послала ко всемъ знакомымъ и просила прійти полюбоваться успѣхами шестнадцати-лѣтняго живописца. Между многими пришелъ и нашъ деревенскій химикъ, отецъ Лука, едипственный врачъ во всей Корреджіо. Онъ поглядѣлъ на меня съ изумленіемъ.

— «Гдѣ ты могъ ее видѣть?» спросилъ онъ, и я затрепеталъ.

— «Во снѣ...» отвѣчалъ я робко.

— «Странное сходство!»

— «Съ кѣмъ, отецъ Лука?»

— «Съ синьорою Анжеликой Валеріани, которая пріѣзжала къ намъ въ Корреджіо изъ Пармы, жила подъ этимъ именемъ болѣе года въ женскомъ монастырѣ, и когда сестры замѣтили кое-что, чего и скрыть нельзя, просили ее оставить монастырь. По долгу, я посѣщалъ Анжелику,

уговаривалъ ее переехать въ домъ обывательскій: она долго не соглашалась: наконецъ, не болѣе какъ съ мѣсяць тому, уехала въ Парму съ какимъ-то рыцаремъ...

«Я трепетаю всѣмъ тѣломъ, и къ вечеру явился ко мнѣ отецъ Лука, но уже не какъ по-оцритель и судья моего художества, а съ баннами и склянками. Горячка моя приписана была напряженному прилежанію. Усердіе матери, болѣе нежели познанія отца Луки, скоро возстановило мое здоровье. Въ продолженіе этого времени, Вероника получила отъ Антоніо письмо, исполненное и въжности и любви; матери — поклонъ и замѣчанія насчетъ хозяйской бережливости, потому что *за всѣ огромныя работы, которыя онъ долженъ исполнить въ Пармѣ, онъ получитъ самую ничтожную сумму*; мнѣ — сухія наставленія и неотходныя попеченія о матери.

«Всѣ обстоятельства смутно перемѣнились въ головѣ моей, и съ тѣхъ поръ въ жизни я не зналъ покоя, черная тоска оковала сердце; голова постоянно была какъ-будто стянута горячимъ обручемъ; часто, безъ всякой причины, въ душѣ моей всплывали странныя, звѣрскія желанія, которыхъ я черезъ минуту не могъ ни понять, ни опредѣлить. Когда я говорилъ, то оканчивалъ слезами; послѣднія мои рчи почти всегда были слезы. Между тѣмъ еще пролетѣли три четыре мѣсяца; деньги приближались къ исходу; изъ Пармы ни слова! Вероникъ сыскался женихъ, по нашему, очень хорошій. На общемъ совѣтѣ рѣшили: идти

мнѣ въ Парму и объясниться съ отцомъ по всемъ статьямъ. Такимъ образомъ исполнялось и тайное мое желаніе: отыскать Анджелику, узнать кто она, какія причины заставили ее требовать моей любви, кто сказалъ ей мое имя, и то, и другое... О, много, много вопросовъ! Каждое мгновение мелькали новые; и рано утромъ, простясь съ до-машними, я отправился пѣшкомъ въ Парму.

«Я пришелъ туда на разсвѣтъ. Городъ былъ наполненъ папскими солдатами: они уже не спали, собираясь ко дворцу Висконти. Жители отъ шума военнаго также проснулись, и спѣшили туда-же; тамъ ожидали папу, новаго завоевателя и полнаго властителя Пармы. Невольно я увлекся за толпою, и, по счастливому случаю, очутился у самой цѣпи папскихъ стрѣлковъ, не пускавшихъ народъ на довольно обширную площадь передъ дворцомъ Висконти. Я не могъ опомниться отъ удивленія: наша Корреджіо вся помѣстилась бы, казалось мнѣ, въ этотъ огромный дворецъ; широкія окна, наполненныя зрительницами въ богатѣйшихъ нарядахъ, казались мнѣ въздами въ пространныя улицы; глядя на порталъ дворца, я считалъ Храмъ Петра Римскаго сказкою, или по-крайней-мѣрѣ незначи-тельно больше пармскаго дворца. Паперть была покрыта толпою людей въ богатѣйшихъ костюмахъ, какихъ до того я видалъ только на картинахъ. Блескъ золота, серебра и оружія ослѣплялъ меня. Кардинальскіе слуги бѣгали взадъ и впередъ, и пока я не зналъ кто они, считалъ ихъ князьями, дѣтьми Эсте, Висконти, Фарнезе, которыхъ

имена повторялись такъ часто и у насъ, въ Корреджіо. Наконецъ колокольный звонъ и далекіе крики возвѣстили прибытіе святѣйшаго отца, толпа заволновалась, но я не могъ ничего видѣть, и глаза мои невольно смотрѣли на паперть, гдѣ также произошло волненіе; расчистилась улица отъ середины ступенекъ къ главнымъ дверямъ, и по красному сукну спустился со свитою кардиналъ-правитель. Гляжу, и — не вѣрю глазамъ своимъ! Въ богатомъ, шитомъ золотомъ кафтанѣ, держа въ рукахъ шляпу, спускался въ числѣ спутниковъ кардинала и Антоніо, отецъ мой. Не успѣлъ я увѣриться, во снѣ или на яву все это вижу, какъ появился рядъ тяжелыхъ всадниковъ и закрылъ паперть; проѣхалъ, — опять вижу отца, опять закрыло его огромное распятіе съ длиннымъ рядомъ новыхъ всадниковъ, и такъ было нѣсколько разъ; наконецъ, появилась толпа ослѣпительнаго богатства витязей; вокругъ меня все оглушительно загремѣло и пало на колѣни. Стрѣлокъ, видя, что я стою, пригнулъ меня, сказавъ: «Святѣйшій отецъ!» и я распростерся. Когда я всталъ, на паперти послѣдніе уходили въ широкія двери; изъ нихъ одинъ, остановясь на ступенькахъ, глядѣлъ въ окна дворца; оттуда махнули ему платкомъ, и онъ поспѣшилъ во дворецъ. Смотрю, приглядываюсь: это платокъ Анджелики, роскошно одѣтой; она продолжала смотрѣть на расходившійся народъ; кто-то подошелъ къ ней, и оба исчезли.»

Господи! въ одинъ день и — столько ощущеній! Обручъ мой горьлъ; черная тоска загово-

рила; мнѣ стало страшно, тяжело! Стрѣлки разошлись, я бросился во дворецъ, но алебарды скрестились и грубое: «нельзя!» образумило меня. —

— «Да здѣсь мой отецъ, Антонио Аллегри!»

— «Ступай, ступай съ Богомъ! Знаемъ мы васъ! Съ просьбой или съ доносомъ. Не приказано. Ступай прочь!»

— «Да я сынъ его...»

— «Уходи же, а не то...» И алебарда поднялась надъ головою моею. Нечего дѣлать! Я сошелъ, прислонился къ платану и ждалъ, пока выйдетъ Антонио.»

Черезъ нѣсколько секундъ изъ дворца посыпались нарядныя дамы и кавалеры. — Теперь я ее увижу, подумалъ я, пойду създомъ, и все объяснится. — Но, къ моему огорченію, я видѣлъ каждого и каждую; Антонио и Анджелики я не видалъ. Двери дворца съ визгомъ закрылись; алебардщики ушли въ малыя боковыя двери, изъ которыхъ по-временамъ выходили кардинальскіе слуги и, стоя на паперти, тихо разговаривали; я рѣшился подойти къ нимъ, объяснилъ кого мнѣ нужно видѣть, и къ удивленію узналъ, что Корреджіо живетъ за городомъ, у сестры, и давно уже туда уѣхалъ, вмѣстѣ съ нею, на кардинальскихъ лошадахъ.

— «У какой сестры?» запинаясь, спросилъ я.

— «У вдовы Анджелики Валеріани...»

Холодный потъ пробѣжалъ по лицу моему, руки и ноги окостенѣли; я присвѣлъ на ступенькахъ.

— «Что съ вами?» спросилъ кардинальскій слуга.»

— «Ничего. Усталъ. Я пришелъ пѣшкомъ изъ Корреджіо. Но скажите мнѣ подробно, гдѣ живетъ Антонію?»

Мнѣ рассказали, и я съ трудомъ потащился, сквозь слезы разспрашивая о дорогѣ у проходящихъ. Обручъ горькъ, черная тоска обливала сердце... Иду мимо собора. Испуганный его великолѣпьемъ, я невольно остановился передъ величественнымъ зданіемъ. Какъ будто ангелъ Господень облегчилъ мою голову и влилъ каплю небесной сладости въ горечь, наполнявшую мое сердце! Невольно переступилъ я порогъ соборный; омочилъ пальцы въ святой водѣ, и положилъ на себя знаменье св. креста... Еще стало легче. Увидавъ алтарь и распятіе Спасителя нашего, я распростерся на холодномъ помостѣ и съ молитвою, казалось, уходилъ двойной недугъ мой. Возрожденный благодатию, я не хотѣлъ разстаться съ храмомъ; усьоя на первой скамьѣ, и обратилъ взоры мои на огромную фреску, изображавшую взятіе на небо Божіей Матери. Глаза мои разбѣжались. Еще новая благодать! Во мнѣ проснулось чувство художника, совершенно оставившее меня со времени послѣдней болѣзни; я не могъ надивиться превосходному письму, сладости колорита, граціи положенія лицъ. «Это Антонію!» невольно сказалъ я: «Никто другой не можетъ...» И въ то же время я началъ всматриваться въ ликъ Мадонны; въ чертахъ ея узналъ я Анджелику, и съ ужасомъ брѣ-

сился изъ храма. Въ страданіи мои возобновились; иду, разспрашиваю, бѣгу... Вотъ мостъ черезъ Парму... вотъ садикъ... первый ворота... красный домъ... пріятный навѣсъ... стеклянная дверь... богато убранная комната... на скамьяхъ разбросаны золотой кафтанъ и шляпа, тѣ самыя, въ которыхъ я видѣлъ его на паперти... Гдѣ же онъ?.. Отворяю другую дверь, — никого; третію, — великій Боже! Антонио; онъ сидитъ и пишетъ картину; остановясь на минуту, онъ обратился къ Анджеликѣ, и, съ чувствомъ глядя на ея ангельское лице, взорами, казалось, спрашивалъ: хорошо ли? Она, положивъ чернокудрую голову на плечо Антонио, отвѣчала нѣжнымъ поцѣлуемъ; оба невольно взглянули на плетеную колыбель: тамъ лежалъ сияющій младенецъ... Боже! то былъ...»

И старикъ замолчалъ.

«Я не зналъ...» опять началъ старикъ, послѣ минутнаго молчанія: «что мнѣ дѣлать: идти ли впередъ, или возвратиться въ Корреджію? Мнѣ уличать отца! И въ чемъ? Вліяніе нравовъ Александра Борджіи и Медичи отразилось уже и въ Верхней Италіи, а грѣхъ считался молодечествомъ. Я убилъ бы мать извѣстіемъ о страшномъ открытіи, а люди смѣялись бы, — не надъ нимъ, а надъ нами. Въ раздумьѣ, я возвратился въ первую комнату безъ шума, упалъ на скамью и горько плакалъ. Мимо меня прошла какая-то женщина, свиданіе приближалось, и Антонио не замедлялъ вый-

ти—неосторожный!—вмѣстѣ съ Анжеликою, держась за руки...

— «Лоренцо!» закричалъ онъ въ испугъ.

— «Батюшка!..» И я бросился на грудь его, заливаясь слезами. Онъ обнялъ меня горячо, но потомъ отвелъ мою голову, и, съ выраженіемъ непритворной тоски, спросилъ :

— «Изъ любви-ли, несчастный сынъ, или изъ мести преслѣдуешь ты меня такъ хитро, такъ лукаво?» И не ожидая отвѣта, продолжалъ: «Такъ знай-же : она точно моя сестра, моя родная сестра, а твоя тетка!»

«Недовѣрчивость, радость, сомнѣніе, надежда, все это вдругъ поднялось въ душѣ моей.

— «Горе тебѣ...» продолжалъ Антонио : «если въ Корреджіо кто нибудь узнаетъ, что она сестра моя! Это моя тайна. Пусть лучше подумаютъ Богъ знаетъ что, но наше родство можетъ погубить насъ всѣхъ.»

«Эти слова меня убѣдили. Я кричалъ отъ радости, бросился обнимать тетку, отца, опять тетку, и лишился чувствъ въ ея объятіяхъ. Когда я очнулся, у скамьи, на которой лежалъ я, стояли и отецъ и тетка, на рукахъ ея игралъ прелестный ребенокъ : ему было не болѣе шести мѣсяцовъ ; Анжелика ласкала его, но Помпоніо не понималъ еще ничего ; отецъ также непрерывно ласкалъ его ; къ нимъ присталъ и я. Антонио нѣсколько разъ говорилъ : «Помпоніо, поцѣлуй братца!» но братецъ отворачивался, и тѣмъ въ отцѣ моемъ возбуждалъ примѣтную досаду. Между тѣмъ,

совершенно успокоенный, счастливый, я объяснил отцу причину моего прихода... Первая статья: *дома нѣтъ денегъ*, была принята страннымъ образомъ.

— «А я писалъ...» говорилъ Антонио: «чтобы сохранять возможную бережливость... Монахи не платятъ... У меня ровно нѣтъ ничего...»

«При этихъ словахъ я невольно осмотрѣлся.

— «Все, что ты видишь...» продолжалъ онъ, замѣтивъ мое движеніе: «принадлежитъ сестрѣ моей; по ея милости, у меня есть насущный кусокъ хлѣба, и я могу работать для славы, ни въ чемъ не нуждаясь... Ты не можешь понять, какою благодарностью обязанъ я Анджеликѣ!.. О, безъ нея...» И онъ обнялъ сестру такъ нѣжно и съ такимъ пламеннымъ поцѣлуемъ, что она невольно покраснѣла.

«Вторая статья: *замужество Вероники*. На это не послѣдовало согласія; хотя онъ звалъ жениха съ отличной стороны, но изъ любви къ сестрѣ моей, ему жаль было или разстаться съ нею, или онъ имѣлъ другую причину: догадаться не было возможности.

«Третья статья: *немедленное возвращеніе мое въ Корреджію*, была отвергнута единогласно и отцемъ, и Анджеликой, которая, въ первый разъ въ семейномъ совѣтѣ нашемъ, подала голосъ. Тамъ и кончилась наша бесѣда о дѣлахъ; начали говорить о Пармѣ и художествѣ. Отецъ изъявлялъ примѣтное удовольствіе, слушая мои раз-

сужденія; тетунка не сводила съ меня глазъ, и восхищалась вслухъ моею разсудительностію.

«Между тѣмъ подали къ столу; мы вошли въ богатую, хотя и небольшую залу, открытую на свѣрь, безъ оконъ; арки вели подъ навѣсъ, обставленный роскошнѣйшими цвѣтами. Столъ былъ уставленъ серебряными блюдами со вкусными яствами, а въ большомъ глиняномъ сосудѣ отстоявалось «Vino Santo,» лучшее произведеніе пармской земли. Слуги всѣ были одѣты въ кардинальскую ливрею; на двухъ мраморныхъ подставкахъ у стѣны стояли двѣ мраморныя же статуи: одна, въ локоть величиною, изображала Вулкана, а другая, въ полный человѣческій рѣстъ, закутанную женщину. Мнѣ показалось весьма страннымъ, что такія запачканныя, бурья фигуры могли служить украшеніемъ опрятной и прекрасно расположенной залы.

— «Зачѣмъ вы не велите вычистить этихъ уродовъ?» оказалъ я съ полнымъ простодушіемъ.

«Отецъ улыбнулся и отвѣчалъ: «Эти два урода — дороже всѣхъ моихъ картинъ. Это антики...»

— «Антики!» съ благоговѣніемъ произнесъ я, и боязливо къ нимъ приблизился. Отецъ былъ не правъ, хотя двѣ замарашки были истинно прекрасны.

— «А вотъ третій антикъ...» сказалъ Антонио, указывая на вазу съ виномъ: «но антикъ моего произведенія; я самъ вылѣпилъ и выжегъ его по рисункамъ, присланнымъ мнѣ изъ Рима. Завидую, крѣпко завидую покойному Рафаэлю. Сколько образцевъ было у него! На его глазахъ сколько

открыто превосходныхъ произведеній древности: онъ видѣлъ, изучилъ флорентійскія собранія; въ термахъ Діоклетіана безъдопаль съ искусствомъ роскошныхъ Римлянъ; на улицахъ Рима встрѣчалъ колоссы, подаренные древностью на память потомкамъ... А какіе заказы!.. И гдѣ? въ Римъ! Тамъ ничего не пропадетъ! святость града Апостола Петра защититъ его произведенія отъ преждевременнаго разрушенія... А я?.. Можетъ быть, я побѣдилъ Мантенью, Бегарелли, Маццуоли; но что же? Труды мои въ такихъ городахъ, гдѣ не проходитъ дня безъ битвы, и гдѣ хозяева мѣняются, какъ погода на Альпахъ! Того и гляди, что варваръ Французъ или варваръ Нѣмецъ обокрадетъ церкви, гдѣ висятъ мои произведенія, и продастъ ихъ за полцѣны еретикамъ на посмѣянье... Случалось, хотя и не со мной... Не жалуясь; но зачѣмъ такъ безбожно льстить, ставить меня на одну доску съ Рафаэлемъ, тогда, какъ и въ искусствѣ, и въ жизни мы такъ неравны счастьемъ!

— «Ежели антики служили образцами Рафаэлю, то тѣмъ болѣе чести вамъ, что вы, безъ ихъ помощи, умѣли поставить себя на первую ступень.»

— «Именно!» сказала Анджелика, глядя на меня съ такою улыбкой, отъ которой я мгновенно поглупѣлъ и смѣялся.

«Антоніо продолжалъ спорить, но безъ горячности, какъ въ Корреджіо. Замѣтно было изъ словъ и выраженія лица, что онъ считалъ себя соперникомъ Рафаэля, но побѣжденнымъ, и все преимущество противника приписывалъ возможно-

сти Санціо изучить антики. Мы встали. Меня уверили, что мнѣ нуженъ отдыхъ, и помѣстили въ небольшой, но со вкусомъ убранной комнатѣ. На коврахъ набросаны были подушки, и я заснулъ сномъ сладкимъ. Проснулся. Уже было темно; но томный свѣтъ проливался по комнатѣ изъ растворенныхъ дверей; кто-то пересталъ пѣть; эхострунъ арфы замирало въ воздухъ. Выхожу. Въ залѣ горятъ четыре вызолоченныя лючерны; подъ навѣсомъ опять тихо заговорили струны; подхожу Анджелика одна; арфа только-что облокотилась на прекрасное плечо; пальцы медленно извлекали звуки. Луна полная, блестящая, купалась въ быстрой Пармѣ. Самъ не знаю, отъ чего на меня повѣяло небомъ, и вдругъ сдѣлалось тяжело, какъ будто печальное предчувствіе коснулось сердца.

«Анджелика примѣтно обрадовалась моему приходу, засуетилась; но мнѣ ничего не было нужно: я жаждалъ ея бѣсѣды глазъ на глазъ; и желалъ не вѣрить нашему родству, гонялъ эту мысль изъ вѣрной памяти; готовъ былъ плакать, — словомъ: *я любилъ*... Сидя возлѣ нея, безумецъ, я не сводилъ глазъ съ очаровательной женщины. Разговоръ сдѣлался скоро полонъ страсти, искренности, дружбы; намеки сыпались градомъ, но я толковалъ ихъ въ свою пользу, и каждый изъ нихъ подавалъ только поводъ къ новымъ увѣреніямъ, къ новымъ клятвамъ; и когда я совершенно связалъ себя вѣчными обѣтами *любить одну Анджелику!* о, какъ искусно напоминала она *ужасное родство* и вмѣстѣ требовала вѣрности!

«Взаимности, взаимности!» почти закричалъ я. — «Тине!» сказала она: «Антоніо возвратился.» Жаркій поцѣлуй сгорѣлъ на устахъ моихъ, и Анджелика скрылась...

Антоніо возвратился въ веселомъ, болѣе, въ восторженномъ расположеніи духа; прославлялъ умъ папы, вкусъ, познанія. Святѣйшій отецъ пригласилъ его въ Римъ; онъ далъ слово, но когда окончитъ работы въ Пармѣ. Вечеръ промелькнулъ незамѣтно. Всѣ трое были довольны, счастливы, простились и разошлись друзьями, — а проснулись?..

Меня разбудилъ Антоніо. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, онъ сказалъ мнѣ довольно ласково: «Послушай, Лоренцо, я всю ночь думалъ о нашихъ семейственныхъ дѣлахъ, и много придумалъ, кажется, недурно. Какъ ты полагаешь: во-первыхъ, обращеніе со мною святѣйнаго отца сильно подѣйствовало на моихъ монаховъ: они прислали мнѣ довольно денегъ, чтобы обезпечить ваше существованіе на годъ, пока я кончу пармскія работы, и дать приличное приданое Вероникъ; какъ ни жаль, а надобно-жъ ее пристроить. Чѣмъ позже, тѣмъ хуже. Посылаю ей мое благословеніе. Ты все приготовь къ свадьбѣ, а я, если Богъ позволитъ, приѣду къ вамъ разделить общую радость; но если папа и дѣла не отпустятъ, не откладывай: постъ не за горами, а молодыхъ людей зачѣмъ мучить!.. Такъ какъ времени мало, то я рвинулъ вхвать тебѣ сегодня-же, до вечера я до стану тебѣ отъ кардинала-правителя пропускъ, ко-

торый охранить тебя не только отъ военныхъ шалуновъ, но и отъ самыхъ разбойниковъ. Мулы и слуга будутъ готовы передъ закатомъ солнца. Одѣвайся, закуси и, если хочешь, я велю осѣлать лошадей; погляди на Парму, а я поспѣшу къ отцу кардиналу!..» И ушелъ.

«Голова моя кружилась; я ничего не понималъ. Вчера все — не такъ; сегодня — на все согласенъ, все обдумалъ, все предусмотрѣлъ. Меня радовало счастье сестры; но оставить Анджелику въ самомъ началѣ нашей любви! Не повиноваться — значитъ измѣнить тайнѣ, да и возможно ли?.. Исполнить его приказаніе, — умереть; гдѣ надежды увидѣть снова Анджелику? Она не можетъ вернуться въ Корреджіо; меня не пустятъ въ Парму... Въ раздумь сидѣлъ я на подушкахъ, облокотивъ голову на руки; на шеѣ моей висѣло нѣсколько миниатюрныхъ медальоновъ — вотъ они! — съ изображеніями святыхъ, и одинъ руки самого Корреджіо, съ портретомъ матери. Тихо качались медальоны, и глаза невольно съ ними встрѣтились... Молитва и Марія представились моему сердцу съ какимъ-то упрекомъ. Я поцѣловалъ образъ матери, перекрестился и — готовъ былъ идти на край свѣта для ея спокойствія. «Антонио пріѣдетъ въ Корреджіо, а я въ Парму: пора и себя чѣмъ-нибудь прославить, и тогда...» Такъ мечталъ я, и поспѣшилъ одѣться и еще разъ наединѣ побесѣдовать съ Анджеликой. Она давно меня ожидала за завтракомъ. Видъ ея былъ разстроены, лице блѣдно, на глазахъ признаки слезъ.

— «Что это значит?»

— «Ахъ, Лоренцо! Я не знаю, что съ нимъ случилось! Онъ вдругъ перемѣнилъ все свои намеренія .. Боюсь, чтобъ онъ...» Она поглядѣла подъ навѣсъ, гдѣ еще стояла арфа, и покраснѣла. «Признаться ли тебѣ, Лоренцо? Онъ ненавидитъ Марию. Удивительно! Все въ Корреджіо не могли нахвалиться красотой и ангельскимъ характеромъ этой женщины; а онъ... «Я радъ...» говорилъ онъ сегодня: «вырвать Веронику изъ этихъ рукъ. Жаль мнѣ Лоренцо; но что скажутъ люди!..» Напрасно я умоляла хоть на три дня отправиться въ Корреджіо самому, устроить дѣла, сыграть свадьбу и возвратиться къ работамъ... И слышать не хочетъ! Напрасно я уговаривала его оставить тебя,.. Но я не могла...» продолжала она, потупивъ глаза: «настаивать...»

— «Милая Аджела!» воскликнулъ я, и хотѣлъ броситься къ ея ногамъ. Она отъ испуга уронила оловянную тарелку, и вошла нянька съ Помпоніо. Разговоръ продолжался намеками, но надобно было Эдина для ихъ разгадки. Антоніо возвратился съ пропускомъ. Разговаривали о пустякахъ, отобѣдали; солнце ушло; слуга подвелъ двухъ муловъ, увязали мышки съ деньгами, помолились предъ небольшимъ распятіемъ; отецъ благословилъ меня, далъ нужныя бумаги, поцѣловалъ. Тетушка благословила и поцѣловала въ чело, и мы уѣхали.

«Безъ случая мы доѣхали до Корреджіо. Въ домъ все обрадовались моему пріѣзду, кромѣ матери. Грустно приняла она деньги; еще стала пе-

чальнѣе, когда услышала, что Антонио едва ли будетъ на свадьбу; но когда я, связанный приказаніями отца и клятвами, данными Анджеликъ, глалъ о жить-быть Антонио въ Пармѣ, кротчайшая изъ женщинъ не выдержала, и, безъ слезъ, но съ выраженіемъ глубочайшей горести, сказала:

— «Перестань, Лоренцо! Зачѣмъ лгать? Я тебя не спрашивала объ этомъ, не желая вводить въ грѣхъ. Я все знаю.» Я смутился и бормоталъ несвязныя слова, но Марія съ кротостію повторила: «Перестань! И я не безъ друзей, и у меня есть тайные братья.»

«Эти слова навели на меня паническій страхъ. Я не зналъ куда дѣваться.

— «Успокойся Лоренцо. Ты добрый сынъ, и я скоро избавлю васъ всѣхъ отъ необходимости притворяться.

«Слезы брызнули изъ глазъ моихъ.

— «Матушка!» закричалъ я.

— «Молчи, Лоренцо! Я тебя ни о чемъ не спрашиваю. *Умлы любить доброе имя твоего отца!*

«Она ушла. Вероника и женихъ допытывались; я извернулся, и обратилъ разговоръ на свадьбу.

«Приготовленія къ брачному торжеству сдѣланы были съ необыкновенною скоростью и ловкостью. Все было готово. Ждали только отца, — онъ не пріѣзжалъ; наступилъ послѣдній день, — онъ не пріѣзжалъ, и Вероника обвинчалась съ достойнымъ Подро. Всѣ были недовольны. Рано разбрелись со свадебнаго пира. Я едва довелъ матушку до дома: она приписывала слабость свою

усталости отъ свадебныхъ хлопотъ; вошла съ моею помощію въ столовую, остановилась почти на томъ же мѣстѣ, гдѣ, за нѣсколько лѣтъ тому, упала безъ чувствъ; выпрямилась: тѣ же взоры, тѣ же волненіе груди; протянула руку и пальцемъ указала въ пустой воздухъ.

— «Что, матушка?» спросилъ я.

«Отвѣта не было; голова ея уперлась въ грудь... Маріи не стало!...

«Слезы, гдѣ вы! А сколько ихъ было тогда! Проклятіе тѣснилось въ груди моей, но смѣлъ ли я произнести его противъ Антонио? Кого не столкнуть страсти съ пути долга и добродѣтели? И что наша добродѣтель, если для чужой женщины можно погубить жену и дѣтей?... Необходимая честность! невольная вѣрность! вы не добродѣтели, — вы растаете, непременно растаете отъ страстнаго поцѣлуя, если васъ не сожжетъ блескъ червонца!

«Чужіе люди похоронили Марію; — я не могъ. Отецъ Лука увѣдомилъ отца о ея кончинѣ и моей болѣзни; — я не могъ. Веронику обманули и увезли въ Модену... Прошло семь дней послѣ погребенія Маріи; я возвращался съ ея могилы, усыпавъ ее свѣжими цвѣтами, по обычаю. Подхожу: у нашего крыльца множество муловъ; ихъ развьючиваютъ, снимаютъ драгоценные ковры, изъ возовъ тащатъ ящики; шумъ, хлопотня.

— «Это онъ!» подумалъ я, и хотѣлъ уйти въ храмъ Божій и приготовиться къ тяжелому свиданію.

нію; но знакомый голосъ раздался съ крыльца и обманулъ меня въ послѣдній разъ.

— «Лоренцо!»

— «Анджелика!» И я уже плакалъ въ ея объятіяхъ.

— «Лоренцо, другъ мой, сынъ мой! Ты лишился обожаемой матери, но я постараюсь *замынить* ее! Счастье моего *мужа* и ваше отнынѣ...»

«Она не успѣла договорить, вдругъ я понялъ все; въ мгновеніе я сообразилъ всю мою жизнь, всему отыскалъ разгадку, — въ одно мгновеніе! Обручъ обвился вокругъ головы моей: черная тоска проснулася въ сердце въ одно мгновеніе! — все это въ одно мгновеніе!... Слуга проносилъ въ это время оружія отца моего: я схватилъ какой-то ножъ, и бросился на Анджелику; она — въ столовую, съ визгомъ и крикомъ. У страшнаго стола, у мѣста смерти моей матери, Антонио остановилъ меня.

— «Куда ты?» закричалъ онъ.

— «Убить ее!»

— «Она твоя мать!»

— «Убийца моей матери!»

— «Проклятіе, непокорный сынъ!» закричалъ онъ торжественно.

«Ножъ выпалъ изъ рукъ моихъ. Я подошелъ къ Антонио бодро, съ какимъ-то шутовскимъ величіемъ; я чувствовалъ, какъ у меня странно забьгали глаза, какъ уста искосила злобная улыбка; обручъ затянулъ голову такъ, что мнѣ казалось, будто всѣ мозги мои переворачиваются, и я схожу

съ ума. Не смотря на всѣ муки, я старался казаться спокойнымъ, и съ гордостью произнесъ.

— «Принимаю ваше проклятіе, любезный родитель! Благодарю васъ: вы обманули меня — и я впалъ въ грѣхъ; вы прокляли меня — и спасли отъ смертоубійства. Я цѣловалъ ее, какъ любовницу; хотѣлъ убить, какъ невѣрную! Вотъ все, чѣмъ я заслужилъ ваше проклятіе; но я принимаю его. Прощайте! О послѣдствіяхъ не безпокойтесь! Матушка, которую вы, съ вашею женою, такъ искусно убили, приказала мнѣ: *Умѣй любить доброе имя твоею отца*. Я исполню завѣтъ матери. Лоренцо Аллегри болѣе не существуетъ: живеть нищій, въ честь вашу, *Антонио*; и долго будетъ жить, и никогда не измѣнитъ вашимъ тайнамъ. А Dio!»

— «Ловите его! держите!» раздалось позади меня. Но двое дюжихъ слугъ полетѣли отъ рукъ моихъ съ крыльца. Я болѣе не оглядывался. Прожилъ многое множество лѣтъ; видѣлъ нѣсколько тысячъ городовъ, нѣсколько разъ умиралъ, воскресалъ, сражался, взялъ Римъ, два раза былъ на родинѣ: разъ для погребенія родителя, другой разъ для погребенія бѣднаго брата Помпоніо и двухъ его сестеръ; но никогда не измѣнилъ тайнъ — *нищій Антонио!*...

Послѣ краткаго молчанія, старикъ повернулся на тюфякъ, и казалось, хотѣлъ заснуть. Видъ его былъ совершенно покоенъ и доволенъ.

— «Послушайте, Лоренцо!» сказалъ графъ: «не

хотите ли вспомнить старину и посмотреть на небольшое произведение руки Антонио Аллегри, вашего родителя. Оно со мною....

Старикъ вскочилъ и закричалъ : «Что я слышала? Не обманываютъ ли уши мои?.. Такъ я вамъ сказалъ, кто я, кто мой родитель, его тайны?..

— «Успокойтесь, Лоренцо!» отвѣчалъ графъ: «Онъ останутся въ тайнѣ: я не изменю вамъ, Лоренцо!»

— «Боже мой, Боже!» воскликнулъ старикъ, всплеснувъ руками, и бросился вонъ изъ комнаты. Не успѣлъ графъ опомниться, какъ нищій Антонио бѣжалъ съ пригорка на пригорокъ, размахивая руками. Напрасно Кастаней приказалъ его ловить; пока слуги собрались, онъ уже былъ на высокой скаль и бросился въ озеро. Вода всплеснула высокимъ фонтаномъ, и снова улеглась недвижнымъ зеркаломъ.

КАПУСТИНЪ.

МОСКОВСКІЙ КУПЕЦЪ.

Историческій разсказъ.

I.

Пою несчастіе Капустина, московскаго купца, происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой линіи, огородной капусты, продукта вполне извѣстнаго у насъ на сѣверѣ; продукта, который, по важности своей, можетъ смѣло поспорить съ картофелемъ, этимъ американскимъ дивомъ, генеральною пищею многихъ милліоновъ.— Но еще не наступило время капусты; она хранилась въ парникахъ, и то не вездѣ: потому что на дворѣ стоялъ іюнь, и вся Москва кушала спаржу и зеленые шти, для чего, какъ извѣстно, капусты ненужно, а достаточно разной мѣлкопомѣстной травы, которая, по общему закону всего земнаго, сначала обращается въ снѣдь чловѣку, а потомъ скотинѣ. И такъ Москва кушала зеленые шти; на столѣ, у Гаврилы Андреевича Безыменнаго, московскаго купца, кипѣли зеленые шти, съ яйцами и свинымъ саломъ, и разливали пригласительный запахъ по

всѣмъ комнатамъ. Гаврило Андреевичъ сълъ за столъ съ двумя прикащиками: миса штей и коровай хлѣба исчезли. Гаврило Андреевичъ молча указаль на пустую посудину; прикащикъ отправился съ нею на кухню, и воротился въ рукахъ со штейми, а подь мынкой со вторымъ короваемъ хлѣба; работа пошла потище; и рѣчамъ нашелся просторъ; вотъ Гаврило Андреевичъ и спрашиваетъ у прикащика:

— «А что, былъ ты, Лукьянычъ, у сосѣда?»

— «Былъ.»

— «А чтоже онъ говорить?»

— «Самъ зайдетъ послѣ обѣда...»

— «Такъ верно и должокъ занесетъ. Сто рублей нынче деньга; какъ пошла война со Шведомъ, стало такъ мало денегъ; совсѣмъ барыней нѣтъ; торговля охромѣла. Да Богъ съ нимъ, онъ не богатый человекъ; торгъ у него дрянной; на бакаліи не далеко уйдетъ; только и проку, что отцовскій товаръ; и сосѣдъ Андрей Никитичъ самъ вто смѣкнулъ; къ Евдокиму Филипычу присталъ; сталъ по его дѣламъ ходить... Всѣмъ богатъ Евдокимъ Филипычъ...» прибавилъ Безыменный со вздохомъ: «всѣмъ, всѣмъ: и жена есть и дочь...» Безыменный задумался...

— «Вотъ, Гаврило Андреевичъ, тебѣ невѣста!» сказалъ Лукьянычъ: «Что вдовцемъ жить. Старости нѣтъ, до пятого десятка, чай пяти, али шести не хватаетъ...»

— «Охъ охъ, охъ, Лукьянычъ, ужъ не говори! Вотъ на самый Ивановъ день пятидесятницу празд-

новать придется. Да не въ лѣтахъ сила, а въ силѣ лѣтъ. Я и съ Андреемъ Никитичемъ, даромъ что молодъ, а въ многомъ дѣлъ, потягаюсь...»

— «Отъ того-то я и думаю, и говорятъ про тебя, что ты тягаться любишь...»

— «Я, Лукьянычъ? Я? Боже меня оборони отъ тяжбы: да что ты будешь дѣлать. Вотъ намѣдни пришелъ въ лавку покупатель, купилъ на грошъ, а выходя шубой стулъ задѣлъ, а на томъ стулѣ парча лежала. «Заплати!»—Говорить, что ей сдѣлалось, вѣдь не запачкалась? — «Малоли чего, не запачкалась, могла запачкаться. Довольно что на полу лежала. Кто ее купить?» — Вѣдь я его не обидѣлъ, парчу ему отдалъ, а только деньги съ него взыскать, взыскалъ, что по расчету приходилось. Вѣдь это все равно, что товаръ продалъ. Какая же тутъ тяжба?»

— «Да за проторы и убытки...»

— «Такъ то-то же, за проторы и убытки! Экая глупая голова ты, Лукьянычъ! Что же я, изъ своего кармана, что ли, долженъ каждую недѣлю судъ кормить, да взятки давать?»

— «Да я что же говорю, Гаврило Андреичъ?»

— «То-то же, договаривай впередъ! Вотъ, прикладно, у Андрея Никитича сколько времени сто рублей лежитъ. Вотъ уже и мѣсяць прошелъ, какъ срокъ минулъ, сегодня только послалъ ему напомнить, и пожалуй еще на мѣсяць отстрочку дамъ, лишь бы умень былъ.... Ну-ка, Лукьянычъ, чай мы и третью мису повершимъ; я сегодня больно на судъ проголодался...»

— «А ты былъ на судъ сегодня?»

— «Да въ какіе же дни я на судъ не бываю? Мало ли у насъ дѣлъ? Сегодня билъ челомъ на сосѣда, что въ ряду, на Оковникова: всю дорогу загородилъ старою рухлядью; я ему говорю: опростай, сосѣдъ, дорогу; онъ въ отвѣтъ: повремени маленько, у меня сегодня изъ лавки что ни есть не нужное выносить. Ну, я спустилъ часокъ; не убираютъ, а покупателямъ проходить негдѣ, они все мою лавку и обходятъ. Я ему опять по дружески: да убери пожалуйста хламъ ... А онъ: да чего ты присталь? Видишь убираютъ... Тутъ я понялъ, что онъ изъ зависти запрудилъ дорогу, я и пошелъ въ судъ и билъ челомъ на него, и показалъ сколько покупателей мимо прошло, и сколько оттого причинилось мнѣ убытка. Заплатить, сосѣдунка, заплатитъ; проголодался я; да ужъ за то власть покормилъ наличными. Все будетъ по нашему...»

— «Да ужъ какъ и не быть по нашему? Вотъ поднялось бы купечество, когда бы тебя, Гаврило Андреевичъ, въ новый магистратъ бурмистромъ...»

— «Въ главной, что ли? Нѣтъ, братъ, острога разума боятся; а ужъ такой бы домъ затѣялъ: въ годъ бы палаты до самаго неба построилъ. Ну, да и эти не куда. Хоть на трехъ женахъ женись; будетъ гдѣ помѣститься! Надо, Лукьянычъ, затвори къ окнамъ заказать. Пора хоромы кончить; тутъ и однимъ намъ тѣсно.»

— «Да, ужъ заказаны и чай готовы; вотъ сто

рублевъ пошли къ Сусолину, онъ и принесеть....
И я видѣлъ, знатная работа....»

— «Ну, такъ отнеси же, гляди, Лукьянычъ, завтра же сто рублей, и дѣлу конецъ. Новоселье затѣмъ; позовемъ Евдокима Филипыча; а онъ и дочкѣ расскажетъ, какой я домъ для жены приготовилъ. Онъ тотчасъ смѣкнетъ на что я мѣчу: вотъ тогда свахъ и засылай; вся роденька сговорчивѣе будетъ. . Андрей Никитичъ идетъ! Андрей Никитичъ идетъ! Довѣдайте, а ужъ мнѣ не до вѣды. Я его хочу въ стряпчіе взять, такъ приласкать надо....»

Московскій купеческій сынъ Андрей Никитичъ Ручкинъ, молодой человекъ, лѣтъ двадцати пяти, ужъ никакъ не больше, мелочной торговецъ бакалейными товарами, по милости хорошаго общества, получилъ на то время прекрасное воспитаніе; выросъ въ домъ и при дѣлахъ Евдокима Филиповича Сергалова, первостатейнаго московскаго купца, у котораго были и нѣмецкіе товары и нѣмецкіе прикащики. Отъ нихъ Андрюша какой то нѣмецкій языкъ перенялъ; умѣлъ на обоихъ, и на своемъ и на чужомъ языкъ, писать, читать и даже говорить, и оттого въ самое короткое время сдѣлался правою рукою своего хозяина.

Сергаловъ, въ угодность Государю и ради нѣмецкихъ торговъ своихъ, уничтожилъ свою бороду и длиннополое платье; нарядилъ по европейски дочь и сына, которыхъ и старался воспитать въ новыхъ обычаяхъ; смѣтливый прикащикъ перенималъ все на лету и перенялъ между прочимъ у европейцевъ

самый лучший обычай: любить женщину. — А такъ какъ на первый случай любить было не кого, или по какимъ ни есть другимъ причинамъ, полюбилъ дочь Евдокима Филиныча, Настиньку, когда ей было еще десять лтъ; Сергаловъ все видѣлъ, и считая любовь Андрюши не только ребячествомъ, но и средствомъ болѣе, и болѣе привязать его къ своему дому, видимо одобрялъ страстный пламень Андрюши. Кошкѣ смѣхъ, а мышкѣ смерть, потому что Настинькѣ было десять лтъ — давно, годовъ шесть тому назадъ, и Сергаловъ сталъ задумываться, вмѣстѣ съ дочерью и Андрюшей. — На бѣду дернуло Сергалова, по нѣмецкому обычаю, праздновать совершеннолѣтїе Настасьи Евдокимовны: въ тѣ времена на Москвѣ не много было двупункъ въ явкѣ; ничто не могло ихъ вытѣщить изъ завѣтныхъ тайниковъ, а жениховъ голодныкъ — туча. Налетѣли, какъ пчелы, молодые купчины и военные въ открытый домъ съ невѣстой; цѣлый полкъ влюбился въ Настиньку: по старшинству первый былъ — нашъ знакомецъ Безъименный.... Онъ не зналъ семейственныхъ отношеній Андрюши; ему и въ голову не могло придти, что онъ, богатый купецъ, и мелкій торговецъ глядятъ на одно и тоже солнце; онъ вѣдалъ, что Евдокимъ Филипычъ держалъ Андрюшу, какъ довереннаго слугу, имъ благодѣтельствованнаго, и только.

— «Милости просимъ, сосѣдь!» сказалъ Безъименный, когда Ручкинъ вошелъ въ комнаты: «Милости просимъ! Садись! Мы не спѣсивые. Что скажешь?»

— «Да что, батюшка Гаврило Андреевичъ, очень совѣстно.... Право, не могъ исправиться.... Вы знать изволите, во сколько мнѣ обошлись похороны покойнаго батюшки... Торгъ у меня самый дрянной; сами знаете; жалованья едва едва на сапоги и платье хватаетъ, да и того я не бралъ, чтобы вамъ заплатить; и заплачу непременно, на Ильинъ день.

— «Да что ты, молодецъ, будто я тебя въ судъ тащу... Слава Богу, во стъ рубляхъ большой нужды нѣтъ. Я и не посылалъ къ тебѣ за ними, да Лукьянычъ по книгамъ нашелъ, что обязательство твое уже мѣсяцъ въ прострочкѣ, такъ для порядка къ тебѣ зашелъ, чтобы самому не быть въ отвѣтъ. А я, изволь, готовъ ждать сколько хочешь... Ну, любезный, дѣло не въ томъ... Что, Евдокимъ Филипычъ здоровъ?

— «Слава Богу!»

— «Ну, а Настасья Евдокимовна? Чай у васъ жениховъ толпа...»

— «Таки довольно...»

— «Ну, а ты чью руку держишь?..»

— «Я?»

— «Да, ты! Вѣдь я знаю, Евдокимъ Филипычъ твоими глазами глядитъ, твоими ушами слышитъ...»

— «Полноте-съ?..»

— «Да, ужъ братъ съ сосѣдомъ не чинись! Давай братъ за одно хлопотать...»

— «Покорнѣйше благодарю васъ, Гаврило Андреевичъ, я право не заслужилъ вашего...»

— «Да полно, пожалуйста! Не заслужилъ, такъ

заслужить можете, только между женихами мою руку держи; завтра сваха завдетъ.»

Андрюша вспыхнулъ и сказалъ насмѣшливо:

— «Вотъ что! Экой я недогадливый; только по крайней мѣрѣ честности не измѣню... Буду держать руку. .»

— «Чью же?»

— «Свою, Гаврило Андреевичъ, свою!..»

Можно себя представить изумленіе Безыменнаго. Онъ вскочилъ, запыхался, будто сто верстъ пробѣжалъ, побагровѣлъ, и не зналъ, что говорить, что дѣлать.

— «Перестань шутить!» наконецъ сказалъ онъ, съ трудомъ переводя дыханіе...

— «Я не смѣю шутить съ человѣкомъ вашихъ лѣтъ и званія...»

— «Какихъ лѣтъ?.. Ты на моихъ крестинахъ не былъ...»

— «Покойный батюшка сказывалъ...»

— «Не изволь клепать на покойниковъ. Такъ ты не шутишь? На смѣхъ лѣзешь?»

— «Что дѣлать? Евдокимъ Филиппычъ простить моей дерзости, а Настинька меня любитъ...»

— «Любить!.. Я-те дамъ, любить. Деньги подай?...»

— «Какія деньги?»

— «Что? Ты утаить хочешь? Росписка есть.»

— «Да вы изволили отстрочить...»

— «Говорятъ тебѣ, деньги подай, сегодня, сейчасъ...»

— «Повремените, Гаврило Андреевичъ!..»

— «Не хочу! Деньги сейчас, или въ судъ!»

— «Въ судъ! Ахъ ты скаредный ябедникъ! По-
давись ты своими деньгами...»

— «Ябедникъ! Лукьянычъ! Слушай, слушай, да
затверживай, мы все пропишемъ...»

— «Ахъ ты, жидъ! Вотъ тебѣ!»

Андрюна плюнулъ и ушелъ...

ЧЕЛОБИТНАЯ.

II.

Гаврило Андреевичъ и Лукьянычъ стояли другъ
передъ другомъ, какъ Амфиотрионъ и Сози. Гаврило
Андреевичъ пымалъ бышенствомъ, Лукьянычъ улы-
бался и чесалъ лъвую скулу.

— «Пиши, Лукьянычъ, челобитную, на этого
недоросля.»

— «Да что, Гаврило Андреечъ, искъ плевый!
Что тутъ изо ста рублей хлопотать?..»

— «Изо ста рублей! Да, поди, изъ двухъ чело-
вѣкъ до чего родъ людской размножился, а ужъ
если изъ сотни многихъ тысячъ не расплодить,
такъ послѣ этого ужъ и жить не стоитъ. Ты только
пиши, а мы станемъ придумывать... Постой! Дайка
фонарь! Зажги огарокъ и поидемъ...»

— «Да куда-же ты днемъ со свѣчей?»

— «Да куда! Домъ подожгу, такъ и быть,
крыльцо сгоритъ, и безъ того негодится, надо
передѣлывать, а мы въ челобитной и пропишемъ...»

— «Эхъ, Гаврило Андреечъ, да за чѣмъ свое
жечь; не равно, какъ ни есть, огонь волю возъ-

меть; по моему, такъ пускай сосѣдь погоритъ; а мы про убытки напишемъ...»

— «Видишь, Лукьянычъ, какъ ты у меня на-вострился, и мнѣ такое выдумать въ пору; ну, да на котораго-же сосѣда!..»

— «Того-же, батюшка Гаврила Андреевичъ! У него сарай съ нашимъ сараемъ въ плотную; а нашъ пустой, и если, чего не приведи Боже, сгоритъ, мало-ли чего въ сараѣ нельзя насчитать...»

— «Важно! Важно! Ай да Лукьянычъ! Война, такъ война! Такъ ступай-же, поджигай, а я стану челядь собирать, будто вино хочу разливать въ бутылки. Вотъ всѣ работники и будутъ въ сборѣ про всякой случай! Ступай!»

— «Гаврила Андреевичъ, а что-же за труды пожуешь?»

— «Какъ что? Известно, какъ и всегда, десятую копынку...»

— «Маловато будетъ...»

— «Ахъ ты жидъ какой, Лукьянычъ, радъ случаю хозяина поприжать. Ты гляди, въдѣ это дѣло для тебя на пять сотъ рублей сулить, домъ и дворъ, и какую ни есть движимость, все оттягаемъ. Ступай Лукьянычъ! Что-бы въ вечеру пожаръ нашъ покончить, а въ ночь успѣть челобитную исправить, а завтра, пока онъ будетъ у Евдокима Филипыча, чтобы слѣдствіе покормить, объ этомъ пускай уже Ѳомичъ озаботится. Ступай!»

Пошелъ Лукьянычъ по наряду, и сарай Андрея Никитича загорѣлся; по счастью и по бѣдности Ручкина, въ томъ сараѣ ровно ничего не было.

Сарай сгорѣлъ себѣ до-чиста, да и сосѣду отъ того не легче; пограничный сарай Безъименнаго, какъ лучина, исчезъ быстро; хлопотливый вътеръ бросилъ головни на самыя хоромы, и только присутствіе и бдительность артельщиковъ кое-какъ предупредили бѣду. Какъ сказано, такъ и сдѣлано; къ вечеру пожаръ кончился. Гаврило Андреевичъ поужиналъ съ отличнымъ вкусомъ и самоудовольствіемъ, и запершись съ Лукьянычемъ, принялся писать челобитную.

Это было еще до указа о гербовой бумагѣ. Мудрый этотъ сборъ весьма уменьшилъ обширность дѣлъ, и такъ какъ Лукьянычъ писалъ прошеніе не на гербовой, то и не удивительно, что подъ рукой у него лежала чуть не дѣсть писчей бумаги. Онъ зналъ обычай хозяина и важность случая, и запасся.

— «Ну-те, Гаврило Андреевичъ, что вы это призадумались, сказалъ Лукьянычъ, это на тебя не похоже. Заголовокъ давно готовъ, а челобитная и непочата...»

— «Вѣдь судъ, Лукьянычъ, не одно лице; надо такъ писать, чтобы всякому пришлось что нибудь по праву. Ну, пиши: Купеческій сынъ, Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ, человекъ трезваго и добропорядочнаго поведенія...»

— «Да изъ чего ты его хвалишь?» спросилъ Лукьянычъ, прерывая Безъименнаго.

— «Какъ изъ чего! Больше въры словамъ моимъ; всякій скажетъ: вѣдь онъ не изъ злобы на него челомъ бьетъ, а изъ нужды: ты ужъ

только пиши; — «сынъ хорошихъ родителей, жившихъ со мною, во всякой сосѣдской любви и дружбѣ...»

— «Послунай, Гаврило Андреевичъ!»

— «Знаю, знаю что ты хочешь сказать, что покойники со мною семь тяжбъ выдержали, что-ли; что тяжбы тѣ въ томъ-же судѣ; такъ кто-же станеть о такой сторонности наводить справки?.. А дѣлу оно прикраса... Пиши: *но какъ покойный Никита Ручкинъ, отецъ вышерльченнаго Андрея, умеръ въ крайней бѣдности, такъ что и похоронить его было не на что, а до бѣдности той покойный дошелъ по разрату своего сына, Андрея, который есть зерщикъ, шрокъ въ тихомолку, что дознано многими прикладами...*»

— «Бога ты не боишься, Гаврило Андреевичъ; какъ-же ты вверху его хвалишь, а тутъ...»

— «Ахъ, какой ты братецъ безтолковый, то вверху, а то въ низу, на двухъ разныхъ концахъ. Судь сводить не станеть, и какое суду дѣло. По первымъ словамъ видно, что я быю челомъ, не по злобѣ, а по вторымъ, что я пишу со всякою откровенностию, ничего не скрываю отъ власти... Что ты тамъ написалъ?»

— «... Что дознано и доказано многими прикладами.»

— «И что свидѣтельствуютъ суціе при явкѣ сея челобитной свидѣтели...»

— «Какіе свидѣтели?»

— «Право, ты угорѣлъ сегодня, Лукьянычъ!»

Только по пустому проволочку чинишь. Какіе свидѣтели? У меня двадцать человекъ свидѣтелей есть, такихъ, что готовы показать, что я ни думаю. Правда, дороги нынче стали проклятыя; меньше рубля не идутъ; рѣдко когда удастся за восемь, или за девять гривенъ; ну, да въ протокахъ и убыткахъ, я и этихъ расходовъ не забываю, только подъ другимъ прозвищемъ. — Ну, дальше... *Тою для и похоронитъ его было не на что.* И тотъ развратникъ, зерщикъ, Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ, пришелъ ко мнѣ, Гаврилъ Андрееву сыну Безыменному, что покажутъ тѣ-же свидѣтели, и занялъ у меня сто рублей, которые больше, изъ человеклюбія и сосѣдней любви и дружбы къ покойному, и далъ я тому Андрею, срокомъ на шесть мѣсяцевъ, безо всякаго роста...»

— «Неужели, Гаврило Андреевичъ! Вотъ промахнулся!»

— «Не бойся, Лукьянычъ! Я ему ста рублей и не давалъ, а только семьдесятъ, а въ роспискѣ значится сто сполна... «Въ чемъ при тѣхъ-же свидѣтеляхъ, и выдалъ онъ, Ручкинъ, мнѣ, Безыменному, прилагаемую у сего росписку; а извѣстно всемъ и каждому, что я человекъ бѣдный, немущій, третій годъ вдовствую, больнъ, ко всякимъ трудамъ не способенъ, разслабленный, а къ такому всякая власть уповательно сострадать имѣетъ въ намѣреніи, понеже, не изъ человѣческой гордости, а изъ страха Божія вопіетъ противу всякаго зла...»

— «Что такое, что такое?» завопилъ Лукьянычъ:

«Гляди, тутъ кажется слова есть, а никакого изъ нихъ не вытатишь толку...»

Безымянный глядѣлъ на Лукьяныча и улыбался весьма замысловато и значительно: «То-то Лукьянычъ!» сказалъ онъ: «Я тебѣ говорилъ, надо всѣмъ угодить. У меня на судѣ есть одинъ, такой, что коли челобитная съ толкомъ, такъ онъ ничего и не пойметъ; а вотъ такая дребедень ему по нутру. Какъ будутъ читать, дякъ дойдетъ до этого мѣста, я и стану тому судѣ отъ дверей земные отвѣшивать; скорчу рожу, хуже всякаго постника, а онъ мою руку и потянетъ. Ъсть и пьетъ онъ здорово, и деньги беретъ, да его то самого этимъ не возьмешь; надо, знаешь, туманцу; надо угаръ въ словахъ пустить; онъ и одурѣетъ; молчить; а ужъ, если онъ молчить, такъ въ судѣ и спорить не съ кѣмъ. Онъ, видишь, любить Богомъ стращать, такъ вотъ и на него въ челобитную страхъ Божій ввернулъ; вотъ послѣ такой загвоздки, что хочешь пиши, всему повѣрить. «А какъ...» — пиши, Гаврилычъ!.. «по вѣтхости бѣднаго дома моего, сталъ я, изъ послѣднихъ крохъ моего состоянія, строить себѣ на зиму хоромы и довелъ ихъ до конца, съ помощію Божіей и добрыхъ людей, кои мнѣ въ строеніи займомъ учинили поддержку; не доставало только желѣзныхъ, къ окнамъ затворовъ, каковыя во всякомъ домѣ есть и ради всякой безопасности отъ огня и вора быть должны, и зря на то, что срокъ роспискъ вышепрописаннаго Андрея Никитина сына Ручкина приходился Майя прошлаго, въ 10-й день, въ пол-

намъ увѣрени, по собственной моей честности, известной вамъ, во всякихъ долговыхъ и другихъ исковыхъ дѣлахъ, и во уваженіе уплаты мнѣ слѣдующихъ отъ него, Ручкина, ста рублей на срокъ, заказалъ я нѣмецкому мастеру, кузнечнаго и слесарнаго цѣха, который русскимъ прозвищемъ зовется Иванъ Сусолинъ, и который, къ сей-же моей челобитной, въ удостовѣреніе всего выше прописаннаго, руку приложилъ, — ко вамъ моимъ окнамъ, желѣзные затворы, про случай огня и вѣра, и всякой безопасности; и затворы тѣ готовы, но выкупить оныхъ не имѣлъ я никакой способности, за неплатою мнѣ означеннымъ Ручкинымъ ста рублей, не только въ срокъ, но и по сіе время, у него, Ручкина, въ недоимкѣ сущихъ. А между тѣмъ, вчера ночью, за недостаткою тѣхъ затворовъ въ новомъ домѣ моемъ, воровство учинилось... Украдено столоваго серебра на триста рублей.»

— «Послушай!»

— «Знаю, знаю! хочешь сказать, что въ тѣхъ хоромахъ никто не жилъ, да развѣ вещи — люди? Не могли тамъ лежать? Пилин : и въ покражѣ той, извѣстенъ и приставъ, и сосѣди, и свидѣтели. — Послѣ такого несчастія, при крайней бѣдности моей, послалъ я къ тому Ручкину, уплаты требовалъ, онъ довѣренному моему никакого отвѣта не далъ, пришелъ въ мой домъ самъ, не въ трезвомъ видѣ, учинилъ мнѣ всякое ругательство, странными словами и побоями, и должныя деньги уплатить отказался. Будучи въ томъ не трезвомъ

видъ, просмотрѣлъ у себя въ домъ огонь, отъ чего сталъ большой пожаръ, отъ котораго сгорѣлъ сарай мой съ товарами, по прилагаемой описи, на тысячу сто семьдесятъ три рубля, шесть алтынъ съ деньгой...» Опись, Лукьянычъ, потрудись уже ты изготовить: «а большимъ вѣтромъ понесло пожаръ и на мои новые хоромы; а какъ на окнахъ тѣхъ желѣзныхъ затворовъ не было, то огонь въ одинъ, безъ малаго, часъ, не только тотъ домъ, но и бывшіе при тѣхъ хоромахъ, въ плотной смежности два деревянные амбара, съ товарами, цѣною на двѣ-тысячи восемь сотъ девяносто одинъ рубль съ копѣйками, какъ изъ прилагаемой описи явствуется... «Лукьянычъ, тутъ приложи другую опись, испиши листовъ столько, сколько до утра успѣешь...»

— «Да какъ-же ты пишешь что хоромы сгорѣли, когда они себѣ стоятъ, и не закоптились даже...»

— »Да развѣ я пишу. Ты видишь, сказано огонь, а потомъ я все и перечелъ, а противу того огня ничего и не прописано. Какъ судъ захочетъ. Пожалуй, порынитъ, что сгорѣли, такъ сгорѣли, а скажетъ стоять, такъ пусть себѣ стоятъ... Это ужъ судейское дѣло, а я будто писалъ, да съ горя не дописалъ; пусть свидѣствіе сдѣлаютъ, я все таки правъ. — Въдъ огонь былъ — и кончено. «*И всею то убытку..*» Это ужъ, изволь писать!.. «какъ изъ счетовъ и другихъ мѣсть явствуется, понесъ я на пять-тысячъ рублей, отъ того только, что затворовъ у оконъ не было, а не было отъ того, что

Ручкинъ мнѣ на срокъ не уплатилъ, и видимо съ намъреніемъ, и тотъ убытокъ, и тѣ ругательства, и тотъ огонь учинилъ, и божеское и человѣческое правосудіе того требуетъ, дабы онъ мнѣ послѣднее мое достояніе воротилъ, понеже я въ конецъ раззорился, и теперь куска хлѣба не имѣю; и того ради бью челомъ... Ну, Лукьянычъ, тутъ ужь ты знаешь, что писать.»

Челобитная, описи, счета, кузнецъ Сусолинъ, свидѣтели и самъ Безъименный рано поутру явились въ судъ и, возбудили живѣйшее участіе во всѣхъ членахъ суда къ несчастному истцу. — Но по случаю пріѣзда въ Москву Государя, судъ имѣлъ много своихъ хлопотъ, и не могъ приступить немедленно къ сужденію по жалобѣ Безъименнаго, а отложилъ до завтра. Снисходительность суда простиралась однако-же до такой степени, что предложеніе Гаврилы Андреевича, откупать съ нимъ на пепелищъ, было принято большинствомъ голосовъ; Гаврило Андреевичъ пошелъ домой приготовить все къ обѣду, и занялся хозяйственными распоряженіями...

III

РАЗМОВКА.

Евдокимъ Филипычъ Сергаловъ пошелъ поздравить съ пріездомъ Государя. Въ то время весьма многіе частные люди, известные Петру Великому лично, пользовались подобнымъ счастіемъ. За Сергаловымъ работники понесли обычные подарки:

коровой на золотомъ блюде; въ короваѣ шила золотая же солонка; куски матерій, и тысяча рублей денегъ, въ кожаномъ мѣшкѣ. Государь, одобрявшій младенческую торговлю, удостоивалъ особенною милостію тѣхъ купцовъ, которые умѣли входить въ мудрые виды Преобразителя, заводили фабрики, часто торговали безъ барыней, лишь-бы усвоить царству западную заграничную торговлю, тогда еще сушимъ путемъ, и вообще не останавливались въ предпріятіяхъ своихъ ни мелкою корыстію, ни безчасленными затрудненіями. Сергаловъ былъ извѣстенъ съ этой стороны Государю, и потому не удивительно, что Государь, кромѣ ласковаго пріема, оказаннаго имъ Евдокиму Филиппычу, удержалъ его у себя долѣе обыкновеннаго, спрашивалъ о семейственныхъ обстоятельствахъ, и узнавъ, что Настинька невѣста, спросилъ и объ женихѣ.

— «Есть, Государь, благодареніе Богу!» сказалъ Сергаловъ: «Отмѣнный человекъ; съ малыхъ лѣтъ живетъ въ моемъ домѣ. Хочу ему дать такое приданое, чтобы могъ самъ торговать на большую руку, и чаятельно отъ насъ не отстанетъ.» Тутъ Сергаловъ, сколько могъ, распространился въ похвалахъ своему Андрюшѣ.

— «Такъ чего же ты ждалъ, старикъ?» спросилъ Царь.

— «Тебя, Государь! Хотѣлъ, чтобы ты былъ у насъ, на створѣ; и на Андрюшу моего молодца руку, да изъ своей Царской мощи пожа-

ловаль, ему деньги., Съ твоиждь только рукъ., Государь, лется, всякий успѣхъ., всякая удача!»

— «Такъ теперь ждаль, начего! Я, на лице, и буду къ тебѣ сегодня, къ обѣду.»

Сергаловъ поклонился Государю въ землю, и, радостный отправился домой. Выходя изъ Кремля, онъ повстрѣчалъ Гаврила Андреевича; даже шапки не сломаль на низкіе поклоны Безыменнаго, и пошелъ было далье., но Гаврило Андреевичъ догналь Сергалова и сталъ жаловаться на Андриюшу...

— «Что это право, Евдокимъ Филипычъ, ты за своими прикащиками не смотришь; мнѣ отъ твоего любимца житья нѣтъ. Мало того, что неплатить мнѣ денегъ, какъ обязался, такъ еще меня же, своего заемщика, судомъ беспокоить.»

— «Что?. Что такое?.. У Андриюши есть долги?»

— «Неоплатные, Евдокимъ Филипычъ, неоплатные! Судъ все заберетъ, увидишь, и дворинко и лавочку, да всего-то чай на одинъ долгъ хватить, а наше пропало. Да Богъ съ нимъ, пусть только судомъ насъ не тревожить, а то, вотъ я изъ суда иду. Въ самой обѣдѣ слѣдствие назначено. Ему шутка, а мнѣ расходъ! Прости ему Господи! Уйми его, Евдокимъ Филипычъ!..»

— «Вотъ я его!» отвѣчалъ Сергаловъ въ бѣшенствѣ, и побѣжалъ прямо домой. Вошелъ въ контору: два прикащика примержно кивали; казначей отсчитываль артельщику деньги. Андриюши не было. Гдѣ онъ? — «Отъ дѣла ушелъ, да у Па-

стиньки, въ комнатахъ, у окна стоитъ; да плачетъ, что любовь у него черезъ край пошла, что съ ума сходитъ и ждетъ только Евдокима Филипыча, бросится ему въ ноги, пусть убьетъ, а ужь всю правду услышитъ!»

— «Ну-ка, пу-ка! Какую же я правду услышу!» закричалъ старикъ, входя въ комнату. Андрияна остолбенѣлъ. Настинька закрыла лице руками; Володя, сынъ хозяина и няня стремглавъ бросились изъ комнаты, одинъ въ контору, другая въ спальню...

— «Ты знаешь меня, Андрей, кто разъ мнѣ солгалъ, тому я уже ни въ чемъ не повѣрю.» Такъ продолжалъ гнѣвный Сергаловъ: «Ты знаешь и то, что у кого была разъ въ жизни тяжба, тотъ у меня не гость, а тѣмъ паче не другъ, не домашній; а отъ родства Боже охрани!.. А у кого есть долгъ, у того душа въ закладъ... Признавайся, долженъ ты купцу Безъименному?»

— «Долженъ!»

— «Вонъ изъ моего дома! Вонъ! Когда у тебя нужда была, ты могъ мнѣ сказать; ты у меня и мнѣ служилъ, такъ я твоя казна и помощь, а ты долги дѣлать; да еще и тяжбу затѣялъ! Вонъ, говорятъ тебѣ... Не ослушайся! Пошелъ!..»

— «Какая тяжба!..»

— «Вонъ, ничего слушать не хочу! Съ глазъ долой! Какого страму надѣлалъ! Благо, что я за тебя еще дочери не выдалъ! Пошлю бы придаювъ въ честныя руки ростовщиковъ и сутяжниковъ: Ты

не ее, а мою деньгу полюбилъ, мотыга! Пошелъ же; а не то ..»

— «Батюшка, Евдокимъ Филипычъ, выслушай!»

— «Не хочу... Ничего' слушать не хочу. Я на стговоръ Государя быть упросилъ, а ты... Ахъ, какой страмъ! Что я теперь скажу Государю? Уходи же, Андрей, добромъ! Ступай, а не то еще Государь тебя застанетъ. Вотъ такъ! Слава тебъ, Господи, ушелъ! Сутяжникъ окаянный!.. А я во дворецъ, надо сказать все Государю, а не то осердится...» и съ этимъ словомъ опять пошелъ въ Кремль. Сергаловъ не засталъ Государя, — Государь повъхалъ на Литейный дворъ; Сергаловъ отправился было на Литейный дворъ; но на дворъ узналъ, что Государь былъ уже послъ того въ шести или семи мвстахъ и въроятно завдетъ въ судъ по дорогъ.

— »Дай-ка и я пойду, справлюсь...» подумалъ Сергаловъ: «какую онъ тамъ тяжбу затъялъ» и пошелъ въ судъ. Не успълъ онъ войти на крыльце, громкое ура возвъстало о приближеніи Государя. Царь подъхалъ въ одноколку, и увидавъ на крыльцъ Сергалова, спросилъ: «Зачъмъ сюда пожаловалъ?» Евдокимъ Филипычъ подробно и откровенно разсказалъ все Государю.

— «Повзжай съ' Богомъ, да къ обѣду готовь ийти!..» сказалъ Государь: «а Мы съ судомъ разсудимъ.»

IV.

РЕЗОЛЮЦІЯ.

Государь вошелъ въ присутствіе; приказаль подать себѣ челобитную Ручкина; но таковой неоказалось,

— «А какая же поступила челобитная на счетъ Ручкина.»

— «Отъ купца Безъимяннаго на Ручкина.»

— «Читай!»

И дьякъ прочелъ челобитную, которую мы уже читали.

— «Какую же судъ по этому дѣлу учинилъ резолюцію?» спросилъ Государь.

— «Челобитная сего лишь дня поступила...» отвѣчалъ дьякъ: «и не заслушана.»

— «Ну, такъ мы ее теперь заслушали и приговорили:» сказалъ Государь: «Назначить безъ проволочки слѣдствіе и для того командируются: Царь Петръ Алексѣевичъ и весь судъ, — а присутствіе считать неоконченнымъ, пока не послѣдуетъ резолюція. Господа Судъ, вдемъ!»

Но, по близости двора купца Безъимяннаго, все пошли пзынкомъ. Лукьянычъ встрѣтилъ судъ въ воротахъ, Гаврило Андреевичъ на крыльцѣ:

-- «Милости просимъ!» кричалъ онъ съ крыльца низко кланаясь: «Милости просимъ! Шти на столъ!»

Отворивъ двери, онъ согнулся въ почтительную дугу и пропускалъ каждого, называя по имени и по отчеству. Послѣдній подошелъ Государь. Гав-

рло Андреевичъ, не зная, какъ его назвать, под-
нял голову, овѣмь и упалъ ницъ у ногъ Госу-
даря. Царь вошелъ въ комнаты, не обращая на
него вниманія. Два стола были уставлены закус-
ками и кушаньями, на третьемъ стояла разная се-
ребряная посуда съ ярылками. Государь прежде
всего обратился къ этой посудѣ и сталъ разбирать
ярылки; на первомъ нашелъ замысловатую над-
пись: «Дьяку Ивану Семенову по рѣшеніи дѣла.»
Государь не обронилъ слова, и смотрѣлъ только,
какъ будутъ поступать судьи. Смѣтливый дьякъ,
наизусть, громко произнесъ сказанное Государемъ
въ судъ, и всѣ безмолвно отправились свидѣтель-
ствовать понесенные Безыменнымъ убытки. Ока-
залося, что и хоромы цѣлы, и въ сараѣ не было
никакихъ товаровъ, и амбары при новыхъ хоро-
махъ не существовали, а стояли, и стоятъ поодаль,
и весь товаръ Безыменнаго лежитъ въ тѣхъ ам-
барахъ, и цѣнностью простирается слишкомъ на
двадцать тысячъ рублей...

— «Ябедникъ!» сказалъ Государь грозно: «Я
прощу тебя, Позовите ответчика!»

Явился печальный Андрюца. Государь сказалъ
ему ласково:

— «Сей ябедникъ билъ на тебя челомъ неспра-
ведливо. Иску взвелъ на тебя на пять тысячъ.
А судъ, и я, за такую ябеду въ наказаніе, и въ
примѣръ другимъ, приговорили: взыскать тѣ пять
тысячъ, съ него истца, въ твою пользу... А какъ
истецъ твой лишился всего состоянія, какъ онъ
самъ о томъ пишетъ, товаровъ и дома, то видно

эти хоромы и вещи, что лежатъ въ тѣхъ амбарахъ, не его; а хозяина ближайшаго, какъ ты, не имѣется: посему, домъ тотъ, и амбары, со всеми товарами, поступаютъ въ вѣчное твое и твоего потомства владѣніе. Дѣлай съ ними, что хочешь! Судъ немедленно введетъ тебя во владѣніе. Осмотрись въ своемъ новомъ хозяйствѣ, и приходи къ Евдокиму объѣдать, а Мы тебя тамъ обождемъ.»

Подали одноколку. Государь увѣхалъ. Безъименный бросился въ ноги къ Андриюшѣ и сталъ горько плакать, и билъ себя въ грудь, и вопилъ ужаснымъ голосомъ.

— «Богъ съ тобой, сказалъ Андриюша, мнѣ чужаго не нужно! Вотъ тебѣ долгъ мой; я продалъ послѣднюю рухлядь отцевскую; два перстня матери моей и шубу... Вотъ твои деньги!.. Прощай!...»

Андриюша бросилъ ему свертышъ, съ сотнею серебряныхъ рублей, и побѣжалъ къ Евдокиму Филипычу... Между тѣмъ, изумленный судъ не зналъ, что дѣлать. Судья поглядывалъ на дьяка вопросительнымъ образомъ. Дьякъ догадался. Кивнулъ всѣмъ рукой, и пошелъ въ комнаты. Судъ слѣпо повиновался своему предводителю.

— «Господа судъ!» сказалъ дьякъ почтительно. «Мы дѣло порышили, такъ достойно и праведно пріять мзду...» и первый схватилъ серебрянный кубокъ съ ярлыкомъ на свое имя. Судъ не смѣлъ послушаться своего дьяка, и вещи спрятались по карманамъ и за пазухами. — Безъименный глядѣлъ

на подобное раззореніе съ отчаяньемъ, и только по временамъ, и то шепотомъ, съ трудомъ выговаривалъ: «Разбойники, душегубцы, кровопійцы!» А дьякъ обратилъ опять, рчь къ опечаленнымъ судьямъ:

— «Господа, хотя дѣло ршено, но еще не окончено. Полагать должно, что отвѣтчикъ учинить обо всемъ случившемся Государю доношеніе, въ слѣдствіе каковаго доношенія, послѣдуетъ въ резолюціи какая либо отмѣна, почему, до указа, мы съ мѣста тронуться не можемъ; а какъ время объденное, столы готовы, дѣло не окончено и мы еще въ совершенной неизвѣстности, кому принадлежитъ домъ, въ немъ же мы пребываемъ, истцу ли, или отвѣтчику, то безъ нарушенія приличія, не подавая никакого въ лицепрїятіи зазрѣнія, можемъ подкрѣпить силы свои питіемъ и пищею, для дальнѣйшаго судопроизводства, тѣмъ паче, что за столомъ мы пребудемъ вкупѣ, и таковымъ образомъ судебное присутствіе продолжится, въ полномъ комплектъ и силъ...»

Судъ предварительно приступилъ къ разсмотрѣнію закусокъ, какъ обстоятельство, предшествующихъ дѣлу, а потомъ сѣлъ за столъ, и завялся существомъ онаго.

— «Чтобъ вы подавились, проклятыя лїавки!» шепталъ Безымянный, но неумолимый дьякъ напомнилъ ему, что во время присутствія, тяжущимся сторонамъ нельзя быть въ той же комнатѣ, — и Безымянный, покорно, хотя и со слеза-

ми; должны были повиноваться, старшихъ: ереховъ ради.

V.

ДЪЯКЪ.

Настинька любила Андриюшу, по нѣмецки: полною любовью, нѣжно, сердечно, сентиментально. Она же и воспитана по нѣмецки, а отецъ, хотя и былъ геній, но безъ образованія, и чувствительной душою своей дочери, своимъ неучтивымъ разговоромъ съ Андриюшей, нанесъ смертельную рану. Смертельную, это такъ, знаете, говорится, а въ существѣ, хотя Настинька и не умерла, однако же очень огорчилась и захворала непритворно. — Тогда, если вѣрить лѣтописямъ, женщины и притворяются не умъли. — Захворала Настинька, и весь домъ пришелъ въ волненіе. Это былъ еще первый случай болѣзни въ домѣ Евдокима Филипча. Больне всѣхъ, перепугалась Варвара Ивановна, матушка Настиньки, и не знала, что дѣлать. По совѣту нѣмецкаго прикащика, послали за врачомъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичемъ Верствирструмомъ. Онъ былъ коноваломъ въ саксонской арміи; но когда Карль XII разбилъ короля Августа, въ Лифляндіи, и войско бѣжало, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, вмѣстѣ съ мародерами, разграбилъ какой то отсталый фургонъ, и также обратился въ бѣгство, въ Москву. Въ короткое время практика его весьма распространилась, и на счастію, которое сопровождало его на медицинскомъ

поприщъ, онъ могъ назваться весьма хорошимъ врачомъ. Федоръ Федоровичъ служилъ всегда въ конницы, потому что въ этомъ родѣ войска, у него было всегда большое число пациентовъ, но отъ этой службы, у него до самой смерти сохранилась привычка: объезжать всѣхъ своихъ больныхъ верхомъ на лошади. Вся Москва знала его чалую кобылу, которая, когда еще состояла на службѣ, называлась Агарь, а въ Москвѣ именовалась Агафѣй... Люди, испуганные неожиданнымъ недугомъ Настиньки, съ нетерпѣньемъ ждали врача, и какъ только его завидѣли, бросились въ покой, и кричали во все горло, и хоромъ: «Федоръ Федоровичъ ѣдетъ!» Въ одно время на дворъ Сергалова вошелъ самъ хозяинъ и Верствирструмъ.

— «Что тебѣ надо?» спросилъ изумленный хозяинъ...

— «Ваша люди за мене посылають», отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ...

— «Что такое?» спросилъ Сергаловъ у людей...

— «Ахъ, батюшки свѣты!» отвѣчала няня въ слезахъ: «Настасья Евдокимовна! Настасья...»

— «Настинька больна, что ли?»

— «Умираеть!»

— «Умираеть!» — вскрикнулъ испуганный отецъ, и бросился въ спальню дочери; но къ удивленію нашель ее совершенно одѣтою, спокойною и здоровою. Заслышавъ отца, она собрала всѣ свои силы и притворилась совершенно здоровою, чтобы

не опечалить любезнаго родителя. Какая разница въ правахъ двухъ смежныхъ столѣтій!

— «Что за чертовщина!» закричалъ Сергаловъ: «Кто это шутить? И такъ глупо? Ты, Настинька, ломаешься, или кто это?»

— «Я, батюшка, только не ломаюсь, а мнѣ что то очень стало нездоровиться; да, слава Богу, прошло...»

Настинька съ трудомъ досказала нѣсколько этихъ словъ. И тутъ не смогла притвориться, слезы брызнули, а она хотѣла засмѣяться, и сильный припадокъ истерики испугалъ даже врача, который впервые имѣлъ случай познакомиться съ подобнымъ недугомъ.

— «Что тутъ дѣлать?» спросилъ съ отчаяньемъ потерявшійся отецъ: «Федоръ Федоровичъ, что тутъ дѣлать?..»

— «Жила пустить, надо кровь, жила пустить...» отвѣчалъ Вереттвирструмъ, запыхаясь.

— «Кому?» спросилъ Государь, входя въ комнату: «Благо инструменты со мной.»

— «Настинькѣ, Настинькѣ!» кричала несчастная мать, не вѣдая, что говорить съ Государемъ.

Государь посмотрѣлъ на нее съ улыбкой, и сказалъ весело...

— «Это не болѣзнь, а такъ, разстройство. Надо ее пристроить. И я вамъ лекарства привезъ.» Государь вратцѣ разъяснилъ все, что случилось. Настинька въ одно мгновеніе выздоровѣла; Государь торопилъ хозяина ъздомъ; всѣ засуетились,

столъ накрытъ, кушанье подано... Вошелъ въ столовую Андрюша, и остановился у порога.

— «Поди, поди сюда!» сказала Государь ласково: «Что, кончилъ ты тяжбу съ этимъ ябедникомъ?»

— «Кончилъ.»

— «Какъ же ты кончилъ?»

— «Заплатилъ долгъ...»

— «Заплатилъ долгъ!» воскликнулъ Сергаловъ, всплеснувъ руками: «Заплатилъ долгъ? Да какъ же ты смѣлъ ослушаться Государя?»

— «Я не ослушался. Государь мнѣ подарилъ сосѣднее имѣнiе; да оно все таки чужое, не мой трудъ; я и отдалъ его тому, чье оно; а такъ какъ мнѣ, послѣ немилости и гнѣва твоего, ничего уже не нужно, то я продалъ на скоро, что могъ, и заплатилъ долгъ, какъ слѣдовало должнику и честному человѣку.»

— «Не бывать тебѣ моимъ зятемъ! Изъ огня да въ полымя; то дѣлаешь отъ бѣдности долги, то изъ рукъ Царскій даръ выпускаешь. И какой даръ! Съ такими товарами, тебѣ и трехъ лѣтъ было бы довольно, чтобы на заморскій торгъ пуститься. Тутъ, братъ, честности не много, а глупости тьма. Не бывать тебѣ моимъ зятемъ...»

— «Какъ волишь, Евдокимъ Филипповичъ! Прости! Да позволь тебѣ за старое поклониться, за милость и всякую помощь твою. Дай Богъ тебѣ жить счастливо. Прости!»

— «Куда же ты?» спросилъ Государь. •

— «Да что мнѣ, бѣдному бобылю, на этомъ

свѣтъ дѣлать. Продамъ дворъ и лавочку, и пойду тебѣ же, Государь, служить на Шведа.»

— «Ну, погоди маленько! Солдатъ у меня много, а умныхъ купцевъ мало. Поступокъ твой хвалю, а что тебѣ по закону причитается, отъ того, по закону, не смѣй отказываться! Позови моего деньщика, что при одноколкѣ.»

Андрюша пошелъ, и возвратился съ деньщикомъ Государевымъ.

— «Вася!» сказалъ Государь: «Поѣзжай въ судъ и скажи, чтобы истецъ, по сегодняшнему дѣлу, уплатилъ безотлагательно пять тысячъ рублей ответчику, еще сегодня, до захожденія солнца, деньгами, а если наличныхъ нѣтъ, товарами, по оцѣнкѣ купеческой. А ты, Евдокимъ, на Андрея не сердись! Онъ поступилъ такъ безкорыстно и благородно, что не пенять, а хвалить и радоваться слѣдуетъ. Поцѣлуйтесь! Потомъ я въ объѣздъ сватомъ сяду, а послѣ сговора я ѣду изъ Москвы. Время у меня трудное. Война. Ужъ свадьбу извольте безъ меня сыграть.»

Объѣздъ, сговоръ и разговоръ, пошли своимъ чередомъ, а деньщикъ, по указанію прислуги судейской, явился къ Безыменному, объявилъ Царскій указъ, въ новомъ присутствіи, и увхалъ.

— «Милостивъ Государь...» сказалъ Дьякъ, когда въ присутствіе былъ позванъ истецъ: «Опредѣлилъ взыскать только пять тысячъ рублей...»

— «Пять тысячъ рублей!.. Да гдѣ же у меня пять тысячъ?» возразилъ Безыменный: «Съ роду у меня такой пропасти денегъ не было.»

— «Такъ пускай по указу заплатитъ товарами, если наличныхъ нѣтъ...»

— «Товарами, товарами!» кричала Безымянный, тотчасъ перечисливъ все могущія произойти отъ таковой уплаты выгоды. Но неутомимый дьякъ опять сталъ речь держать:

— «Господа судъ! Мы должны держаться точнаго разума и смысла закона, а какъ въ указѣ сказано: «буде наличныхъ нѣтъ...» то мы должны произвести орожайшее обслѣдование: точно ли у метца назначеннаго количества рублей въ наличности не имѣется; того ради, должны мы осмотрѣть кунеческую его казну, за тѣмъ открыты судебнымъ порядкомъ, гдѣ находится его, истцовая, запасная казна, и буде въ обихѣ денегъ не окажется, тогда уже приступить къ уплатѣ товарами. И такъ приступимъ къ свидѣтельствуванію...»

— «Иванъ Семеновичъ!» шепталъ дьяку Безымянный: «Иванъ Семеновичъ! триста рублей дамъ, только возьми товарами...»

— «Идтъ сѣть!» сказалъ шепотомъ дьякъ...

— «Изволь...» И дьякъ опять началъ:

— «Но какъ до заходященія солнца—не далеко, а мы о исполненіи указа еще сегодня должны подать Его Царскому Величеству доношеніе, тогда можемъ, по крайности только времени, и во избѣгательство проволоочки, принять уплату товарами; но какъ въ томъ же указѣ изъявлено, что оцѣнка должна быть произведена отъ купеческаго общества, то и послать немедленно за выборными и браковщиками...»

Безъимянный схватилъ себя за волосы и стагъ кричать во все горло: «Не хочу товарами! Не хочу! Ръжутъ, грабятъ, разбой! Купечество! Знаю я наше купечество! Живаго съдятъ, на мою бѣдность не посмотрятъ. Не хочу товарами!»

— «Такъ давай наличными!» сказалъ судья, котораго и вино и ловкость дьяка значительно ободрили...

— «Ахъ, батюшка ты мой, всегданній благодѣтель, да вѣдь наличныхъ то больше жаль.»

— «Экой ты болванъ, прощенья просимъ!» сказалъ дьякъ, понизивъ голосъ: «Тутъ ужъ изъ омота не выскочинишь. Крѣпкая рука всѣхъ насъ подъ водою держитъ. Плати, носи деньги! Нечего спорить! Все и затихнетъ и успокоится, а тогда, если умень будешь, съ нашей помощью, на другихъ вымѣстишь. Лишь бы ярлыковъ больше не было. Разхвалился прежде времени, и ужъ будто мы такіе олухи, что не знаемъ сами, кому что взять. У каждаго изъ насъ рука привычная, съ всу угадаетъ, что кому! Ступай, носи деньги!..»

Гаврило Андреевичъ, молча, ушелъ и ворогился съ пятью работниками, которые и принесли пять кожаныхъ мѣшковъ рублей, а въ каждомъ по тысячь...

— «Не все!» сказалъ Дьякъ, когда работники вышли.

— «Какъ не все?»

— «А на судъ, что за трудъ?»

— «Ахъ ты бездонная кадка! Да что у тебя въ карманъ?»

— «То за первое рѣшеніе; а за второе?.. Право, лучше по честности съ нами раздѣлайся, а не то, въ нашихъ рукахъ власть. Насолимъ, Гаврило Андреевичъ! Не забудь, что у насъ твоихъ двѣлъ; непоконченныхъ, больше двухъ десятковъ; сами просишь, чтобы проволочь, а если ты будешь своихъ благодѣтелей обижать, такъ знай, что неблагодарность—грѣхъ, по Божескому уставу, а по человѣческимъ законамъ, мы въ одно присутствіе всѣ двадцать двѣлъ на твою голову спустимъ.»

— «Иванъ Семеновичъ!..»

— «Слуцай, не поперечь! Я лице должностное, говорю отъ суда, а не отъ себя. Ты у насъ дойная корова, а отъвѣчки телята; а если отъ тебя молока не хватитъ, такъ мы твоихъ откармливать станемъ, а тебя, какъ негодную скотину, — прощенья просимъ, — со двора долой... Подай жѣ мѣшокъ — на судъ...»

— «Иванъ Семеновичъ!» Это восклицаніе произнесъ Безъименный дрожащимъ голобомъ, и на колѣнахъ...

— «Ну; что, говори, воище заходить!»

— «Нять сотель...»

— «Мѣшокъ!»

— «Такъ и быть! Вижу, что ты, Иванъ Семеновичъ, совѣсть дома забылъ...» И мѣшокъ серебра размѣстился по карманамъ. Тогда позвали работникова, подняли пять мѣшковъ, и поехали за дьякомъ на дворъ Андрея Никитича. Онъ уже быль дома, счастливый женихъ, богатѣйшій че-

ловкѣ — и достоянїе его умножилось существеннымъ матеріаломъ. Къ удивленію Андрея Никитича, дьякъ не принялъ отъ него даже обычной подачки; увѣрялъ, что онъ изъ тѣхъ дьяковъ, которые не берутъ, что онъ всякою корыстью гнушается; наконецъ, что онъ себя считаетъ счастливейшимъ человекомъ, когда можетъ служить правому дѣлу.

VI.

Государь увхалъ изъ Москвы, тотчасъ послѣ сговора.— Андрюша изъ пяти тысячъ рублей, имъ полученныхъ, употребилъ весьма незначительную сумму на обзаведеніе, выкупилъ отцовскую рухлядь и перстни матери; остальное отнесъ въ казну своего нареченнаго тестя. Домъ Сергалона между тѣмъ сталъ похожъ на фабрику; швейши ли приданое, по всемъ комнатамъ; матушка Варвара Ивановна, то и дѣло вѣдила по рядамъ, да всякую дрянъ закупала; свадьба назначена въ день рожденья Настиньки, какъ-то осенью. Времени уже оставалось не много до счастливаго дня, съ небольшимъ недѣля; стало грязно на Москвѣ; вечера стемнѣли и нечистый сталъ гулять на дворъ у Андрея Никитича; то заборъ у него ночью раскинетъ, то окна перебьетъ, то корову на чужой дворъ заведетъ. Догадывался Андрюша, что это оссѣдъ, изъ злобы на него, шалить по вечерамъ; поймалъ онъ даже Лукьяныча, какъ онъ хотѣлъ на глазахъ у него домъ поджечь, да понимая при-

чину всѣхъ дѣйствій сосѣда, ограничился потасовкой, состоявшей изъ какого-то бѣшенія по хребту, какимъ-то весьма плоскимъ и широкимъ инструментомъ, отъ котораго, кромѣ боли, никакихъ не оказывалось послѣдствій. Преданіе гласитъ, что, яко бы и самъ Гаврило Андреевичъ попалъ подъ эту хитрую машину, но о сей операциі не упоминалъ и не говорилъ никому, стыда ради. Однимъ словомъ, не смотря на все самоотверженіе Лукьяныча и геніальную изобрѣтательность Безыменнаго, союзникамъ никакъ не удавалось выманить непріятеля изъ предѣловъ покоя и хладнокровія, и заставитьъ подать на нихъ челобитную. Послѣднюю потасовку претерпѣлъ Лукьянычъ весьма сильную; пришлось она ему не въ мочь; стена и охая, Лукьянычъ почти вползъ въ хоромы Гаврилы Андреевича, и отказался нести долге личную службу.

— «Чортъ его побори!» сказалъ Лукьянычъ: «Этакъ онъ, чего добраго, до смерти меня доколотитъ, а не подастъ челобитной. И чего ты трусишь, Гаврило Андреевичъ? Тогда Государь былъ на Москвѣ. Ну, а теперь и старшіе всѣ развѣхались. Какъ женится, тогда съ нимъ трудно будетъ тягаться. А знаешь, что я придумалъ? Заманить его корову въ нашъ огородъ, да и въ судъ. Я Евдокима Филипыча знаю. Пока Андрей Никитичъ въ какой ни есть тяжбѣ состоитъ, онъ дочки ему не отдастъ; да ужъ какъ сдѣлать, не одну, а три тяжбы...»

— «Да какъ же это сдѣлать, Лукьянычъ? Пра-

во, умираю, какъ подумаю, что она этому сорванцу женой будетъ....»

— «Не будетъ, или не я буду! Ты только корову спровадь въ нанъ огородъ, а ужъ за что ни есть протчее, я отвечаю. Только чуръ денегъ не жалеть; ужъ этотъ разъ и старыя убытки воротимъ, а съ малаго начнемъ....»

Гаврило Андреевичъ свято исполнилъ наказъ Лукьяныча, всталъ пораньше, заманилъ корову сосѣда въ огородъ, а самъ бросился въ хоромы, отворилъ окно, и давай кричать что ни есть мощи. «Держи, лови, чья корова?» Сбѣжались люди; хозяинъ посмотрѣлъ сколько его корова убытку надвела. Андрей Никитичъ не пошелъ, а сказалъ: «Велика беда, заплачу, на сколько она тамъ капусты съѣла.»

— «На триста рублей!» сказалъ Безымянный...

— «Не возьметъ ли трехъ рублей?» приказалъ скавать сосѣдъ.

— «Трехъ рублей! Веди корову на мою конюшню, а насъ нуснай судъ разсудитъ....»

И все утихло на дворѣ у Гаврилы Андреевича, но за то все проснулось на дворѣ у Евдими Филипыча....

— «Что тамъ такое?» спросилъ Сергаловъ.

— «Да пришелъ какой-то подъячій, изъ приказа, за справкой.»

— «Зови!»

— «У тебя ли служить....» спросилъ подъячій: «Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ?»

— «У меня. А что?»

— «Онъ употребляетъ проклятое зелье, табаконъ зовомое....»

— «Не замѣчалъ. Можетъ быть....»

— «Не должно быть! На него поданъ доносъ, что онъ въ пьяномъ видѣ желалъ нанести истцу побой, да на силу не понадеялся, вынулъ табакерку, да глаза тѣмъ колдовскимъ зельемъ и засыпалъ...»

— «Гдѣ, когда?»

— «Изъ доноса сего не явствуешь, а сказано только: послѣ игры, въ зернь...»

— «Зернь! Ахъ онъ злодѣй, стражникъ! Да полно, этого быть не могло....»

— «Не знаю, а написано....»

— «Да кто же написалъ?»

— «Доносчика не знаю, а тамъ на доносъ подписано. А меня бояринъ только справиться послалъ отъ тебя, Евдокимъ Филипычъ, точно ли онъ табачное зелье употребляетъ?...»

— «Поди ты съ Богомъ! Что я знаю, несчастный! Ахъ ты Господи, страхъ какой!... Поди, скажи боярину, пусть самъ правду сыщеть!»

Подьячій скрылся; пришелъ Андриона; не успѣлъ онъ еще удовлетворительно оправдаться, изъ суда пришли, зовутъ Ручкина немедленно по двумъ чѣлобитнымъ. Сергаловъ вышелъ изъ себя. Какъ? Вдругъ три тяжбы? Борони Господи отъ такого зятя. Уже хотѣлъ было, по горячности, выгнать Андриону вонъ, отказать отъ дома, отнять слово;

но Андрей Никитичъ пріосамилоя и сказалъ съ важностію:

— «Евдокимъ Филипычъ, вспомни старое; это таже пьсня, да на новый ладъ; погоди, я въ судъ пойду, и не мнѣ, а ябеднику, будетъ плохо!»

И пощедь Андрей Никитичъ въ судъ; да по улицамъ прохода нѣтъ; толпы народа тѣсно стоятъ по всей Тверской; на колокольняхъ много мальчишекъ; во всѣхъ церквахъ двери отперты; дьячки выглядываютъ.

— «Что за праздникъ такой!» сказала громко Андрей Никитичъ, продираясь сквозь толпу.

— «Какой праздникъ! Государь сейчасъ будетъ....» отвѣчалъ кто-то изъ толпы; не успѣлъ онъ этого выговорить, загудѣли колокола; «ура!» не разносилось, а такъ сказать, стояло на улицахъ; показалась и колясочка Государева: въ ней сидѣлъ Царь Петръ, да деньщикъ; толпа съ трудомъ раздавалась; Андрюшу выкинуло впередъ....

— «Стой!» крикнулъ Государь, увидавъ Андрюшу: «Ну, что же, свадьба сыграда, или опять старикъ меня дожидался?»

Андрюша разсказалъ новыя свои несчастія...

— «Становись на запятки!» сказалъ Государь:

— «Въ судъ!»

Въ судъ Государь засталъ двухъ истцовъ: Безыменнаго и Лукьяныча, съ двумя десятками свидѣтелей. Примѣтивъ Государя, Лукьянычъ весьма искусно выдернулъ, изъ подъ мышки дьяка, свою челобитную, и ударился бѣжать: его примѣ-

ру последовали все свидетели; остался одинъ Гаврило Андреевичъ, и дрожжалъ какъ листъ. Государь, приказалъ читать челобитную, и выслушавъ ее, сказалъ грозно:

— «Да что ты нынче сталъ огородникомъ, что ли? И у тѣхъ на триста рублей капуста не бываетъ. Признавайся, на сколько съела Андрияшина корова?...»

— «На три рубля.... Не буду.... Надежа-Государь.... Богомъ клянусь.... Не я.... а злые советчики.... Это я съ болѣзни.... мнѣ снилось триста, я поставилъ....»

— «Что за шутки съ судомъ!» сказалъ Государь: «Заплати же отвѣтчику триста рублей, да въ государственную казну три тысячи рублей, за то, что ты съ государственною властью шутишь, а въ придачу, за чѣмъ такому злодю — быть безыменнымъ, безъ прозвища ходить по свѣту... Возьми же и прозвище; звать и зваться тебѣ и подписываться впредь: *Капустинымъ*. Да и то не на челобитныхъ, потому что отъ тебя какое казенное мѣсто, приказъ, судъ, или должностное лице, никто отъ Капустина не смѣй принимать никакихъ челобитныхъ и жалобъ. Изготовьте указы!»

Государь уѣхалъ. Андрияна ото всякаго иска былъ освобожденъ и отпущенъ. Дьякъ поздравлялъ Капустина съ новой и приличной фамиліей, а Капустинъ.... потерялъ аппетитъ; въ домъ его не варили капусты; онъ не могъ сносить ея запаху,

и въ день свадьбы Андрюши, послѣ продолжительнаго поста, съ горя, и по ошибкѣ повара, небрежно, въ меланхолиі, объѣлся штей, захворалъ, и, какъ говорится, окоченился, т. е. умеръ.



КОРДЕЛІЯ.

Новелла.

—
КОМО.

«Германія! Германія! если сравнить описанія Германіи Тацита и госпожи Сталь, можно ли повѣрить, что въ нѣсколько вѣковъ до такой степени все перемѣнилось на одной и той же землѣ?—Но, признаться, и знаменитая писательница столь же плохо представила намъ картину этой мозаичной націи, какъ, можетъ быть, и Тацитъ съ преувеличенною грубостію и рѣзкостію очертилъ за-альпійскихъ своихъ современниковъ. Три раза въ жизни я былъ въ Германіи, и всѣ три раза въ эпохи саникомъ одна отъ другой отдаленныя; первый разъ — отрокомъ, для науки; потомъ, какъ сами знаете, на пути изъ Парижа въ Россію; въ третій разъ, въ такую позднюю осень моей жизни, такъ недавно и — маркеза... Простите, простите! Я не могъ догнать васъ; старость и болѣзни, ея спутники, задержали меня такъ долго въ Дрезденѣ и Вѣнѣ; я дважды былъ несчастливъ; мучился отсутствіемъ одной небесной женщины и мучился присутствіемъ другой...»

— «Кто же моя соперница?» спросила съ дружескою улыбкою маркиза Гортензія...

— «Кто? а вотъ, узнаете...» отвѣчалъ докторъ Сильвіо Теста.

— «Еще новелла! Еще новелла! Ахъ, какъ я рада! Право, мнѣ кажется, вы сочиняете случаи вашей жизни!»

— «Тогда бы я имѣлъ право считать себя первымъ поэтомъ въка. Никогда вымыслы нашихъ разскащиковъ не были такъ эффектны, какъ дѣйствительные случаи, которые намъ удалось встрѣтить въ этой однообразной библіотекѣ мелочей, что мы называемъ жизнью. Ни одна книга не оставить въ душѣ нашей тѣхъ живыхъ, незабвенныхъ истинъ, тѣхъ вѣрныхъ совѣтовъ, мѣткихъ и точныхъ замѣчаній, основательныхъ познаній, которыми насъ обогащаетъ собственный опытъ...»

— «Но кто же она, докторъ?»

— «Ахъ, маркиза, можно подумать, что вы читаете романъ Вальтеръ Скотта и сердитесь на первую главу! А я ужасно люблю первыя главы у Вальтеръ-Скотта! Другіе щеголяютъ изящной краткостью; онъ Англичанинъ, оригиналь; что за охота идти битымъ путемъ; дай щегольнуть изящной длиннотою... Но всему причиною возрастъ; я старъ; стало быть и быстрота въ разсказъ вовсе несогласна съ моими лѣтами; каждый Нѣмецъ — старикъ; хочу быть Нѣмцемъ, медленнымъ, подробнымъ и именно потому, что вы слишкомъ нетерпѣливы. Теперь извольте слушать. Во-первыхъ: Піетро, подай лимонаду!..»

Маркеза расхохоталась...

— «Не извольте смѣяться... Я съ умысломъ попросилъ лимонаду; боюсь разгорячиться и быть краткимъ...»

— «Ахъ, маркеза! Уже не рано. Кому уже отуманилось вечернимъ сумракомъ. Слушать новеллу вы будете терпѣливо, а такимъ образомъ и беседа моя съ вами продолжится въ третьемъ лицѣ, а иначе... усталость отъ дневныхъ увеселеній, отъ энимиамъ похвалъ, расточаемаго вашими обожателями, отъ прогулки, театра, сплетней — все это навѣтъ сонъ и прогнать меня въ одинокую келью...

— «Дорогой другъ, смотрите, и вы попадете въ новеллу.»

— «Только бы не одному, маркеза... и съ лучшимъ концемъ, нежели въ моихъ новеллахъ...»

— «А развѣ опять печальная?..»

— «А вотъ увидите. . .»

КАРЛЬСБАДЪ.

I.

— «Въ Карльсбадѣ я остался одинъ; вы уѣхали въ Дрезденъ; дня черезъ два три я полагалъ догнать васъ; моя русская пациентка, у которой каждый день появлялась новая бользнь, истощила всю свою домашнюю терапію и не находила уже названія еще какого нибудь недуга, которымъ бы могла встрѣтить меня во время утренняго моего посѣщенія. Можетъ быть были и другія причины,

только завтра она хотѣла быть совершенно здоровою и умоляла меня отсрочить отъездъ до слѣдующаго вечера; денежные расчеты по вашему дому, кое-какія прощанія, и нѣкоторыя другія мелочи были поводомъ, что я не спорилъ съ русской синьорой, остался, и въ восемь часовъ вечера, по нѣмецкому счету, вышелъ на главную улицу въ послѣдній разъ поглядѣть, какъ всѣ возможныя націи на одной и той же улицѣ пьютъ кофе. — Не успѣлъ я пройти десяти шаговъ, слышу: трубы заиграли на городской башнѣ. «Ого, подумалъ я, еще гости! Откуда? Съ какого конца Европы послали мои незнакомые братья большаго къ этому усердному, кипящему, безкорыстному врачу Божію, неизяскаемому источнику цѣлебныхъ чаръ?..» По тѣсной улицѣ спускалась почтовая коляска, и остановилась возлѣ дома, гдѣ вы жили... Послѣ васъ квартира была пуста; я не успѣлъ еще и расплатиться; привзжіе отправились въ комнаты и уже не выходили; люди перетаскали вещи; коляска отъехала, и все, казалось, пришло въ обыкновенный порядокъ. Не прошло десяти минутъ, и самый ужасный безпорядокъ, какъ злой геній, пробѣжалъ по всему Карльсбаду. — Дамы надѣли шляпки, бросили свои столики; мужчины охорашивались, и все народонаселеніе европейской больницы толпилось у вашего дома; всѣ глядѣли въ окна, ожидали кого-то, инушукали; но въ окнахъ блеснулъ свѣтъ, заходили тѣни, опустились шторы, и Карльсбадъ заснулъ.

II.

Моя квартира, помните, была противъ вашихъ окошъ. Не смѣйтесь, снѣгора; вы вѣрно не забыли и той мины, которую мнѣ удалось ночью подвѣзати и такимъ образомъ наклонить вершину, докучную, завистливую, вѣтвистую; Нѣмцы думали, что она мнѣ мѣшаетъ спать; о нѣтъ, ночью я готовъ былъ дать ей свободу; но утромъ, но вечеромъ... Нѣсколько разъ я ворывался срубить старуху и боялся только одного, чтобы не рассердить добрыхъ Нѣмцевъ; сколько было тогда въ Германіи дуэлей за опрокинутый стаканъ пива; сколько пѣсенъ съ германскою острою; сколько шума въ театрахъ и на загородныхъ гуляньяхъ! Но вы увхали, и пльница въ тотъ же вечеръ получила свободу. На другой день, просыпаюсь отъ звуковъ карльсбадскаго оркестра; отворяю окно, и превосходный вальсъ раздается во всю улицу передъ вашими окнами... Церемоніаль слишкомъ знакомый. Лакей принесъ кофе и необходимыя надобности карльсбадскаго завтрака: хлѣбъ, масло и печатную повѣстку о ново-пріѣзжихъ... Читаю: «Г. Мюллеръ съ дочерью; артисты.» — Любопытство мое было удовлетворено, вальсъ сыгранъ и я отправился въ послѣдній разъ на галлерею. Прихожу... Всѣ больные захворали новымъ недугомъ: *любопытствомъ*. Многіе уходили и возвращались съ угнетительнымъ извѣстіемъ: «сейчасъ будетъ!» но извѣстіе не оправдывалось. Наконецъ прибѣжалъ молодой Нѣмецъ съ ужасной бородой и бакенбардами, которые дѣлали лице его шире туло-

вища, втиснутаго въ свѣтлозеленый сюртукъ, съ огромной дубиной, на которой вмѣсто набалдашника сидѣла мертвая голова изъ слоновой кости... Не было сомнѣнія: это нѣмецкій либераль. Онъ подскочилъ къ кружку дамъ и торжественно сказалъ: «Уже надѣла шляпку!..» Мнѣ показалось, что это сигналъ къ возмущенію; всѣ бросились въ одну кучу. — «Идетъ, идетъ...» раздалось въ толпѣ... и въ самомъ дѣлѣ на галерею вошли: старикъ весьма пріятной наружности и молодая дѣвушка въ соломенной шляпкѣ подъ густою зеленою вуалю... Г. Мюллеръ съ дочерью пробывши съ нами не болѣе получаса; все время промолчали; знакомыхъ не встрѣтили и возвратились домой, въ сопровожденіи цѣлаго клуба бородатыхъ обезьянъ... На галереѣ остался — споръ... Одни утверждали, что это просто Венера Медицейская; другіе сравнивали ее съ Ариадной Даннекера; третьи признавались, что вуаль не позволялъ видѣть лица, безъ чего о красотѣ судить невозможно; но это мнѣніе было признано нелѣпымъ, старымъ, несовременнымъ, потому что въ Парижѣ влюблялись въ одинъ цвѣтъ платья, словомъ — спорамъ не была конца. Изъ всего этого извлекъ я только одну истину, что Софія Мюллеръ была первая трагическая актриса во всей Германіи и что подобной старики не запомнятъ, а молодежь вся давно влюблена въ Софію Мюллеръ, многіе по новой іюльской модѣ, даже не выдавъ никогда очаровательной художницы. Вы помните, въ Карльсбадѣ мы видѣли двухъ трехъ человекъ, которые

обязывают Европу съ особенною цѣлію, и эта цѣль — мотовство, балы, вечера, праздники, фейерверки. Есть привилегированные карльсбадскіе моты, которые къ началу іюня непременно явятся на галерею и пригласятъ всѣхъ больныхъ и небольшихъ къ блистательному празднику. Всѣ акты этой карльсбадской комедіи были уже разыграны; но появленіе Софіи Мюллеръ возобновило больничный карнавалъ и породило ужасный споръ, кому первому предоставить право почтить знаменитую артистку блистательнымъ праздникомъ... Вопросъ затруднительный, и если бы онъ могъ перейти къ кастѣ бородатыхъ, возмущеніе было бы неминуемо; но по счастію онъ волновалъ только червонную аристократію XIX вѣка; и послѣ многихъ преній — жребій палъ на одного русскаго богача, который никогда не имѣлъ и не имѣетъ ни помѣстій, ни капиталовъ, какъ утверждали его друзья. Но за то въ рукахъ его былъ какой-то талисманъ, доставлявшій ему лучшія вина, яства, убранства, иллюминации, фейерверки и въ придачу всегда нѣсколько тысячъ карманныхъ денегъ. Видно, самъ жребій былъ въ числѣ обожателей несравненной Софіи, потому что невозможно было сделать выбора лучше; день назначенъ; весь Карльсбадъ приглашенъ, въ томъ числѣ и я; отказаться не слѣдовало; не пойти на балъ — жаль; онъ будетъ послѣ завтра; остаюсь. Васъ надѣялся я застать въ Дрезденъ. На другой день я уже и не думалъ объ отъездѣ; на галереѣ всеобщимъ хоромъ рассказывали, что Софія Мюллеръ будетъ

завтра на вечеръ; опять то же ожиданіе; опять то же посѣщеніе, краткое, безмолвное; опять тѣ же проводы и споры. Наступилъ желанный вечеръ. Мюллеры явились раньше многихъ... Ахъ, маркиза!..»

— «Измѣнникъ!» грозя пальцемъ, ласково сказала Гортензія.

— «Нѣтъ! маркиза! Но къ чему эти встрѣчи? Довольно на моей памяти печальныхъ воспоминаній.. И я ожидалъ ясной осени моей жизни!.. Представьте высокую, стройную женщину, величественный ростъ и поступь, большіе черные глаза, прелестныя кудри самаго темнаго каштановаго цвѣта, греческія черты лица, руки образцы изящества... и эта полубогиня въ бѣленькомъ платьицѣ; ленточка вмѣсто пояса; на шеѣ черная цѣпочка съ чернымъ крестикомъ, вотъ и все тутъ. Представьте, всѣ разлюбили Софію Мюллеръ, т. е. не смѣли любить; глядѣли съ умиленіемъ, благоговѣнно, безмолвно, многіе со слезами... Ни что не могло быть свѣтлѣе, покойнѣе, величественнѣе очаровательнаго лица чудной гостьи; я даже и неба такого не помню... На всѣхъ написана была одна мысль, одно чувство: «Нѣтъ! любить ее нельзя; нѣтъ! И она любить не будетъ; не родился еще достойный счастливецъ.» Многіе громко обмѣнялись этою мыслию и удивились сходству взаимныхъ ощущеній... Начались танцы. Никто, даже хозяинъ, несмотря на испытанную храбрость Русскихъ, не рвался подойти къ Софіи... Вдругъ бородатый либераль закрутился въ страстномъ

Штраусовскомъ вальсъ съ безстрастною полубогиней и сталъ ненавистенъ всему обществу; и это чувство было замѣтно, и также не могло не сдѣлаться гласнымъ... Толпа гостей прибывала; въ палаткѣ, нарочно и съ отличнымъ вкусомъ раскинутой для бала, стало тѣсно, душно, но никто не хотѣлъ уйти. Послѣ танца, Софія величественно вышла на иллюминированную площадку и палатка опустѣла... «Чары!» подумалъ я, иноплемя за другими... Толпа медленно двигалась передо мною и вдругъ попятилась. Софія Мюллеръ возвращалась и весело разговаривала съ молодымъ человѣкомъ. Прежде я видалъ его на галлерей, встрѣчалъ на горахъ одного съ ружьемъ и собакой, и даже простое любопытство никогда не мелькало во мнѣ узнать: «кто онъ?» Печаленъ, страшенъ былъ видъ этого человѣка; онъ былъ слишкомъ молодъ; золотыя кудри вились по узкимъ плечамъ; голубые глаза, большіе, но впалые, были оживлены болѣзненнымъ огнемъ; улыбка, горькая улыбка не сходила съ устъ; казалось, онъ былъ разсыянъ; презрительно поглядывалъ на толпу, на хозяина; вовсе не смотрѣлъ на женщинъ; худоба и глаза обличали тяжкій недугъ; но въ поступи и движеніяхъ замѣтна была живость, даже какое-то молодечество, удалство. Софія весь вечеръ только съ нимъ и говорила; отецъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на дочь и на незнакомца; жестоко нюхалъ табакъ съ страннымъ самодовольствіемъ; сладостно молчалъ и улыбался. Никто не зналъ, кто этотъ счастливецъ;

ни съ кѣмъ онъ не былъ знакомъ; даже хозяинъ въ собственному удивленію не могъ понять, какимъ образомъ онъ пригласилъ незнакомаго чело-вѣка? Впечатлѣнія перемѣнились. Богиня стала женщиной, кокеткой, актрисой; и въ глазахъ толпы, которая такъ недавно боготворила Софію, заходили пятна, обидныя, черныя пятна... Царица вечера стала забытою, оставленною Психеею; начался обычный тайный споръ о первенствѣ; побѣда переходила изъ рукъ въ руки; стало весело, шумно; многія дамы сняли шляпки; никто, и даже хозяинъ не заботился о Софіи, и, какъ я думаю, она была очень благодарна за это невниманіе. Вечеръ кончился. Всѣ разошлись. Проводовъ не было... только одинъ я по пути и то издали слѣдовалъ за Мюллерами; но незнакомецъ былъ съ ними... Признаюсь, это и меня огорчило; общественные недостатки заразительны; Богъ знаетъ за что и я уже не любилъ его. У дверей незнакомецъ распростился съ Мюллерами, и представьте — пошелъ прямо въ мою квартиру...

— «Ого!» сказалъ я почти громко: «Завтра, любезный, я могу тебѣ очистить завидную келью, но сегодня извини... «А липа? Бѣдная липа! Онъ срубить ее!» и какъ будто опасность была слишкомъ близко, я поспѣшилъ выручать такъ недавно еще освобожденную пльницу. Представьте мое удивленіе? Вхожу и вижу: незнакомецъ расположился въ креслахъ, какъ дома; мой услужливый лакей подаль ему трубку, и столбы дыма первые встрѣтили хозяина...

— «Вот до чего дошелъ нѣмецкій либерализмъ!» подумалъ я; подошелъ къ столу, взялъ кресла и сѣлъ прямо противъ поздняго гостя.

— «Милости просимъ?..» сказалъ онъ.

Я едва удержался отъ смѣха...

— «Посмотримъ, каково ваше хваленое искусство!..» продолжалъ онъ: «Лечите, лечите, пожалуй, но только врядъ ли...» и пустилъ мнѣ въ глаза столбъ дыма...

— «Удивительный пациентъ! Что будетъ дальше?» подумалъ я.

— «Карльсбадъ не помогъ!» сказалъ онъ «Что же вы мнѣ теперь посоветуете? Эмсъ, Ахенъ, Комо, Неаполь?.. Или воротитесь въ мою Прагу, продолжать музыкальныя занятія, сдѣлаться капельмейстеромъ, жениться на толстой Гретхенъ, растолстѣть самому... на все на это графъ Букла согласится... Что мнѣ Морлакки? А Вебера давно нѣтъ на этомъ свѣтѣ; Дрезденъ уже не то, что былъ прежде. Все это можно объяснить графу. Не правда ли?»

— «Конечно...» сказалъ я: «конечно!»

— «Я вамъ очень благодаренъ, почтенный докторъ. Ваши лѣта не позволяютъ играть роль алхимика, у котораго на все есть особый талисманъ; у васъ есть совѣсть; еще разъ благодарю васъ за дружескій совѣтъ. — Я исполнилъ мой долгъ, повиновался: вы согласились. Все кончено, прощайте! Благодарю, вы меня вылечили!..»

Всталъ и ушелъ... Я за нимъ со свѣчой на самую улицу; онъ даже не поблагодарилъ меня за

проводы; остановился противу оконъ Мюллеровъ и началъ пѣть премилую нѣмецкую пѣсню, пропѣлъ и ушелъ... Когда мы выходили на улицу, за итторой стояла тѣнь Софіи; отодвинувъ крайчикъ итторы, она глядѣла на насъ; но съ первымъ звукомъ пѣсни Софія исчезла, а я воротился домой... въ постель, и заснулъ.

—
III.

Рано, очень рано разбудили меня. Подаютъ записку: «Знаменитый Теста не откажетъ въ своей помощи сосѣдкѣ. — Софія Мюллеръ.»

— «Вотъ тебѣ разъ!» ворчалъ я. Мнѣ надо было ѣхать и, вы сами знаете, какъ я во все время нашего путешествія удалялся отъ практики; я зналъ, какъ непріятно, когда въ моемъ городкѣ вздумаетъ лечить Нѣмецъ или Французъ, и отымаешь у моихъ учениковъ хлѣбъ и практику; но не пойти — было бы неучтиво... И такъ сегодня же уѣду, думалъ я, никто сердиться не будетъ; приду, скажу, что уѣду, — и концы въ воду... Прихожу. Она была въ утреннемъ нарядѣ, сто разъ, тысячу разъ прелестнѣе, милѣе вчерашняго; отецъ въ бланжевомъ халатѣ, въ очкахъ и безъ парика, сидѣлъ за письменнымъ столомъ, и что-то выписывалъ изъ толстой тетради; Софія, сидя противу него чесала и помадила парикъ; меня и отецъ и дочь приняли какъ стариннаго знакомаго... Софія начала со мной говорить по итальянски; я замѣтилъ, что хотя языкъ ей совершенно извѣстенъ, но въ разговоръ она

еще затруднялась и отвѣчалъ по-нѣмецки. О, одни звуки насъ сдѣлали друзьями; не было конца комплиентамъ, угодливости и внимательности отца и дочери; оба бросили работу и принялись меня уговаривать перевзхатъ въ Вьну или въ Дрезденъ, т. е. туда, гдѣ они навсегда поселятся. Разговоръ болѣе и болѣе дѣлался дружескимъ и откровеннымъ. Въ Мюллерахъ представилось мнѣ въ полномъ видѣ и въ очаровательной красотѣ то германское простодушіе, которое такъ сильно привязало меня къ этому народу. Наконецъ рѣшились мнѣ сказать и причину приглашенія.

— «Простите, докторъ, если мы рѣшились такъ рано васъ обезпокоить, и можетъ быть поводъ покажется вамъ страннымъ, но живое участіе, которое мы принимаемъ въ судьбу этого несчастнаго молодаго челоуька и ваши добродѣтели, извѣстныя всей Европѣ, и ваиа медицинская слава...» — Софія остановилась, отецъ продолжалъ...

— «Заставили насъ рѣшиться... Эдуардъ былъ вчера у васъ. Софія требовала настоятельно, чтобы онъ посовѣтовался съ вами и мы видѣли, какъ онъ вошелъ къ вамъ и какъ ушелъ... Скажите, сдѣлайте дружеское одолженіе, какого рода его болѣзнь; можно ли надѣяться на скорое выздоровленіе? Мы нарочно за этимъ пріѣхали. Софія взяла отпускъ и весьма много теряетъ; черезъ семь, восемь дней надо воротиться, исполнить ангажементъ, заключить новый контрактъ; я противъ этого; но все зависитъ отъ Эдуарда...»

Я рассказалъ имъ о нашемъ свиданіи; добрая

Софія смѣялась сквозь слезы; отецъ хохоталъ... Не прошло еще впечатлѣніе моего разсказа, какъ вошелъ Эдуардъ.

— «Хорошъ! хорошъ!» — сказалъ отецъ: «Такъ-то ты исполнилъ приказаніе Софіи. Посовѣтовался съ господиномъ докторомъ. Славно! Славно!»

Эдуардъ смѣялся.

— «Упрямство, Эдуардъ!» съ чувствомъ сказала Софія.

— «Да помилуйте! Непременно хотятъ меня сдѣлать больнымъ, когда я совершенно здоровъ; виновать ли я, что Богъ мнѣ далъ такую большую наружность, а въ существѣ я совершенно здоровъ...»

— «Разсказывай!..» подумалъ я и примолвилъ: «Молодой человекъ! Вашъ вчерашній разговоръ обнаруживалъ расстройство нервъ...»

— «Отъ музыки, господинъ докторъ...»

— «Отчего бы то ни было и, съ помощію Божіею, мнѣ кажется, я васъ вылечу...»

Истерическій смѣхъ овладѣлъ Эдуардомъ; онъ упалъ въ кресла и хохоталъ..

— «Если такъ...» вставъ, сказалъ я съ жаромъ: «я васъ вылечу насильно...»

Эдуардъ не понялъ меня, испугался и очень подробно началъ доказывать, что онъ совершенно здоровъ.

— «Это не доказательства...» сказалъ я уже съ умышленною строгостію: «Нѣтъ, я вамъ поверю, когда по утру найду васъ за рабочимъ столикомъ,

за обѣдомъ въ обществѣ вашихъ добрыхъ друзей, вечеромъ въ театрѣ.»

— «Въ театрѣ! Ни за что, докторъ! На первыя два условія согласенъ, но въ театрѣ ни за что!»

— «Такъ на прогулкѣ...» сказалъ я, какъ будто не замѣчая этой странности: «Только не на такихъ, какъ вы изволите дѣлать съ ружьемъ и собакой по заднимъ окрестностямъ; рано; пусть поукрѣпятся нервы. Карльсбадъ вамъ вовсе ненуженъ... Какую воду вы пьете?.. Не сочиняйте, не сочиняйте! Никакой! Я здѣсь давно...»

Эдуардъ былъ совершенно смущенъ, перепуганъ. Опустивъ голову, онъ стоялъ передо мной, какъ преступникъ, и я спынилъ воспользоваться побѣдой.

— «Я сегодня ѣду въ Дрезденъ... У васъ есть экипажъ?..»

— «Нѣтъ! нѣтъ!» закричали Мюллеры: «Онъ пришелъ пѣшкомъ.»

— «Пѣшкомъ!» прикрикнулъ я: «Съ вашими нервами! Нѣтъ, этого я не позволю. У меня покойная коляска; вы ѣдете со мной, сегодня же, сейчасъ...» И отворивъ окно, я закричалъ черезъ улицу: «Джіовани! Укладывай вещи!.. Помни за лошадьми! Когда будетъ готово, скажи!..»

— «Вы пришли пѣшкомъ...» сказалъ я, обратясь къ Эдуарду: «Поклажи бѣльшой быть не можетъ... Гдѣ вы живете?»

Онъ сказалъ.

— «Джіовани, поди сюда!» и я послалъ моего слугу за вещами Эдуарда.

— «Вотъ медикъ!» сказалъ съ восторгомъ ста-

рый Мюллеръ, надвѣвъ очки и любясь моею распорядительностію: «Ну, Софі! Мы можемъ также вхять!»

— «Батюшка!» покраснѣвъ, отвѣчала Софія: «Я хотѣла закупить карльсбадскихъ бездѣлушекъ; отвѣдать воды; вы знаете, намъ приказали сдѣлать эту повѣзку...»

— «Пустое, пустое!» сказалъ старикъ, надвѣвая парикъ и собираясь въ походъ: «Зачѣмъ скриваться? Да, г-нъ Эдуардъ! Надо умѣть цвнить Софію! Какъ только узнали, что ты въ Карльсбадъ—и мы тутъ!...» Старикъ ушелъ...»

— «Софія!» заливаясь слезами, сказалъ Эдуардъ и упалъ къ ногамъ добраго своего ангела хранителя: «Неужели для меня?»

— «Встаньте, Эдуардъ; садитесь; вотъ такъ!...»

Всѣ молчали; долго молчали; такъ долго, что первый заговорилъ отецъ; онъ возвратился со связкой разнаго рода печатокъ, игральныхъ косточекъ, марокъ, табакерокъ, выдѣланныхъ изъ осадка целебныхъ источниковъ. «Вотъ тебѣ, Софі!» сказалъ онъ, развязывая платокъ...

— «Батюшка!...» едвавнятно сказала Софія и горько заплакала. Эдуардъ вскочилъ, схватилъ меня за руку, хотѣлъ что-то сказать, но вошелъ Джіовани. — «Готово!» — и картина перемѣнилась. Вздумали прощаться...

— «Пустое, пустое! И мы сейчасъ ѣдемъ...» сказалъ отецъ.

Къ вечеру, всѣ вмѣстѣ, мы оставили Карльсбадъ.

IV.

Хотя отъ Карльсбада до Дрездена совсѣмъ недалеко; но мнѣ показалось ужъ слишкомъ близко; меня смѣшилъ пациентъ; долго ли подружиться съ сумасшедшимъ? А влюбленные — та же каста. И Эдуардъ, за карльсбадской заставой, называлъ меня *Lieber Freund*, а на половинѣ дороги папахенъ, а подвѣзжая къ Дрездену, я уже зналъ все его тайны. Сердце человеческое самая лучшая аптека, и я почти всегда туда обращаю мои рецепты.

— «Остается два часа...» сказалъ Эдуардъ: «и я увижу мой рабочій столъ, отобѣдаемъ у Мюллеровъ, ввечеру побываю у Морлаки и Тика, а завтра поутру за работу, обѣдать у Мюллеровъ... ввечеру.»

— «Въ театрѣ...» тихо шепнулъ я.

— «Условія, папахенъ! Не забывайте условій!»

— «Да почему же вы не хотите въ театрѣ?»

— «Я былъ спокоенъ, счастливъ, какъ вы...» сказалъ онъ, и я улыбнулся: «Графъ Букла, мой дядя, привезъ меня въ Ввну учиться музыкѣ; повелъ въ театрѣ; я увидѣлъ Софію Мюллеръ — и прощай счастье!...»

— «Вы, кажется, любимы? Женитесь!...» сказалъ я.

— «Она не выйдетъ замужъ, пока живъ отецъ.»

— «Такъ онъ противится вашему счастью?»

— «Совсѣмъ нѣтъ. Самый лучшій мой ходатай; теперь не больше мѣсяца, какъ пересталъ уговаривать, а прежде первое слово: здравствуй; а второе: выходи за Эдуарда...»

— «Такъ кто же вамъ мѣшаетъ?..»

— «Любовь...»

— «Какая любовь?»

— «Любовь Софіи къ отцу.»

— «Что за вздоръ?»

— «Ну, подите; увѣрьте ее, что она можетъ быть счастливой супругой и вполне, какъ и прежде, обожать своего старика. Я ревновать не буду... Что онъ по прежнему можетъ заботиться обо всѣхъ мелочахъ; выписывать ей роли; бѣгать въ магазины; поливать ея цвѣты; дѣлать съ нею репетиціи... Она меня любитъ; и что досадно, говорить это всѣмъ и каждому. Любитъ!.. Но согласитесь, что такая любовь пытка... Нѣтъ отца, — я первый человекъ въ свѣтѣ; она не скрываетъ чувствъ своихъ; ревнуетъ; даетъ выговоры; сердится за каждое неловкое слово; вышиваетъ для меня подушки, вяжетъ кошельки, пишетъ ко мнѣ стихами самыя нѣжныя посланія... Когда мы бесѣдуемъ одни, она всякій разъ спрашиваетъ съ досаднымъ простодушіемъ: «Не правда ли, Эдуардъ, мы счастливы?..» Ну, сами посудите, какъ тутъ съ ума не сойти!.. Хорошо! Мы счастливы. Вошелъ отецъ и всѣ работы и я въ сторону; одинъ другому въ глаза глядятъ: только о томъ и думаютъ, какъ бы другъ другу удивить пріятною нечаянностію. — Разойдутся: ея нѣтъ; старикъ плачетъ и благодаритъ небо за несравненную дочь. Уйдетъ онъ; Софія плачетъ и молится, чтобы Господь продлилъ жизнь единственнаго отца, единственное ея блаженство! Какъ тутъ

съ ума не сойти! Помилуйте, какъ тутъ съ ума не сойти! Теперь вы видите, что я былъ правъ, когда въ первый разъ съ вами совѣтовался... И непременно исполню мое намѣреніе. Въ Прагу! Женюсь! Дядя доставитъ мнѣ мѣсто капельмейстера, и я кое-какъ буду счастливъ... Дрезденъ... Дрезденъ... Четверть часа, и я увижу Софію!.. Вонъ домъ ея... Видите, видите, она на балконѣ, она ожидаетъ меня!..»

— «Ну...» подумалъ я: «далеко до Праги!»

ДРЕЗДЕНЪ.

I.

«Представьте мой ужасъ, когда я прочиталъ вашу записку, маркеза! — Вы не могли остаться въ Дрезденѣ одного дня, а полагали пробыть недѣлю... Догнать васъ я не видѣлъ ни какой возможности... Огорченіе было слишкомъ сильно, и я... не могу, маркеза, буду искрененъ, — я захворалъ. Дрезденскіе врачи, узнавъ о моемъ приездѣ, навѣстили меня и очень кстати; я нуждался въ ихъ помощи, потому что самъ не могъ уже здраво разсуждать о моей болѣзни... На другой день, я былъ уже на ногахъ и на строгой діетѣ; на третій посетилъ меня Эдуардъ и старикъ Мюллеръ; я обѣщалъ завтра придти къ нимъ обѣдать.

Прихожу; общество гостей было довольно многочисленно; поэты, музыканты, графы, актеры, путешественники тѣснились около очаровательной хозяйки; отецъ и Эдуардъ хлопотали около стола

и первые встретили меня. «Что это у васъ сегодня?» спросилъ я... «Среда, дорогой докторъ; каждую среду добрые друзья собираются вмѣстѣ съ нами хлѣба соли откушать, а потомъ вы увидите... Софи!» сказалъ отецъ, вводя меня въ гостинную... «Докторъ Сильвіо да Теста.»

«Я не славолубивъ, но признаюсь, уваженіе людей, пользующихся въ свою очередь заслуженною извѣстностью — лестно даже для Россіи. Общество избранныхъ поднялось съ мѣста; Софія прежде всѣхъ; послѣ привѣтствій и сожалѣній о моей болѣзни, меня, какъ будто старшаго гостя, усадила Софія возлѣ себя; за обѣдомъ мнѣ предложено первое мѣсто; въ разговорахъ болѣею частью относились ко мнѣ, стараясь ъсколько возможно одѣлать пріятнѣе и занимательнѣе затрапезную бесѣду. Я восхищался умомъ и познаніями собесѣдниковъ, но болѣе всего удивляли меня чинность, порядокъ, хладнокровіе въ опорахъ. Въ гостинной пошелъ разговоръ о Шекспировой драмѣ: Король Лиръ; старичекъ совѣтовалъ Софіи — дать въ свой бенефисъ эту прекрасную пьесу.

— «Я поставлю ее...» продолжалъ старичекъ: «дѣликомъ, какъ она написана. Не люблю сокращеній, передѣлокъ и всегда спорилъ объ этомъ съ Гете. Конечно, ему и книги въ руки. Онъ, можетъ быть, и не совсѣмъ испортилъ Шекспира. Но примѣръ соблазнителенъ. Наши безчисленные переводчики, плохо разумя англійскій языкъ, еще менѣе духъ и особенности генія Шекспира, уродуютъ самыя лучшія, самыя превосходныя его созданія. — Возь-

мите драму, какъ она есть; возьмите любой переводъ; каждый имѣетъ свои достоинства; по мнѣ въ вѣрнѣе другихъ Бенда; сыграйте Корделию, и конечно слава ваша не возрастетъ, но умножится репертуаръ нашего наслажденія.»

— «Она и такъ уже разыгрываетъ эту глупую ролю...» сказалъ кто-то позади меня. Я оглянулся, то былъ Эдуардъ — и какъ-то страшно горѣли глаза его... Софія сидѣла въ глубокой задумчивости; другой старичекъ подошелъ къ ней.»

— «Рѣшайтесь!» сказалъ онъ: «Послѣдній бенефисъ такъ близокъ; Король Лиръ, или Юганна д'Аркъ, или Отецъ и Дочь...»

— «Ни за что не позволю!» закричалъ отецъ Софіи: «Терпѣть не могу этой піесы.»

— «За что, г. Мюллеръ? Да это одинъ изъ триумфовъ вашей дочери...»

— «Покорнѣйше благодарю! Выбросьте начало и я согласенъ.»

— «Это невозможно!» сказалъ первый старичекъ: «Раупахъ разсердится; и подѣломъ; да и я не позволю себѣ перемѣнить запятой въ чужой піесѣ. И что худаго въ началѣ?»

— «Помилуйте! Припомните! Піеса начинается словами: Миссъ Мюллеръ скончалась.»

Всѣ захохотали.

— «Смѣйтесь, смѣйтесь!» продолжалъ отецъ Софіи; какъ услышалъ первый разъ это проклятое начало, такъ морозъ и заходилъ по всему тѣлу... Во второй разъ волоса встали дыбомъ; въ третій,

вы знаете, Софи не играла этой пьесы и играть не будетъ... Не будешь, Софи?..»

— «Батюшка! Вы не любите пьесы, и я ее ненавижу...»

— «Благодарю тебя, мой другъ; такъ послѣдуемъ умному совѣту: возьмемъ Лиру.»

— «Нѣтъ, батюшка, нѣтъ! Есть роли, которыхъ не снесутъ многіе...» сказала Софія и съ улыбкой взглянула на Эдуарда.

— «Благодарю, Софи!» шептала Эдуардъ: «Любовь Корделии къ сумасшедшему Лирѣ убьетъ меня.»

— «Такъ Юганну...»

Поспорили, ничѣмъ не рѣшили и разошлись.

—

II.

Меня удержала Софія; было не рано; театра въ этотъ день не было; я охотно остался и мы усѣлись.

— «Какъ хочешь, Софи!» сказалъ отецъ: «а Юганны и я не хотѣль-бы.»

— «Отъ чего, батюшка?..»

— «Отъ того, что роль слишкомъ велика, слишкомъ трудна; какого требуетъ напряженія; тянется часа четыре, а Корделия — вся роль три отрывочки.»

— «И какъ легка, батюшка! Чувство ея мнѣ такъ близко...»

— «Софи, ангель мой! — и такъ Король Лиръ...»

— «А что скажетъ Эдуардъ, батюшка?..»

— «Послушайте, дѣти мои! Пора кончить эту комедію. Послѣ бенефиса свадьба! Онъ человекъ свободный; я имѣю согласіе графа: онъ можетъ вздѣть съ женою по всей Европѣ; путешествіе и ему послужитъ въ пользу; познакомится съ Мейерберромъ; онъ теперь пишетъ для Парижа какую-то оперу; съ Мендельсономъ—Бартольди, съ Гуммелемъ; мы поѣдемъ въ Варшаву, тамъ Эльснеръ; будемъ и въ Петербургъ, тамъ Мауреръ, а можетъ быть Фильдъ; тамъ есть хорошій драматическій театръ, тамъ г-жа Бауеръ... Не правда-ли?»

— «Какъ угодно, батюшка!» отвѣчала Софія Мюллеръ, глядя на отца со слезами, какъ-будто прощаясь съ нимъ на вѣки:» Какъ угодно; воля ваша; не знаю, къ чему свадьба; мы такъ счастливы нашею прекрасною любовью; мы такъ молоды; я боюсь свадьбы. Корделія, ты бы не умерла, еслибы отецъ тебя не согналъ съ глазъ своихъ, не отлучилъ отъ сердца, не спынилъ замужствомъ и раздѣломъ царства!.. Какъ угодно, какъ угодно...»

— «Господи Боже мой, Софи!» сказалъ отецъ: «Мнѣ ничего не угодно. Воля твоя! Что я? За со-вѣтъ сердиться нельзя... Какъ хочешь, какъ хочешь... Ну, мы еще поговоримъ объ этомъ... Не ушывай, Эдуардъ! Докторъ, помогайте намъ; конечно, упрямотво, не могу-ли не считать себя блаженнѣйшимъ отцемъ въ этомъ мѣрѣ!»

— «Батюшка!..» и Софія плакала на груди истинно превосходнаго отца.

III.

— «Вы слышали? Вы видѣли?» сказалъ Эдуардъ уже на улицѣ, удерживая меня за руку...

— «Странно, непонятно!» отвѣчалъ я... «Это болѣзнь! Ни капли благоразумія!.. Но, Эдуардъ, къ чему нетерпѣніе?.. Согласитесь, во всякомъ случаѣ исторія кончится свадьбою!»

— «Никогда, докторъ! Никогда! Я знаю чѣмъ вырваться изъ этого ада самаго нестерпимаго блаженства... Третій годъ, третій годъ!.. Виновать ли я, что глаза мои впали, лобъ изморщился, губы высохли, сонъ не хочетъ освѣжать меня иногда двѣ, три ночи сряду... Ради Бога, виновать-ли я? Докторъ, я не пойду домой! Въ грустномъ одиночествѣ, Богъ знаетъ, что приходитъ на умъ. Я боюсь моего ружья, боюсь бритвы, крутой выпивки моей кельи... всего, гдѣ является возможность смерти.»

— «Пойдемъ ко мнѣ!» сказалъ я...

— «Но вамъ нуженъ сонъ.»

— «Наше ремесло и бессонница — сосѣди; вы больны, а я вашъ медикъ и другъ...

— «А можетъ быть и душеприкащикъ.»

Сказавъ это, онъ такъ стиснулъ мою старую руку, что у меня слезы на глазахъ показались и пошелъ не со мной, а за мной безмолвно, грустно, опустивъ голову и руки.

Я поподчивалъ Эдуарда медицинскимъ чаемъ и онъ уснулъ въ креслахъ. — Просыпаюсь, гляжу, Эдуардъ что-то читаетъ съ особеннымъ любопытствомъ. Дрезденскіе врачи нанесли мнѣ множество

медицинскихъ книгъ своего издѣлія. Подымаюсь— въ рукахъ Эдуарда — Токсикологія, доктора С., глупѣйшая книжонка, которая однакоже надѣлала въ Германіи между профанами много шума, по занимательности анекдотовъ, въ которыхъ описаны дѣйствія отравъ. Примѣтивъ, что я проснулся, Эдуардъ торопливо бросилъ книжонку и сталъ ходить скорыми шагами по комнатамъ: ни слова не могъ я отъ него добиться; наконецъ онъ взялъ шляпу. «Прощайте, докторъ!» сказалъ и ушелъ...

IV.

Надо собираться въ дорогу; жаль мнѣ было новыхъ друзей; но я помочь не могъ. Какъ же однако ухватъ, не выдавъ Софіи на сцену? И какой случай: сегодня донъ Карлосъ; она играетъ королеву; день не составляетъ счета. — Послѣ спектакля зайду къ нимъ, прощусь и уйду ночью; а теперь утро надо посвятить обязанностямъ общезжитія и отплатить внимательностью за внимательность.

Такъ разсудилъ я, съ трудомъ обошелъ моихъ братій по Эскулапу и натурально первый пригласилъ меня къ обѣду; тотъ же привѣтъ, тѣ же приглашенія у каждаго; ударило шесть часовъ, и я въ театрѣ. Подобной трагической труппы я не только не видалъ во всю продолжительную жизнь мою, но даже не воображалъ, чтобы гдѣ и когданибудь можно было собрать столько превосходныхъ драматическихъ талантовъ. Цѣлость пьесы

была сохрaнена въ совершенствѣ; самыя мадыя роли были исполнены съ невѣроятною отчетливостію и правдою; Альба, Дерма, Медина-Сидонія, все они были точно герцоги, гранды Испаніи; а на иныхъ театрахъ мадыя роли убиваютъ эффектъ, производимый игрою лучшихъ артистовъ, и оставляютъ самое неприятное впечатаніе въ душѣ зрителя. Особенно поразила меня постановка или обстановка пьесы; каждый бантикъ на бантикѣ, каждая пряжка, стулъ, подсвѣчникъ, все это было изъ Эскуріала Филипповыхъ временъ; даже картины, при нѣкоторыхъ историческихъ свѣдѣніяхъ можно было называть по мастерамъ и сочиненію. Въ этой стройной, умной, талантливой труппѣ — Софія Мюллеръ появилась какъ солнце, предъ которымъ блѣднѣли прочія свѣтила дрезденской сцены... Очаровательная мелодія дикціи; отчетливость чувства; подробность въ оттънкахъ; естественность величія... О, маркеза, я не узналъ Софіи; мнѣ казалось, что Елисавета Валуа сама на сценѣ! — Превосходно вела она свою ролю до четвертаго акта; именно до свиданія съ маркезомъ Позой, когда онъ взялъ уже подъ стражу Донъ Карлоса; но здѣсь она вышла блѣдная, дрожащая; весь испанскій колоритъ исчезъ; играла Софія Мюллеръ, играла дурно, ошибалась въ стихахъ, и едва, едва окончила сцену... Въ антръ-актѣ толкамъ не было конца; я боялся бунта, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ; въ пятомъ актѣ еще хуже... Кончилась пьеса и публика разошлась въ безмолвномъ уныніи; какое-то предъзвѣстіе го-

ворило, что Дрезденъ болѣе не увидитъ очаровательной королевы... Я бросился прямо въ квартиру Мюллеровъ; они еще не прѣзжали изъ театра; проходитъ доброе полъ-часа; нѣтъ и нѣтъ. Что бы это могло значить; колокольчикъ; вѣрно прѣехали; бѣгу выскать съ слугой на встречу; двери отворяются, и на лестницу ползетъ Эдуардъ; ползетъ, царапается съ ступеньки на ступеньку... «Что королева?» спросилъ онъ такимъ голосомъ, что у меня вся жилка задрожала.

— «Неужели, подумалъ я, Эдуардъ кошелъ по слздамъ Гофманна! Ради Бога, что съ вами?..»

— «Докторъ! докторъ! Я не могъ сносить долее...» отвечалъ онъ дрожащимъ голосомъ; «Я счастливъ; сдержите слово, будьте моимъ душеприкащикомъ; у меня на столѣ письмо и двѣ написанныя симфоніи; въ В-dur отощлите графу, недоконченную въ H-moll—моей Софіи...»

— «Что вы сдѣлали, отвечайте скорѣе? Я вижу, еще можно спасти васъ...»

— «Не смѣйте!» закричалъ онъ неистово...

— «Онъ здѣсь! Онъ здѣсь!» раздался голосъ Софіи... Отецъ и дочь вбѣжали и бросились къ несчастному...

— «Нѣтъ... Нѣтъ... онъ умеръ... Токсикологія... страница... Благодарю!..» были послѣднія слова Эдуарда; онъ скончался на моихъ рукахъ; Софія и старикъ Мюллеръ безъ слезъ и словъ стояли, сложивъ руки надъ трупомъ; люди плакали...

V.

Чувства Софіи помутились; ее подхватили и унесли въ спальню; отецъ за нею. Распорядясь по моей части, я принялся за мертвеца, и съ помощью Джіовани и добраго слуги Мюллера вступилъ въ права и обязанности душеприкащика. Все происходило на моей квартирѣ; я позвалъ врачей, полицію, вскрылъ трунъ, и освидѣтельствовавъ желудокъ полувоспаленный, полубѣгътый уже антоновымъ огнемъ, я нашель, съ помощью аптекарей, около драхмы мышьяку.

На другой день похоронили мы Эдуарда. Добрые мои знакомые ревностно мнѣ помогали. Отдавъ послѣдній долгъ несчастному, я прямо отправился къ Мюллерамъ; отецъ ходилъ по комнатамъ и курилъ трубку...

— «Чудеса, докторъ!» сказалъ онъ.

Я пожалъ плечами.

— «Сдѣлайте милость...» продолжалъ онъ: «не упрекайте Софіи, она съума сойдесть; если можно, постарайтесь оправдать... Тсъ! Тине! она идетъ...»

Софія, вся въ черномъ, блѣдная, съ заплаканными глазами вошла въ гостинную; въ рукахъ письмо и еще какая-то бумага.

— «Докторъ!..» сказала она, увидавъ меня, и зарыдала...

— «Я предвидѣлъ несчастіе...» сказалъ я: «но предупредить не было возможности; онъ лишился разсудка — отъ музыки; настоящая причина заключается именно въ непомѣрномъ напряженіи музыкальныхъ органовъ; я нашель ихъ въ совер-

менномъ разстройствѣ, а въ письмахъ и журналѣ его—отразились все муки человѣка, который не могъ вдругъ возвыситься на равную съ вами степень славы...» Я еще что-то лгалъ, но Софія не вѣрнула...

— «Не оправдывайте меня! Молю васъ, не оправдывайте! Передъ четвертымъ актомъ я получила это письмо. Прочтите!..»

Я прочелъ почти слѣдующее:

«Нѣтъ, Софія! Счастье мое невозможно, или ваше должно разрушиться. Бѣжать отъ васъ?.. Я бѣжалъ, но недалеко... Теперь бѣгство и жизнь уже невозможны. Я не пугаю васъ своею смертію; вы бы презрѣли такія средства. Нѣтъ, я умираю!»

— «Батюшка!» вставъ, съ рѣзительностію сказала Софія: «Хотите спасти меня? Уведемъ отсюда; бросимъ бенефисъ! До него ли теперь?..»

— «Богъ съ нимъ!» сказалъ отецъ, взявъ шляпу и пошелъ; на другой день еще разъ вмѣстѣ мы пустились въ дорогу.

В ъ Н А.

I.

Скоро мы разстались съ добрыми Миоллерами; они поѣхали въ Вѣну, а я въ Прагу, гдѣ познакомился съ графомъ Буклой, попалъ въ музыкальную исторію, которая стоитъ вашего вниманія, но не сегодня; она меня задержала въ Прагѣ лишніихъ двѣ или даже три недѣли; наконецъ и я пріѣхалъ въ Вѣну. — Посѣтивъ старыхъ

знакомцевъ, я разузналъ, гдѣ живутъ Мюллеры и вечеркомъ отправился къ нимъ. — Квартира ихъ была въ самомъ лучшемъ мѣстѣ города; у крыльца горѣли фонари, стояли кареты; весь этажъ былъ освѣщенъ. — «Середа!» подумалъ я; точно была среда; въ сѣняхъ остановилъ меня швейцаръ въ придворной ливреѣ.

— «Что вамъ угодно?» спросилъ онъ.

— «Здѣсь живетъ г. Мюллеръ?»

— «Здѣсь живетъ госпожа Софія фонъ Мюллеръ, Worlesertn! Какъ бы это перевести? La Lettrice, чтица, что ли, Ея Императорскаго Величества, съ отцемъ своимъ.»

— «Его-то мнѣ и нужно.»

— «Позвольте! Надо доложить. У васъ нѣтъ билета?»

— «Какого билета? Я сегодня пріѣхалъ въ Вѣну.»

— «А, извините, милостивый господинъ! Позвольте, сейчасъ!»

Раздался колокольчикъ; съ периль лѣстницы на верху перевѣсилась голова придворнаго лакея...

— «Не угодно ли сказать вашъ чинъ, санъ, имя, фамилію?...»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» сказалъ я съ неудовольствіемъ.»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» заревѣлъ лакей....»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» раздался отдаленный ревъ — и не прошло мгновенія, какъ на

верху лестницы показался самъ старикъ въ щегольскомъ нарядѣ.

— «Милости просимъ!» кричалъ онъ сверху: «Милости просимъ, мы васъ поджидали, и потеряли надежду васъ видѣть!»

Вхожу: рядъ комнатъ, пышно освѣщенныхъ; въ каждой карточные столы; игроки хранили мудрое молчаніе; мы прошли въ залу; тамъ молодежь кружилась въ шумномъ вальсѣ; что ни женщина, то красавица; что ни нарядъ, карриатура; Въна имѣетъ свои моды; люблю я эту независимость, но люблю и вкусъ; а добрая, веселая Въна вкусомъ щегольнуть не можетъ.... «Гдѣ же хозяйка?» подумалъ я. Старикъ какъ будто угадалъ мой вопросъ.

— «Софія сейчасъ пріѣдетъ; она у Императрицы. Вы не узнаете ее, добрый докторъ, какъ, я думаю, не узнали нашего дома. Я раззоряюсь; выдумываю ей разсыянье; стараюсь поселить страсть къ чему нибудь; напрасно; напрасно; все унесъ съ собою Эдуардъ.»

— «Повѣдемъ въ Италію, ко мнѣ, въ Комо!» сказалъ я: «Природа лучше всего лечитъ раны человѣческаго сердца....»

— О, еслибы только она согласилась! Императрица не откажетъ ей; она любитъ ее какъ дочь; Софи каждую недѣлю читаетъ Ея Величеству; Государыня, замѣчая грусть Софи, зоветъ ее довольно часто, вотъ и сегодня прислала неожиданно, и Софи такъ обрадовалась, и обнаружила, что эти вечера для нея въ тягость. Баста! Больше не

дамъ ни одного вечера. Представьте, она танцевала до перваго часа, полагая, что дѣлаетъ этимъ удовольствіе мнѣ, а я, дуракъ, раззоряюсь, воображая, что это сколько нибудь пріятно ей.»

— «Добрыя чудаки!» подумалъ я.

— «Впрочемъ, докторъ, она васъ очень любить.— Узнайте, такъ, стороною, не сердится ли она на меня? Въ цѣломъ городѣ не нашелъ. Ей Богу, не нашелъ! Третьяго дня, возвратясь отъ Императрицы, она съ особеннымъ удовольствіемъ рассказывала, что за ужиномъ подавали какія-то большія испанскія сливы, ужасной величины и превосходнаго вкуса, и жалела, что приличіе не позволяло спрятать сливу въ мышекъ и привезти мнѣ въ гостинецъ. Вы можете себя представить: я обошелъ все лавки; нанялъ карету; объѣхалъ сады; сливъ не нашелъ.... Впрочемъ, она можетъ быть сердится и за то, что я до сихъ поръ не замѣтилъ.... право не могло притти въ голову. . у меня есть любимый ящикъ, въ которомъ помѣщаются мои шахматы и шахматная доска; перевернуть — трикъ тракъ; поставить бокамъ — письменный столъ; на другую сторону — покойный табуретъ; сверхъ того тамъ множество разныхъ бездѣлушекъ. — Я всегда любовался, въ какой чистотѣ любезный мой Іоганнъ содержитъ все мои вещи, въ особенности этотъ ящикъ. Никогда ни пылинки и вчера, оборачивая его для письма.... — надобно было выписать для Софи ролю.... — не могъ не сказать спасибо Іоганну. «Чужаго на себя не возьму, отвѣчалъ слуга; это ваша дочь распо-

ряжается, пока вы спите, и мы съ Фрицомъ не смѣй этого ящика пальцемъ тронуть....» Представьте, а мнѣ и въ голову этого не приходило! — «А какъ теперь на нее, продолжалъ Юганнъ, бессонница находить, то нерѣдко, гляжу сквозь щелку, цѣлую ночь кабинетъ вашъ убираетъ; уберетъ и садится за столъ, пиветъ, потомъ вымоетъ, оботретъ перо, а бумагу съ собой уноситъ, и когда вы встанете, она будто спитъ, а совсѣмъ не спитъ, потому что Гретхенъ слышитъ и видитъ, что не спитъ.» Зачѣмъ же вы этого не говорите? сказалъ я.... Юганнъ перепугался и началъ умолять меня, чтобы я Софи ни слова не сказывалъ, а то она на нихъ будетъ сердиться. Я общалъ. И ей Богу, самъ не знаю, что дѣлать? Помогите, докторъ! Сдѣлайте милость, помогите! Она васъ такъ любитъ...»

— «Счастливецъ!» сказала маркеза....

— «Дослушайте, дослушайте!...»

Не помню, что еще говорилъ Мюллеръ; вдругъ стукъ кареты прервалъ нашъ разговоръ.

— «Пойдемъ, побѣдимъ!» сказалъ онъ: «Софи пріѣхала.»

Хотя въ наши лѣта бѣгать не приходилось, однако же мы другъ отъ друга не отстали и успѣли встрѣтить Софию на лѣстницѣ....

— «Докторъ, докторъ!...» съ трепетомъ сказала она, и чувства ея помутились; мгновенное волненіе; она отдохнула на лакейской скамьѣ, и мы ввели ее въ комнаты, съ обѣихъ сторонъ однако же поддерживая....

Да! Точно ее трудно было узнать! Не тѣ глаза, тусклые, покрытые несходной слезою; не та уже близна мраморнаго чела; морщинки... морщинки въ такія раннія лѣта; въ поступи — изнеможеніе; въ лицѣ выраженіе тайной боли, страха; изрѣдка легкой канель; то жаръ, то холодъ въ рукахъ и приметное измѣненіе въ формѣ пальцевъ.... «Плохо, плохо!» подумалъ я Когда она оботшла всѣхъ гостей, всѣхъ одарила ласковымъ привѣтомъ, пріятнымъ словомъ, нарушила въ комнатахъ карточную тишину, а въ залѣ прервался вальсъ и музыка затихла.... О, въ этомъ появленіи Софи было что-то торжественное, величественное и трогательное! Не знаю, почему мнѣ было жаль Софіи. «Не долго она съ вами пробудетъ...» говорило мнѣ сердце. Она подошла ко мнѣ: «Пойдемъ, докторъ, присядемъ, давно мы съ вами не видѣлись.» Мы усѣлись; съ одной стороны я, съ другой отецъ.

— «Что, Софи, какъ здоровье Вя Величества?»

— «Ахъ, батюшка, я и забыла; Государыня приказала вамъ поклониться. Какъ только я вошла, тотчасъ спросила о вашемъ здоровьи.»

— «Добрая Императрица!» со слезами сказалъ старикъ: «Этой честию, этимъ счастіемъ я обязанъ тебѣ.» И поцѣловалъ ея руку

Софія, прижимая руку отца къ устамъ, тихо сказала: «Всѣмъ, всѣмъ, кромѣ моихъ глазностей и недостатковъ, я обязана вамъ, батюшка...»

— «Что же вы читали сегодня?»

— «Новые стихи Гёте и еще письмо какого-то остряка....»

Софи закашлялась довольно сильно.

— «Что съ тобой, Софи?» поблѣднѣвъ, спросилъ отецъ.

— «Насморкъ.... Пустяки....»

— «Постой! Чего нибудь сладкаго.... «сказалъ Мюллеръ, и поблѣжалъ изъ залы....»

— «Не пустяки...» сказалъ я: «и не насморкъ...»

— «Вы знаете! Ради Бога, не говорите башку. Я лечусь, и лечусь очень старательно; но заклинаю васъ....»

Поднеслъ отецъ съ подносомъ фруктовъ.

— «Вотъ, другъ мой, чего хочешь?....»

— «Позвольте, батюшка!...» вставъ и схвативъ подносъ, сказала Софiя....»

— «Сиди, сиди, занимай дорогогаго гостя, а ужъ хозяйничать я буду....» отвѣчалъ старикъ и опять ушелъ.

— «Перестаньте танцевать!» сказалъ я: «На время перестаньте играть на театрѣ и читать Ея Величеству.... Я въ свою очередь заклинаю васъ....»

— «Да еще нѣтъ ничего опаснаго....»

— «Долго ли до бѣды?....»

— «Въ пятницу, послѣ завтра, въ послѣднiй разъ, докторъ, и потомъ не буду играть съ мѣсяцъ; какъ нибудь отвѣлаюсь.»

— «Нельзя ли не играть и въ пятницу?»

— «Корделию, докторъ, самая легкая роль....»

— «А потомъ?...»

— «Потомъ, слово — играть не буду...»

—

II.

Непокойно провелъ я ночь послѣ нашего свиданія; но неумолимый Джіовани рано разбудилъ меня докладомъ, что кто-то болѣе часа ожидалъ моего пробужденія; я всталъ, входитъ незнакомецъ весьма красивой наружности.

— «Имѣю честь себя рекомендовать, докторъ Фроли...»

— «Добро пожаловать!.. Вѣрно съ книгою...» подумалъ я. Въ Германіи докторъ рѣдко знакомится безъ книги; едва уснѣетъ кончить курсъ наукъ, и пишетъ книгу. Похвальное усердіе, но какво же намъ, ветеранамъ, которые прочитали все, что только дѣльнаго прочитать можно; какво намъ, не говорю критически разсматривать, нѣтъ, а только перелистывать эти зеленые листки растеній, которымъ такъ далеко до цвѣта! На этотъ разъ я неприятно ошибся; ужъ лучше бы принесъ онъ диссертацию о томъ, какъ сохранять ногти, нежели... Но слушайте, слушайте!..

— «Вчера...» такъ началъ онъ: «имѣлъ я счастье васъ видѣть въ домъ г-на Мюллера и замѣтилъ дружескія отношенія ваши съ хозяйкой... Положеніе мое-самое неприятное, г. Теста... Я лечу— Софію...»

— «Ради Бога!» сказалъ я поднимая кресла: «Что съ нею?..»

— «По моимъ наблюдениямъ она очень опасна...» Онъ пересказалъ мнѣ всѣ признаки болѣзни, но весьма сбивчиво. Мнѣ показалось, что у бѣдной Софїи десять разныхъ недуговъ и эта дорогая жизнь въ рукахъ врача неопытнаго, и кажется весьма плохаго... Надо пойти, посмотреть, не откладывая: можетъ быть Богъ и опытность мнѣ помогутъ.

— «Видите, господинъ Теста!» прервалъ онъ мои размышленія: «Я влюбленъ въ дѣвицу Мюллеръ! — Когда я открылся въ любви, она отвѣчала: есть важное препятствіе; я больна; вылечите, тогда подумаемъ; но вылечите такъ, чтобы батюшка не могъ имѣть малѣйшаго подозрѣнія о моей болѣзни. Я должна играть на театрѣ, читать Императрицъ...»

— «И вы позволили?» сказалъ я съ неудовольствіемъ.

— «Слѣзная любовь!.. Я надѣялся...»

— «Пойдемъ!» сказалъ я...

— «Что вы хотите дѣлать?..»

Я не отвѣчалъ; я видѣлъ, что съ нимъ мнѣ говорить нечего; взявъ шляпу и пошелъ къ Мюллерамъ. Прихожу. Дома нѣтъ; на репетиціи...

Прихожу ввечеру; у Императрицы, а г. Мюллеръ куда-то поѣхалъ, никто не знаетъ...

Я зашелъ къ одному знакомому врачу, который жилъ въ той же улицѣ и возвращаясь, опять завернулъ къ Мюллерамъ.

— «Дома?»

— «Дома. Но легли спать!»

— «Спать?»

— «Спать!» заикаясь отвѣчалъ Іоганнъ. — Я вспомнилъ разсказъ старика.

— «Не правда! Она въ кабинетъ, сказалъ я.

— «Какъ вы это знаете?» спросилъ Іоганнъ, по-блѣднѣвъ.

Мнѣ хотѣлось видѣть Софію одну; случай самъ представился и я отвѣчалъ:

— «Знаю, потому что она меня ожидаетъ... Пойдемъ.»

— «Это ты, Іоганнъ?» отирая перо, спросила Софія...

— «И не одинъ... Докторъ Сильвіо да Теста хочетъ васъ видѣть...»

— «Постой, я надѣну платокъ...

— Не безпокойтесь, Софія! Наше свиданіе, даже въ такую пору и при такихъ странныхъ обстоятельствахъ, не можетъ повредить вамъ. Пожалуйста вану руку.. Садитесь, намъ надо переговорить...»

— «О чемъ, докторъ?..» съ примѣтнымъ испугомъ спросила Софія.

— «Вы больны и больны не хорошо.»

Я разсказалъ ей свиданіе съ Фроли и мои опасенія...

— «Теперь судите, дорогая Софія, могъ ли я откладывать наше свиданіе; разскажите мнѣ подробно, какъ вы себя чувствуете?..»

Съ каждымъ вопросомъ опасенія мои возрастали... Перо попало въ руки мои больше по привычкѣ, нежели отъ умысла; бумага лежала на столѣ и я написалъ коротенькую записку: «Дѣ-

вица Мюллеръ завтра играть не можетъ, по причинѣ болѣзни. Сильвіо Теста...»

— «Что вы, что вы, докторъ! Лучше умру, нежели обману Императрицу. О! лучше три раза умру, нежели огорчу добраго отца моего!..»

— «Такъ умрете, умрете непременно и скоро. И не огорчите, а убьете вашего родителя!

— «Докторъ! Но посмотрите ролю, посмотрите!»

Я удивился... Всего три странички!

— «Какъ вы должны быть одѣты?» спросилъ я.

— «Какъ хочу. Времена баснословныя...»

— «Платье съ фрезой на шеѣ, и длинными рукавами; теплыя ботинки, на головѣ ничего; слышите ли?»

— «Слушаю.»

— «Послѣ спектакля въ постель и — вотъ это лекарство; черезъ часъ по двѣ столовыя ложки или полъ-чайки; пока не уснете, каждый часъ принимайте. Послѣ завтра я приду въ свое время: А теперь Юганнъ пойдетъ со мной, мы зайдемъ въ аптеку и я пришлю вамъ — сонъ, котораго вамъ искренно желаю...»

— «Но батюшкѣ, ради Бога, ни слова!..»

— «Завтра ни слова...»

— «И послѣ завтра, и послѣ...»

— «Сладимъ, сладимъ!.. Спокойной ночи!..»

— «Боже мой! Кажется, батюшка идетъ!..»

Софія со свѣчкой исчезла... Юганнъ спряталъ меня въ своей комнатѣ; вдругъ я вспомнилъ, что на столѣ записка и рецептъ — и Юганнъ отправился снова въ кабинетъ. Едва успѣвъ онъ схватить наши тайныя бумаги, вошелъ старикъ...

— «Это ты, Юганнъ?»

— «Я...»

— «Кажется, здѣсь громко говорили?»

— «Это я сердился на Франца, что осенью окна не заперъ, и вътеръ чуть не разбилъ...»

— «Прощай, Юганнъ! Слава Богу...» сказалъ Мюллеръ, уходя: «Это не она...»

Мы вышли изъ дома... Дорогой Юганнъ безпрерывно повторялъ съ глубокимъ вздохомъ: — «Jesus Maria! Въ первый разъ въ жизни я обманулъ моего друга!»

III.

Вся Вѣна стояла у театра, и съ билетомъ трудно было протѣсниться. «Добрая Вѣна! Жаль мнѣ тебя, Вѣна!» подумалъ я. Говорите послѣ этого, что люди лишены инстинктуальныхъ предчувствій; животныя задолго предчувствуютъ изверженіе Везувія и заблаговременно удаляются; птицы, еще очень тепло, а уже тянутся къ югу... а люди, по крайней мѣрѣ на сей разъ, это было предчувствіе. Роль Корделии такъ ничтожна, такъ мала, такъ не развита; и вся пьеса, кромѣ одного характера Эдмунда... и то не въ началѣ... право, для меня было непонятно, какъ люди могутъ слушать мучительный, невѣрный ревъ старика, смотреть на этотъ рядъ смертей, которыхъ не пойметъ никакой медицинскій геній. Двѣ дочери изволяли лишиться себя жизни за сценой, но Лиръ на сценѣ взялъ и умеръ; Кентъ сказалъ два стиха, и

такъ, изъ угожденья Лиру, взялъ да и умеръ. Шекспиръ воспользовался привилегіей театральнаго убійства и хуже нашего брата морить людей... Въ прежніе вѣка это нравилось публикѣ, когда театръ спорилъ о первенствѣ съ травлей и охотой, но почему это понравилось Нѣмцамъ, людямъ тихимъ, спокойнымъ, — понять не могу; должны быть особенныя причины, — и размышляя о нѣмецкомъ шекспиризмѣ, я вошелъ въ театръ.

Почти въ то же мгновеніе поднялась занавѣсъ. И Лиръ не замедлил явиться, не изъ причуды, а просто изъ глупости разсердился на Корделию; конечно, такъ нужно было для дальнѣйшаго хода драмы; но Корделия совсѣмъ незащѣтчива, какъ думаетъ женихъ ея, король французскій; а Лиръ больше всѣхъ любилъ ее и не стало капли ума понять, что она говоритъ дѣло, что она дѣлаетъ честь ему, глупому отцу, за воспитаніе, которое онъ далъ этой дочери, за то, чѣмъ онъ долженъ былъ гордиться, Корделию прочь съ глазъ и съ какими проклятіями! И звѣрю-отцу они не придутъ въ голову; ихъ можно сочинить только за письменнымъ столомъ, и то не въ добрую минуту... Но какъ бы то ни было, Корделия сказала свой превосходный отвѣтъ, но какъ сказала! О! публика не знала, отъ чего она такъ сказала... Я позабылъ Шекспира, хотя горячо люблю его красоты, и кажется понимаю его недостатки; но это мѣсто принадлежитъ къ тѣмъ, которыя не легко забываются. Не знаю, буду ли я вѣренъ, но вотъ что отвѣчала Корделия: «Вы дали мнѣ жизнь,

Государь, воспитали меня... любили... Я плачу вамъ, чѣмъ долгъ велить. Люблю, почитаю и повинуюсь! Если сестры мои говорятъ, что любятъ васъ больше всего на свѣтъ, чѣмъ же будетъ для нихъ мужъ? Если судьба опредѣлила и мнѣ выйти замужъ, то кому я дамъ супружескій обѣтъ, тому подарю и половину любви моей, заботъ и обязанностей. Конечно, я никогда не выйду замужъ, единственно для того, чтобы любить только отца!»

Софія сказала это такъ, что я почти слышала продолженіе отвѣта въ сердцѣ Корделіи: «И вотъ почему я никогда не выйду замужъ!..» Кроме того, въ отвѣтъ было такъ много страданія, такъ много грусти, скорби, опасеній, что я не хуже Лира проклиналъ себя, за чѣмъ позволилъ играть Корделію... Пришла предпоследняя сцена Корделіи, когда Лиръ просыпается и на время выходитъ изъ сумасшествія... Корделія была не своя... Не много словъ въ этой сценѣ; не много дѣйствія; но она была продолжительна, слишкомъ продолжительна по чудному искусству Софіи... Когда она призывала богиню врачеванія, чтобы она устами Корделіи сообщила цѣлебныя свойства, и поцѣлуемъ хотѣла выпить изъ старика печали, испытанныя имъ отъ старинныхъ дочерей... О! въ эту минуту раскрылось въ лицѣ преображенной Софіи все небо дочерней любви; и она, и всѣ плакали... Послѣ спектакля публика еще два раза увидѣла Софію, по вызову на сцену и въ ложѣ Императрицы. «Слава Богу, кончилось!» подумалъ я: «она сдержитъ слово...» и уснулъ по-

койно... но не на долго... Будять... иду... Боже великій!.. Опасенія мои сблысь сторицей...

IV.

Сильная горячка метала несчастную; кругомъ толпа врачей; въ другой комнатъ стоны отца... Костюмъ Корделии еще на ней, но она уже играла роль Лира; сильный бредъ, слова мѣшались; то она видѣла отца въ ужасъ при своемъ гробъ; то шумную толпу, то бросала цвѣты на гробъ Эдуарда; врачи стояли и спокойно разсуждали, когда больную съ трудомъ могли удержать Фрицъ и Грехенъ... Я не могъ скрыть моего негодованія, и какъ умѣлъ, спышилъ помочь несчастной; сложность болѣзни, неизвѣстность ея оборота, успѣхи горячки, все колебало мое обычное хладнокровіе... Софія затихла.

Врачи все еще разсуждали. Я пошелъ къ отцу... У окна старикъ и Юганъ, обнявшись, рыдали; въ рукахъ Мюллера моя записка... Оба бросились ко мнѣ и цѣловали руки. Я съ умысломъ не скрылъ опасности... Испугъ остановилъ рыданія; тогда на помощь я призвалъ надежду, хотя самъ ей не вѣрилъ... «Спасайте, г-нъ докторъ, спасайте ее! Она васъ такъ любитъ...»

— «Искусство мое слишкомъ слабо...» отвѣчалъ я: «Соберите опытнѣйшихъ здѣшнихъ врачей. Посовѣтуемся...»

Въ четвертомъ часу ночи почти всѣ съѣхались, всѣ, т. е. тѣ, которыхъ я назначилъ; толпа, найденная мною у одра больной, была не что иное,

какъ сбродъ врачей, собранныхъ на удачу испуганными людьми Мюллера. Почтенные мои собратья съ истиннымъ, неподдельнымъ участіемъ принялись за дѣло; я скрылъ отъ нихъ одного Эдуарда... Въ средствахъ мы скоро согласились, но никто не рѣшался принять на себя исключительнаго пользованія; болѣзнь, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, еще казалась излечимою, но требовала, по нашимъ соображеніямъ, слишкомъ много времени, а я никакъ не могъ остаться долѣе недѣли. Положили пользоваться Софію соборно, пока не минуетъ опасность... Врачи развѣхались... я сообщилъ Мюллеру ихъ надежды и уложивъ въ постель, сѣлъ возлѣ несчастнаго; всю ночь онъ рассказывалъ чудеса о своей Софіи; даже мысль о снѣ не приходила на умъ бѣдному... Я навѣдывался къ больной и каждый разъ приносилъ старику новую надежду... Вдругъ вбѣжала Гретхенъ... «Проснулась...» Не всегда благодаримъ мы Бога за медицинскія свѣдѣнія, но на сей разъ я не могъ удержаться отъ благодарной молитвы... *Consilium* опять собрался, остался весьма доволенъ и больною и ея навязчивымъ докторомъ... Мюллеръ сталъ покойнѣе; я воротился домой и отъ бессоницы, безпокойства и другихъ ощущеній, слегъ въ постель — и слегъ не на шутку...

—
V.

Въ болѣзни меня утѣшало и участіе вѣнскихъ врачей и добрыя вѣсти о состояніи здоровья Софіи. По рассказамъ, она быстро оправлялась; главный

недугъ, конечно, требовалъ времени, но она уже ходила по комнатамъ; отецъ читалъ ей газеты, собиралъ гостей, составлялъ музыкальные вечера и позволялъ играть только квартеты Гайдена. По его медицинскимъ понятіямъ, Бетговенъ и здороваго сдѣлаетъ больнымъ; я не большой знатокъ въ музыкѣ, особенно германской, и не знаю: правъ или нтъ старый Мюллеръ; ко мнѣ во все время болѣзни онъ не зашелъ ни раза; я и не обвинялъ его; наконецъ я выползъ изъ постели, а вскорѣ изъ дома и прямо къ Мюллерамъ. Весь домъ былъ въ волненіи; нигдѣ не могли отыскать Софіи; отецъ бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, какъ полоумный; ничего не понималъ, что ему говорили; искалъ въ шкафахъ, и не преувеличивая, въ забытѣи, отворялъ ящики въ столахъ и съ бѣшенствомъ ихъ захлопывалъ... «Вѣрно она пошла прогуляться...» сказалъ я: «Погода чудесная; конечно ей нельзя, я полагаю, осенью, въ сырость, выходить изъ дома; но можетъ быть никого не было; солнышко свѣтитъ въ окошко, греть; дай, подумала, подышу чистымъ воздухомъ...» Отецъ уже былъ на лѣстницѣ, на улицѣ, исчезъ... Люди бросились въ спальню, не нашли любимаго чернаго бархатнаго платья; не нашли теплой мантильи и ботинокъ, и брильянтоваго крестика съ золотой цѣпочкой, подареннаго Императрицей... Между тѣмъ собрались и гости, приглашенные къ обѣду; всѣ были огорчены поступкомъ Софіи; съ нетерпѣніемъ ожидали возвращенія; подъехала придворная карета: два каммергера ввели Софію подѣ руки; смертная блѣд-

ность на лицъ; дыханіе захватывало; раздался сильный, тяжелый кашель... но при всемъ томъ она была весела, счастлива и, не успѣвъ еще отдохнуть порядочно, сказала придворной дамѣ, которая вмѣстѣ съ нею пріѣхала:

— «Доложите Ея Величеству, что только одинъ Богъ можетъ наградить Государыню за такія милости, и что, безъ позволенія моей благодѣтельницы, я не съѣлаю изъ дома ни шага... Примите мою благодарность, графиня, и вы, господа, за вашу заботливость и честь...»

Опять закашлялась... Придворные увъхали. Мы окружили Софію; вбѣжалъ отецъ, растолкалъ насъ всѣхъ и остановился предъ Софіей, какъ вкопанный, сложивъ руки и не смѣя вымолвить слова.

— «Простите, батюшка, меня не пускали; я почла долгомъ позаботиться объ этомъ дѣлѣ и тихонько ушла во дворецъ...» сказала Софія и подала отцу бумагу... Онъ пробѣжалъ...

— «Мнѣ, мнѣ пенсіонъ до смерти!..» закричалъ онъ, уронивъ бумагу:» И за меня ты просила Императрицу, и за меня ты жертвовала жизнью? О, зачѣмъ я давно не умеръ!»

— «Успокойтесь, батюшка, мнѣ помогъ чистый воздухъ, мнѣ такъ легко... Садитесь, батюшка... Поговоримъ, потолкуемъ... время бѣжить... вечерѣеть... Ближе, батюшка, ближе!.. Дайте мнѣ вашу руку... Вотъ такъ! Ахъ, какъ еще хорошо и на этомъ свѣтѣ!..»

Умиленные гости, мы смотрѣли на нихъ съ любовью и горькимъ, горькимъ сожалѣніемъ.

— «Батюшка!» сказала Софія, взглянувъ на насъ:
«Не пора-ли объдать? Я всѣхъ задержала.»

— Сейчасъ, сейчасъ, мой другъ!» отвѣчалъ отецъ и побѣжалъ въ столовую... Не помню, кто-то изъ гостей, желая ли ободрить больную, или точно вѣруя въ скорое исцѣленіе Софіи, сказалъ ей:

— «Ну, слава Богу, теперь вамъ примѣтно лучше; скоро мы васъ увидимъ на поприщѣ вашихъ очаровательныхъ побѣдъ; а въ какой пьесѣ вы первый разъ покажетесь нетерпливой Вѣнъ?..»

Софія поглядѣла на всѣхъ насъ съ умоляющей улыбкой, какъ-будто хотѣла сказать: «Скажу, только не выдайте!» и шепотомъ, наклонясь къ намъ, отвѣчала: «въ драмѣ Раупака: Отецъ и дочь!»

Всѣ вздрогнули...

VI.

Ночью разбудили меня... Прихожу... Встрѣчаю одного изъ врачей. Спрашиваю...

— «Черезъ часа два, не больше..» отвѣчалъ онъ тихо... Я вошелъ въ спальню. Простите! Здѣсь я долженъ окончить рассказъ мой и задернуть занавѣсъ постелѣ моей страдальцы... Агонія продолжалась нѣсколько часовъ... Во все это время она бесѣдовала съ отцемъ и Эдуардомъ... Последнія слова ея были: «Руку! руку! Эдуардъ!.. Руку, дорогой супругъ! Навсегда! До гроба и за гробомъ! Батюшка, благословите!»

СКАЗАНИЕ

0

СИДЕМЪ ИЪ ЗЕЛЕНОМЪ СУКНѢ.

I.

ЛѢТНІЙ САДЪ.

Былъ день воскресный. Петербургскіе жители отполудничали и со всѣхъ сторонъ стекались къ Лѣтнему Саду; до тысячь лодокъ толпилось у плохой пристани, укрѣпленной сваями и фашинами. Дворецъ не былъ еще оконченъ, но вчернѣ уже возбуждалъ любопытство дѣятельныхъ горожанъ, которые цѣлую недѣлю не посѣщали Лѣтняго Сада; въ пяти тысячахъ домовъ, существовавшихъ тогда въ Петербургѣ, жильцевъ было немного, но за то лѣтомъ, въ воскресные и праздничные дни, всѣ пять тысячь домовъ, послѣ трехъ часовъ по полудни, оставались впускъ, и Лѣтній Садъ кипѣлъ самыми разнообразными толпами народа. Отъ Калинкинской до Татарской Слободы, отъ Лавры до Пряжки, изъ всѣхъ отдаленныхъ переведенскихъ слободъ, съ Васильевского Острова, изъ Французской Слободы и съ Охты, все народонаселеніе приходило, или, лучше, приплывало въ Лѣтній Садъ, слушать музыку, и гулять по указу.

Въ июнь 1711 года, хозяина не было дома. Государь былъ въ отлучкѣ, но воскресныя гулянья не прекращались. Меньшиковъ и Брюсъ строго наблюдали за исполненіемъ монаршей воли. Музыка гремѣла вдали на Царицыномъ Лугу, тогда еще покрытомъ деревьями, кустарникомъ и проѣзжими дорогами; многіе изъ важнѣйшихъ сановниковъ, съ женами и дочерьми, прогуливались въ красивыхъ одвоколкахъ, щелкали бичами, и стукомъ колесъ заглушали и сбивали неопытныхъ музыкантовъ. Капельмейстеръ изъ солдатъ, ради порядка и большей вѣрности, билъ тактъ въ огромный турецкій барабанъ; нерѣдко четверти такта считалъ по лбамъ и спинамъ неискусныхъ товарищей, отчего и самъ не всегда попадалъ въ ладъ, и отъ усердія умножалъ суматоху. Впрочемъ расположеніе къ музыкѣ такъ было незначительно, что публика обращала все свое вниманіе только на ловкость и дѣйствительность мѣръ распорядительнаго капельмейстера, да и слушателей было весьма не много... Къ дальней части сада, у Аничкиной Слободы, примыкала мазанковая австерія, съ особымъ садикомъ и низкимъ заборомъ; въ садикъ всѣ столы были обсыпаны посѣтителями; всѣ руки заняты чарками и закусками; аллеи и дорожки, направленные къ австеріи, чернѣлись отъ *любопытныхъ*. Лучшее общество сидѣло у новоначатаго грота, передъ главнымъ фонтаномъ. Молодой Графъ Растрелли спорилъ съ Леблономъ; Трецини и Маттарнови держали сторону соотечественника; Шверт-

Фегеръ и Гербель отстаивали знаменитаго Леблана... Дивное дѣло! Въ 1711 году, въ поворожденномъ Петербургѣ уже разговаривали объ изящномъ, о вкусѣ, о художествахъ... Земцовъ, слушая заморскихъ зодчихъ, улыбался и глядѣлъ съ удовольствіемъ на восторженнаго Растрелли. Молодой Графъ былъ уже по душѣ Русскимъ; обожалъ Нетра не безсознательно, съ увлеченіемъ юноши; съ сочувствіемъ гевія. На площадкѣ передъ гротомъ сидѣлъ Матвѣевъ, и писалъ съ натуры видъ Лѣтняго Сада, масляными красками. Толпа иностранцевъ составляла публику этого кружка; Русскихъ здѣсь было не много. Такъ называемый образованный классъ, но многочисленный и разнородный, тѣснился у звѣрища. Звѣри тихаго десятиа безбоязненно прогуливались по всему огромному пространству Лѣтняго Сада; особенно забавляла посетителей одна серна: она внимательно слушала музыку, вѣла и пила изъ рукъ, ласкалась къ всемъ, и вдругъ убѣгала, увлекая за собою толпу знакомцевъ. Звѣри хищнаго порядна, за высокою желѣзною рѣшеткою; сидѣли въ клеткахъ съ колесами, или были на цѣпяхъ привязаны къ деревьямъ. Италіецъ, у кого была заторгована эта небольшая коллекція, ходилъ медленно у рѣшетки, съ огромнымъ желѣзнымъ прутомъ, и объяснялъ публикѣ зоологію въ лицахъ... «Это господинокъ иностранный волкъ...» говорилъ онъ, указывая на шакала: «кушаетъ на обѣдъ цѣлая барана; четыре годъ старъ; смиренная животная, а это господинокъ монардо, африканскій кошка,

имѣеть весьма острѣе зубы и ногти; два годъ старъ; былъ въ Парижъ и Амстердамъ; видѣлъ короли и знатны персонъ. Кушаетъ челоуѣкъ...»

— «Ахъ, какія отрасти! Уйдешь-те багюнка!» сказала молодая дѣвушка, прижимаясь къ пожилому челоуѣку въ синемъ мундирѣ...

— «Ничего, душечка!» отвѣчалъ онъ: «Не бойся! Тальянецъ шутить; за то ему Государь и платить, чтобы народъ тышилъ; ну, сама погляди, куда этакой дрянн челоуѣка съѣсть... Сказки!..»

— «Совсѣмъ не сказки, Иванъ Степанычъ!» сказалъ кто-то въ зеленомъ мундирѣ, ударивъ толкователя по плечу.

— «Семень Михайлычъ! Ты ли это, ваше высокоблагородіе! Откуда?»

— «Я, и не одинъ...» отвѣчалъ С. М. Блеклый, полковникъ одного изъ полевыхъ армейскихъ полковъ: «Вотъ и Митю въ Петербургъ притащилъ. Погляди, какъ его за моремъ изуродовали! Какъ прѣхалъ къ матери, Прасковъ Андреевнъ, такъ чуть было деревня не разбѣжалась... Нѣмецъ, кричать, Нѣмецъ! Онъ по-русски заговорилъ, сказки; онъ въ церковь, не вѣрять; Нѣмецъ, да и полно... А на ту пору и я въ отпускъ прѣхалъ... Вижу, не житье ему въ деревнѣ, да и не на то я его прочилъ. Ну, сосѣдъ, помнишь, какъ мы съ тобой смѣкали?»

— «Отъ такой чести, ваше высокоблагородіе, я никогда не прочь; да пускай, знаешь, сами сойдутся.»

— «Дѣло, дѣло сосѣдъ! Ну, каково идетъ твоя служба?»

— «Чего ваме высокоблагородіе, вотъ уже пятый годъ, сержантомъ гвардіи; ужь кто меня не обогналъ! Вотъ изволь припомнить Прокопку Ермолаева, недоросля, сына казеннаго стрѣльца, что у васъ же въ деревнѣ въ некруты взяли, кажется...»

— «Помню, помню.»

— «Уже полковникомъ!»

— «Полковникомъ?»

— «Да еще и какимъ полковникомъ! Не то что ваме высокоблагородіе, не во гнѣвъ будь сказано, а при его свѣтлости Князь Александръ Даниловичъ неотходно...»

— «Да въ какихъ же баталіяхъ онъ отличился? Я почитай во всѣхъ былъ; про Ермолева не слышалъ...»

— «Въ баталіяхъ? Эхъ, ваме высокоблагородіе, иной разъ баба хуже крѣпости; приступу нѣтъ; капитуляціи и за сто червонныхъ не подпишетъ, смѣкаешь? А онъ на это мастеръ, а его свѣтлость, въ добрый часъ будь сказано, красный товаръ любить; не я говорю, другіе... такъ сказать... не выдай ваме высокоблагородіе!..»

Семень Михайловичъ улынулся, и отвѣчалъ: «Такъ нечего и завидовать; ты на такую службу не пойдешь.» И вѣроятно, желая скорѣе переменить разговоръ, продолжалъ: «А какъ у васъ въ Петербургъ стало важно! Я, надо быть, лѣтъ восемь не бывалъ; оставилъ болото, а нашель

городъ, хотъ куда. Мнтя говорнтъ вздоръ. Славны бубны за горами. Слынь, Иванъ Степанычъ, Мнтя толкуеть, будто Петербургъ другимъ заморскимъ городамъ и въ предмъстье не годенъ!..»

— «Семень Михайлычъ!» сказалъ Сержантъ съ чувствомъ: «Въдь погляди! Молодость—то какая! Что взыскивать? Обмолвился твой сынокъ, вотъ и все тутъ. Петербургъ не другой какой городъ. Видѣли вы большой фонталь?..»

— «Видѣль. Да что братъ, въ фонталь вода даромъ пропадаетъ.»

— «Оно конечно; да Петербургъ не Москва; воды много; ущербъ нѣтъ, а кашкаду изволилъ видѣть?»

— «Нѣтъ!»

— «Ой ли! Такъ значить и болвановъ таліянскихъ не видалъ? Ну, Семень Михайлычъ, чудо, не рожи; только что бѣлыя, да безъ глазъ, а то просто живыя; въ первый разъ, признаюсь, струсилъ; думалъ, что выходцы съ того свѣта, а потомъ ничего, попривыкъ... Пойдемъ, поглядимъ! Ужъ говорю тебѣ, ваше высокоблагородіе, что и Дмитрій Семенычъ языкъ прикусить.»

— «Отчего же не пойти? Грѣха нѣтъ...»

— «Ну, этого навѣрное не скажу; конечно оно таки все идола; этого мнѣ и на умъ не приходило... Да можетъ быть, съ нихъ чары и соблазнъ сняли, потому что ономясь чернецъ мимо проходилъ и не отплеывался...»

— «Ну такъ, нечего и думать. Пойдемъ!»

Не успѣли они войти въ аллею, ведущую къ

каскадамъ, и украшенную мраморными статуями; толпа преградила имъ дорогу. Весь народъ пятился и старался дать кому-то мѣсто. Вскорѣ волны народа раздвинулись, и собесѣдники увидѣли почтеннаго генерала, дороднаго и высокаго; не смотря на бѣлизну волосъ, глаза старца сверкали; онъ шелъ довольно скоро и бодро, поглаживая длинныя усы, придававшіе строгому лицу видъ суровый, грозный. За нимъ шли: адъютантъ, нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ въ синихъ мундирахъ, и тмочисленная толпа народа. Когда генералъ поровнялся съ нашими знакомцами, глаза его остановились на Блекломъ, и онъ протянулъ руку.

— «Здавствуй, товарищъ!» сказалъ Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій: «Что, ты не узнаешь меня? Посидѣлъ, братъ, на привязи, да больно длинно привязали: я веревку и отгрызъ...»

— «Князь Яковъ Ѳедоровичъ! Вотъ привелъ Богъ свидѣться!.. Да какъ же ты это, Князь, изъ полона, безъ размѣна?»

— «Э, Долгорукіе безразмѣнные! Приходи ко мнѣ Семень, я старому другу радъ. До свиданія!»

И Князь пошелъ дальше со свитой, которая постоянно возрастала. Не прошло еще двухъ недѣль, какъ Князь избавился отъ шведскаго плѣна, по выраженію Петра Великаго, чудеснымъ образомъ. Народъ смотрѣлъ на него, какъ на избавленника чрезъ посредство высшихъ силъ, и не могъ наглядѣться на мужа, извѣстнаго храбростью и со-
вѣтомъ...

— «Ну, сосѣдь...» сказалъ Полковникъ, потирая себя по лбу: «все дивно: и фонталы и кашкады, и манькары и болванчики, да ужъ Князя-то я не думалъ встрѣтить. Нечего сказать, городокъ! Какихъ чудесъ не увидишь!»

Въ это время компанія подошла къ небольшому водопаду, и Полковникъ, забывъ Князя, не могъ довольно надивиться великолѣпному жемчужному паденію воды. Примѣтивъ, что сынъ глядитъ на каскадъ съ презрительной улыбкой, Полковникъ осерчалъ: «Ну, что ты Митька, прикусилъ языкъ; что, небось, въ твоемъ Парижѣ лучше?..»

— «Батюшка, я видѣлъ въ Версали...»

— «Не ври, не ври! Что ты тамъ видѣлъ? Вздоръ! Насъ не обморочишь...»

— «Право, батюшка...»

— «Право, сынокъ, сраму надѣлаю! Если не-уйменься, палкой поколочу. Слушай старшихъ, а самъ не выдумывай!»

— «Да что это вы, батюшка, меня лжецомъ дѣлаете? Ну стану ли я говорить вамъ, моему родителю и благодѣтелю, неправду? Не тому вы меня учили, а коли ужъ мнѣ не вѣрите, такъ вотъ кстати спросите у Князя; онъ въ Парижѣ бывалъ, знаетъ.»

— «Слышишь, Варенька...» сказалъ сержантъ на ухо дочери: «какой покорный и умный сынъ...»

— «Слышу, батюшка!» отвѣчала Варенька, покраенѣвъ до ушей... Полковникъ былъ приведенъ въ большое затрудненіе словами сына, въ особен-ности ссылкою на свидѣтельство Князя Долгорукаго.

— «Добро, добро!» сказалъ онъ сурово: «Сегодня бы еще за справкою пошелъ, да поздно; пора домой, солнце садится...»

— «Что ты это, ване высокоблагородіе? Ужъ это изъ рукъ вонъ; годовъ семь, восемь не видались, и ты у меня побывать не хочешь. Упаси Господи отъ такого грѣха. И у сержанта есть такая-сякая амбиція. Не обижай!..»

— «Да гдѣ ты живешь?»

— «На Васильевскомъ, во Французской слободѣ...»

— «Что за диво! Да вѣдь и мы съ Митей тамъ же! Ёдемъ, ѣдемъ!.. Видно, намъ всегда въ сосѣдствѣ жить...» прибавилъ Полковникъ, обращаясь къ Варенькѣ.

— «Даль бы то Богъ!» отвѣчала Варенька, покраснѣвъ, и опустивъ глаза. Митя глядѣлъ на прелестную дѣвушку съ умиленіемъ. Впечатлѣніе это не скрылось отъ Полковника, и онъ спросилъ: «Ну, а ты, Митя, какъ думаешь?»

— «Я желалъ бы, чтобъ мысли наши всегда были въ такой согласной конвенціи съ Варварой Ивановной, какъ и въ этой оказіи.»

Полковникъ улыбнулся, и сказалъ Сержанту:

— «Послушай, сосѣдъ, до' лодокъ далеко: надо пройти весь Царицынъ лугъ; пристань, кажется, у Почтоваго Двора; пусть наши дѣтки идутъ, по новому маниру, впереди; а мы съ тобой будемъ держать арьергардъ и наблюденіе.»

Дмитрій Семеновичъ съ особенною ловкестью

подбѣжалъ къ Варварѣ Ивановнѣ, и предлагая руку, сказалъ: «Угодно вамъ сдѣлать мнѣ честь...»

— «Извольте!» отвѣчала Варенька: «Пойдемъ, да руку то вы срячьте.»

— «Нельзя. Бонтонъ велитъ...»

— «Да мнѣ онъ не указъ. Пойдемте по просту, я и такъ не устану.»

Пошли. Дмитрій Семеновичъ всю дорогу старался занимать спутницу пріятными разговорами, мѣшая французскія и нѣмецкія слова въ изысканную, хотя и русскую рѣчь. Варенька не отвѣчала. Дмитрій сталъ скучать, и наконецъ спросилъ: «Вы вѣрно не учены этикету?..»

— «Нѣтъ!» отвѣчала простодушная Варенька: «Я знаю все, что мнѣ нужно. Умѣю читать и писать; знаю заповѣди и молитвы; на счетахъ все деньги сочту; могу шить, вязать, мыть кружева, стряпать; умѣю угождать батюнкѣ... а больше, право, ничего не нужно. Лишнее знать, бѣда.»

— «Какъ вы наивны, Варвара Ивановна...»

— «Да перестаньте, Дмитрій Семеновичъ, право мнѣ надоело васъ слушать. Говорите по-человѣчески. Вы знаете, что я по-вашему не умѣю, такъ говорите по моему, а не то, я уйду.»

— «Вы меня приводите въ конфузю.»

— «Опять...»

— «Привычка!»

— «Глупая. Умному чловѣку можно отъ дурнаго отвыкнуть. Ахъ, посмотрите, Дмитрій Семеновичъ, какое у этого господина непріятное лице...»

— «Да, не совсѣмъ noble, виновать, благородное.»

— «Да чего, онъ кажется на меня глаза выпучилъ...»

— «Ваши грасы тому причиною, виновать, прелести...»

— «Подите, вы шутникъ! Я не люблю этого; только право, на меня страхъ нашель, какъ я на него посмотрѣла...»

Виновникъ этого разговора, увидѣвъ Варепьку, остановился посреди дороги, и глазами пожиралъ уходящую... Сержантъ, замѣтивъ смущеніе незнакомца, дернулъ сосѣда за полу, и сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— «Бѣда, ваше высокоблагородіе, это онъ?»

— «Кто онъ?» спросилъ Блеклый...

— «Онъ!» почти шепотомъ повторилъ Сержантъ, потому что они въ это время поровнялись съ незнакомцемъ, и когда уже отошли нѣсколько шаговъ, Сержантъ продолжалъ: «Онъ, т. е. Ермолаевъ, т. е. нашъ недоросль Прокопка, Меншикова наушникъ и того... Боже сохрани, если ему дѣвка моя приглянулась... Обернись, ваше высокоблагородіе, погляди, что онъ, ушелъ? Я, право, боюсь оглянуться.»

— «Трусъ!» сказалъ Блеклый.

— «Да сдѣлай дружбу, погляди...»

— «Идетъ за нами...»

— «Проналъ я!» дрожа бормоталъ Сержантъ: «Пронала моя Варенька! Сосѣдъ! Скорѣе по рукамъ! Въ воскресенье свадьбу сыграемъ... Слы-

нишь... Прибавимъ шагѹ, авось отстанеть... Варенька! Поскорѣй, поскорѣй, домой; дождь будеть...»

— «Что вы, батюшка?.. Ни облачка!..»

— «Не твое дѣло! Я говорю... Слава тебѣ, Господи! Вонъ уже и лодки... А что, идетъ?»

— «Идетъ...»

— «А чтобъ онъ ногу сломаль, окаянный греховодникъ! Варенька, а Варенька, слышь, неторговаться съ извощикомъ; что за лодку ни занрочить, съ разу садись...»

Всѣ четверо вскочили въ первую лодку, и почти всѣ четверо закричали: «На Васильевскій! Отваливай!»

Ермолаевъ вскочилъ въ золоченый катеръ съ гербами Князя Ижерскаго, съ малиновою палаткой и съ золоченою львиной головою на носу; двѣнадцать весель всплеснули, словно крылья огромной птицы, и катеръ полетѣлъ.

— «Нѣтъ, чортъ возьми! Не дождешься насъ на Преображенской Пристани. Ребята, гривну на водку; ступай къ Шлотбургу...»

— «Поздно, батюшка!..»

— «Пустяки! Всю ночь светло. Воскресенье. Погулять не грѣхъ!» И когда два гребца поворотили противу теченія, къ Охтѣ, Сержантъ успокоился, съѣлъ, оглянулся, и поправивъ ботфорты, сказалъ съ улыбкой: «Что, сосѣдь, небось я струсилъ! Видишь, канъ распорядился! То-то же! Не попрекай!»

Ц.

Э П И З О Д Ъ .

Лодка поднялась по Невѣ повыше Литейнаго Двора, и держалась все у береговъ, потому что глубиною трудно было плыть противу теченія. Къ берегу примыкали заборы обширныхъ дворовъ; при каждомъ былъ особенный въездъ водою и бассейнъ, или, какъ тогда называли, гавань, съ разукрашенными и простыми лодками: мысль о новой Венеціи обнаруживалась на всѣхъ точкахъ Петербурга. Поровнявшись съ однимъ изъ такихъ дворовъ, гребцы сняли шапки, и надѣли ихъ опять, миновавъ старую бесѣдку, составлявшую границу и украшеніе двора.

— «Кто здѣсь живетъ?» спросилъ полковникъ.

— «Старый командѣръ, что насъ изъ шведскаго плъна выручилъ.»

— «А вы развѣ были въ плъну?..»

— «Эхъ, ваше высокоблагородіе, насъ было повезли на край свѣта, да Князь Яковъ Федоровичъ, уразумилъ его Господь Богъ, поворотилъ шкуну оглобли...»

— «Князь Яковъ Федоровичъ!.. Ахъ расскажи, пожалуй!» сказалъ Блеклый.

— «А вотъ, изволите видѣть, ваше высокоблагородіе, нарвское дѣло знаешь?»

— «Самъ былъ, да Богъ миловалъ. Такую рану злодѣи состроили, что безъ памяти, надо быть, дня два пролежалъ, а проснулся хуже чѣмъ на кладбищѣ. Нѣмцы меня выльвчили, а тамъ не до-

стерегли; ушелъ ночью къ Шереметевскому отряду, и опять давай служить.»

— «Э, такъ ваше высокоблагородіе и всего-то дѣла не изволили видѣть... Нѣмецъ фельдмаршалъ тотчасъ спасовалъ. Видно, ужъ стакнулся прежде съ Королемъ; онъ, знаете, съ утра со всѣмъ войскомъ словно на лыжахъ на насъ нагрянулъ. Фельдмаршала Декроева словно куропачку за хвостъ взяли, со всѣмъ штабомъ. Некруты новые, пороху не нюхали, штыковъ не видали, съ пушками не братались, кто въ лѣсъ, кто по дрова, а гвардейскіе полки подъ Яковомъ Ѳедоровичемъ были, такъ тутъ взятки гладки; такъ, голой рукой, за-дарма не возьмешь; того гляди, на силу не посмотримъ, такую затрещину отпустимъ, что скрозь пройметъ. Тутъ, знаете, какъ суматоха началась, такой крикъ поднялся, что команды не слышно; только барабанъ стучитъ, словно трещотка въ деревнѣ; мы все въ строй. Яковъ Ѳедорычъ на конь, какъ гаркнетъ, такъ отъ одного его слова будто сильнымъ ветромъ подуло; будто, знаете, по большому карабельному парусу шкваль пробѣжалъ, а тутъ со всѣхъ сторонъ генералы, полковники, офицеры къ нему скачутъ: «Погубилъ насъ измѣнщикъ!» кричатъ. «Пьяный лежитъ, не выспался и насъ проспалъ!» — «Что намъ дѣлать, Яковъ Ѳедоровичъ?» — «Впередъ, друзья!» Яковъ Ѳедоровичъ съ коня въ отвѣтъ: «Съ нами Богъ! Никто же на вы! Бросимъ трусовъ, будемъ командовать молодцами! Впередъ!» — Мы, батюшка, только этого и ждали. Ура и на штыки! Пошли

— земля захохла; гуль словно по льду идетъ; Шведъ было и лапку къ намъ протянулъ. Команда: пали! — выпалили. Шведы будто ничего, однако впередъ не идутъ. Мы на нихъ съ натискомъ; запищали, да и ну пятиться... Тутъ ужъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, ума не приложу, что вздумалось Якову Федоровичу «стой!» закричать. Отъ его голоса, будто свайка, все войско на мѣсть задрожало и остановилось... Пронелъ добрый часъ. Глядимъ. Яковъ Федоровичъ отъ Шведовъ ъдетъ; скомандовалъ, мы перестроились, и вмѣсто того чтобы на злодѣя нашего ударить, къ мосту повертели. Распустили знамена, подняли барабанный бой, будто къ молебствію итти, пошли! Мостикъ дрянной, рѣчка небольшая да быстрая, Яковъ Федоровичъ и еще человекъ пять, шесть стоятъ и глядятъ на переправу. Вотъ какъ уже Преображенцы и Семеновцы перенли, остался нашъ запасный баталіонъ, да какой-то полевой полкъ, плохой, только нами онъ и въ строю держался. Чортъ ихъ знаетъ, откуда ни возьмись, Шведы на насъ со всѣхъ сторонъ... «Измѣна!» закричалъ Яковъ Федоровичъ, да ужъ на штыки принять не успѣли; полевые струхнули — бѣжать, а насъ всѣхъ съ командерами въ полонъ и забрали... Послѣ уже узнали мы; что Король, какъ мы его приструнили, вотъ онъ и послалъ просить Якова Федоровича: Что ты со свѣта меня изжить хочешь, присталь комъ съ своими гвардейцами, словно банный листъ. Отстань, пожалуйста; я тебя казной и всякимъ добромъ надарю.» — Князь ему въ отвѣтъ: «Знаемъ

мы ваши свейскія сказки! Ты же самъ на меня лъзеешь, а потомъ попрекаешь!» — «Вотъ те Христость...» говоритъ хитрый Король... «право я тебѣ ни какого зла не желаю, только ты моей Нарвы не тронь. Ступай себѣ, Князь, съ Богомъ домой, по-добро по-здорову, а я завтра тоже во-свояси пойду. Видишь, какъ я хочу тебя уважить.» Соблазнилъ хитрецъ Князя, тотъ его росказнямъ и повѣрилъ. Ударили по рукамъ, поцѣловались, Князь и увхалъ къ намъ; какъ увхалъ Князь, Король въ палаткѣ и запрыгалъ и засвисталъ; созвалъ всѣхъ своихъ министеровъ, свейскихъ бояръ, колдуновъ, всю подысподнюю, и ну совѣтъ держать. Ухитрились окаянные. Только что наши лучшіе баталіоны Нарову перешли, онъ собралъ всѣ свейскія силы, и насъ полонилъ. Колдуны тутъ не мало ему помогали. Да известное дѣло, колдовство въ прокъ никому не пойдетъ. Скрутили самаго раба Божія, да басурману за алтынъ и продали. Вотъ тебѣ, не колдуй, измѣнщикъ, не соблазняй! Проучили, да и намъ-то пришлось терпѣть науку. Ужъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, не то, что нашъ военный экзерциръ. Въ каторжную запропастили; по трое сутокъ вѣсть не давали, нѣ десять лѣтъ попа не видали, хуже звѣря инаго; тотъ ужъ хоть подъ снѣгомъ травку найдетъ; да руда не каша, копай да копай; со злости кусочки серебра глотаешь, наглотаешься, да потомъ въ госпиталь на хлѣбъ и водѣ по ведлямъ лежишь. Наслалъ Богъ на Шведовъ за нашу обиду горькую казнь: пошелъ голодъ все

царство мести, въ сутки гору мертвецовъ вакидаеть; мы на ту пору, человекъ съ полсотни, въ госпиталь безъ болъзни отлеживались; чуть приставъ на крыльцо, мы въ третьемъ жильѣ такъ заохаемъ, что онъ къ намъ и зайти боится... Видятъ они, что Богъ ихъ голодомъ за насъ моритъ, а кормить нечѣмъ, вотъ они всѣхъ насъ похватили, ночью на шкуну побросали, и связать позабыли, такъ и пустили въ море. Эхъ батюшка, вольныя мысли на моръ приходятъ; мы глаза высмотрѣли, не видать ли гдѣ нашего берега... Куда! Ночь да вода... Насъ укачало, къ утру всѣхъ сонъ одолевъ. Какъ солнцу встать, мы всѣ разомъ проснулись, будто кто всѣхъ подъ бока толкнулъ... Глядимъ, между нами старикъ сидитъ, бѣлый, бѣлехонкій, такой старыи, усы до пояса, лице знакомое, насъ всѣхъ само собой въ струнку вытянуло...

— «Здравствуй, Агаѳонъ!» меня морозомъ по кожу повело!.. Голосъ знакомый... Приглядываюсь, а страхъ глаза сводитъ, отъ радости духъ занимаетъ; я протру глаза, а на нихъ слезы; что ты будешь дѣлать! Узнать-то узналъ, да языкъ отняло... Туда, сюда, кое-какъ слова, словно смола, капать стали, али вотъ какъ дѣти читать учатся: бе, а...ба...тю...шка го...су...дарь... Тутъ я ужъ и не досказалъ, заплакалъ навзрыдъ, товарищи также узнали, да въ полону бабьемъ стали, не выдержали, за мной такъ и зарыдали, а потомъ, откуда ни возьмись молодечество, какъ гаркнемъ: «Здравія желаемъ, ваше

превосходительство, Князь Яковъ Ѳедоровичъ! Ура!..» Такъ Шведы чуть съ перепагу весла не побросали... Тутъ, батюшка ваше высокоблагородіе, мы и полонъ забыли, и говоримъ отцу нашему: «Поздравляемъ тебя, Князь, ваше превосходительство! Прівелъ Богъ домой воротиться!..» «Какъ бы не такъ!» говоритъ Князь: «Нашли милостивцевъ! Насъ везуть туда, гдѣ солнца шесть мѣсяцевъ не видать, гдѣ отъ холода слова мерзнуть, людямъ по полю ходить нельзя, тотчасъ морозомъ ноги и руки отхватить... Ну, да Богъ милостивъ! Станемъ молиться...» И сталъ Князь съ попомъ молитвы читать и припѣвать, и мы подтянули... Шведы разсмѣялись, а шкипоръ и говоритъ имъ по свейски: «Запоють они не такія пѣсни, погоди!..» Когда мы отмолились, шкипоръ насъ за весла и усадилъ, а Шведы давай себѣ пить да свои пѣсни припѣвать... Счетомъ насъ, Русскихъ, съ Княземъ было сорокъ два челоувка, а Шведовъ всего на все штукъ тридцать; у насъ ни пожа, а у нихъ всякаго оружія съ ногъ до головы, словно куклы въ арсеналѣ. Князь и давай смѣкать, да и говоритъ попу: «Послушай, батько! хочешь домой?» Попъ жалобно посмотрѣлъ на Князя. «Хочешь, такъ молись, а въ субботу, завтра, попросимся у Шведовъ вечерню пѣть. Тамъ помнится есть стихъ: «Держайте, убо, держайте, люди Божіи.» При первыхъ двухъ словахъ бросай весла, при послѣднихъ каждый хватай Шведа, и куда кто можетъ, управь его! Смирно!» прибавилъ Князь, потому что мы уже рты разинули ура закричать... «Послушай!»

сказалъ Князь шкипору: «Мало мы вамъ поработали, что же ты госпитальныхъ за весла усадилъ?» «Не велика бѣда! Издохнуть, тѣмъ лучше!» — «Видно, сказалъ Князь, голодъ васъ еще не проучилъ; погоди, будетъ буря, тогда мы тебѣ помогать не станемъ. Все равно умирать. Ты бы хотъ смѣну завелъ, а такъ не далеко уѣдешь.»

— «Недалеко и вхатъ: денька три, четыре.»
— «Ну Богъ въсть, сказалъ Князь, куда вѣтеръ подуетъ. А гдѣ, братъ, мои письма въ Умео къ коменданту, отъ сенаторовъ нашихъ?» — «Всѣ цѣлы будутъ..» — «То-то же! Чтобы комендантъ зналъ, кто я, и чтобы на тебя жаловаться мнѣ было способнѣе.»

Шкипоръ, видно, былъ не изъ самыхъ храбрыхъ; струсилъ; прошло съ полчаса, онъ и назначилъ на половину весель Шведовъ, а на половину нашихъ, и все держалъ въ такомъ порядкѣ до субботняго вечера. Отецъ Иванъ и запѣлъ; Князь за нимъ, мы подпѣваемъ, а голоса дрожатъ, словно листья; ждемъ, не дождемся того стиха; вдругъ отецъ Иванъ возгласилъ: «Держайте убо!» Князь схватилъ шкипора за горло, весла наши стали по волнамъ болтаться; ждемъ команды, она какъ тутъ подоспѣла, и такъ сказать, не успѣли оглянуться, какъ кругомъ шкуны заплывали Шведы, на палубѣ валялись убитые, прочихъ повязали, да на самый исподъ судна, а Князь со шкипорской шпагой, и запѣлъ: «Тебе Бога хвалимъ!» Отмолились, Князь и закомандовалъ... Ни дать ни взять подъ Нарвой. Успѣлись мы за весла, а пощъ и спрашиваетъ: кто

же то у насъ кормщикомъ будетъ?.. *Святой Никола, древній кормщикъ всѣмъ бѣдственнo плавающимъ!* Сказавъ это, Князь взялъ шкипора за шиворотъ, и повелъ на мѣсто, вынулъ шапку и свѣль противъ него. «Ну...» говоритъ Князь: «послѣдній счетъ! Хочешь быть живъ, такъ вези насъ къ Крошлоту или къ Ревелю; но измѣнить берегись; я не засну!» Вотъ мы поворотили да и грянули: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ.» Ахъ, ваше высокоблагородіе, важно! Какъ вспомнишь, такъ и теперь пѣть хочется...»

И гребецъ, сорвавъ шапку, бросилъ ее къ себѣ въ ноги, и затащилъ за правду: Внизъ по матушкѣ - по Волгѣ. Товарищъ, Поляковникъ и Сержантъ къ нему пристали, и Нева, къ удивленію береговыхъ жителей и стражей Шлотбурга, огласилась, можетъ быть, впервые звуками волжской великорусской пѣсни.

Лодка спускалась къ Шлотбургу. Вечерѣло. Прошло девять часовъ, и вѣстовая пушка испугала Вареньку. Ей сдѣлалось дурно, но заботливость отца, а еще болѣе Дмитрія Семеновича, возвратила ей чувства... «Этого со мной никогда не случалось...» сказала Варенька. «Сегодня несчастливый день!»

— «Такъ поведемъ домой!» сказалъ Сержантъ. «Въ крѣпость нечего заходить, тамъ ничего нѣтъ любопытнаго.»

— «Самое важное...» отвѣчалъ Блеклый: «я видѣлъ, когда этотъ городъ Шлотбургъ былъ еще

только шанцами, и когда мы съ Шереметевымъ взяли его приступомъ!»

— «Эхъ, ваше высокоблагородіе!» сказалъ гребецъ: «и мы тутъ были...»

— «Ой ли! Такъ мы сослуживцы? Да отчего же вы не на службу?..»

— «Да вотъ съ Княземъ поджидаемъ Государя, а пока, что сидѣть руки сложивши? Господь возьми, да деньгу зашибаемъ; лодки Князь подарилъ, дай Богъ ему здоровье!..»

Прошло еще около получаса и лодка причалила къ Преображенской Пристани, противъ Спасокой Церкви, находившейся между домомъ Мѣникова, нынѣ Первымъ Кадетскимъ Корпусомъ и двѣнадцатю Коллегіями, для которыхъ тогда еще были сваи подъ фундаментъ.

III.

МИЛОСТИ.

Прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Наступила осень. Каждый день ожидали въ Петербургъ Государя. Князь Яковъ Ѳедоровичъ оставался не у дѣль. Его спутники, по-прежнему, разъѣзжали по Невѣ въ яликахъ, и промышляли деньгу. Блеклый поѣтилъ Князя, удостовѣрися, что сынъ не лжетъ, и весьма огорчился, что на свѣтъ есть города лучше Петербурга; но Князь утѣшилъ Полковника, увѣряя, что не пройдетъ и ста лѣтъ, новорожденный Петербургъ перещегооляетъ всѣ европейскія столицы...

— «Увидимъ, увидимъ!» сказалъ Полковникъ, и Князь, желая переменить такой пустой разговоръ, спросилъ Блеклаго, по какой причинѣ могъ онъ оставить полкъ, и переѣхать въ Петербургъ.

— «Тяжба, ваше сіятельство! Затягаль проклятый! Не знаю, чѣмъ-то здѣсь кончится.»

— «Стало быть, дѣло уже въ Сенатъ?»

— «Въ Сенатъ.»

— «Что жъ, ты былъ у господъ сенаторовъ?»

— «Каждый день, у всѣхъ по разу. И на порогъ не пускають. Говорять, что мое дѣло сторона, да и чего я лѣзу съ Княземъ Папой тягаться...»

— «Такъ у тебя тяжба съ Зотовымъ!»

— «Съ Зотовымъ.»

— «Ну, братъ, плохо. А много ли иску?...»

— «Все мое состояніе. Одна деревенька, и та хищнику приглянулась; говорить: на его землѣ построена. Сначала присталъ: продай! Ну, скажи пожалуй, Князь, какъ можно деревню продать съ церковью, гдѣ на церковномъ дворѣ и отецъ и дѣдъ и прадѣдъ лежать? Ну, что ему вздумалось! «Не продашь?» говорить: «Постой же, я тебя!» Было время уже къ жатвѣ. Князь Пана охоту устроилъ: да четыре нивы, десятинъ съ пятьдесятъ, или и поболье, почитай до земли помялъ; такъ и пропало. Я на него въ судъ. Челобитной не берутъ. «Жаловаться?» говорить: «Постой-же, я тебя!» Да и подалъ на меня челобитную, что будто я на его землѣ деревню построилъ. Пошло слѣдствіе. Жена

меня изъ полка выписала; прѣзжаю; слѣдуютъ, т. е. пьютъ, ѣдятъ, а чего не проглотятъ, такъ въ повозки кладутъ, да въ городъ къ себѣ и отсылаютъ. Я къ самому Государю. Пошелъ указъ: дѣло въ Сенатъ разсмотрѣть. Былъ я въ сенатской канцеляріи. Приказные и говорятъ мнѣ: «Дѣло твое, полковникъ, правое, да князь Папа человекъ сильный; хотятъ засудить тебя...» — «Да какъ же меня засудятъ?» говорю я: «На моей сторонѣ и законъ и правда» — Приказные говорятъ: «Видишь, что выдумалъ! Законъ, правда! Да противъ тебя Князь Папа.» — «Да вѣдь Государь за неправду взыщетъ.» — «До Бога высоко, до Государя далеко. Государю дѣла много...»

— «Жаль...» сказалъ Князь: «что я не сенаторъ; я бы тебя отстаивалъ.»

— «Да, ужъ нечего говорить, ты бы Зотову въ зубы не посмотрѣлъ; да въ томъ-то и горе наше, что тебя въ Сенатъ вѣтъ.»

— «Но Писаревъ хорошъ, правдолюбивъ, и дѣло смыслить...»

— «Видно, у тебя, Князь, съ Зотовымъ тяжбы не было...»

Вбѣжалъ въ комнату опрометью слуга, и почти кричалъ: «Государь, Государь, Государь!»

Не успѣлъ Яковъ Федоровичъ, дородства ради, приподняться съ креселъ, какъ вошелъ въ комнату Государь въ дорожномъ платьѣ...

— «Поздравляю!» сказалъ Государь, заключая въ объятія знаменитаго мужа, и сталъ осыпать его поцѣлуями, называя всѣми нежными словами. «Го-

лубка ты моя, дядя любезный, старикъ ты мой безпримѣрный!» говорилъ, говорилъ и ну плакать. Яковъ Федоровичъ себя, Полковникъ и слуга давай тоже хныкать; такой плачь, будто похороны, а лица у всѣхъ веселые...

— «Благо одѣтъ, вздемъ!» сказалъ Государь: «Меня всѣ въ церкви ждуть, такъ ужъ пусть милость къ тебѣ передъ Богомъ услышать!..» и обратиться къ слугѣ, примолвилъ. «Шубу Князю и шапку!» Увхали. Княжеская одноколка была также готова. Слуга приказалъ подать, усадилъ Полковника, самъ сталъ на запятки и повхали за Государемъ.»

— «Что, дядя? Каковъ городъ?» спросилъ Государь.

— «Богъ родивъ Тебя, сдѣлалъ чудо, а ты и самъ давай творить чудеса. Помози Господи!..»

— «Да такіе вѣрные слуги, какъ ты, Яна! Погляди: вотъ у меня литейный дворъ — устроенъ хорошо. Это у меня лѣтній садъ, порядочный, да еще не все готово... Вонъ тамъ у меня изъ сада двѣ улицы пойдутъ; а по набережной: вотъ это мой домъ; дворъ Скляева надо будетъ откупить, да теперь еще пока денегъ мало. И фамилія у меня не большая. Посмотрю, что съ Алексѣемъ будетъ... А тамъ дальше, я мѣста пораздавалъ Рагузинскому, Ягужинскому, Апраксину, Кикину, до самого Адмиралтейства.»

Одноколка повернула мимо Адмиралтейства налево, на широкую площадь, тогда еще достигающую до береговъ рѣчки Мы. Вся площадь была разрытана аллеями; повернувъ на право, возлѣ укрѣпле-

нѣй Адмиралтейства, одноколка перенеслась на другую, также весьма обширную, площадь. «Вотъ тамъ у меня...» сказалъ Государь, указывая пальцо: «морскія слободы. Все мои новички и Нѣмцы живутъ, а направо Исаакій Далматскій. Хочу этотъ соборъ побольше сдѣлать, да понимаешь, дядя, пускай война отойдетъ, денегъ больше будетъ.» Одноколка подкатилась къ паперти собора, стоявшаго на самомъ берегу Невы рѣки, гдѣ нынѣ приходится сенатская церковь. На паперти ожидали Государя: Преосвященный Теофанъ, Синодъ, Сенатъ, генералитетъ, члены коллегій. Множество народа окружало соборъ. — Послѣ краткой прѣвѣтственной рѣчи, сказанной Теофаномъ, Государь взялъ за руку Якова Федоровича, и обращаясь къ Архіепископу, сказалъ: «Не Меня должно прѣвѣтствовать; Я по вся дни съ вами, гдѣ бы ни былъ въ царствѣ или внѣ царства моего; онъ у насъ сегодня торжественникъ. Мы обрѣли его, яко нѣкій кладъ, потерянный предками. Не довольно ума, надо великія храбрости, чтобы одержать такую чудесную викторію, и обратиться изъ плѣнника въ плѣнителя. Благодарствую!» И Государь снова разцѣловалъ Князя. «Возблагодаримъ теперь Господа Бога...» прибавилъ Петръ: «за толикія милости!» Послѣ объѣдн и молебствія, Государь отдѣльно сталъ принимать поздравленія. Когда подошелъ къ нему Сенатъ, Государь сказалъ: «Поздравляю господъ Сенатъ съ новымъ сотрудникомъ и сотоварищемъ, Княземъ Яковымъ Федоровичемъ Долгоруковымъ...» Сенатъ благодарилъ, Князь кланялся

на всѣ стороны. Полковникъ Блеклый, стоявшій въ углу собора, палъ ницъ, и пролилъ радостныя слезы. Между тѣмъ чины продолжали поздравлять Государя. Подошли члены Ревизионъ - Коллегии. «Знаю, сказалъ Государь, что вамъ безъ президента неловко. Презусъ вашъ вернулся изъ Швеціи. Дядя Яша, сдѣлай дружбу, займи это мѣсто!» Между многочисленными чинами новой Имперіи подошли и два кригсъ-коммисара. Государь сталъ гнѣвнъ и грознъ. Кригсъ-коммисары онѣмъли и окаменѣли. Всѣ опустили глаза. «Передъ Господомъ говорю вамъ...» сказалъ Государь: «что я найду виновныхъ, и не будетъ пощады, хотя бы въ преступникахъ нашель я ближнихъ людей моихъ. Я бережливъ, а не скупъ, денегъ даю довольно, а войско терпнть нужду и недостатки. Пока все изслѣдую докладно, я дамъ вамъ голову, которая рукамъ грабнть отечество не дозволнть. Князь Яковъ Федоровичъ! будь пожалуй моимъ генераль-пленнпотенціаль-кригсъ-коммисаромъ; тебя на всѣ должности станеть! - Проснмъ всѣхъ къ Данилычу, хлѣба соли кунать!» И всѣ отправились изъ церкви на Васильевскій...

Тамъ, во Французской Слободѣ, въ скромномъ домикѣ Ониксова, бывшаго по случаю прибытія Государева на службѣ, происходила сцена совершенно инаго рода. Дмитрій Семеновичъ стоялъ у небольшого столика, за которымъ Варвара Ивановна внимательно вышивала золотомъ приношеніе для новой Андреевской Церкви.

— «Такъ вы не хотите со мной дискурировать, то есть разговаривать, Варвара Ивановна?»

— «Когда вы, Дмитрій Семеновичъ, такую дичь врите, что право, скучно слушать..»

— «Дичь! Если я говорю, что Амуръ меня ранилъ, что я ослепленъ вашими навывыми грасами, что я влюбленъ до безумія, что я почти себя блаженнѣйшимъ чловѣкомъ, если вы согласитесь покориться Гименею...»

— «Послушайте! Подите вонъ, или говорите толкомъ, чего вы отъ меня хотите?..»

— «Ахъ, mon Dieu! Вашей руки!..»

— «Жениться, что ли?..»

— «Точно такъ, Варвара Ивановна.»

— «Стало быть, вы меня любите?»

— «Люблю-ли я васъ? Больше чѣмъ жизнь, больше чѣмъ...»

— «Да не правда, не правда! Отвѣчайте, о чѣмъ васъ спрашиваютъ, а въ Парижъ не бросайтесь. Ну, любите меня?»

— «Люблю.»

— «Вотъ это дѣло. И я васъ люблю.»

— «Что я слышу? Можетъ-ли это быть?»

— «Да изъ чего мнѣ врать? Люблю и хочу за васъ выйти замужъ, если батюшка соизволитъ...»

— «А если онъ не позволитъ, неужели вы не властны...»

— «Это что вамъ въ голову приходитъ? Не соизволитъ, поплачу, погорюю, да и перестану любить...»

— «Нѣтъ, Варвара Ивановна, вы шутите...»

— «Да что я за шутиха такая? Такими веща-

ми не шутятъ; да вотъ и батюшка. Сейчасъ все окончимъ!»

— «Помилюйте, Варвара Ивановна! Я полагаю, надо соблюсти нѣкоторыя церемоніи...»

— «Пожалуйте, не мѣшайте не въ свое дѣло. Батюшка, батюшка! Хорошо, что вы пришли. Дмитрій Семеновичъ на мнѣ жениться кочетъ...»

— «Какъ тебѣ не стыдно, душечка, не въ свое дѣло мѣшаться?»

— «А чье жъ это дѣло?»

— «Не дѣвичье, а свахино.»

— «Да вѣдь не сваху замужъ хотятъ взять, а меня; такъ я сама себя сваха. Такъ вы, батюшка, не хотите меня замужъ выдать?..»

— «Да кто тебѣ это говоритъ? Хочу...»

— «Да за Дмитрія Семеновича; за другаго, можетъ быть, мнѣ либо не будетъ...»

— «Ну, такъ и за Дмитрія Семеновича, только все таки не противъ обычая; пусть отецъ его посватаетъ; да и не худо бы, того, знаете, Дмитрій Семеновичъ, записи сдѣлать: она у меня одна, ты у отца одинъ; у каждаго по деревенькѣ, сосѣднія, такъ и хорошо бы то вмѣстѣ... Да вотъ кстати и его высокоблагородіе.»

Когда Полковнику объяснили все дѣло, онъ гнѣвно посмотрѣлъ на сына, и сказалъ: «Послунай Митя, зачѣмъ ты это не въ свое дѣло мѣшаешься? А я у тебя развѣ даромъ отецъ? Ну, благо, что сосѣдъ согласенъ, а если бы отказалъ, ты бы мнѣ только сраму надѣлалъ. Поди домой, али на прогулку, а мы потолкуемъ.»

— «Варенька, ступай-ко и ты, маленько по хозяйству пригляди!»

Молодые люди выпили, и оба вмѣстѣ занялись хозяйствомъ.

— «Ну, сосѣдь! Свадьбъ быть, да еще не скоро.»

— «Это почему?»

— «Да почему знать! Можетъ быть у Мити ни кола, ни двора не останется. Зотовъ сильную руку имѣеть. Говорять, что нану деревню ему засудятъ.»

— «А Государю развѣ сказать нельзя?»

— «Поди, стану я, служивый человекъ, на Сенатъ жаловаться.»

— «А почему же и нѣтъ?»

— «А потому, что Государь этого не любитъ.»

— «Да за то правду любить. Да что и деревня. Сынъ твой малый славный; дослужится, а пока и моей деревеньки на насъ станетъ.»

— «Нѣтъ, сосѣдь, чужаго хлѣба не хочу, да и сыну не позволю. Подождемъ, пока тѣжба кончится.»

— «Э, пустое, сосѣдь!»

— «Говорю тебѣ, не хочу.»

— «Какъ волишь, а жаль, право, молодежи.»

— «Мѣсяць другой обождать, не велика важность. Прощай!»

— «Куда же ты?»

— «Государь изъ церкви звалъ къ Меншикову хлѣба-соли кушать; пора. Я только такъ забѣжалъ, посмотреть, что Митя дѣлаетъ. Боюсь; ходить такимъ дуракомъ. Говорить, будто въ Пари-

жъ всѣ министры такъ ходятъ: слякоть, грязь, а онъ въ чулкахъ, въ башмакахъ, на шеѣ словно юшка какая; молодой человекъ, а парикъ съ гору. Правда, видѣлъ я, нѣмецкій резидентъ на него похожъ. Тоже, будто игрушка съ веревочкой, да нашему брату не приходится. Скажи-ко Варенькѣ; можетъ, онъ ее послушаетъ...»

— «Экъ, сосѣдушка, и она рднётся любить. Молодость.»

— «Скажи лучше, дурь... Ну, да Богъ милостивъ, прощай!»

Сержантъ позвалъ дочку. Дмитрій Семеновичъ, слышавъ голосъ отца своего, ушелъ, и со всѣхъ ногъ бросился къ Менишникову саду, Осень сильная стояла на дворъ; но Дмитрій Семеновичъ не хотѣлъ щегольскаго парижскаго костюма прикрывать длиннополой шубой. Надѣвъ маленькую шляпу на высокой парикъ, Дмитрій Семеновичъ пробирался съ большою осторожностью по деревянной кладкѣ, положенной по берегу новаго, еще неоконченнаго канала. По бокамъ грязь неисходная; и въ сапогахъ не легко пробираться съ одной линіи на другую. Государь, полагая, что къ столу итти еще рано, сѣлъ въ одноколку Князя Имерскаго, и отправился осматривать работы по острову вмѣстѣ съ Александромъ Данилычемъ. — Увидѣвъ Дмитрія Семеновича въ щегольскомъ нарядѣ, Государь разсвѣлся.

— «Что это за птица, Данилычъ?..»

— «Не знаю.»

— «Людей-то у насъ въ Петербургъ не мно-

остались, да мнѣ ихъ не нужно. Государь приказалъ въ сеногахъ ходить.»

— «Осрамилъ, осрамилъ...» опять завопилъ Полковникъ: «Нѣтъ, какъ хочешь, Митя, а я тебя дома поколочу.»

— «Не извольте трудиться, батюшка; погодите денежъ. Государь пришлетъ за мною.»

— «Пусть приметъ. Государь тебя изъ своихъ царскихъ рукъ побьетъ, а я изъ отцевскихъ... Ступай домой, слышишь, и пока я не ворочусь, изъ комнаты ни шага. Ступай!»

IV.

Р Е з о л ю ц і я.

На другой день поутру, весь дворъ Я. Ѳ. Долгорукаго былъ наполненъ просителями, чиновниками и почитателями съ льстивымъ словцемъ. Полковникъ Блеклый пришелъ раньше всѣхъ, и немедленно допущенъ былъ къ Князю.

— «Ну, пріятель, я за твоимъ дѣломъ послалъ вчера-же; ночью прочелъ: ты кругомъ правъ; ступай домой и спи спокойно. Оно по очереди стоять еще далеко. Чай придется рвать передъ самыми святками, такъ ты не кручинься...»

— «Да пусть и послѣ Нового года, только бы выиграть...»

— «Выиграешь, выиграешь, честное слово! Только теперь, любезный, ступай съ Богомъ; некогда. Царь разомъ меня работой надѣлилъ за троихъ; ну, а ты самъ знаешь, *любить Царя* значитъ лю-

бить Отечество. Все надо дѣлать не спеша, по правдѣ, потому что *Царю правда лучший другъ.* Я ужъ не умѣю зашпаться, коли дѣло знаю, а я его долженъ знать, иначе не служи! *Служить такъ не картавить, а картавить такъ не служить.* Ну, ступай съ Богомъ!»

Блеклаго смѣяли кривсъ-коммиссары. Долгорукій, сидя въ огромныхъ креслахъ, и разглаживая свои длинныя усы, сталъ говорить медленно, почти не обращая вниманія на предстоящихъ: «Читалъ я сегодня ночью ваши ведомости и отчеты... не приведи Богъ, какое плаутовство и воровство. Я бы васъ и помиловалъ, ради Христа, да вѣдь вы не мнѣ враги, а государству. Знаю, за вами сильныя руку тянуть, только мой своякъ — человекъ права твердаго и крутаго; Государь ему поручилъ розыскъ; онъ никого не побоятся. Вы, господа, изъ службы моей съ Богомъ, по закону, не по волю моей, сами знаете. Я до шведскаго плыва этой частью управлялъ, такъ изъ опыта говорю, что вамъ будетъ плохо. И на что вы синяго сукна такую пропасть закупили? Гвардія не велика, а зеленого, дай Богъ, на два, на три полка. Гдѣ я теперь достану? То синіеъ за-дарма, а зеленое въ-три-дорога покупай теперь за непривозомъ, и вонъ уже сегодня ходилъ Наумовъ въ ряды; цѣна поднялась втрое; вѣрно, отъ васъ же купцы про-слышали. Да не удастся. Наумовъ! Позвать купцовъ.»

Адъютантъ Князя приволь двухъ купцовъ. Князь началъ ожить: «Ну, бороды, что-же вы мнѣ сукна?»

— «Какого твоему сіятельству угодно? Синяго или зеленаго!»

— «А какъ цѣна?»

— «Синему рубль и семь копѣекъ, зеленому три рубля.»

— «Ну, нечего дѣлать, я торговаться не мастеръ, только для вѣрности, подпишите цѣны» — Купцы подписали.

— «Ну, такъ сдѣлайте дружбу, ко мнѣ на дворъ поставьте сегодня тридцать тысячъ аршинъ синяго...» Купцы не выдержали, и громко ахнули.

— «Благо подписано...» сказалъ Князь.

— «Батюшка, государь, возьми половину зеленымъ...»

— «Дорого, друзья мои. Мы нынче армию въ синее нарядимъ, а гвардію въ зеленое...»

— «Батюшка-государь, уступимъ! У насъ синяго и нѣтъ столько, а зеленое мы на поставку припасали.»

— «То есть...» сказалъ Князь: «въ зеленомъ нужда, такъ въ три рубля и вогнали. Да слава Богу, переменя, и зеленаго мнѣ не нужно.»

— «Батюшка-Государь, про запасъ возьми.»

— «Пожалуй, по рублю безъ копѣйки все возму, сколько у васъ ни есть; на гарнизоны синяго не дамъ; да инвалидовъ обошью.»

— «Батюшка-государь, возьми по полтора рубля.»

— «Нѣтъ друзья, казна не моя; по рублю возму, а не то, лучше синяго.» — Купцы согла-

силнсь взять, за те и другое, по рублю семнадцати копѣекъ...

— «Подпишите!» Подписали условіе.

— «Ну...» сказалъ Князь: «такъ синяго не нужно, а сколько зеленого ни есть, все ко мнѣ на дворъ. Коммисары принимать не будутъ; мы съ Наумовымъ сами примемъ.» Купцы отошли съ печальными лицами.

— «Знаю я...» сказалъ Князь: «что у меня на всю нужду и теперь зеленого не хватитъ; такъ, Наумовъ, напиши предписаніе выдать на Ижерскій Полкъ синее. Пусть годокъ носить, а я на слѣдующій зеленого припасу.»

— «Да вѣдь Ижерскій Князя Меншикова полевой армейскій полкъ, а не гвардія.»

— «Эхъ, Наумовъ, будто я не знаю! Я Государю доложу; онъ за дѣло еще никогда не спорилъ, а между тѣмъ отъ Меншикова мнѣ покою не будетъ. Вчера три раза объ отпускъ сукна просилъ. Ну, конецъ! Позовите секретаря Ревизіонъ-Коллегіи!» Князь занялся дѣлами по третьей должности. Прошло не мало времени, докладываютъ: Зотовъ пріѣхалъ.

— «Батюшка, Яковъ Ѳедоровичъ, помилуй, что ты это дѣлать хочешь? Слышалъ я, что ты изъ Сената дѣло мое съ Блеклымъ взялъ. Помилосердуй! Не стой за вора, это окаянный ябедникъ. Сто челобитень на меня подалъ; Государю нажаловался. Надо проучить, а то всякая дрянь будетъ насъ, славниковъ и совѣтниковъ царскихъ, обижать; не смѣй и наказать озорника; что же мы, да что

же насъ въ чины жалуютъ, когда всякая шавка можетъ по судамъ насъ волочить? Писаревъ было со мной не соглашался. Погляжу я, какъ онъ судить. Не по моему, такъ право, въ венгерское такого подмываю, что живота никогда не заметить, и чарами не заговорить.»

— «Знаю, знаю!» сказалъ Князь: «Только за что ты, дядя, моего брата на прошлыхъ святкахъ опомлъ?»

— «А зачѣмъ Царь власть далъ подбивать до упада? На то я Князь Пана. Пей, не поперечь; долженъ выпить.»

— «Такъ ты, пожалуй, и Сенать святками пугать станешь....»

— «Да ужъ не попадайся, кто за меня не постоитъ.»

— «Ну, а если Государь провъдаеть...»

— «Да ужъ не умничай, Яковъ Федоровичъ! Завтра слушать хотѣли. Пожалуй, оставь дѣлу жтти, какъ я хочу; я за тѣмъ прѣехалъ, и ты за меня стой! А будетъ у тебя какое дѣло, я за тебя постою.»

— «Нѣтъ, дядя, такого дѣла за мною не будетъ; но ужъ такъ и быть, покривлю душой. Буду стоять за тебя.»

— «Ай да спасибо! Вотъ старый другъ! Я тебя этого никогда не забуду...»

У Ониксова сидѣли гости. Полковникъ съ сыномъ. Пили за пожалованіе Ивана Степановича гвардіи въ офицеры. Первая бутылка венгерскаго

была на исходѣ, когда доложили и вслѣдъ за докладомъ вошелъ въ комнату Полковникъ Ермолаевъ.

— «Ну, батюшка, Иванъ Степановичъ, насилу отыскалъ!» сказалъ Прокопъ Ермолаичъ, съ язвительною улыбкой: «Живемъ по сосѣдству, а до сей поры и не знакомы. Да позволь поздравить себя. Вчера по моему слову, Князь Государя о тебѣ попросилъ. Государь отвѣчалъ: «Знаю, знаю; охотно; ему давно пора быть офицеромъ; да всего не упомянешь. Спасибо вамъ, помощникамъ моимъ, что вы мнѣ мой долгъ напоминаете!» — А знаешь ли, сосѣдушка, что Князь придумалъ; говорить: «Пускай Ониковъ въ Ижерскій Полкъ переходитъ, прямо капитанъ, черезъ годъ подполковникъ. Такъ вотъ я и пришелъ тебѣ сказать, что ты уже не въ Семеновскомъ, а въ Ижерскомъ. Завтра будетъ приказъ, а послѣ завтра и роту дадутъ...»

Слова Прокопа Ермолаевича сыпались, будто присяжные рубли считаютъ. Выпуча глаза и разинувъ ротъ, Ониковъ не могъ слова вымолвить отъ удивленія. Варенька вскочила съ своего мѣста, и цѣлуя отца, поздравляла съ такимъ неожиданнымъ возвышеніемъ... Подали еще венгерскаго. Ермолаевъ послалъ къ Князю Мейшикову на погребъ. Принесли разныхъ винъ. Отецъ прогналъ Вареньку; и едва на другое утро проснулись собесѣдники на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ вчера начали бесѣдовать. Блеклые, опохмѣясь, ушли домой. Ермолаевъ остался.

— «Ну, сосѣдунка, познакомиться, мы познакомились:» сказалъ онъ... «теперь бы не худо и породниться...»

— «Что ты это врешь, ваше высокоблагородіе!»

— «Не вру, а просто, твоя дочка меня опутала. Вотъ уже четвертый мѣсяцъ прошелъ, какъ я ее въ Лытнемъ подмѣтилъ. Такъ, знаешь, меня словно обухомъ по лбу. Будь я каналья, провалился я сквозь землю, если я не по уши въ Варвару Ивановну втюрился, и такъ ужъ сказалъ себѣ: али она будетъ моей женою, али ужъ никому не достанется...»

Иванъ Степанычъ струсилъ и отвѣчалъ: «Прокопъ Ермолаичъ, ваше высокоблагородіе, не погуби!.. Право не могу, она уже не моя; ты и жениха видѣлъ вчера у насъ; по рукамъ ударили. Ты себѣ знатную невьсту найдешь... Прокопъ Ермолаичъ, помилуй!»

По мѣрѣ трусости Ониксова, дерзость Ермолаева возрастала.

— «И слушать не хочу! Подавай Варвару Ивановну, али быть тебѣ черезъ недѣлю солдатомъ; потомъ и даромъ не возьму. Вѣдь я тебѣ честное дѣло предлагаю: руку, чинъ, значеніе...»

— «Господи Боже мой! Куда мнѣ дѣваться! Да послушай, Прокопъ Ермолаичъ, ты человекъ умный, на все смѣтку имѣешь; сдѣлай такъ, чтобы слово назадъ воротить...»

— Да мнѣ что за дѣло! Говори: отдашь или не отдашь?»

— «Право не знаю... Какъ Варенька...»

— «Зови ее! Она вѣрно поумитъ тебя...»

Позвали Вареньку. Иванъ Степановичъ дрожащимъ голосомъ сказалъ: «Душечка, Варенька, ангель мой, ненаглядная моя, послушай, мое золото, вотъ Прокопъ Ермолаевичъ проситъ тебя принять честь, т. е. такъ сказать супружествомъ тебя осчастливить, быть его женою, съ позволенія сказать...»

Варенька посмотрѣла на Ермолаева, и расхохоталась.

— «Безъ шутокъ? Покорнѣйше благодарю. Я почитай уже Дмитрію Семеновичу жена; вотъ передъ святками Семенъ Михайловичъ выиграетъ дѣло, а передъ масляной свадьба; ихъ маменька прivedеть.»

— «Не бывать тому, Варвара Ивановна! Князь Меншиковъ не допустить.»

— «Да ему какое дѣло? У него есть своя княгиня, а у меня будетъ свой князь...»

— «Такъ я же знаю, что я сдѣлаю. Насильно на васъ женюсь.»

Иванъ Степановичъ отъ ужаса сѣлъ въ кресла, а Варенька еще пуще расхохоталась, и сказала съ обычнымъ простодушіемъ:

— «Да я васъ, Прокопъ Ермолаичъ, ухватомъ такъ провожу со двора, что вы отдумаете на мнѣ жениться. Я презлая, и на такое чучело, какъ вы, не промѣняю моего Димитрія...»

— «Чучело?..»

«Да чучело, пугало, холопская харя. Вотъ вамъ!..»

— «Варенька, Варенька!» вопилъ Иванъ Степановичъ: «Что ты со мною дѣлаешь!»

— «Да, ты же самъ, батюшка, разекаывалъ про него, что онъ — Проконка, назначеннаго стрѣльца недоросль, за воровство въ некруты отданъ...»

— «Убила, уморил!» кричалъ Иванъ Степановичъ. Ермолаевъ схватилъ шиппу, и въ бѣшенствѣ убѣгая, кричалъ въ свою очередь: «Зарѣжу, утоплю; всѣ въ Сибири будете!»

Прошло около недѣли. Однажды по утру приходитъ Полковникъ Блеклый. Лице его было блѣдно; черты измѣнились; досада и горестъ освѣтили нахмуренное чело его.

— «Что съ тобой, ваше высокоблагородіе?» спросилъ Иванъ Степановичъ, примѣтно струсивъ.

— «Проигралъ...» отвѣчалъ Блеклый.

— «Много ли?»

— «Все! И счастье моего Мити. Зотовъ одолѣлъ. Меня обвинили; свадьбъ не бывать. Пусть Митя служить и кормится, а я — подъ пушки! Дурацкая пуля справедливѣе людей...»

— «А Долгоруковъ?»

— «Обманулъ. Прощайте!»

— «Да куда ты это? Сходилъ бы къ Якову Федоровичу, авось дѣло бы уладилъ.»

— «Не хочу съ нимъ знаться; какой онъ сенаторъ! За сильнаго тянетъ. Постой, доидеть до Государя, рабра пересчитаетъ. Вчерашній сенаторъ! Не хочу. Прощайте! Ни меня, ни Мити больше не увидите! Дай вамъ Господь всякаго благополучія, а тебѣ, Варенька, хорошаго женишка; прощайте!»

Не хочу! Сенаторъ! Честное слово! Пстой, пстой, дойдетъ до Государя...» И Полковникъ исчезъ, а Варенька залилась слезами. Не успѣвъ Иванъ Степанычъ опомниться, съ крикомъ и шумомъ вошелъ Ермолаевъ. «Пожалуй твою шпагу!» сказалъ вошедшій Ониксову. Иванъ Степанычъ сполна струсилъ, прижался въ уголь и сталъ плакать. Варенька наскоро отерла слезу, и выступила впередъ. «Что вамъ угодно?»

— «Шпагу твоего отца, или твою руку...» отвѣчалъ Ермолаевъ грубо: «Князь приказалъ его арестовать по моему доносу. Бумага у меня въ карманъ. Хочешь, сдавайся — и мирь...»

Иванъ Степанычъ присѣлъ въ углу на полъ, и жалобно простоналъ: «Варенька! Выручи!»

— «Я твоя!» сказала Варвара Ивановна поблѣднѣвъ, но довольно твердымъ голосомъ: «Бери, но любить не стану! Только мнѣ замужъ раньше года нельзя. Вотъ видишь, я плакала; мы только что получили горькую вѣсточку. Матушка умерла въ деревнѣ. Черезъ годъ — я твоя... Хочешь?»

— «Идетъ, Варвара Ивановна! По рукамъ, Иванъ Степанычъ! Извини, что я тебя подъ такое горе, да еще и судомъ напугалъ. Побѣгу теперь къ Князю; скажу, что наша взяла, а потомъ, прибѣгу съ вами обо всемъ нужномъ толковать; до вечера далеко...» Ермолаевъ ушелъ...

— «Что ты соврала?» спросилъ Ониксовъ, едва выговаривая слова.

— «Молчи, батюшка, эта ложь наше спасеніе.

Богъ послалъ эту выдумку. Кажись, Яковъ Федоричъ уже къ нимъ на островъ переехалъ...

— «А тебѣ на что?»

— «Да ужь не спрашивай, дай только гривну...»

— «Послунай, Варенька...»

— «Все одно, не пустите, ночью уйду; только этому недорослю стрѣльцкому ничего не говорите; будетъ все по моему.»

Вечерело. После краткаго отдыха, Князь Яковъ Федоровичъ читалъ вечернія молитвы. Докладываютъ: Варвара Ивановна Оляксова. Зови. Вошла Варенька, и бухъ Князю въ ноги.

— «Что вамъ угодно, милостивая госножа?» спросилъ Князь, вставъ съ кресель и съ трудомъ поднимая гостью. Варенька рассказала все свое горе. Князь усмѣхнулся и отвѣчалъ: «Послалъ и уже за Семеномъ Михайльичемъ, да не зналъ, что онъ такъ плохъ. Честному моему слову не повѣрялъ. Да, вотъ и онъ кстати! Ну, что тебя не видно, пріятель?»

Блеклый молчалъ.

— «Ты на меня сердншься?» спросилъ Князь ласково.

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ Полковникъ сквозь слезы.

— «Мы рѣшили твое дѣло неправильно.»

— «Не знаю!»

— «Какъ не знаешь!»

— «Господа Советъ лучше знаютъ...»

— «Не упрямясь, пріятель! Я моему честному слову не измѣню. Сядись и пиши!»

— «Князь, перестань морочить! Довольно и одной шутки! Отъ второй съ ума сойду.»

— «Говорять тебѣ, садись и пиши!» Блеклый повиновался.

— «По титуль...» сказалъ Князь, и продиктовалъ Полковнику челобитную на высочайшее имя, въ коей Блеклый жаловался на неправильное рѣшеніе Сената.

— «Ну..» продолжалъ Князь: «теперь подпиши, ступай прямо въ новый Зимній Домъ и отдай Государю, а о прочемъ не заботься!»

Полковникъ вздохнулъ тяжело, сложилъ прошеніе, и ушелъ, не сказавъ ни слова...

— «Ну, а вамъ, сударыня, спасибо! Вы мнѣ много помогли, я и объ васъ позабочусь. Скажите вашему Дмитрію, что у меня есть ваканція съ добрымъ жалованьемъ и приличнымъ занятіемъ; пусть завтра прійдетъ въ Ревизіонъ-Коллегію, поутру, часу въ седьмомъ, до сената; я тамъ буду. А теперь поздно. Наумовъ, проводи барышню до дому; недалеко; по сосѣдству, во Французской Слободѣ. Ну, съ Богомъ!»

Не прошло и часа, изъ Зимняго Дома денщикъ царскій прискакалъ: Государь Князя зоветъ, и мѣшкать не приказалъ: нужное дѣло. Князь былъ давно готовъ къ этому приглашенію, и немедленно отправился во дворецъ. Государь былъ одинъ, въ новомъ дубовомъ кабинетѣ, и зашивалъ свои башмаки, при двухъ огаркахъ, оправленныхъ въ точеные собственноручно подсвѣчники.

— «Кто тамъ?» спросилъ Государь.

— «Слуга твой...» отвѣчалъ Князь: «По зову!»

— «Послунай, Князь!» спросилъ Государь, продолжая работать: «Скажи мнѣ, кто по Сенату правъ, Блеклый или Зотовъ?»

— «Блеклый.»

— «Но зачѣмъ же ты подписалъ опредѣленіе въ пользу Зотова?»

— «Государь! Сильная рука Зотова одолгла; наступаютъ святки, а онъ моего брата, по злобѣ, уже опоилъ. Если бъ я обвинилъ его, и мнѣ была бы, можетъ быть, та же участь, а какъ ты, Государь, передлаеши по своему и насъ обвинишь, то не на кого будетъ ему и сердиться...»

Государь долго молчалъ, покраснѣвъ примѣтно. Наконецъ, не глядя на Князя, сказалъ тихо: «Ступай съ Богомъ!» —

Поутру весь Сенатъ былъ въ волненіи; со вчерашняго вечера Государь потребовалъ къ себѣ дѣло Блеклаго, и до девятаго часа утра, оно въ Сенатъ еще не возвращалось. Никто не рѣшался приступить къ слушанію другихъ дѣлъ; безпокойство было написано на лицахъ всѣхъ сенаторовъ. Наконецъ, въ девять часовъ ровно, генералъ-адъютантъ вошелъ въ присутствіе, и приказалъ читать высочайшую резолюцію. Государь рѣшилъ въ пользу Блеклаго, написавъ въ заключеніе собственноручно: *чтобы на всѣхъ юсподѣ сенаторовъ наложить знатный штрафъ, а на Князя Доморукова вдвое противу другихъ, потому что онъ умнѣе другихъ вдвое.*

У.

КОРАВЛИ.

Наступилъ новый 1712 годъ. Было уже 4-е число января. Князь Яковъ Федоровичъ сидѣлъ съ своими приближенными въ кабинетъ; передъ нимъ лежали чертежи корабля.

— «То-то, Федя, подай я мысль Государю на сенаторовъ возложить построение запаснаго флота, да теперь и самъ не радъ. Кесарь, Меншиковъ, Князь Папа, Стрѣшневъ, Мусинъ-Пушкинъ давно уже свои корабли строятъ, а мнѣ — гдѣ работниковъ взять? Что, Дмитрій Семеновичъ, ты справлялся?»

— «Справлялся, ваше сіятельство...» отнѣчалъ молодой Блеклый: «Въ Петербургъ все мастеровыя наняты, въ морскихъ слободахъ все мѣста способныя для постройки уже забраны. Саран поставлены, чуть не ночью работаютъ. Да я досталъ таки мѣстечко для вашего сіятельства за рѣчкой Пряжкой, да на праздникахъ въ Олоонецъ съездилъ, тамъ и мастеровъ и работниковъ нанялъ. После Крещенія все будутъ. Корабль будетъ знатный, мастера опытные; только рукъ мало, долго строить придется.»

— «Все равно, лишь бы построить. Не изъ хвасты я вызвался Государю корабль снарядить, а ради нужды царскихъ. За усердіе не взыщеть. И мой прочнее будетъ. А тебѣ спасибо, Дмитрій Семеновичъ! Знатно служишь... Ужъ ты на себя возьми, по дружбѣ, за всеи кораблемъ смотреть.»

Денегъ не жалѣй! Ну, Ѳдѣ!» продолжалъ Князь, обращаясь къ Наумову: «А ты роспись запасному отпуску сукна отослалъ?»

— «Отослалъ.»

— «А когда же исполнять?»

— «Да по ближайшимъ полкамъ уже исполнено. Только въ одномъ Ижерскомъ не принимаютъ зеленого сукна; говорятъ, что не того колера прислали, пошли къ Князю жаловаться...»

— «Я ихъ въ гвардію, ради суконной нужды, пожаловалъ, я ихъ и разжаловалъ. Будеть; пощеголяли. А будетъ у меня въ синемъ недостатокъ, такъ я и гвардію на годокъ арміей сдѣлаю. Вздоръ! Мы всѣ дома! Не изъ чего чваниться; мотать не будемъ. По одежкѣ протягивай ножки; такъ мнѣ самъ Государь наказывалъ.»

— «Полковникъ Ермолаевъ, адъютантъ его свѣтлости!» сказалъ слуга.

— «Проси!» отвѣчалъ Князь: «Вѣрно Свѣтлѣйшій за колеръ осерчалъ, да зачѣмъ однако же посылать ко мнѣ этого мерзавца?»

Ермолаевъ вошелъ въ кабинетъ Князя съ дерзостью, какую внушала незаслуженная протекція временщика, и не дожидаясь вопросовъ Князя, безъ предварительныхъ привѣтствій, даже безъ поклона сказалъ:

— «Его свѣтлость приказалъ вашему сіятельству дать ему знать, для чего на полкъ его отпущено сукно не того калибра...»

— «Что ты говоришь?»

— «Не того калибра!» повторилъ полковникъ.

— «Глупъ, брить ты...» отвѣчалъ Князь съ улыбкой: «да и тотъ таковъ же, кто тебя въ полковники произвелъ *). Прощай!..»

— Ну, что, Дмитрій Семенычъ? — сказалъ Князь, когда Ермолаевъ окрылся: «А все таки, этотъ уродъ у тебя невесту отбилъ.»

— «Отбилъ, ваше сіятельство! Ужъ такой невесты мнѣ не найти... Да еще до срока далеко... Такой сорванецъ, какъ Ермолаевъ, чего добраго, попадется; а пока ему поперечить нельзя. Придумать отца, а онъ и такъ изъ трусовъ. Что делать! Варенька больше для него отъ слова не отпирается, да пока жениха и на глаза не пускаютъ. Только и терпеливъ же, окаанный; ждетъ!.. Въ церкви только и видятъ. Конечно, если дойдетъ до Государя, не видать ему невесты; да кто же станетъ Царю говорить? Развѣ ты, Князь?..»

— «Нѣтъ, Дмитрій Семенычъ! Люблю я и тебя и отца, да къ Государю съ доносомъ не по моей части, не пойду, а при случаѣ не ручаюсь. Царю правда лучший другъ.»

Наступила и весна; и Нева вскрылась, и Меншикова корабль приготовленъ къ спуску. Въ назначенный день, Государь съ Государыней, со всеми иностранными посланниками и вельможами своей новой Имперіи пожаловалъ на корабль. Яркое солнце пылало во всей полуденной красотѣ своей; па-

*) См. Дополненія къ Дѣяніямъ Петра Великаго, Голикова, томъ XVII, стр. 194 — 197.

луба чернѣлась поствителями; раздалось молитвенное пѣніе; застучали топоры; грянула музыка и пушки, и поворожденный онунулся въ материнскихъ волнахъ Невы рѣки... Корабль при спускѣ не шлохнулся. Государь осматривалъ его во всѣхъ подробностяхъ: чудо, не работа; железо, не плотность; чистенекъ, опрятенъ, словно выточенъ. О! Александръ Данилычъ на это мастеръ! Не успѣлъ корабль улежаться на своей зыбкой постелькѣ, по всей палубѣ, какъ будто по волнебному мановенію, раскинулись столы, и покрылись вкусными яствами и винами. Гости заняли мѣста, не по чинамъ, въ разсыпную. Государь подозвалъ строителя, и сказалъ: «Данилычъ! Милости, милости проси! Все сдѣлаю!»

— «Ваше Величество!» сказалъ Князь съ видомъ искренняго смиренія: «Позволь тебѣ, Государь, представить Полковника Ермолаева! За что его Князь Долгоруковъ и съ тобою вмѣстѣ обидѣлъ? Послалъ я его къ Князю за дѣломъ, а онъ и его и того, кто его въ полковники пожаловалъ, дураками назвалъ. Заступи насъ, Государь, и помилуй!..»

Ермолаевъ упалъ на колѣни предъ Государемъ, и также кричалъ: «Защити и помилуй!..»

Наумовъ, слыша этотъ разговоръ, бросился на другой конецъ палубы, гдѣ Долгоруковъ покойно сидѣлъ за столомъ, разговаривалъ съ какимъ-то иностранцемъ о красотахъ Римской Исторіи.

— «Ваше сіятельство!» шепнулъ Наумовъ на

ухо Князю: «Меншиковъ съ Ермолаевымъ на тебя жалуются.»

— «Пусть ихъ жалуются, какъ хотятъ...» отвѣчалъ Князь громко и покойно: «Имъ-же хуже!»

Въ эту же минуту подошелъ къ Якову Федоровичу Государь, гнѣвный, грозный, со сверкающими глазами.

— «Давно ли я у тебя въ дураки попалъ?» спрашиваетъ Государь.

Долгоруковъ всталъ, и поклонясь отвѣчалъ: «Клевета, Петръ Алексѣевичъ!»

— «Ты говорилъ-же полковнику, присланному отъ Меншикова, что онъ дуракъ, и тотъ дуракъ, кто его въ полковники произвелъ?»

— «Говорилъ, и повторяю...»

— «Да кто-же въ чины жалуетъ? Вѣдь я?»

— «Нѣтъ, Государь! Не ты! Ты наверху, и на свой счетъ моихъ словъ не принимай, а садись и выслушай.»

Государь съелъ. Долгоруковъ началъ:

— «Стыдно тебѣ, Государь, такой клеветѣ и повѣрять. Ты знаешь, какъ я тебя разумью; можетъ быть, да и вѣрно получше твоего Александра, потому что за недостойнаго никогда не просилъ. Сказать, я сказалъ, но не про тебя, а про Меншикова, и вотъ почему. Ермолаевъ не изъ дворянъ, а сынъ казеннаго измѣнника, стрѣльца Ермолая; по деревнѣ Прокопкой его звали, и за проказы въ рекруты отдали; онъ у Князя сначала на посылакахъ былъ, потомъ сталъ наущничать, льстить, и самаго Князя то въ грѣхъ, то въ обманъ вво-

днѣ а онъ его къ чину и представляетъ; много ли времени прошло, а онъ уже полковникъ. Ужъ если Князь, довѣренный твой слуга, наипаче съ тобою бываетъ, коли ты его уже своимъ наперснымъ челоуѣкомъ сдѣлалъ, такъ ужъ и долженъ вѣрить, и паче въ такихъ малыхъ дѣлахъ; не дѣлать же тебѣ слѣдствій по всякому письменному и словесному представленію Князя. Ты вѣришь, а Князь своего клеветы въ полковники и произвелъ. Теперь ты меня, Государь защити! Спроси: за что Ермолаевъ полковникомъ? Гдѣ служилъ? Въ какой баталіи отличился? За что чины получилъ? Изслѣдуй, Государь! На мои слова не полагайся! И я челоуѣкъ, могу обмануть тебя, Государь, а невинный пострадаетъ. Но я...»

Долгоруковъ всталъ; глаза его блистали; всѣ черты лица приняли какую-то торжественность. Князь продолжалъ тихо: «Но я виноватъ. Зналъ, не донесъ. Потому не донесъ, что теперь только могу сказать, что говорю правду. Суди насъ, Государь!»

Государь всталъ, и сказалъ ласково: «Хорошо, дядя! Я все обслѣдую!» Потомъ, обратясь къ Ермолаеву, сказалъ тихо, но грозно:

— «Господинъ полковникъ! Отдай свою шпагу дежурному, и съ глазъ долой, до указа...»

Происшествіе это имѣло оборотъ совершенно противный тому, какого ожидалъ Князь Менишковъ. Пиръ и веселіе разрушились. Государь почти ничего не ѣлъ; уѣхалъ, не простясь съ Княземъ Менишковымъ; гости немедленно разѣхались;

изъ нервныхъ отправился домой, на лодкѣ, Долгорукій; но каково же было его удивленіе, когда войдя въ свой кабинетъ, нашелъ тамъ Меншикова. Святѣйшій ходилъ взадъ и впередъ, закинувъ на спину руки: лице выражало досаду. Увидѣвъ Долгорукаго, Меншиковъ остановился по срединѣ комнаты, и всплеснувъ руками, сказалъ жалобно: «Что ты со мною сдѣлалъ, ваше сіятельство?»

— «Ты виноватъ, ваша свѣтлость! Ты истецъ, я отвѣтчикъ!»

— «Виноватъ, дядя, прости!»

— «Не въ моей власти! Дало дальнѣе Сената пошло.»

— «Выручи! Ты одинъ Государя на милость преклонить можешь!»

— «Не могу! Корабль не готовъ! Государь на меня и такъ за медленность оердится.»

— «Завтра всѣ мои работники на твоёмъ кораблѣ будутъ. Да чего, завтра, сегодня, сейчасъ. только ты мнѣ моего Ермолаева вероти...»

— «Вотъ дай спустить корабль, такъ при спускѣ, вмѣсто милости, Ермолаева тебѣ выпрошу.»

— «По рукамъ, Князь!»

— «По рукамъ.»

Князья разстались. Долгорукій сталъ молиться, какъ вдругъ откуда ни возмись гости. Членъ Ревизіонъ-Коллегіи, Бригадиръ Блеклый, вашъ старый знакомый, вслѣдъ за нимъ Подполковникъ Ижерскаго Полка Иванъ Степанъчъ Ониксонъ, котораго почти насильно втащили въ кабинетъ Князя, Варенька. Долгорукій, сложивъ святцы, сказалъ

тико: «Не радуйтесь чужому герою: и въ злодѣе несчастіе заслуживаетъ состраданіе.» Прибѣжавшіе благодарятъ Князя за послугу; съ трепетомъ отступили. «Ермолаевъ арестованъ...» продолжалъ Князь: «не избѣжить суда, но несчастіе его не освобождаетъ васъ отъ даннаго слова. Теперь надо отъ него получить добровольный, непринужденный отказъ... Еще поздній гость!» сказалъ Князь увидѣвъ молодца Блеклаго: «и верно за тѣмъ же.»

— «Я пришелъ доложить вашему сіятельству...» отвѣчалъ Дмитрій Семеновичъ: «что на нашъ корабль пришло до двухъ тысячъ работниковъ отъ Князя Меншикова; хотятъ служить безъ платы.»

— «Вздоръ! Не котятъ! Имъ вельми! А ты всемъ заплати наравнѣ съ нашими. А какъ скоро поспѣетъ темерь корабль?»

— «Недѣля черезъ двѣ. Вчерня и такъ готовъ.»

— «Ну, такъ черезъ двѣ недѣли я буду просить помилованія вашему общему врагу, Ермолаеву.»

— «Ваше сіятельство!» сказалъ Дмитрій Семеновичъ: «Я хотѣлъ просить васъ о томъ-же, потому что амбіція не позволитъ имѣть профитъ въ чужомъ несчастіи!»

— «Но въ такомъ случаѣ ты потеряешь любимую невѣсту.»

— «Не можетъ быть! Богъ справедливъ и милостивъ.»

— «Богъ сираведливъ и милостивъ!»

Князь поцѣловалъ Дмитрія въ лобъ, повелъ всехъ въ гостинную, усадилъ, и приказалъ подать разнаго

рода сласти и вина.—Иванъ Степанычъ постоянно больше и больше трусилъ, Онъ не могъ повѣрить, чтобы ихъ принималъ и угощалъ русскій вельможа.

Не смотря на всѣ усилія Петра, дворы русскихъ сановниковъ сего времени походили на небольшія крѣпости, окруженныя стѣною; лично, кромѣ равныхъ съ ними, никто несмѣлъ и не могъ ихъ видѣть. Людей даже трудно было вызывать. Нерѣдко посланецъ отмораживалъ руки, пока отворяли ему калитку. Иностранные резиденты, прѣхавъ въ Петербургъ, на другой или на третій день, по европейскому обычаю, отправлялись ко всемъ сановникамъ съ визитами; простоявъ болѣе часа у воротъ, они были допускаемы къ объясненію съ дворниками, потомъ съ дворецкимъ, потомъ съ управляющимъ, наконецъ входили въ гостинную. Сановникъ выходилъ и садился въ кресла, не приглашая съестъ резидента. Иностранецъ говорилъ свою рѣчь. Выслушавъ, сановникъ спрашивалъ: Что тебѣ отъ меня нужно? Естественно резидентъ отвѣчалъ: Ничего, я прѣхалъ такъ, посѣтить васъ. —Сановникъ на это говорилъ: Напрасно беспокоился; прощай! И мнѣ отъ тебя ничего не нужно. — И съ этимъ комплиментомъ резидентъ отправлялся къ другимъ, за тѣмъ же. Исключенія были рѣдки, и потому неудивительно, что отъ ласки и радушія Князя Долгорукаго, Иванъ Степанычъ совершенно струсилъ. Когда Князь отворачивался, Иванъ Степанычъ толкалъ Вареньку ногою, или даже дергалъ за юпку, приговаривая: «Что ты это разсылась, будто дома! Подвинься на краишечкѣ!»

Князь смотритъ.» Когда, взявъ кубокъ, Князь провозгласилъ здоровье Ивана Степаныча, чувства Ониксова помутились; онъ вскочилъ, вытянулся въ струнку, и такъ ревнулъ «Здравія желаю, ваше сіятельство!» что Князь отъ смѣха захлѣбнулся и сталъ кашлять.

— «Виновать!» возопилъ испуганный Иванъ Степанычъ: «Никогда не буду...»

— «Да не смѣши, Иванъ Степанычъ! Что ты сомною чинишься!» — «Что я за шутъ!» подумалъ Иванъ Степанычъ, и обидясь, сталъ пятиться къ дверямъ, попалъ на стулъ, опрокинулъ; стулъ ударился объ столъ, стоявшій въ углу, съ китайскою вазою; ваза полетѣла подъ ноги Ивана Степаныча. Испуганный до нельзя, онъ сталъ прыгать, желая отскочить отъ дорогаго фарфора, но, по обычной ловкости и обширности ботфортовъ, попадалъ ногами въ вазу. Объятый ужасомъ, онъ выбѣжалъ на дворъ, и сталъ кричать во все горло: караулъ! Люди было принялись за него, но Иванъ Степанычъ, у самыхъ воротъ, встрѣтясь съ Ермолаевымъ, котораго подъ стражей вводили на дворъ, опрометью броился опять въ покои, забѣжалъ въ образную, упалъ на козвыи, громко повторяя: «Святые угодики! ошасите!...»

— «Что тамъ такое?» спросилъ изумленный Долгорукій.

— «Арестанта привели...» отвѣчалъ Наумовъ.

— «Да что я, острогъ что ли?»

— «Отъ Государя.»

— «Отъ самаго Государя! Давай его сюда.

Воинель Ермолаевъ, и сталъ валяться въ ногахъ Князя: «Прости меня, ваше сіятельство, вѣчно тебѣ холопомъ служить буду. Государь говоритъ, что мнѣ помилованія не будетъ, а только не такъ строго накажетъ, если ты простишь.»

— «Не могу...» сказалъ грозно Долгорукій. «Прощеніе у Бога да у Государя, а не у насъ, грѣшныхъ людей; у нихъ милость, а у насъ законъ. Вотъ, погляди, и эти тобою обижены; въ Сибирь пошлютъ, и невѣста съ тобой должна вхаты. Такъ ужь водится. Я Варвару Ивановну знаю. Слово дала, не отречется, а я знаю, какъ ты то слово получилъ, такъ ужь извини, просить за тебя не стану...»

— «Батюшка, государь, князь, ваше сіятельство, я ей слово назадъ отдаю, на мой счетъ свадьбу справлю; только изъ бѣды выручи!»

Иванъ Степанычъ просунулъ голову изъ образной, и сказалъ тихо: «Князь, а князь! Не выручай! Онъ меня со свѣта сживетъ; я его знаю давно; право, не выручай; онъ тебѣ насолить. Благо попался... Не выручай!»

— «Послушай, Ермолаевъ!» сказалъ Князь: «Вѣдь ты потомъ, пожалуй, скажешь, что невѣсту по неволѣ уступилъ. Воля при тебѣ; если добродотно отказываешься, такъ вотъ икона; у меня и кольца найдутся; за священникомъ недалеко сбѣгать...»

— «Право, охотно! Хотъ вѣнчай ихъ; мнѣ теперь не только Варвара Ивановна, и свѣтъ не милъ.»

— «Ну, такъ и быть!» сказалъ князь, и ужь очень поздно ввечеру совершилось обрученіе Дмитрія Семеновича Блеклаго съ Варварой Ивановной Ониксовой, въ присутствіи дочери и нѣкоторыхъ родственниковъ Князя, созванныхъ на скорую руку.

Прошло двѣ недѣли безъ двухъ дней, и корабль Князя Долгорукова былъ спущенъ на Неву рѣку, съ тѣмъ же церемоніаломъ. Государь былъ вполнѣ доволенъ. Съ неизъяснимымъ удовольствіемъ поглядывалъ Петръ на маститаго старца, украшеніе государства и государствованія. По обыкновенію столы были раскинуты; для высочайшихъ особъ приготовлено было особое мѣсто. Государь приказалъ подать третій стулъ, и усадивъ хозяина на средній, взялъ за руку Императрицу, и подведя къ Князю, сказалъ: *«Дядя нашъ больше намъ другъ, нежели подданный. Никто столько насъ не любитъ, какъ онъ. Вседашняя правда, юворенная мнѣ мнѣ, и ревность ея къ отечеству сіе доказываютъ ясно и ты обязана ея столькоже мною любить, какъ и я. Проси, другъ мой, у меня...»* прибавилъ Государь, обращаясь къ Князю: *«я все для тебя сдѣлаю.»*

Князь улыбуясь, и отвѣчалъ: *«Хорошо, посмотрю, сдѣлаешь ли, о чемъ попрошу.»* —

— *«Сдѣлаю...»* повторилъ Государь, и Князь вставъ, сказалъ: *«Прости арестованнаго полковника! Больше ни о чемъ тебя не тружусь.»*

— *«Дядя! Благо тебѣ, если враговъ прощать умѣешь. Ужъ я этого и не ожидалъ. Быть по твоему.»*

Князь всталъ изъ-за стола, и подозвавъ Наумова, сказалъ: «Сходи, Федя, къ Ермолаеву, да и выпусти его изъ-подъ ареста государевымъ именемъ; только крепко на крепко накажи ему, что если самъ государь будетъ о чемъ либо его сарапливать, то бы не осмѣливался ничего утаивать.

Ирада Марю муній друи!»

— «Слушаю-съ!» отвѣчалъ Наумовъ.

— «Да кстати...» прибавилъ Князь: «попроси его сегодня ввечеру къ Ониковымъ на свадьбу; пусть помирятся...»

— «Все слышу, дядя...» сказалъ Государь: «все знаю, да не все будетъ по твоему. Я у Ониковыхъ на свадьбѣ самъ хочу быть; а съ Ермолаевымъ встрѣчаться не желаю... Ермолаевъ сегодня же уѣдетъ на Уралъ, въ дальнюю крѣпость въ коменданты. Да, Александръ Данилычъ; это я уже о тебѣ хлопоту.»

Всѣ умолкли. Прошло нѣсколько мгновеній; Государь завязалъ бесѣду, и всѣ оживились непринужденнымъ веселіемъ.

Съ корабля всѣ переехали на Васильевскій Островъ, и въ приходской церкви Князя Меншикова, у Спаса на берегу, Князь Долгоруновъ стоялъ посаженнымъ отцемъ у Варвары Ивановны.

Богатые пиры на княжескій счетъ продолжались шесть дней. На седьмой случилось происшествіе, составляющее содержаніе особаго разсказа.

ЧАСОВОЙ.

Историческая повесть.

I.

Какъ жестики жениховъ провожали.

Лефортово, какъ хотите называйте: село, или предмѣстье, стояло у самой Москвы особнякомъ и представляло довольно странную и занимательную противоположность съ Бѣлокаменной Старушкой; посреди обширнаго сада возвышался великолѣпный Лефортовскій дворецъ, построенный признательнымъ Монархомъ для достойнаго любимца, отличный архитектурою ото всѣхъ боярскихъ хоровъ или лучше сказать городковъ. Отъ ограды, красивыми улицами во всѣ стороны расходились деревянные домики, числомъ до пяти сотъ; это были казармы Лефортовскаго полка. Нѣкоторые изъ этихъ домиковъ были пообширнѣе и обыкновенно стояли посреди улицы или роты. Въ одномъ изъ этихъ большихъ домовъ, не смотря на позднюю пору, окна были освѣщены и ставни не заперты. У капитана Бломберга сидѣлъ гость, Василій Семеновичъ Подсвинковъ, дьякъ посольскаго приказа, человекъ пожилой, такъ будетъ лѣтъ

около пятидесяти; бывалый, какъ говорятъ, потому что онъ точно бывалъ за моремъ по разнымъ посольскимъ дѣламъ и порядочно изломалъ нравы и языкъ на нѣмецкой ладъ. Капитанъ Бломбергъ былъ изъ Вестфалии родомъ, имѣлъ тамъ родныхъ и, во время проѣзда Василя Семеновича черезъ отчизну Бломберга, родственники не упустили случая переслать капитану письмо, а это письмо доставило обоимъ пріятное знакомство, особенно для Подсвинкова, и по весьма естественной причинѣ. У Бломберга было три дочери, старшей, Шарлотъ, было восемнадцать лѣтъ, второй Розъ — двѣнадцать, меньшей и того меньше. Старшая была на чудо хороша, а Подсвинковъ, который весьма былъ уже расположенъ ко всему иностранному, расположился и къ хорошенькой Шарлотъ, тѣмъ болѣе, что по его мнѣнію, пришла настоящая пора жениться. Время было лѣтнее; погода прекрасная, Шарлота съ сестрами сидѣла у сосѣдокъ, въ небольшомъ саду и не смотря на то, что сестрицы напоминали ей, что пора спать, она никакъ не рвалась идти домой, какъ будто выжидала пока гость отца не уберется восвося. Но не такъ былъ Василю Семеновичу Подсвинкову. Онъ получилъ въ приказъ такую привычку, что могъ просидѣть трое сутокъ ораду. По заграничному манеру, тянулъ себѣ пуншикъ съ французской водкой, курилъ изъ глиняной трубки, и бесѣдовалъ съ капитаномъ, который также курилъ трубку, тянулъ пуншъ и также бесѣдовалъ. Только и разницы было въ поведеніи двухъ собесѣдниковъ,

что Подсвинокъ по привычкѣ сидѣлъ, а капитанъ по привычкѣ ходилъ по комнатамъ взадъ и впередъ церемониальнымъ маршемъ, соблюдая при поворотахъ воинскіе приемы. Еще разница, или сходство, какъ угодно: дьякъ непременно хотѣлъ говорить по нѣмецки, а капитанъ по Русски.

— «Полно, Василій Семеновичъ, полно!» говорилъ Бломбергъ: «Сдѣлай милость, не смѣши! Ты по нѣмецки не можешь говорить свободно. Надо имѣть особенный талантъ къ языкамъ. Вотъ я, напримеръ, по Испански выучился въ три дни!...»

— «Ну, ужъ и въ три дни!»

— «Ей Богу, въ три дни. Да это что! Пустой языкъ, дрянъ, въ одинъ день я просмотрѣлъ лексиконъ и къ вечеру уже зналъ все Испанскія слова. На другой день взялъ и выучилъ Грамматику; на третій я уже написалъ Испанское письмо къ Кардиналу въ Мадридъ. Тутъ даже нѣтъ ничего удивительнаго, а вотъ происшествіе съ Турецкимъ языкомъ такъ въ самомъ дѣлѣ удивительно!»

— «А что же было съ турецкимъ языкомъ?»

— «А вотъ что! Пошли мы, ты знаешь, съ генераломъ, въ турецкій походъ, я всю дорогу и думаю: какъ же я буду въ Турціи разговаривать, а турецкій языкъ, надобно тебѣ знать, ужасно труденъ. На самой уже границѣ, на почлегѣ, я думаю: какъ же это будетъ? Завтра мы въ Турціи, а я еще ни одного слова не знаю. Думалъ, подумалъ, и заснулъ. Сплю. Вдругъ вижу, ко мнѣ подходитъ Турка и давай со мной по-Турецки.

Мы разговорились. Я такъ и чешу по-Турецки. Онъ обрадовался, да всю ночь со мной и проболталъ. Просыпаюсь, что же ты думаешь, знаю по-Турецки!»

— «Что же ты, небось, во снѣ выучился?!»

— «Во снѣ!»

— «Мудрено, да ужъ если ты рассказываешь, должно быть такъ. По этому ты и теперь по-Турецки знаешь?»

— «Зачѣмъ! Пока былъ въ Турціи, такъ и зналъ; вышелъ изъ Турціи, на самой границѣ, всѣ слова забылъ, будто у меня кто турецкій языкъ изъ кармана уворовалъ.»

— «Мудрено, право мудрено; да мало чего такого нѣтъ на свѣтъ; чего и не слыхивали и невидывали другіе. Вотъ, чай, другой Шарлоты Богдановны не бывало, нѣтъ, да и не будетъ...»

Бломбергъ посмотрѣлъ на Подсвинкова и усмѣхнулся....

— «Видишь, въ послахъ...» сказалъ капитанъ: «всякой хитрости научился; знаетъ, съ которой стороны подѣхать. Я тебѣ далъ слово и не отрекаюсь. Быть ей твоею женою, только—бороду долой, да и платье....»

— «Богданъ Крестьяновичъ, помилуй! Ты развѣ не знаешь, какой норовъ у моего милостивца, боярина Ивана Ивановича. Въдь бояринъ меня съестъ, если бороду сниму. Не забудь, въдь онъ у меня самая большая рука; къ князю Федору Юрьевичу, къ Лопухинымъ, и къ другимъ близкимъ царскимъ людямъ я не вхожъ; Иванъ Ивановичъ

на дняхъ хочетъ меня въ думные дьяки выпросить; а я вдругъ ему и удружу бородой. Ну, а тамъ, какъ я стану думнымъ, тогда мнѣ боярская рука не нужна; могу бороду снять; тогда меня станетъ Государь знать и жаловать....»

— «Ну, такъ тогда и свадьбѣ быть....» сказалъ Бломбергъ сухо, выколачивая бережно трубку....

— «Что ты, что ты, Богданъ Крестьяновичъ! Право не въ мочь; Шарлота Богдановна больно хороша. Ты живешь въ своей ротѣ; тутъ кругомъ холостыба; не только тутъ у васъ солдаты, капралы и сержанты, да есть и офицеры не женатые. Молодежь. Глазъ у иного такой вострый, у иного черный; такъ смотри, чтобы подъ часъ съ недобраго глаза....»

— «Полно, Василий Семеновичъ! Не такая у меня Лотхенъ. Вотъ, не дальше будетъ, какъ съ недѣлю, Михайло Волковъ, ты чай слышалъ, у Государя въ товарищахъ, въ одномъ капральствѣ; онъ, да князь Михайло Михайловичъ Голицынъ, тоже Преображенскій солдатъ; Государя на часахъ смѣняютъ; одну артель ведутъ; кажется близкіе люди; такъ этотъ Волковъ вздумалъ было Лотхенъ къ себѣ приколдовать. Что-же вышло? Не онъ ее, а она его — до смерти испортила; дурь навела; того гляди, разумъ повредить. Да это что! Съ измолода она въ большой славѣ. Въ Турціи у меня про нее спрашивали; Турецкій султанъ подсылалъ ко мнѣ большую казну, и камни и лошадей, а ужъ какая была одна лошадь, такъ на чудо. Лошадь, какъ лошадь, только вмѣсто зу-

бовъ, настоящіе жемчужины, а въ глаза — карбункулы вставлены.... Я сказалъ: пожалуй, только быть Шарлотъ султаншей — одной; а прочихъ женъ пускай на волю отпустить.... Вотъ послы недавно прѣхали.... Опять спрашивали.... Видишь, до сихъ поръ въ Царьградъ думаютъ, да раздумываютъ, да я нарочно такую загвоздку вклеилъ, что и перелезть имъ нельзя. Тото-же!... Въдь я не какой нибудь простой человекъ; слово далъ и сдержу... А ты для такой красавицы и бородой не хочешь поплатиться.... Да что борода? дрянъ; у инаго и на головъ волосъ нѣтъ, а никто и не узнаетъ; такіе нынче важные парики, а бороду я чай еще лучше сдѣлаютъ....»

— «Какъ, бороду?..»

— «Ну да, бороду. Нужно къ боярину итти, подклеилъ и потнелъ; воротился домой, парикъ съ бороды долой и человекъ....»

Подсвинковъ призадумался. Въ это время, на дворъ слышался двичій шепотъ; двери отворились и всѣ три сестры опроретью вбѣжали въ комнату....

— «Генераль идетъ къ намъ, генераль, самъ генераль!» кричали всѣ три вмѣстѣ. И въ самомъ дѣлѣ, Лефортъ нагнулся въ дверяхъ и выпрямился уже въ комнату. Гораздо труднѣе было и нагиаться и входить его спутнику, Преображенскому солдату Михайлѣ Яковлевичу Волкову. Подсвинковъ не безъ труда поднялся со стула; Бломбергъ бросился къ мундиру....

— «Не трудись, капитанъ!» сказалъ Лефортъ:

«Я къ тебѣ не по службѣ, а по приватному дѣлу. Поднеси капитанъ и мнѣ трубочку, покуримъ вмѣстѣ и поразсудимъ.»

Бломбергъ съ перваго взгляда смѣкнулъ за чѣмъ пожаловали поздніе гости: и свать и женихъ были ему крѣпко не по-нутру; но, соблюдая Европейскую учтивость, Бломбергъ поднесъ трубки обоимъ гостямъ; кивнулъ Лотхенъ; та зачерпнула изъ большой фаянсовой чаши пуншу и поставивъ на поднось два стакана, приказала поднести меньшей сестрѣ; всѣ усьялись, сестрицы всѣ три на одномъ стулѣ.

— «Ну, Богданъ Христіановичъ, давно не видались!»

— «Давненько, ваша эксцеленція, Францъ Яковлевичъ! Изволили съ Государемъ дальній походъ справлять....»

— «Сегодня только утромъ въ Преображенское прѣехали. Я еще и дома не успѣлъ побывать. Прямо отъ Государя къ вамъ.»

Бломбергъ всталъ, поклонился, и мимоходомъ значительно и самодовольно взглянулъ на Подсвинкова и Шарлоту. Лефортъ продолжалъ:

— «Очень пріятный вояжъ! Мы видѣли Русское море. Очень далеко и холодно; Архангельскъ, — хуже Кожуховки, что на Коломенской дорогѣ; солнце лѣтомъ не заходитъ; ночь—двѣ три минуты, и не ночь, а только солнца не видно. А зимою говорятъ день часа два три и пошла ночь.... Со всѣмъ на краю свѣта. Это море очень неудобно. Я совѣтовалъ Государю достать другое.»

— «Да гдѣ же его теперъ достать?» замѣтилъ

Подсвинковъ, желая блеснуть познаніями своими и войти въ разговоръ съ такимъ случайнымъ человекомъ, первымъ любимцемъ Царскимъ.... «Не извольте забыть, Францъ Яковлевичъ, что все моря разобраны....»

— «Велика бѣда! Могутъ быть отобраны»

— «Гдѣ вамъ!»

— «Конечно, гдѣ вамъ!» сказалъ Лефортъ, презрительно улыбувшійся и обратясь къ Бломбергу:

— «Впрочемъ, мы провели время очень весело! Очень много видѣли новаго, полезнаго. Апраксинъ остался въ Архангельскѣ, а князь сдѣланъ Адмираломъ....»

— «Какой князь, съ позволенія спросить, ваша эксцеленція?»

— «Князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій. Умная голова. Я уважаю даже его упрямство. Онъ не то что другіе. Онъ и упрямится умно!... Есть въ доказательствахъ его правда и соль.... Завтра мы будемъ встрѣчать его торжественно, но объ этомъ послѣ. Въ Преображенскомъ, благодаря Богу и дисциплинѣ нашей, нашли мы все въ порядкѣ, кромѣ сердца Михайлы нашего. (Волковъ покраснѣлъ, опустилъ глаза и ни съ того ни съ сего всталъ и вытянулся въ позицію, званію его присвоенную). На силу допытались мы, въ чемъ дѣло. И то уже князь Михайло его выдалъ. Ваша дочь, капитанъ, совершенно его обворожила! Я обѣщаль Государю пойти къ вамъ сватомъ.... Кажется, я все сказалъ. Не откажите, Богданъ Крестьяновичъ, нашей общей просьбѣ....»

Эффектъ, произведенный смятотствомъ Лесерта былъ весьма разнообразенъ. Шарлота такъ перепугалась, что даже вскрикнула и ухватилась обѣими руками за сестеръ; движеніе это было такъ судорожно, съ такою силою, что бѣдныя двѣ закричали во все горло; Бломбергъ всталъ со всею почтительностію, но съ выраженіемъ изумленности; Подсвинковъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ отъ страха.

— «Ваша экзекуція!» такъ началъ Бломбергъ: «Жаль, что вы не удостоили меня такою великою честью нѣсколько дней раньше. Теперь уже поздно. Вы знаете, что я держу мое слово свято и нерушимо. Однажды подгулялъ я и далъ слово Бургомистру проплыть подо льдомъ отъ проруба до проруба — и проплылъ.... Другой разъ я побился объ закладъ, что самъ себѣ сломаю руку и не позову костоправа, самъ вымечусь. И руку сломалъ, и костоправа не позвалъ, и самъ себя вылечилъ. О, я чортъ на слово. Въ третій разъ....»

— «Да скажите, на этотъ разъ кому вы дали слово?....»

— «Василію Семеновичу!» сказалъ Бломбергъ съ гордостью: «Вотъ вамъ Василій Семеновичъ, дьякъ посольскаго приказа. Съ Англійской королевой разговаривалъ и былъ съ нею на охотѣ. Въ Бранденбургъ ходилъ по саду съ курфирстомъ подъ руку, за панибрата; у Флорентійскаго Герцога пѣлъ съ его женою вдвоемъ музыку; съ генеральными штатами цѣловался, не христосовался, а просто цѣловался, какъ братъ и равный.... Сверхъ того былъ на мысѣ Добрай Надежды....»

— «Не былъ, Богдапъ Крестьяновичъ...» робко прервалъ Подсвинковъ.

— «Вздоръ! Я говорю, что былъ. Ужъ я лучше знаю, гдѣ кто былъ, гдѣ не былъ. Да не въ томъ сила. Я далъ слово—и Шарлота будетъ женою Василя Семеновича, если онъ исполнитъ наше условіе. Притомъ же и Шарлота любитъ своего жениха безъ памяти...»

— «Нѣтъ, я не...» хотѣла сказать Шарлота: «не люблю» да не успѣла. Бломбергъ закричалъ:

— «Вздоръ! Ужъ я лучше знаю кого она любить. Во свѣ Василямъ Семеновичемъ бредитъ... Недавно вышила персидскими шелками его вензель въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ...»

— «Вашъ вензель, батюшка!..»

— «Вздоръ! Не мой! Что же, я будто азбуки не знаю? Какъ ты это смѣешь, негодница, въ глаза мнѣ, отцу, и еще при его эксцеленціи, при чужихъ людяхъ, говорить неправду?.. Не могу. Слово мое нерушимо и свято. Однажды...»

— «Эхъ капитанъ...» прервалъ Лефортъ: «жаль, жаль, что ты поспѣшилъ словомъ. Да нельзя ли какъ нибудь сдѣлаться съ Василямъ Семеновичемъ. Авось онъ невѣсту уступить.»

У Подсвинкова волоса дыбомъ встали; всякая посольская хитрость пропала; онъ глядѣлъ на Бломберга умоляющимъ взоромъ и капитанъ поспѣшилъ на выручку...

— «Уступить! Да какъ это онъ осмѣлится сдѣлать съ человѣкомъ благороднымъ, съ нѣмецкимъ дворяниномъ, у котораго въ предкахъ было нѣ-

сколько бароновъ, нѣсколько замковъ и даже одинъ Имперскій городъ?.. Я за этакую шутку вызову его на дуэль, и убью съ перваго раза, какъ я убилъ пашу Турецкаго, который вызвалъ меня на дуэль...»

— «Я этого что-то не помню, капитанъ!»

— «Истинное достоинство всегда скромно. Я этого не говорилъ никому, даже товарищу и другу моему барону Коненкиндену, съ которымъ вмѣств дробью изъ двухъ пистолетовъ мы убили сорокъ Турокъ. И объ этомъ вана эксцеленція ничего не знаетъ, не правда ли? Жаль, что баронъ умеръ. Онъ бы подтвердилъ слова мои. Повторяю, истинное достоинство всегда скромно; но вы меня принудили къ откровенности... Однимъ словомъ, если Василій Семеновичъ откажется отъ Шарлоты, убью, если откажется отъ дуэли, все таки убью. Но я знаю, кого избралъ въ мужа моей дочери! Онъ не откажется!.. Не правда ли, Василій Семеновичъ?..»

— «Правда, истинная, сущая правда, Богданъ Крестьяновичъ!» говорилъ Подсвинковъ, такимъ голосомъ, какъ будто проказникъ кается дядкѣ въ шалости.

— «Послушай, Бломбергъ!» сказалъ Лефортъ, перемѣнивъ учтивый и дружескій тонъ на повелительный: «Конечно ты отецъ, и потому начальникъ дочери. Но не забудь, что она не можетъ выйти замужъ безъ твоего согласія, точно такъ, какъ ты не можешь жениться безъ моего. Но могу ли я тебя женить насильно на вдовѣ моего ключни-

на?... Такъ и ты долженъ сначала посоветоваться съ сердцемъ дочери. Изъ всего вижу, что Шарлота Подсвинкова не любитъ, а къ Волкову неравнодушна...»

— «Ахъ, не правда, генераль!» закричала Шарлота, выбѣжала на середину и оторопѣла.

— «Ага!» сказалъ торжествующій Бломбергъ: «Я умѣю читать въ сердце. Однажды...»

— «Неужели, Шарлота Богдановна!» воскликнулъ Лесортъ, не слушая Бломберга: «Неужели вы безъ шутокъ влюблены въ Василья Семеновича...»

— «Тернѣть не могу и Василья Семеновича и Михаила Яковлевича, и еще десятка подлиннѣе, отъ которыхъ ни въ киркѣ, ни на улицѣ проходить. Всѣхъ, всѣхъ не люблю.»

— «Всѣхъ?» спросилъ Лесортъ, съ коварной улыбкой...»

— «Почти всѣхъ...»

— «А кто же этотъ счастливецъ?..»

Шарлота вскинула, расплакалась и убѣжала изъ комнаты... Въ это время кто-то приекакалъ на лошади, соскочилъ у дома, стоявшаго противу оконъ Бломберга, постучался въ дубовую калитку и скрылся. Собесѣдники невольно обратили вниманіе на поздняго гостя, посмотрѣли въ окно, размѣнялись взорами и молча стали собираться по домамъ...

— «Жаль!» сказалъ Лесортъ: «Очень жаль, да насильно милъ не будешь. Прощай, Михаилъ! Ступай въ Преображенское, доложи обо всемъ Госу-

дарю, если спросить; а такъ, отъ себя, Царя не безнокой. И безъ тебя у Него много дѣла. Потерялъ невѣсту; не кручинься; на Москвѣ красавицъ много. Ну, прощай, капитанъ! Ахъ, чуть было не забылъ. Завтра, часу въ шестомъ, быть твоей ротѣ на Мясницкой; князя встрѣчать указано. Вотъ тебѣ и свать!» ворчалъ Францъ Яковлевичъ, уходя. На улицѣ съ нимъ повстрѣчалась какая-то знакомая фигура, но увидавъ генерала отвернулась. Лефорту было не до проходящихъ; и время уже позднее; онъ и побрелъ себѣ шажкомъ къ своему дворцу, а фигура усѣлась подъ Бломберговы окна. Тамъ капитанъ провожалъ гостей:

— «Простите, не осердитесь! Слово благороднаго челоуѣка — его неволя... А ужъ ты, Василій Семеновичъ, будь благонадеженъ. Это она такъ, нарочно, ради того, чтобы отъ солдата отдѣлаться. Она вся въ меня. При случаѣ умѣетъ лишнее слово выкинуть... Видишь, что задумали! Чтобы Шарлота фонъ Бломбергъ была солдаткой. Haben sie nicht! Я хочу, чтобы она была посланницей въ Царьградъ, на зло Султану. Завтра я съ моей ротой съ шестаго часу буду торчать на Мясницкой. Дай Богъ до объѣденъ князя дождаться. Мнѣ будетъ скучно. Приходи толковать о свадьбѣ... Только смотри... бороду... бороду...»

Волковъ поджидалъ Подсвинкова на улицѣ, да и не одинъ. Въ товарищи къ нему пристала незнакомая намъ фигура..

— «Что, Миша, удалось сватовство?» спросилъ незнакомецъ насмѣшливо.

— «Нѣтъ!» грубо отвѣчалъ Волковъ: «Постой же, я Государю на нихъ нажалуюсь. А ужь этому Подсвинкову задамъ...»

— «Эхъ, ты, молодець! Ты такъ дѣлай, чтобы обиду пополамъ съ добромъ мѣшать. Слышалъ ты, на чемъ капитанъ стоитъ?»

— «На чемъ, Яша?»

— «А на томъ, чтобы дьякъ бороду снялъ... Вотъ ты ему и сними бороду своеручно... Оно знаешь, дьяку придется и больно и выгодно. Бороду даромъ снимуть, а передъ бояриномъ онъ правъ; за то напищется онъ поросенкомъ.»

— «А что, Яша, выдумка тебя стоитъ...»

— «Только гляди, Миша, дай и мнѣ поглядѣть на потѣху. Ты знаешь, смѣхъ для меня, что для тебя хлѣбъ.»

— «Вотъ и онъ! Не отставай же Яша! Я его...» Волковъ подошелъ безъ церемоніи къ Подсвинкову и сказалъ:

— «Слышь, ты, женихъ! А гдѣ ты будешь бороду снимать?...»

Подсвинковъ молчалъ и шелъ впередъ поспѣшно.

— «Не трудись въ нѣмецкую цырюльню ходить, я тебя и здѣсь по заморскому окарнаю, ни волоска не останется; до-чиста выщиплю...» И съ этими словами протянулъ руку, чтобы немедленно приступить къ операціи; Подсвинковъ, какъ ни былъ тяжелъ на подъемъ и нагруженъ пуншемъ, но говорятъ, отъ страха крылья растутъ; заревѣлъ Подсвинковъ: «Разбой, воры!» да и давай Богъ ноги. Бѣжить, будто молодость. Только лужи подъ нимъ

расплескиваются мелкими брызгами; только отъ подковокъ иной разъ искра отскочитъ, осветитъ и улицу, и червую тѣнь бѣгущаго, и снова темно. Ботфорты, аммуниція и ростъ Волкова замедляли преслѣдованіе. Яна былъ на легкѣ, но Богъ знаетъ, почему, съ полпути заблагоразсудилъ воротиться; еще разъ подошелъ къ окнамъ Бломберга; но окна и ставни были уже заперты. Яна вздохнулъ и ушелъ въ калитку, у которой все еще стояла его лошадь.

—

II.

Какъ Яна и другу и недругу сослужилъ службы.

На мясницкой, въ Китай городъ, въ Кремль и вообще во всѣхъ улицахъ, гдѣ слѣдовало провѣзжать торжественному повзду, толпилось множество народа который безпрестанно сбивалъ съ мѣсть какъ нѣмецкихъ солдатъ, такъ и стрѣльцовъ. Капитаны сердились, кричали, приводили строй въ порядокъ, но не на долго. Особенно толпа выходила изъ всякаго повиновенія въ самомъ Кремль, гдѣ, на пепелищѣ, послѣ недавняго пожара, уничтожившаго болѣе сорока жилыхъ домовъ, возвышалось временное, огромное строеніе изъ дерева, снаружи украшенное лѣпными арабесками, аллегоріями, росписанными масляными и сухими красками, изукрашенными золотомъ и плошками, которыя весьма много отнимали красоты и великолѣпія. На подъездѣ, покрытомъ краснымъ сукномъ, возвышался балдахинъ, на витыхъ и золоченыхъ столбикахъ; инагахъ въ пятидесяти отъ этого стро-

ня, построена была также временная кухня со дворомъ и особой пекарней; изъ четырехъ огромныхъ трубъ валилъ такой дымъ, что народъ крестился и ожидалъ пожара. Ни дать ни взять, показалось бы нашему брату, что за высокой оградой кухоннаго двора, кипятъ четыре парохода, и вотъ сей часъ понесутся въ Кронштадтъ; дымъ—слуга вѣтра, дѣло извѣстное; и хозяинъ нагнулъ покорнаго слугу; тотъ прямо повалилъ въ окна хоромъ боярина Ивана Ивановича. Время было лѣтнее; хоромы боярскія богатые, время утреннее, чай и седьмой часъ еще не изошелъ; бояринъ, лежа на пуховикахъ, прохладжался; всѣ окна были раскрыты. У оконъ стояли въ нарядныхъ платьяхъ боярскіе кліенты и подчиненные, искатели милостей, льстецы и люди служебные; какъ завидѣли они, что дымъ несется прямо на боярскія хоромы, давай запирають окна; заперли во время, потому что дымъ набѣжалъ, ударился въ разноцвѣтныя стекла, въ опочивальню потемнѣло, но въ комнаты не удалось ему ворваться; онъ и полетѣлъ дальше...

— «Что за диво?» сказалъ бояринъ медленно, выдавливая каждый слогъ, будто изо рту винныя косточки выбрасываетъ... «Саранча, что ли?»

— «Нѣтъ, это дымъ съ новой пекарни, бояринъ...» сказалъ Подсвинковъ, низко кланяясь: «Пекуть, варяють про князя; встрѣчу готовятъ...»

Бояринъ презрительно улыбнулся; таже улыбка пробѣжала по лицамъ всѣхъ присутствующихъ; бояринъ откашлялся; нѣкоторые сдѣлали тоже, но

весьма потише; потому, что въ этихъ хоромахъ тонъ равенства ни въ чемъ не допускался.

— «Ну, подите вонъ покуда!» сказалъ бояринъ. Всѣ присутствующіе поклонились и на цыпочкахъ одинъ за другимъ вышли въ столовую. Одинъ только Подсвинокъ осмѣлился остаться, но чувствуя всю мѣру своей дерзости, опустил глаза и вертѣлъ въ рукахъ свою высокую шапку... Между тѣмъ два карла обували боярскую ногу, а шутъ Кирюшка подаль Ивану Ивановичу изурочное полотенце и серебряную мису съ водой.

— «Ты что торчишь?» спросилъ бояринъ, протирая полотенцомъ заспанные глаза: «Кажись, сказано...»

— «Милости твоей отческой будь не во гнѣвъ... По сыновнему дѣлу пришелъ я къ отцу моему и милостивцу...»

— «Ну, какое тамъ дѣло? Можешь на выходѣ доложиться...»

— «Не прогнѣвайся, бояринъ, тамъ ушей много, да злыхъ языковъ не меньше...»

— «А что, видно опять козничью проказу выкинулъ?» сказалъ Кирюшка: «Чай красавица какая опять челомъ бьетъ въ приказъ, какъ по веснѣ было...»

— «Да и то дѣло еще не покончено, Василій...»

— «Да вотъ я за тѣмъ и пришелъ къ боярскому одру твоему, бить челомъ, чтобы и то дѣло и другое разомъ покончить...»

— «Эхъ, ты, мой котъ Васька!» замѣтилъ

нуть: «Видно ты нынче сказки читать сталъ; тамъ, правда, рассказываютъ, что однимъ взмахомъ богатыри по семи головъ отсѣкали, да въдь то сказки! Известно, что у каждаго дѣла два конца, какъ у палки, а гдѣ таки видано, чтобы у двухъ дѣлъ — одинъ конецъ былъ.»

— «Ну, что же ты молчишь, Василий? Отвѣчай, гдѣ это видано?»

— «Мало ли чего не видано, не будь во гнѣвъ твоей боярской милости! Ужъ коли я, примѣрно сказать, женюсь на другой, такъ Дуня Поярцева по неволѣ пойдетъ на мировую...»

— «Видишь, котъ, что выдумалъ!» сказала Кирюшка: «Гляди, чтобы тебѣ и Дуню во вторую жену не прикинули...»

— «Тото, гляди, чтобы не прикинули!» повторилъ бояринъ, уже на ногахъ, потягиваясь передъ зеркаломъ...

— «Э, ужъ это моя бѣда!» сказала Подсвинокъ съ усмѣшкой, приободрясь шутивымъ тономъ боярина: «Ты только, отецъ мой и милостивецъ, на законный бракъ разрѣши, а ужъ съ Дуней поладимъ. Не изъ какихъ изъ важныхъ, и руки у нея нѣтъ; изъ жальцевскихъ дочерей; за горсть рублей отстанеть. Только бы мнѣ получить твое отцевское благословеніе...»

— «Да что ты это, боярина, все батькой кликаешь?» опять заворчалъ шутъ, подавая боярину домашнюю шубу: «Чего добраго, вѣлы языки и за правду пронесуть, что ты съ родни намъ.»

— «Ну, ужъ ты, Кирюшка, привязываешься къ

дьяку!» сказалъ бояринъ: «Дѣло онъ задумалъ разумное. Безъ жены не хорошо, не обычайно, заморемъ пахнетъ. Ну, такъ ты, Василій, жениться хочешь?»

— «Хочу, бояринъ.»

— «И невѣста есть?»

— «Есть, бояринъ.»

— «Добраго рода племени?...»

Подсвинковъ запнулся и побагровѣлъ. Не зналъ онъ, какъ сказать боярину, что невѣста иностранка и иноверка.

— «Изъ какого вванія?» продолжалъ допытываться бояринъ.

— «Изъ военныхъ, милости твоей не во гнѣвъ...»

— «Что ты врешь, Василей?»

— «Какъ я смѣю врать! Отсохни языкъ мой, если лгу. Капитанская дочка....»

— «А какъ зовутъ отца?...»

— «Бломбергвымъ....»

— «Нѣмка?» закричалъ бояринъ.

— «Нѣмка....» шепотомъ отвѣчалъ Подсвинковъ.

— «И вѣры Нѣмецкой?...»

Подсвинковъ бухъ боярину въ ноги; но къ удивленію послышалъ не гнѣвныя рѣчи, а громкій смѣхъ; Кирюшка и кардики вторили боярину звонкимъ хохотомъ; Подсвинковъ, лежа на полу, не смѣлъ поднять головы и не зналъ, что съ нимъ творится.... Акомпанѣментъ Кирюшки и кардиновъ пуще и пуще раздражалъ бодрокіе нервы....

— «Ахъ, уморилъ, варьзалъ, уходи, умру со

смѣху!» по временамъ вскрикивалъ бояринъ и продолжалъ хохотать съ такою силою, что окна дрожали.... Потокъ боярской веселости должно было унять, чтобы подъ смѣхъ чего либо нездороваго съ бояриномъ не приключилось и Кирюшка, который хорошо очень въдалъ боярскій норовъ, первый удержался отъ хохота и глядя въ окно, сказалъ спокойно :

— «Чай сегодня много друзей у князя Федора Юрьевича не станеть....»

— «У Ромодановскаго?» спросилъ нахмурысь бояринъ: «Да развѣ у него есть друзья?»

— «А пѣтухи?»

— «Какіе пѣтухи?»

— «Да какіе же пѣтухи бываютъ? Куриные, дѣло извѣстное; ну, а ты знаешь, князь-неюдимъ; у него только и забавы, что пѣтушны драки, а сегодня на пиру блюдо гребешковъ со всей Москвы пѣтуховъ изведеть....»

— «Чай теперь отъ старины отстанеть, чай въ угодность Нѣмцамъ бороду положить; чего добраго, жену свою отпустить; на Нѣмкѣ женится, вотъ ужъ тогда и Василью будетъ можно и у себя соблазнъ завести....»

Подсвинковъ, не подымаясь съ полу, обрадовался было обороту разговора, но послѣднія слова боярскія снова бросили его въ жаръ и холодъ.

— «Ну, попался же я!» думалъ Подсвинковъ: «Онъ такъ меня на полу до объедень продержитъ. Видишь, какъ умнаго свѣта не любитъ; ахъ, ты, Русская канна! И тою безъ чухонскаго масла пода-

внисься... Дуракъ я, надо было прежде въ думные проситься, а ужъ тогда и безъ спроса женился бы. Тѣу ты, какъ меня нечистый попуталь. И встать нельзя и лежать неловко...»

Въ это время, Кирюшка сталъ боярина золотымъ поясомъ опоясывать; онъ уже обходилъ боярина во второй разъ; карлики бѣгали за нимъ, и придерживали концы; а Иванъ Ивановичъ, съ улыбкою поглядывая на лежащаго на полу Подсвинкова, продолжалъ трунить и подшучивать.

— «Видишь, какъ за моремъ обнѣмечился. На своихъ красавицъ и глядѣть не хочеть; постой же, вотъ какъ отойдетъ проклятый нѣмецкій походъ, что въ Архангельскъ Нѣмцы выдумали, такъ я примусь за тебя, Василей, по-отцевски; на Дунь женю.»

Подсвинковъ вздрогнулъ; бояринъ продолжалъ:

— «Дамъ я тебѣ нѣмецкій соблазнъ разводить. А еще въ мою опочивальню ходить, будто честной человекъ; всякій разъ такъ рожу уложить, что подумаешь будто за нимъ никакого грѣха нѣтъ... А онъ, гляди какой художникъ. На Нѣмкѣ жениться вздумалъ... Ну, заговорили бы на Москвѣ, да не о тебѣ, что ты? Чушка, дрянь! А обо мнѣ пошли бы толки, что-де я такого богопротивника на дворъ терпѣлъ... Да ты бы лучше вздумалъ еще на козв жениться!... Видишь, уродъ! Пятый десятокъ; плынивьтъ сталъ; умъ съ волосами лезеть; вотъ я тебя! Женю на Дунь, да въ Ярославль въ палатную службу...»

У Подсвинкова и ноги и руки свело, а неумолимый бояринъ продолжалъ :

— «Вотъ я за тобой присматривать вено: чай съ Нъмцами якинаешься; а потомъ ко мнѣ ходишь? А? Чай табакъ потребляешь, наше мѣсто свято, да потомъ проклятый запахъ проклятаго зьяля по моимъ хоромамъ разносишь? А?..»

Подсвинковъ совершенно съежился и походилъ на огромную черепаху. Боярину стало жаль дьяка, и не жаль, а лучше сказать правду. Онъ былъ совершенно готовъ къ выходу; да и дальній трезвонъ доносилъ, что торжественный повъздъ вступилъ уже въ улицы города... Надобно было идти на службу и бояринъ сказалъ проходя въ столовую:

— «Вставай, Василей! Довольно тѣниться; пора и за дѣло... Ты видно вчера хмѣлень былъ, али того гадкаго зьяля окурился; не можетъ быть, чтобы спроста да съ правды такой грѣхъ пришелъ бы тебѣ въ голову. Вставай! Да поди въ церковь; отъ чаръ отмолись; грѣхъ отцу духовному повѣдай, да и постись, чтобы, знаешь, блажная кровь не шалила. Вставай, глупинькой, вставай! Богъ проститъ...»

— «Вставай!» сказалъ Кирюшка, проходя за бояриномъ въ столовую: «Скажи спасибо, что скоро отпустили. Небудь служба, мы бы надъ тобой побольше потѣнились; въ другой разъ, Василей, въ другой разъ! Наше не уйдетъ!»

Карлики обрадовались, что ихъ службъ отдыхъ пришелъ и убѣжали въ другія двери; всталъ Подсвинковъ и, словно селезень, давай расправляться

и потягиваться; холодный потъ все лице взмочилъ; душно было въ опочивальнѣ боярской; не смѣлъ онъ выдти въ столовую; ему казалось, что уже вся Москва известна о бесѣдѣ его съ бояриномъ; другими ходами идти не посмѣлъ; съ горя, подошелъ къ окну, отворилъ и глядѣлъ безъ мысли, безъ вниманія на волненіе пестрой толпы: трезвонъ приближался къ Кремлю; конные Нахамы подъ начальствомъ своего ротмистра князя А. М. Черкаскаго, съ трудомъ разчищали дорогу къ великолѣпному крыльцу деревяннаго зданія; и конечно, усилія ихъ оказались бы безуспѣшными, еслибы на Кремль не прискакала партія Алешей и Абросимовъ, съ своимъ удалымъ ротмистромъ Яшкой, главнымъ царскимъ шутомъ....

— «Эй, вы, борода!» кричалъ Яшка: «Слышь, у всѣхъ имена отыму, кто назадъ не подается! Вотъ такъ по свѣту и будете шататься безъименными! Ну, что, не хотите назадъ, такъ постоитъ; эй, Алешка цырюльникъ, давай сюда мыльникъ и бритву. Не я буду; кто высунетъ бороду впередъ, долой бороду.»

Толпа отхлынула на обѣ стороны; крикъ женщинъ и дѣтей, маленько подавленныхъ общимъ движеніемъ, доказывалъ, что Яшка не дѣлалъ пустыхъ угрозъ и могъ исполнить подобное обѣщаніе. Алеша и Абросимы развѣхались по широкой улицѣ, составленной изъ двухъ плотныхъ стѣнъ различныхъ зрителей; Яшка красовался на конѣ, разодѣтый въ соломенные латы, весьма искусной работы; на головѣ у него была огромная боярская

инапка, вдвое вышнюю противъ обыкновенныхъ; на груди висѣла цѣпь изъ луновицъ; сапоги у него были красные — сафьянные, какъ будто для контраста, расшитые золотомъ. Шуба изъ нѣжнаго бѣлаго мѣха, который определить было трудно; свернутая, она была пристегнута къ турецкому седлу. Не смотря на странную одежду, глаза женщинъ больно заглядывались на Янку, уста улыбались; и Яна знала, что онъ собой молодецъ и дразнилъ лошадей; та подъ нимъ такъ и выплясывала, а Яна, подбоченясь, оглядывался, искалъ знакомыхъ, и ужь какъ, чтобы у Якова Федоровича въ такомъ множествѣ не было знакомыхъ.

— «Что, Авдотья Никитишна?» сказалъ онъ, подъезжая къ красивой женщинѣ, разодѣтой въ пухъ, и того пуще раскрашенной бѣлками и румянами: «Не краснѣй, Дуняша! Обсыплется! Береги румянецъ для Василя Семеновича! Чай скоро свадьба?»

Не смотря на такую обиду, Поярцева не смутилась и дерзко отвѣчала:

— «Съ тебя видно за слова пошлости не берутъ, Яковъ Федоровичъ!»

— «Не берутъ! Русскій товаръ, да за то ужь самый свѣжій; каждой красавицѣ любовь и пригодець. Ты вѣдь не дѣвушка, Авдотья Никитишна! Вѣдь не я, Москва говоритъ, такъ съ тобой мнѣ чиниться не приходится. А ужь я не виноватъ, что ты такъ долго съ Подовинковымъ свадьбу управляешь. Не умѣешь жаловаться.»

— «Да что ты это, право, Яновъ Федоровичъ и

при чужихъ людяхъ, и при родныхъ моихъ, на бѣдную сироту клепелень; лучше бы ты батюшкѣ Государю про мое горе доложилъ.»

— «Да что я, доносчикъ, что-ли! Не мое дѣло! А если ты круто дѣла своего не повернешь, такъ гляди, Подсвинковъ въ Лефортовомъ свадьбу и сыграетъ....»

— «Въ Лефортовомъ?» воскликнула Авдотья Никитишна: «Вотъ я его поймаю, да за бороду въ приказъ и поведу.»

— «Ну, одна не справишься! Попроси Волкова Преображенскаго; онъ твоему горю поможетъ....»

И съ этими словами Янка поскакалъ къ воротамъ гдѣ, по случаю приближенія торжественнаго поезда, произошло опять волненіе и суматоха; не успѣлъ Янка привести все въ порядокъ обычными угрозами, какъ по всему Кремлю раздался трезвонъ; изъ-подъ воротъ показалась партія Налетовъ; за ними Преображенская, Семеновская и Лефортовская роты солдатъ, наконецъ Государева парадная карета. Въ ней сидѣлъ позади адмиралъ князь Федоръ Юрьевичъ Ромодановскій, а на переди, генералы Гордонъ и Лефортъ. За тѣмъ опять потѣшныя войска; опять кареты съ ближними царскими людьми; наконецъ пѣшкомъ, въ сопровожденіи разныхъ военныхъ чиновъ, Государь въ парадномъ Преображенскомъ мундирѣ. Громкое ура смѣшалось съ гуломъ колоколовъ; на панерти Успенскаго собора, адмиралъ былъ встрѣченъ всеми Московскими боярами и палатными людьми. Во все продолженіе обѣдни народъ не расходился; Янка съ

трудоу удерживалъ неприкосновенность улицы къ новому строенію. Наконецъ всѣ гости Царскіе, числомъ до 400, дамы и мужчины, прошли изъ соборовъ въ Новую Залу; начался обѣдъ, и толпы зрителей дружно и спокойно смѣшались съ войсками. Случай свелъ многихъ дѣйствующихъ лицъ моей повѣсти въ одно мѣсто; на валу, гдѣ стояли пушки и бомбардиры, на травкѣ сидѣла покойно офицерша Бломберговой роты, Христина Иваховна Бацъ; съ ней были три ея дочери и три капитанскія, просто, но чисто одѣтыя въ бѣлыя платьица и разныя ленты. Подсвинковъ уже былъ здѣсь, да ему мѣняла молодежь военная, которая, какъ только сидѣлаи роспускъ, тотчасъ бросилась на валъ, и поступила подъ начальство г-жи Бацъ; у самой пушки, маленько въ сторонѣ отъ собесѣдниковъ, сидѣлъ на зеленомъ ящикѣ Яшка; онъ, казалось, былъ погруженъ въ глубокую думу, но все таки успѣвалъ поглядывать на Шарлоту и мѣняться значительными взорами. Изрядка Яша приподымался и пристально поглядывалъ на толпу, какъ будто ожидалъ еще кого-то.... Подсвинковъ старался быть любезнымъ, но всѣ усилія оставались напрасными. Шарлота не отвѣчала ему ни слова, отворачивалась и шепталась съ сестрами и соседками.

— «Ну, просидимъ же мы здѣсь долго!» сказала мадамъ Бацъ: «Чай пиръ будетъ до ночи. Я велѣла кухаркѣ принести сюда гуся и колбасъ, да какъ ее сюда не пропустятъ; голодныхъ много; пожалуй еще снюхаютъ и отымутъ. Вотъ бы вы,

Василій Семеновичъ, что вѣбудь съ царской кухни выпросили.... Вы человекъ важный! Васъ все знаютъ....

— «А ужъ никто его такъ хорошо не знаетъ, какъ Дуня Поярцева!» Сказалъ Яшка громко и опометью бросился на кухонный дворъ....»

Подсвинковъ оглянулся и поблѣднѣлъ. Такая тайна въ рукахъ любимаго Царскаго шута, не удержится въ тайнѣ; и отъ Царскихъ ушей не далеко; смущеніе его болѣе и болѣе увеличивалось, потому что мадамъ Бацъ пристала къ нему съ ножомъ къ горлу, кричить: «Подай да скажи, кто эта Дуня?» Напрасно дьякъ отивкивался, отдѣлывался разными уловками; къ мадамъ Бацъ присоединилась дѣти и даже сама Шарлота сдѣлала тотъ-же вопросъ. Въ то-же время съ кухоннаго двора Яша и трое Аленъ несли блюда съ кушаньемъ, приборы, хлѣбъ, пиво и вино.... «Кому бы это?» подумала мадамъ Бацъ, умышленно глядя на блюда и уже издали различала куренатокъ отъ рябчиковъ.... Чувство преступной зависти вопынуло не въ сердце, а въ желудкъ, но каново же было ея удивленіе, когда этотъ богатый обѣдъ предсталъ къ услугамъ мадамъ Бацъ и ея общества.

— «Спасибо, голубчикъ!» сказала она шуту по Русски: «Да за что ты это намъ благодѣтельствуешь?»

— «Кушай, матушка, на здоровье; это мой пай съ Царскаго стола; у меня былъ большой голодъ, а Дуня Поярцева съ собою унесла. Кушай ма-

тушка, кунай батышка, Василий Семенович; только для Дуни кусочекъ оставь; чай сейчасъ и она пожалуетъ; ужъ право завидно, Василий Семеновичъ, какъ вы больно съ нею любитесь....»

— «Провались ты сквозь землю, чертенокъ!» подумалъ Подсвинковъ. И у него также Дуня Поярцева апетитъ, да въ придачу языкъ отняла; онѣмьль; знай оглядывается: не идетъ ли? Голодъ занялъ рты собесѣдниковъ, но какъ только мадамъ Баць проглотила пару жареныхъ дроздовъ и стаканъ пива, а потомъ уже, и то изъ любопытства больше, съ разстановкою, стала заниматься синеперой стерлядью, докучливые вопросы возобновились.... Подсвинковъ не зналъ, куда дваться.... Между тѣмъ опасность положенія его возрасла значительно съ приходомъ Волкова.

— «Гдѣ ты это пропадаешь?» сказалъ нутъ на встрѣчу Волкову: «Василій Семеновичъ безъ тебя соскучился; говорить, что ты и бритва и гребень, и ужъ не знаетъ какими словами хвалить. Видно ты ему удружилъ....»

— Да онъ самъ незахотѣлъ. Я вызвался ему бороду вырвать, да онъ убѣждалъ. Немогъ догнать. Благо встрѣтились; теперь не уйдетъ....»

— «Да послушай, кавалеръ....» съ трудомъ выговорилъ Подсвинковъ: «я на тебя жалобу подамъ!»

— «Э, не дѣлай этого, Василій Семеновичъ!» прервалъ нутъ: «Жалоба Дуни Поярцевой который мѣсяць въ приказъ лежитъ. Никто еще и не читалъ; и не будетъ читать; такъ что ужъ тутъ

жалобу, лучше бороду подай; Дуня тоже борода-
тыхъ не любитъ; Волкову поможетъ.... Да вотъ
и она....»

Подсвизиковъ опрометью бросился въ сторону и
скрылся въ толпѣ. Яна помиралъ со смѣху; ма-
дамъ Бацъ спрашивала: «Да гдѣ-же Дуня?...»

— «Гдѣ нибудь....» отвѣчалъ Яна: «Видно я
ее невыдумалъ, когда онъ такъ ее испугался.
Просимъ винца прижукать!» И Яна нагнулся,
чтобы послужить мадамъ Бацъ; въ это время
Шарлота, тихо, какъ будто про себя, сказала:

— «Боже мой! Одного выжили, другой торчитъ.»

И ужъ точно, можно сказать, что Волковъ тор-
чалъ, вытянувшись въ струнку и пожиравъ взо-
рами Шарлоту, такъ, что той и взглянуть было
не куда. Шутъ подошелъ къ Волкову.

— «А что, Миша? Будутъ сегодня огни?»

— «Будутъ!...»

— «Говорять, въ новомъ залѣ будутъ плясать
по заморскому.»

— «Будутъ.»

— «Вотъ видишь, Миша, а ты меня не слу-
шалъ, такъ ты и не будешь плясать. А ужъ я
выпрошусь у Государя и съ Шарлотой Богданов-
ной отдеру не одинъ танецъ, и про тебя все ей
буду рассказывать....»

— «Пожалуйста, Яна!»

— «Гмъ! Только все лучше-бы, когда-бы ты
самъ...»

— «Да какъ-же мнѣ это сдѣлать, когда я пля-
сать не умѣю.»

— «Эхъ, братъ, плевое дѣло. Главному нѣмецкому танцу я въ полчаса выучился. Тутъ есть мастеръ, онъ теперь ко двору приторгованъ; дворню нѣмецкой пляскы обучаетъ; сегодня у него льготный день. Онъ бы тебѣ за полтину всю хитрость показалъ, а до вечера еще далеко; десять разъ выучишься....»

— «Да гдѣ же твой мастеръ живетъ?»

— «За каменнымъ мостомъ, по Москвѣ, направо, третія ворота. Теперь чай объдаешь, а потомъ вѣрно пойдетъ огни смотреть, или при музыкантахъ стоять будетъ, да палкой ладъ выбивать. И это его дѣло....»

— «Ахъ, Яша, пойдемъ со мной!»

— «Душой бы радъ, да мнѣ указано за значками смотреть и какъ подадутъ изъ зала значекъ, изъ пушекъ палить.»

— «Да ты развѣ бомбардѣръ, что-ли?»

— «Нѣтъ, да значки разумью. Да и тебѣ я не помочь; мастеръ всѣхъ изъ комнаты гонитъ, когда учить. И подломъ, того гляди хитрость переимуть....»

— «И то правда! Такъ что же, мнѣ одному идти, что ли?»

— «Одному! Да поскорѣ....»

— «Дай же я Шарлотъ Богдановицъ откланяюсь....»

— «Настоящій ты Миша! Ужъ коли теперь откланяешься, такъ тебѣ сегодня ужъ съ нею и говорить не приходится. Вѣдь это что значить, прощайте, покойной ночи! Понимаешь ли?...»

— «И то правда. Такъ я пойду....»

— «Ступай! Ступай! Вонъ съ моста, на право, третія ворота....» И, указывая на Замоскворъчье, Яша проводилъ Волнова.

Между тѣмъ барыни откушали; изъ остатковъ стали пѣтаться всѣ три Алени; а Яша подошелъ къ собесѣдницамъ: мадамъ Бацъ, изъ благодарности, рѣшилась поговорить съ шутомъ....

— «А что, голубчикъ, ты развѣ сегодня не у должности? Другой за тебя ломается?»

— «Наше дѣло шутовское, домашнее; а теперь у Государя перъ горой; такъ домашнимъ много дѣла; всѣ на должности; глядишь, чтобы вездѣ былъ порядокъ. Вотъ теперь за пупками; а уже ввечеру, за бабами глядѣть буду....»

— «За какими бабами!»

— «А вотъ, изволишь видѣть, какъ Москву всю зажгутъ, Государь, со всѣмъ дворомъ, и поѣдетъ по городу; и придворныя барыни, какія есть при Царицахъ и Царевнахъ, тоже поѣдутъ; тутъ залъ уберутъ, опростаютъ; тамъ въ серединѣ два крыльца нутреннія сдѣланы; на одно крыльце музыку поставятъ, пусть себѣ гудитъ подъ плясъ; а на другое крыльце позволилъ Государь мнѣ городскихъ женщинъ пускать, которыя по чище одѣты; пусть глядѣть и присматриваются, какой теперь новый порядокъ и устройство женской потѣхъ.»

— «Это значить, будетъ балъ....»

— «Какой балъ! Просто пляска ночная, а потомъ огни изъ пороха.»

— «Ахъ, Боже мой! А намъ. нельзя на то крыльце...»

— «А почему же нельзя! Въ моей воля...»

— «Голубчикъ ты нашъ! Пропусти!!...»

— «Значекъ, значекъ!» закричалъ Яна: «Не пугайтесь, барыни, тутъ у насъ такая трескотня пойдетъ, что ну, да два! Закрой, заткни уши, Шарлота Богдановна...»

Яна бросился къ пушкарямъ, раздались выстрѣлы: собесѣдницы чуть не попадали, прижались къ мадамъ Бацъ, будто цыплята подь крылья куриць... Мало по малу стали онъ привыкать, потому что пальба была продолжительна. Любопытные изъ опасливости отступили, такъ, что изъ постороннихъ на валу только и осталась компанія нашихъ дамъ; пальба наконецъ прекратилась; но не надолго; опять значки, опять выстрѣлы и эта продѣлка повторилась нѣсколько разъ. Мадамъ Бацъ порывалась было сойти съ вала, но такимъ образомъ она могла потерять Яну и не попастьъ на хоры во время бала. О, изъ-за этого, она была готова позволить, чтобы изъ пушекъ палили ей надъ самымъ ухомъ... Кончилась наконецъ здравная пальба; сентябрьское солнце склонилось къ западу. Рослый, статный мужчина, въ Преображенскомъ мундирѣ, въ сопровожденіи Лефорта и Гордона, вышелъ изъ торжественнаго зала черезъ малое крыльце и сталъ осматривать приготовленную иллюминацію; по движению рукъ, можно было замѣтить, что Онъ дѣлаетъ замѣчанія, подаетъ совѣты, учитъ новому дѣлу; человѣческія

тѣни подымались на высокія лѣса съ зажженными фитилями. Народъ вездѣ падалъ на колѣни, снималъ шапки и кричалъ: ура! не смотря на то, что Онъ, проходя въ толпѣ, вездѣ подавалъ знакъ рукою, чтобы уволяли Его отъ докучныхъ изъясненій преданности и восторга, потому что Онъ ходилъ по хозяйству, хотѣлъ быть неузнаннымъ и тѣмъ искуснѣе, незапнѣе поразить гостей великолѣпнымъ зрѣлищемъ. Къ площадкѣ, гдѣ устроенъ былъ фейерверкъ, надо было проходить черезъ валъ, мимо нашихъ собесѣдницъ.

— «Вотъ она!» сказалъ Ему Лефортъ, тихо, проходя мимо Шарлоты: «Не удалось мнѣ быть у нея сватомъ!»

— «Богъ милостивъ, генералъ!» отозвался Яша: «Не для Волкова, пойдешь для другаго...»

— «Ужъ не для тебя ли?»

— «Почемъ знать, чего не въдаешь!»

— «Право, готовъ тебя сватать, хотя въ отказъ трудно сомнѣваться...»

— «То-то и бѣда, что за другаго!» сказалъ Яша: «Не я буду, за себя, ты умѣлъ бы сосватать и Персидскую шахиню!»

Просмѣялись генералы и прошли дальше. Женщины ничего не слышали изъ всего этого разговора; они не могли глазъ свести съ мужчины въ Преображенскомъ мундирѣ, и провожали Его взорами до самой площадки. Мадамъ Баць крѣпко опечалилась и перепугалась, замѣтивъ, что и Яша пошелъ туда же, но вотъ они осмотрѣли

всь приготоуленія, и тою же дорогою возвращались назадъ...

— «Идетъ, идетъ!» закричали наги барыни; одна Шарлота молчала и стояла за мадамъ Бацъ, потупивъ глаза въ землю.

— «Погляди, Шарлота!» продолжала Бацъ: «Да это просто великанъ-красавецъ, про котораго есть Богемская сказка... Погляди!...»

— «Несмвю!..»

— «Отъ чего?..»

— «Боюсь ..»

— «Отъ чего?..»

— «Говорять, онъ все знаетъ...»

— «Да развѣ...»

Но мадамъ Бацъ не кончила своего вопроса. Мужчина, въ Преображенскомъ мундирѣ, поравнявшись съ пушками, сказалъ весело:

— «Господинъ шутъ! Какъ только будетъ достаточно темно, подай ты мнѣ значекъ. Выпали! А по третьему выстрѣлу вели зажигать иллюминацію! Прощай! Счастливо оставаться!.. А выборъ твой одобряю, только безъ отцевскаго согласія и думать объ этомъ не моги!»

— «Изволь идти на мѣсто! Поговоримъ о дѣлѣ на досугъ: дѣлу время, а потѣхъ часъ! Того гляди, солнце прозвваю, а филинъ станетъ зрячимъ...»

Лефортъ началъ было какую-то длинную рѣчь.

— «Э!» сказалъ Яша: «Такъ васъ не выживешь отсюда. Пали!»

Генералы поспынили въ торжественный залъ ;
раздался выстрѣлъ... Смерклось...

— «Ну, что, видѣла ты Государя!» спросила
мадамъ Баць.

— «Нѣтъ!» сказала Шарлота... «Мнѣ кажется,
я никогда его не увижу. Всякій разъ невольное
чувство клонить голову внизъ... Вы слышали:
безъ отцовскаго согласія...»

— «Такъ что же?»

— «Да ничего!» перебилъ шутъ: «Вотъ я только
однѣхъ по иному; выпаю раза два, да и про-
веду васъ въ залъ. Тамъ на поковъ посмотритеъ
на всѣхъ, сколько душъ угодно...»

Въ это самое время, Алеша какой-то, — а мо-
жетъ и Абросимка, по ночи не разберешь, — поднесъ
Яшѣ богатый кафтанъ, который шутъ надѣлъ по-
верхъ своихъ латъ; снялъ дурацкій шлемъ, и
черныя кудри красиво разбѣжались по щекамъ и
плечамъ; взялъ у того же Алешки или Абросимки
шляпу, надѣлъ; отдалъ ему принадлежности шу-
товскаго наряда и оружіе; топнулъ ногой, повер-
нулся гоголемъ, чихнулъ, сказалъ: «Благодар-
ствую!» вынулъ изъ кафтана огромный платокъ,
обтеръ лице, руки, еще разъ перевернулся на од-
ной ножкѣ, и закричалъ: «Эй, вы, звезды небес-
ныя! Сюда, ко мнѣ на землю! Разъ, два, три!
Ну, что? Экія лѣнныя! Вотъ я васъ пушкой
свугну! Пали!»

Выстрѣлъ.

— «Ну, что? Э, да вы изъ рукъ вонъ! Слов-

но старые бояра, чванитесь! Видно въ шутовскихъ рукахъ не бывали! Вотъ я васъ! Пали!»

Третій выстрѣлъ...

— «Гляди, гляди! Сколько разомъ попадало. Что, небойся, командира по голосу узнали. Ну, горите же здѣсь у меня въ гостяхъ, пока я васъ на волю не отпущу... А мнѣ съ вами тутъ толковать некогда. Пойдемъ, пора!»

И Яша, схвативъ за руку Шарлоту, весело побѣжалъ къ торжественному залу... Мадамъ Бацъ со свитой насилу успѣвала за Яшей и Шарлотой, и злилась, что никакъ не можетъ подслушать ихъ тайнаго разговора... А объ чемъ же они говорили?

III.

Отъ чего Василій Семеновичъ ходилъ и не заходилъ въ Приказъ.

Музыка прекрасно насвистывала на кларнетахъ и флейтахъ мензюеты и контрадансы. Балъ походилъ на рядъ живыхъ картинъ; все измѣнялось въ танцахъ какъ то чинно, съ придуманною важностью; смѣсь бородатыхъ и безбородыхъ гостей, кафтановъ и ферязей, сарафановъ и платій, мундировъ и жалованныхъ нарчевыхъ одеждъ представляла дѣйствительно занимательную и никогда еще на Москвѣ не виданную картину; у мадамъ Бацъ глаза такъ и разбѣгались; то и дѣло спрашивала она: «этотъ кто, эта кто? что это музыка наигрываетъ? что дамамъ подносить?..»

Напрасно Яна старался отдѣлываться скорыми отвѣтами; наконецъ, видя, что ухода г-жѣ Бацъ не будетъ, притворился спящимъ. Тутъ мадамъ Бацъ забыла всѣ услуги Яши. Искоса нѣкоторое время поглядывала на него и поругивала; но, примѣчая, что и это средство не беретъ, раздумала сердиться и предалась безмолвному созерцанію великолѣпнаго и новаго зрѣлища. Никакого въ томъ сомнѣнія не было, что Христина Ивановна Бацъ была иностранка, но изъ простыхъ; въ большихъ городахъ бывала, да только проездомъ, когда съ молодымъ мужемъ, офицеромъ Женевской службы, по вызову Лефорта, ѣхала въ Россію. Неудивительно, что подобный балъ былъ ей въ диковинку и скоро и безотчетно захватилъ все ея вниманіе. Шарлота сидѣла позади всѣхъ; искала случая взглянуть на Яшу, и когда вниманіе всѣхъ совершенно было увлечено внизъ, Шарлота легонько толкнула ногой ногу Яши и началась шепотомъ тайная бесѣда. Да объ чемъ же они говорили? О, когда разговариваютъ влюбленные, невлюбленные ничего въ ихъ рѣчахъ не поймутъ, хотя бы и слышали; а тутъ на бѣду влюбленные такъ тихо говорили, что даже мадамъ Бацъ ничего не слышала; договорились они однако же до того, что одинъ къ другому придвинулись на самую близкую дистанцію и очнулись тогда только, когда шумъ ракетъ поднялъ и взволновалъ всю публику и внизу и вверху; задняя стѣна, какъ будто волшебною силою, разлетѣлась, и гости внизу спокойно могли любоваться фейерверкомъ изъ за-

лы; но сидѣвшіе на хорахъ должны были выйти на валъ, что и произведено съ величайшимъ безпорядкомъ, подъ начальствомъ мадамъ Бацъ... Въ эту суматоху удалось Шарлотъ и Янъ остаться лишнюю минуточку на хорахъ и досказать взаимно что-то весьма важное, секретное... На валу толпа раздѣлила команду г-жи Бацъ, но присутствіе Яни помогло бѣдѣ; фейерверкъ сгорѣлъ; люди, исполненные страха и удивленія, стали расходиться. Холодная ночь заставила и мадамъ Бацъ съ компаніей подумать о возвращеніи домой, а лукавый Яна сталъ съ ними прощаться.

— «Послушай, голубчикъ!» сказала мадамъ Бацъ: «Неужто ты нашей Шарлоты не пожалѣешь?»

— «Да изъ чего я стану жалѣть объ ней? По мнѣ всѣ равны. Вотъ только ты, Христина Ивановна, лихомъ нашей службы не поминай...»

— «Удружилъ, голубчикъ, нечего сказать, удружилъ! А что всѣ равны, такъ ужъ этому не вѣрю...»

— «Ахъ Боже мой, какъ холодно!» торопливо сказала Шарлота, стараясь прервать неприятный разговоръ, который ясно доказывалъ, что мадамъ Бацъ что-то смѣкала...

— «Слышишь, голубчикъ?» сказала Бацъ: «Слышишь, Шарлотъ холодно. Умѣлъ ты и голодъ ея заморить, и жениховъ спровадить, и всякимъ зрѣлищемъ потѣшить; а ужъ будто теперь не выручишь?..»

— «Вотъ тебѣ и бѣда жалостнымъ быть. Я все

ради жалости одной дьялль, а ты Христина Ивановна бабскія снлетни затъваещь...»

— «Что ты, что ты, голубчикъ, никому ни слова не скажу, только вырочи...»

— «Побожись, да поклянись!»

Баць побежилась, а Яна бросился къ крыльцу, гдѣ стояло множество колымагъ и разныхъ рыдановъ.

— «Чья колымага?» спросилъ Яна. Кучеръ узналъ шута, снялъ шапку и почтительно отвѣчалъ: «Барская.»

— «Да какого боярина?»

— «Ивана Ивановича!»

— «Подавай!»

Кучеръ оторопѣлъ. Приказаніе повторилось. Колымага подана. Мадамъ Баць и шесть дѣвушекъ безъ труда помѣстились. Яна вскочилъ на запятки и колымага потащилась по безконечнымъ улицамъ Москвы въ Лефортово. Когда, по приказанію Яны, лошади остановились у дома Бломберга, мадамъ Баць не выдержала.

— «Видишь, какой!» сказала она съ улыбкой: «И квартиру знаетъ...»

Когда же съ благодарностью отпустила Яшу и колымагу, опять съ лукавой улыбкой прикинула:

— «Милости просимъ къ намъ, у насъ и сосѣдки бываютъ...»

— «Послушай, Христина Ивановна!» сказалъ Яна тихо, на ухо мадамъ Баць: «Если ты своего языка не уймешь, такъ ужъ не сердись на меня. Будетъ беда и мужу, и тебѣ, и дочкамъ, и до-

мочадцамъ, и курицы твои даже нестись перестанутъ. Коли добромъ нельзя, такъ я тебя уйму по своему. Не забудь, у меня свой полкъ; мои Алешки и Абросимки, не только вещи, дочерей разтаскаютъ; самое тебя украду, да куда нибудь въ Коломенское, али въ другое мѣсто въ птичникъ запру, воды не дамъ, типунъ тебѣ на языкъ и сядетъ...»

— «Что ты, что ты, голубчикъ?!» говорила перепуганная Бацъ: «Вѣдь между собою почему не пошутить...»

— «Знаю тебя, бабье племя, у васъ между собою цѣлый мѣръ значить. Гляди! Гляди! Я вѣдь самъ, на сплетни мастеръ. Такую выкину клевету, что ничемъ неотколдуешься... На себя грѣхъ приму. На очныхъ ставкахъ не загнуся. Страму на всю Москву надѣлаю. Перестанетъ мужъ тебя вѣрной женой называть...»

— «Ахъ ты, чертенокъ!...»

— «Хуже, хуже, какъ въ задоръ пойду. Прощай!» и Яна укатилъ въ Москву на легкѣ, дѣвушки зябли у воротъ и домой просились, но мадамъ Бацъ не могла успокоиться и глазами провожала колымагу, которая уносила такого страшнаго врага.

— «Пойдемъ, Христина Ивановна, къ намъ...» сказала Шарлота, не безъ удовольствія замѣчая смущеніе сосѣдки: «У насъ и ужинать готово, и батюшка вернулся...»

— «Пойдемъ! Я и домой боюсь теперь идти: Францъ еще не воротился; по всему видно. Пой-

демь!» И капитанъ встрѣтилъ своихъ и сосѣдскихъ дочерей громкимъ смѣхомъ...

— «Знатно, знатно! Нечего сказать! Я уже думалъ, что васъ Персіяне украли! Да потомъ на балу вижу всѣ нани на хорахъ сидятъ. Это я приказалъ васъ на хоры пустить...»

— «Какъ?» спросила изумленная мадамъ Бацъ: «Такъ это царскій шутъ по вашему приказанію...»

— «Само собою разумѣется! Я былъ занятъ службой и долженъ былъ фамилію поручить другому...»

— «Такъ и обѣдъ?..»

— «Какой обѣдъ?»

— «Съ Царской кухни...»

— «Я, я послалъ...»

— «Такъ и колымагу...»

— «Я нанялъ...»

— «Да вѣдь въ Москвѣ нѣтъ еще наемныхъ колымагъ...»

— «Заходятся! Это первая для опыта. Только одна и есть на всей Москвѣ; я сначала самъ отъѣхалъ, а потомъ и за вами послалъ... Хорошо, что отыскали.»

— «Ахъ, ты плутъ!» закричала мадамъ Бацъ: «Ахъ онъ, шутовская харя; говорилъ и дѣлалъ, какъ будто все отъ него идетъ. Можетъ быть, онъ и не Царскій шутъ...»

— «Царскій, Царскій, Христина Ивановна; я самъ его изъ Персіи для Царя выписалъ, самъ крестилъ...»

Тутъ мадамъ Бацъ опомнилась и расхохоталась

Она вспомнила некоторыя привычки капитана и старалась перемѣнить разговоръ. Капитанъ и самъ былъ недоволенъ своими выходками и спросилъ на-скоро:

— «Ну, что, видѣли Государи?...»

— «Не всё...» сказала Бацъ, улыбаясь и по-смотрѣла искоса на Шарлоту.

— «Какъ не всё!»

— «Да, не всё! Многимъ некогда было; и правду сказать, если судить о чловкѣ, не по чину и званію, а по уму и наружности, такъ Подсвинокъ противу этого никуда не годится...»

— «Противу какого этого?»

— «Это ужъ наше дѣло!» отвѣчала мадамъ Бацъ, не безъ смущенія.

— «Да я отъ васъ не отстану; Кристиана Ивановна; вы мнѣ скажете, непременно скажете...»

— «Да вамъ какое дѣло? Вѣдь мужъ мой, а не я,—офицеръ. Я у васъ не подъ начальствомъ!...»

— «Да вы мнѣ должны сказать, кто лучше Подсвинокъ, кто смѣетъ быть лучше Подсвинкова, кто имѣетъ на это право, когда я избралъ и утвердилъ его женихомъ моей Шарлоты. Понимаете ли, избралъ и утвердилъ?! Если и избралъ его, то онъ долженъ быть первымъ красавцемъ. И онъ точно будетъ первымъ красавцемъ, когда сниметъ бороду. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ Подсвинкова влюбилась жена и все двѣнадцать дочерей Амстердамскаго бургомистра. Не забудьте, онъ тогда былъ съ бородой; а что же будетъ безъ бороды? Мой вкусъ извѣстенъ всѣмъ и каж-

дому. А позвольте спросить, кто выбиралъ невѣсту для президента Женевской республики?.. Я! — Кто выбиралъ жениховъ для трехъ принцессъ въ разныхъ государствахъ?.. Готлицъ Бломбергъ! — Кто женился на первой въ свѣтѣ красавицѣ?.. Богданъ Бломбергъ. — У кого теперь дочь первая красавица, а другія дочери будутъ первыми красавицами въ скорости?.. У Богдана Христиановича Бломберга! — У кого сосѣдки всѣ красавицы; а пуще всѣхъ Христина Ивановна?.. А? У кого?.. Кажется довольно доказательствъ превосходства моего вкуса! Такъ послѣ этого, позвольте спросить, кто же этотъ красавецъ, который, вѣроятно, по молодости только и по неопытности, рѣшается быть лучше Подсвинкова!..»

— «Да это, капитанъ, можетъ быть для нашихъ дочерей, а для моихъ...»

— «Нѣтъ! Тутъ есть шацни! Вы хотите только увернуться... И что же онъ, важный человекъ? Можетъ быть думнымъ дякомъ, думнымъ бояриномъ, чѣмъ Подсвинковъ непременно будетъ и въ самой скорости!..»

— «Э, подите, капитанъ! Этотъ съ Царемъ неразлучно. Самъ Царь при насъ сказалъ: Буль покоемъ; Я все улажу.»

— «Что такое, что такое?..» И Бломбергъ побѣднѣлъ; а Христина Ивановна, боясь дальнѣйшихъ распросовъ, забрала дочерей и, не прощаясь, ушла во-свояси...

— «Летѣшь!» воскликнулъ капитанъ: «Признавайся!»

— «Батюшка, клянусь вамъ, что Христина Ивановна сказала неправду.»

— «О я знаю, что она ужасная лгунья; этотъ порокъ помрачаетъ ея красоту; все такъ; но эта ложь походить на правду... Хорошо, что у меня завтра свободный день. А то бы ты погибла; ты, цвѣтъ женскаго пола, отцвѣла бы въ нижней рангѣ, простой солдаткой, а умерла бы много-много офицершей. Посмотри сюда, Лотхевъ! Ты никогда не обращала вниманія на эту картину; это родословное древо нашей фамили. Гляди сюда и учишь уважать родъ Бломберговъ...» И капитанъ снялъ со стѣны какое то родословное древо какого то германскаго рода, которое удалось ему купить гдѣ то на ярмонкѣ за грошъ. Оно было писано по латынѣ, на языкѣ, котораго не знали ни Бломбергъ, ни Шарлота. Долго толковалъ онъ дочери о подвигахъ всякаго кружка и квадрата, прижимая каждый пальцемъ. Шарлота уснула въ третьемъ колыбѣ.

— «Недостойная!» сказалъ Бломбергъ, вставъ и въная на мѣсто картину: — «Пошла спать!»

Шарлота повиновалась. Бломбергъ выкурилъ еще три трубки, улегся и также заснулъ; но, по военной своей натурѣ онъ проснулся гораздо раньше дочери, всталъ, одѣлся и отправился на Мясницкую, гдѣ жилъ Подсвинковъ. Было такъ рано, что почти вездѣ ставни были еще заперты; неудивительно, что Бломбергъ засталъ Подсвинкова еще въ пуховикахъ и самъ собственноручно и собственноручно разбудилъ будущаго своего зятя, къ немалому испугу и удивленію послѣдняго.

— «Къ ружью!» кричалъ Бломбергъ: «Въ по-
ходъ!»

— «Куда?»

— «Въ цырульню!»

— «Бога ты не боишься, Богданъ Крестьяно-
вичъ! Ты ничего еще не знаешь, какъ принялъ
меня бояринъ... Ужъ теперь и самъ не знаю...»

— «Что же, ты не хочешь жениться на Шар-
лотъ, что ли?»

— «Я?... Да кто тебѣ сказалъ? Да я скорѣе
провалюсь сквозь землю, прежде позволю себѣ
отсѣчь руку, прежде...»

— «Такъ чего ты зъваешь?..»

— «Ахъ, Богданъ Крестьяновичъ, право было
бы лучше, если бы мнѣ ужъ быть въ Думѣ и
оттуда въ церковь...»

— «Да ты, Василій Семеновичъ, знаешь ли, что
вчера было сказано на балу въ новомъ залѣ?»

— «А что такое?»

— «Бородатыхъ больше въ думу не принимать;
не только дьяковъ, да и бояръ..»

— «Быть не можетъ!»

— «Я самъ слышалъ отъ Франца Яковлевича.»

— «Неужто и за правду!..»

— «За правду. Тутъ и про тебя рѣчь зашла. Го-
ворили: знатно посольскую хитрость разуметь,
да сказано: въ думу нельзя; борода! Я самъ слы-
шалъ.»

— «Да пусть только зажгутся, я сей часъ бо-
роду долой. Ты думаешь, Богданъ Крестьяновичъ,

что мнѣ самому любо съ бородой ходить. Да что ты будешь съ бояриномъ дѣлать, загрызеть...»

— «А ты отгрызайся! Пугни его доносомъ, тѣмъ другимъ; станетъ бояться; сговорчивѣе будетъ; ихъ только и уймешь страхомъ. Да впрочемъ я пришелъ Василій Семеновичъ постановить послѣдній аккордъ. Какъ хочешь, такъ и будетъ. Вчера въ новомъ залѣ, объявляеъ походъ, въ Кожуховку; ты, я чай, про него слышалъ; тамъ построены городокъ; брать будутъ потѣшные: защищать стрѣльцы и старый строй; намъ, Лефортцамъ, указано Москву беречь; такъ не оставлять же мнѣ дочки въ пустыхъ казармахъ. Женись и бери ее къ себѣ въ домъ. Походу быть 22 Сентября, а свадьбу завтра!»

— «Завтра?!»

— «Неотмѣнно и безпремѣнно!»

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ!..»

— «Ничего не слушаю! Вчера въ новомъ залѣ я такое слышалъ, что если ты завтра не женишься, такъ можетъ быть не женишься никогда!..»

— «Никогда?!»

— «На Шарлотъ, никогда. Самъ Царь хочетъ въ сваты къ Волкову идти. Я самъ слышалъ. Принимаешь ли?»

— «Богданъ Крестьяновичъ, Богданъ Крестьяновичъ, нельзя-ли мнѣ жениться сегодня?..»

— «Завтра и кончено; а сегодня бороду долой; завтра въ тихомолку обвѣнчаемъ; прѣдетъ Сватъ; что дѣлать и радъ бы, да поздно; обвѣчана.»

— «Ну, видно, что другъ. Ай, да спасибо,

Богданъ Крестьяновичъ. Правду молвить, что на боярина смотреть? И для другихъ нѣкомъ дѣлъ надо посвѣтить свадьбой. Да только платя нѣмецкаго сдѣлать не успѣю...»

— «Ради большой нужды, пожалуй, и въ старомъ вѣнчайся... Только бороды не забудь!...»

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ! Вѣдь ты дочь за меня отдаешь, не падчерицу; такъ не худо бы до времени въ тайнѣ про нашу свадьбу...»

— «Да зачѣмъ объ ней безъ нужды славить. Самъ я знаю, и тотъ и другой посердятся. А потомъ и перестанутъ. И я точно также женился; тещь выгналъ и меня и жену мою изъ дома и лишилъ наследства и ее и меня... Мы были очень богатые люди, да упрямство нашего отца...»

— «Да развѣ ты женился на сестрѣ?..»

— «Эхъ, какой ты, право... Не на сестрѣ, а отецъ моей жены былъ опекуномъ моимъ. Понимаешь-ли? Не только прогналъ изъ дома, преслѣдовалъ, вездѣ насъ искалъ и мы по неволѣ бѣжали въ Московію... Понимаешь-ли?»

— «Чортъ тебя пойметъ!» подумалъ Подсвинковъ: «Каждый день тоже, да на иной ладъ рассказываетъ.»

— «Ну, такъ до завтра, у насъ, въ Лефортовской церкви, у Апостоловъ Петра и Павла, такъ, часу въ восьмомъ...»

— «Позже, Богданъ Крестьяновичъ, пусть когда смеркаться станетъ...»

— «Хорошо, хорошо! Видишь, какой я сговорчивый. Ну, порукамъ, весь расходъ на твой счетъ;

ты же весь обычай знаешь... Мнѣ по русски жениться не случилось; а то бы я самъ распорядился. Ну, смотри же, въ сумерки, а священнику, пожалуй, по сосѣдству, я дамъ знать; пусть ожидаетъ. Ну, прощай, я нарочно по раньше зашелъ, чтобы успѣть къ сбору вернуться. Посидѣлъ бы, да самъ видишь, некогда. Безъ меня въ полку и дня пробыть не могутъ; однажды я уѣхалъ къ одному боярину въ подмосковную; пробылъ тамъ три дня; возвращаюсь: половина полка разбѣжалась. На салу обралъ... И то иныхъ уже догналъ у самой Шведской границы. Опоздай часомъ и поминай какъ звали. Такъ прощай, жаль что некогда. И надо тебѣ сказать, что у васъ на Москвѣ день ужасно коротокъ. Не успѣешь оглянуться — и ночь; а у насъ въ Германіи день вдвое больше... А дѣла сколько? Генераль въ Преображенскомъ то и дѣло сидитъ съ Государемъ, прочіе капитаны — ты знаешь... Вотъ я одинъ и управляйся... Не держи меня, пожалуйста, право не могу. Ты знаешь, на досугъ, охотно съ тобою сижу, а теперь право нельзя, ей Богу нельзя... Прощай!..»

— «Кто его держать!» думалъ Подсвинковъ, впрожая Бломберга, который безпрестанно оставался, прощался и пополнялъ прощаніе примѣрами и случаями изъ бесконечно-разнообразной жизни своей и предковъ. Наконецъ унелъ-таки Богданъ Крестьяновичъ, а Подсвинковъ сталъ одвигаться.

— «Шла въ мылкѣ не утанишь...» рассуждалъ

громко Подсвинковъ: «Да и что мнѣ бояринъ Иванъ Ивановичъ? Правда, жаловать перестанетъ; руку потеряю; да вѣдь не онъ же въ Посольскомъ приказѣ сидитъ; ну, пожалуй, думнымъ не сдѣлаютъ, такъ въ Туречину или куда ни есть пошлютъ. Я свое наверстаю. Право, нечего бояться. Оно, конечно, лучше бы въ думъ безъ бороды сидѣть... Чортъ знаетъ, а самъ, я право не знаю, чего хочу, чего боюсь. Такая въ мысляхъ разладица; словно мятель въ головѣ? И чего тебѣ, Василей, надо? Вотчина своя, холопья свои, денегъ изъ разныхъ государствъ довольно; а теперь еще жена красавица, умница! Что умница? Бабий умъ — все таки кружево, паутина, а красота... красота... губки... А?... Плечики... Такъ морозъ по кожѣ и пробѣгаетъ...»

— «Послушай, Василій Семеновичъ!» сказалъ Бломбергъ, входя въ комнату: »Знаешь, что я выдумалъ? Чтобы намъ больше тайности показать, такъ отъ вѣнца, я Шарлоту къ себѣ на время возьму, а ты домой одинъ поезжай...»

— «Что? Что такое!» закричалъ Подсвинковъ перепуганный и появленіемъ и предложеніемъ Бломберга: «Все, что хочешь — изволь, а ужъ этого Богданъ Крестьяновичъ, не могли думать! Что я, рыба, что ли? Мало тебѣ бороды моей; видно заноза глубока, когда на такое странное дѣло иду...»

— «Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ! Я вѣдь только такъ спросилъ. Мнѣ же и некогда. Право, ты всегда заговоришь, заболтаешь; хорошо, что я человекъкъ

аниуретный, а то ты хоть кого съ толку собьешь... Прощай!»

— «Ну, тещинка!» сказал раздосадованный Подсвинокъ, но когда Бломбергъ былъ уже за воротами: «До свадьбы отъ тебя плохо придется, а что же будетъ послѣ свадьбы? Ну, да какъ женись, я тебя отъ моего порога отважу. Тебя, къ чорту! Экой неотвязный! Опять идетъ... Проклятый Прохоръ и кадитки занима не заперъ. Такъ и вотъ!»

Но не такъ случилось. Въ комнату вошелъ не Бломбергъ, а Дуня Поярцева, нарядно разодетая. Откинувъ фату, она сказала съ принужденною веселостью...

— «Ну, Вася! Свадьба! Была я сегодня въ приказъ; мнѣ челобитную назадъ отдали. Я вразъ смъкнула, что ты на миръ идешь. Пожалуй, я готова, да ты, я чай, на мое не пристанешь. У меня одно; женись, да не на Намкѣ, что въ Лефортовъ, а на мнѣ, вотъ и все тутъ. Была я сегодня и въ Лефортовъ; разузнала, къ кому ходитъ мой Вася; думаю себя: э, Вася, нельзя! Не попустимъ! Свадьбы съ Намкой не бывать! Хитро вы все придумали и приладили, да только про меня позабыли..»

— «Вотъ тебѣ разъ!» между тѣмъ думалъ Подсвинокъ: «Теперь отъ нея пустяками не отдѣлаешься. Добро, что челобитную ей воротили; только того гляди, чтобы она проклятому шуту бумаги своей не передала; а шутъ за Волкова тянетъ; по всему видно и отъ него все зло... Да,

блибы... Да почему же... Нельзя иначе...» И Подсвинковъ подошелъ къ Дунѣ, и устроивъ глаза на вѣжливый ладъ, сталъ глядѣть на нее кошкой...

— «Ахъ, Дуня, Дуня!» сказалъ онъ: «Скажи спасибо боярину Ивану Ивановичу; надумалъ онъ меня, въ стыдъ привелъ; общалъ я ему на тебя жениться. Да онъ правду сказать, человекъ и стараго шоряка, у стариковъ въ милостяхъ; женись я на Нямкѣ, загрызуть; какъ сталъ я вѣтъ думать, да раздумывать, мнѣ и пришло на умъ; да полно, братъ, не околдовалъ ли ты? Я къ Трофимовнѣ; ты знаешь Трофимовну? Она смѣкаетъ... И чтожъ; за правду, по нѣмецкому, не то, чтобы совсѣмъ испорченъ, а такъ маленько приколдованъ. Сама разсуди, какой страхъ напалъ на меня. Я къ Трофимовнѣ, давай приставать; дорого обошлась, да ужъ за то и гладко чары сплела; разомъ, какъ рукой; тутъ у меня по тебѣ и вошла старая тоска.»

— «Ахъ, ты Вася, мой голубчикъ!..»

— «Знаешь, такъ больно сердцу стало; лице у меня свело. Ахъ, Дуня, Дуня! сказалъ я, и заплакалъ.»

— «И заплакая?»

— «Словно дитя. Мнѣ Трофимовна и говоритъ: Полю, батюшка, Василий Семеновичъ; Дуня тебя по прежнему любить; изъ любви на тебя въ приказъ челомъ била...»

— «Право изъ любви, не я буду, изъ любви...»

— «Ахъ, Трофимовна, сказалъ я, да мнѣ теперь отъ того не легче; какъ я ей бѣдной теперь

глаза покажу. Стыдно... А она говорить: Не поспешишь, Василий Семенович; я такъ сдѣлаю, что не ты къ ней, а она къ тебѣ сама придетъ! Ну, теперь, сама скажи: Чортъ, не Трофимовна!..»

Дуня и руки опустила, какъ услышала про необыкновенное искусство Трофимовны. Нельзя было не повѣрить; доказательства на лице; Василий Семенович такъ любезенъ, такъ ласковъ; намѣренія его такъ искренни; онъ такъ хлопочетъ, такъ заботится, чтобы свадьбу поскорѣе устроить. Дуня растаяла отъ радости; заплясала, на все соглашалась безъ сопротивленія.

— «Одна бѣда!» сказалъ Василий Семеновичъ, почесываясь: «Капитанъ уже прослышалъ обо всемъ объ этомъ; видно ему рассказала та самая колдунья, что и меня къ его дочкѣ приколдовала... Приходилъ уже сегодня...»

— «Видѣла, видѣла!»

— «Грозился и говорить: Хоть тресни, да женись, и женись завтра. Не то жаловаться буду. Не печалься, Дуня; пусть его жалуется; что онъ съ женатаго возьметъ? Головой меня Нѣмцу не выдадутъ. Да и не за что. За одни слова не казнить. Только, если намъ съ тобой на Москвѣ вѣнчаться, такъ, того гляди, помѣнаетъ. И Трофимовна на это намѣкала. Спрашивала, есть у тебя, Василий Семеновичъ, вотчина, а есть въ той вотчинѣ церковь. Понимаешь-ли?»

— «Такъ что же, Вася, чего думать, поѣдемъ...»

— «Спасибо, Дуня, что ты для меня на все готова. Такъ вотъ, какъ мы сдѣлаемъ. Мнѣ нель-

зя сегодня собраться; надо изъ приказа на срочъ льготу взять; искупить того сего; будто, знаешь, для Нѣмки, и разное исправить; а тебѣ, Дуня, ѣхать сегодня, одной; знаешь, чтобы чего не подмѣтили. Кстати, у меня теперъ на дворъ и лошади; есть у меня и рыдванъ; такъ ты, Дуня, что по-нужнѣе изъ вещей, заведи съ собою, да какъ смеркнется и улелетьвай; не далече; за Воскресенскимъ будетъ верстъ двадцать; завтра къ вечеру на мѣстѣ станешь, а я завтра передъ обѣдами улизну, чай подъ Воскресенскимъ тебя догону; а ужъ на ночь безотмѣнно буду въ мою усадьбу... Ну, что, Дуня? Хочешь, завтра поѣзжай со мной; правда, захватить могутъ; ну, да авось не подмѣтятъ. Одинъ то я никого небоюсь, а съ тобой...»

— «Да зачѣмъ же тебѣ со мной! Я, пожалуй, хоть сейчасъ поѣду...»

— «Такъ чего-же лучше! Эй, Прохоръ!...»

И рыдванъ былъ готовъ въ одно мгновеніе; Дуня справилась духомъ; на радостяхъ про всѣ нужныя вещи позабыла; простилась, утѣшилась въ рыдванъ и поплелась въ недалній путь, волнуемая гордыми надеждами. Уѣхала Дуня, а Василій Семеновичъ, хотя и не былъ смѣшліваго десятка, но отпустивъ такую штуку, выпшелъ изъ характера и сталъ хохотать во все горло... Прохоръ перепугался, прибѣжалъ унимать дьяка, видитъ — хохочетъ; Прохоръ давай и себѣ смѣяться, пуще, пуще, да такъ расхохотались, что собаки на дворъ всполошились и подняли лай... Это постороннее

выгнательство въ семейную радость остановило смѣхъ; Василій Семеновичъ побоялся новаго гостя, махнулъ рукой, захватилъ шапку и пошелъ въ приказъ. Тамъ царствовала смута и скрежетъ зубовъ. Подьячіе производилъ плачь велий; причиною — былъ новый указъ, по которому не только Моеиовскіе изъ дворянства чиновные люди, стольники, стряпчіе, дворяне и жильцы, но всѣ подьячіе и дьяки всѣхъ приказовъ должны къ вечеру явиться на смотръ въ Преображенское, къ боярину—генералиссимусу, князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, и остаться тамъ для ученья ратнаго... Подсвижковъ, слышавъ такую вѣсть, едва не свалился съ ногъ; а какъ подьячіе были всѣ сами въ отчаянномъ положеніи, то и поддержать было некому; *того* для дьякъ съѣлъ на крыльцѣ самъ собою, безъ посторонней помощи и заплакалъ.

— «Никогда я не дрался ни съ кѣмъ!» воскликнулъ Подсвижковъ, глотая рыданія: «Только Прохора было дома подѣ часъ, и то не ради военнаго дѣла, а ради здоровья; сидячая наша приказная жизнь; надо же повозиться передъ обѣдомъ, а ратнаго дѣла незнаю, не вѣдаю; пропади оно; и по-сольская наука наша не ради войны, а ради мира придумана. Наше дѣло замирать тѣхъ, что дерутся. Ахъ, ты, Господи милостивый, я и на Кремль безъ нужды не хожу, потому что тамъ торчатъ пушки.. Чортъ ихъ знаетъ, иной разъ начинены порохомъ; такъ и дрожишь, когда мимо проходить доводится; какъ ратный строй гдѣ увижу, отойду въ уголокъ, да и замурюсь; слѣпъ стою, пока строй не прой-

дуть... А тутъ, чего добраго, самому въ руки дадутъ пушку. Вымживай!... Да еще стрелять велеть... Ай...» Отъ одного воображенія, Подсвинковъ кричалъ во все горло; подъячю поддакивали, да подтягивали... Но вдругъ отчаяніе Подсвинкова поутихло; онъ всталъ и, съ трудомъ передвигая ноги, не заходя въ приказъ, появился домой; дома написалъ на бумагъ, что незапный недугъ одолѣлъ его, въ постель свалилъ, о чемъ приказу и доносить...

— «Эй, Прохоръ, сходи въ приказъ, отдай писаніе мое боярину, да прикинь, что я лежу въ растяжку; тутъ написано, какимъ недугомъ я изломанъ...»

— «Ахти Госюди! Какимъ же ты недугомъ изломанъ? Кажись здоровъ, какъ боровъ...»

— «Самъ ты боровъ, Прохоръ! Надо такъ говорить! Видишь, выдумали потуху, выходъ ратный изъ медлячкь; хотеть насъ, что голубей соколомъ, на създѣніе солдатамъ подставить; велика важность; въ полчаса веськъ насъ съ косточками скушають. Тамъ написано: такъ и прежде бывало. Не бывало, Прохоръ! Вотъ-тъ Христокъ не бывало. Я не какой дуракъ, лѣтениси читалъ. Не бывало! Ходили чиновные люди изъ дворянъ, это правда, да не приказные. Кто же будетъ дѣлами заправлять на Москвѣ? Иди же, Прохорушка, отдай писаніе, а я раздвунусь, семью полотенцами обвяжусь, улягусь, боленъ; противу всякой службы, а паче ратной, недугъ — причина; и по уложенію и по всякимъ статьямъ; отмѣтитъ: лежитъ боленъ и въ

поков оставяеть. Ступай же, Прохорушка, ступай! Да подь шумокъ завтра и другое дѣло уладимъ. Зайди ты къ Чижу, да спроси: готово-ли по заказу? коли не готово, пусть и глазъ не кажетъ; а самъ пусть завтра на зарь и заказъ принесетъ и всякій снарядъ свой цырюльный... Ты только скажи, онъ знаетъ...»

IV.

Какъ Василій Семеновичъ опасно занемогъ и еще опаснѣе выздоровѣлъ.

Весь вечеръ пролежалъ Василій Семеновичъ въ постель, потому, что такой себѣ недугъ выдумалъ, который перепугалъ и бояръ приказныхъ и сослуживцевъ. То тотъ, то другой посылали холопей о здоровьи Подсвинкова навѣдаться, а дѣякъ, Василій Тимофеевичъ Постниковъ, отправлявшій съ Василіемъ Семеновичемъ вмѣстѣ разные посольства и капитанъ Бломбергъ, пришли провѣдать больного лично; Бломбергъ былъ въ отчаяніи, безъ умолку рассказывалъ страшныя исторіи изъ жизни своей и предковъ; Постниковъ улыбался лукаво и столько же вѣрилъ словамъ Бломберга, сколько и воздыханіямъ Подсвинкова. Когда Бломбергъ пошелъ въ другую комнату набивать трубку, Постниковъ нагнулся къ больному и сказалъ тихо:

— «Послушай, тезка! Въдѣ Кожуховскій походъ потѣха, а не война. — Ничего худаго не сдѣлаютъ. — Съ обѣихъ сторонъ свои; даже не оцарапаютъ

никого, а прогнать старших. Вѣдь тамъ нѣтъ ни одного Турки!»

— «Есть, тезка, есть.»

— «Что ты бредишь?»

— «Право есть! И престрашный, хуже самаго Крымскаго хана, хуже всей Татарщины.... Ужъ этотъ меня не помилуетъ. Убьетъ и скажетъ: Невзначай убилъ... Даже не взыщутъ съ него за мою душу....»

— «Право ты гредишь....»

— «Вотъ ть Христось, есть!»

— «Кто же?»

— «Солдатъ Волковъ! Трехъ аршинъ; иной разъ въ четыре кажется.... Турка! Что противъ него вся Туречина.... Да, ужъ что дѣлать, пошелъ бы я на вѣрную смерть, коли на то клчуть; да немогу. Недугъ такой вострой. Охъ....»

Вошелъ Бломбергъ и овладелъ разговоромъ. Курилъ онъ, болталъ, и закурилъ и заболталъ Постникова; пожаллъ тотъ Подсвинкова, да и откланялся. Тогда Бломбергъ присталъ къ больному:

— «Послушай, зятюшка!» сказалъ онъ: «Вѣдь я смѣваю, отчего ты въ постель слегъ, вѣдь ты не боленъ....»

— «Не боленъ, Богданъ Крестьяновичъ! Здоровъ, какъ рыба, къ услугамъ твоимъ и Шарлоты Богдановны....» И съ этими словами, Подсвинковъ весело вскочилъ и сълъ на постели. Бломбергъ до того изумился, что выронилъ трубку, разинулъ ротъ и не могъ произнести слова.

— «А, что, каково?» продолжалъ Подсвинковъ:

«Видишь на какія хитрости пускаюсь, что теряю — и все ради Шарлоты Богдановны — Видишь, отрекся я отъ ратной чести; вѣдь ты меня незнаешь, первой храбрости человекъ, цѣлый строй бы помялъ подъ Кожуховымъ; показалъ бы такую удачу, что меня тотчасъ бы изъ приказа въ полкъ взяли, капитаномъ сдѣлали...»

— «Врешь, врешь! До капитана далеко! Ранга трудная; одной храбрости мало. Тутъ у васъ маленько полегче, а у насъ, возьми прежде городъ, а потомъ уже капитанскую рангу!»

— «Да полно, тестюшка, вѣдь ты меня въ ратномъ строю не видалъ?»

— «Невидалъ!»

— «И не увидишь. Не хочу у тебя чести отымать, что ты у насъ первый капитанъ.»

— «Ну, этого я чай и никто отъ меня не отыметъ; мнѣ два раза предлагали въ полковники. Нехочу. Что полковникъ! Лежи себѣ вверхъ брюхомъ, а за тебя капитаны управляются. Нехочу...»

— «Вотъ и я такой! Какъ сяду въ думу, конечно, нехочу ничего. Вотъ я для этого и въ походъ не пошелъ. Оно, конечно, потѣха, а если я въ задоръ войду; я себя знаю; горячка; того гляди на пушку наткнуся, а та пушка по ошибкѣ съ пулей.... Конечно.... И Шарлота Богдановна безъ жениха; и даромъ жизнь потерялъ на дрянномъ игрищѣ. Вотъ я и придумалъ; слягу въ постель, а завтра въ Преображенское уже поздно; боленъ, не позовутъ, а я и женюсь...»

— «Важно, Василій Семеновичъ, важно! Мнѣ

одается; будто все это я самъ выдумалъ. И знаешь ли еще новинку? Получилъ я нарядъ. Завтра весь полкъ Лефортовъ въ Москву вступаетъ. Дочери нельзя мнѣ одной оставить. Я и ее беру къ себѣ на фатеру; мнѣ съ ротой постой приходится на мясницкой. Такъ мы тутъ же гдѣ ни есть по сосѣдству и покончимъ....»

— «Знатно! А ужъ я съ самаго ранняго утра изготовлюсь.»

— «Знатно! Я за этимъ и пришелъ, чтобы тебѣ сказать, а теперь давай Богъ ноги, надо роту приготовить къ завтраму. Прощай! Ай да зять, чудо не голова! Посоль!... Ну, ужъ и Шарлота, голова, посланница!... Прощай!»

И на этотъ разъ Бломбергъ ушелъ поспынно. Подсвинковъ плотно поужиналъ; нѣсколько разъ спрашивалъ у Прохора про Чижа: будетъ ли? и получая утвердительный отвѣтъ, морщился и улыбался. При каждомъ вопросѣ про Чижа, дьякъ хватался за бороду и оглядывался. Наконецъ улегся заправду, уснулъ богатырскимъ сномъ, такъ, что поутру Прохоръ, съ Чижемъ вдвоемъ, на силу на великую могли добудиться, причемъ Прохоръ получилъ приличную награду, за то, что холопскими руками смѣлъ отгонять сонъ отъ Василья Семеновича. Проснувшись, Подсвинковъ и обрадовался и перепугался. Передъ нимъ стоялъ Чижъ, и страннаго вида и въ странномъ нарядѣ. Борода у него была бритая, но такъ какъ онъ былъ самъ цырюльничъ, то бритва уже съ недѣлю не прикасалась къ этой щетинѣ, которая густой щеткой покры-

вала его губы и подбородокъ; на немъ была зеленая истасканная куртка, видимо обрванная изъ преображенскаго мундира, а исподнее платье было драгунское, изъ старыхъ нѣмецкихъ полковъ. Весь аппаратъ хирургическій заключался въ кожаномъ чемоданѣ, который пристегивался къ сѣдлу тѣхъ же драгунъ. Онъ держалъ его подъ правой мышкой, подъ лѣвой торчала старая корзинка, не совсемъ плотно обвернутая не со всемъ въ чистую тряпку.

— «Это ты, Чижъ?» спросилъ Подсвинковъ, поглядывая опасливо на Прохора.

— «Я! Къ услугамъ твоей великой милости.... Только не задержи. Сегодня и дома пропасть дѣла. У меня и въ Преображенскомъ есть свой притонъ; тамъ нынче такая тма народа, что и не умѣстился.... Палатокъ на полъ наставили; кажетъ тамъ выросла другая Москва. .. Говорять, еще не все.... Такъ, не прикажетъ ли милость твоя?..»

— «Чижъ!» значительно прервалъ Подсвинковъ; потомъ велѣлъ Прохору принести горячей воды и запереть на замокъ все двери и ворота....

— «Ну, Чижъ! Много денегъ возьмешь; богатъ будешь, коли не проболтаешься. Мѣсяцъ сроку. Слышь! Я тебя не разъ изъ бѣды выручалъ, но ты знаешь, Чижъ, люди добра не помнятъ. Правда, Чижъ?»

— «Правда!»

— «Какъ правда? Такъ ты моего добра не поминь....»

— «Да, вѣдь милость твоя не про меня говоришь, про людей....»

— «То-то же! Ты гляди, на нихъ не походи; у нихъ благодарность, что вода....»

— «Горячая! Того гляди простынетъ. Присядь-ка твоя милость; не держи меня; чай меня и такъ вездѣ ищутъ....»

— «Ахъ, ты, Господи! Что я творю, окаянный. Конечно, много народовъ видѣлъ я безъ бородъ, да своей какъ-то жаль. И чай больно!... Чижики ты мой, не скрывай отъ меня... Больно?...»

— «Съ непривычки покажется, будто тѣло строгаютъ.... А потомъ, ничего, обойдется...»

— «Чижики, голубчики, а нельзя ли безъ боли....»

— «Совсѣмъ безъ боли трудно, а можно огнемъ обжечь, знаешь, какъ живность обжигаютъ. Когда ловко удастся, ничего....»

— «А коли неловко?...»

— «Припечетъ. Пузыри будутъ. Все одно, что кипяткомъ.... Да, кто тебѣ виноватъ; зачѣмъ съизмолodu не брилъ бороды; понѣжнѣе волосъ, и боли меньше, а теперь, гляди, какая у твоей милости щетина. Ужъ та, накладная, что я принесъ, на твою не похожа....»

— «Какъ не похожа! Чижики, ты меня заръзалъ....»

— «Вотъ ужъ и заръзалъ! Погляди, у тебя рыжая, не ровная, а эта какова.... Ась?» И Чижики вынулъ изъ кармана искусственную бороду, ко-

торая въ тѣ времена, когда высокое парикмахерское искусство, по крайней мѣрѣ въ Россіи, было еще въ колыбели, — могла назваться образцевою. Но совершенство работы больно онечало Подсвинкова; у него, какъ мы видели, была борода рыжая ключьями, а искусственная была темнорусая, полная, окладистая. Чудо, не борода!

— «Погибъ я!» закричалъ Подсвинковъ: «Ахъ, ты, злодѣй, окаянный, что ты сдѣлалъ?»

— «Бороду, какой и дворцовый мастеръ лучше не сдѣлаетъ. Правда, я у него учился, да за то теперь онъ можетъ у меня поучиться....»

— «Ахъ ты, песъ поганый, да развѣ это моя борода?»

— «Да я и самъ знаю, что не твоя; стану я такую гадкую бороду дѣлать! Не только мастеръ, мои мальчишки станутъ смѣяться. Да что тебѣ толковать. Хочешь бери, хочешь не бери. Я по уговору дѣлалъ; за бороду деньги замочены. Прощай!»

— «Чижъ! Куда ты, Чижъ?...»

— «Ищи себѣ другаго мастера! Русскаго не найдешь! Я одинъ на всю Москву! Ступай къ Нѣмцамъ; за алтынъ продадутъ, да и такого чучела ради чести одной, не станутъ дѣлать!»

— «Чижикъ ты мой, голубчикъ, да подумай ты самъ, кто ни взглянетъ, тотчасъ смѣкнетъ, что борода у меня чужая....»

— «Эко диво! А ты не можешь сказать, что послѣ болѣзни и гуще пошла, и мягче стала, и

потешила. Видишь, большой головы на такую дрянь не хватает.....»

— «Правда твоя, Чижики, правда! Кстати же я теперь и при смерти боленъ....»

Чижики посмотрѣлъ на дьяка съ удивленіемъ, а Подсвинковъ со слезами на глазахъ, глядѣлъ на проклятую накладку и на всѣ стороны ее переворачивалъ....

— «Помилуй, Чижики, положишь, что борода хороша, да какъ же она держаться будетъ?»

— «А клей на что? Вотъ тебѣ цѣлая банка; въ горячей водѣ щепотку этого порошку распусти, разболтай, бороду насусли, да накладку и приложи поплотнѣе. И самъ не узнаешь, что чужая! Ну, садись же, Василий Семеновичъ, право некогда...»

— «Огнемъ или ножемъ?»

— «Чѣмъ хочешь!»

— «Ну, огнемъ!»

→ «Такъ зови же Прохора; одинъ не справ-
ляется.»

— «Ножемъ.... Ножемъ....»

— «Только не думай много, садись!...»

— «Чижики ты мой! Еще рано. Повремени!...»

— «Слышишь, къ обѣдѣ зовятъ....»

— «Къ заутреннѣ, Чижики!»

— «Къ обѣднѣ!»

— «Право къ заутреннѣ...»

— «Ну, такъ прощай!»

— «Сиджу, Чижики, сиджу....»

Въ одно мгновеніе, Чижики ножницами скинулъ съ Подсвинкова главную массу бороды. За каж-

дымъ пристукомъ ножницъ, Подсвинковъ охалъ, но едва бритва коснулась щеки, Василий Семеновичъ заревълъ и съежился.

— «Смирно!» закричалъ Чижъ: «Не то обрѣжу!»

За симъ бритва уже спокойно ходила по лицу Подсвинкова; движенія руки Чижа сопровождались глухими стенаніями; работа Чижа дошла до половины. Вдругъ страшный стукъ у воротъ, прекратилъ тайное занятіе. Подсвинковъ подбѣжалъ къ окну и къ ужасу своему увидѣлъ, что Прохоръ, вопреки всѣмъ запрещеніямъ, отворяетъ калитку. Дьякъ едва не лишился памяти, когда увидѣлъ, что на дворъ входитъ Царскій шутъ Яна...

— «Чижикъ, спасай меня, я погибъ!» кричалъ Подсвинковъ, обвертывая со всѣхъ сторонъ голову полотенцами. Чижъ понялъ опасность; убралъ наскоро съ полу волоса, спряталъ инструментъ, — и съ чемоданомъ и съ корзинкой, по указанію дьяка, ушелъ въ другую комнату. Подсвинковъ, увидавъ, что всѣ признаки недавняго рукопроизводства исчезли, невольно улыбнулся. Между тѣмъ щелканье ключей приближалось; двери спальни отворидись и вошли: шутъ Яна, Прохоръ и еще какой-то мужчина, въ нѣмецкомъ платьи...

Яна какъ увидѣлъ лежащаго въ полотенцахъ и пуховикахъ Василья Семеновича, всплеснулъ руками и заплакалъ:

«Бѣдный, бѣдный, Василий! Умеръ! Совсѣмъ умеръ! Вотъ тебѣ и холостѣба! и похоронить некому! Возился, возился, да и свадьбы не успѣлъ сыграть. Какъ хочешь, Карло Карлычъ, а надо

его на этотъ свѣтъ воротить; вынимай-ка свой буравчикъ; добудемъ крови, авось очнется....»

— «Я не умеръ, Яковъ Ѳедорычъ, право не умеръ....»

— «Полно, полно, Василей Семеновичъ, непри- творяйся, что живъ, не повѣримъ. Ты человекъ прямой; никогда не умѣлъ хорошо притворяться; отъ того тебя и въ послы наряжать перестали.»

— «Ахъ, Яковъ Ѳедоровичъ, право я не умеръ! Какъ-же я умеръ, когда говорю?...»

— «Право, ничего не слышу. Тебѣ кажется, что ты говоришь, а ты умеръ, совсѣмъ умеръ...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, сжался надъ моимъ недугомъ; мнѣ теперь не до шутокъ; боленъ; всеми костми изломанъ; головы повернуть не могу; жаръ такой былъ, что комната пуще бани для меня стала. Чуть не задохся; теперь маленько по- легчало....»

— «А будетъ еще легче, какъ мы съ Карломъ Карловичемъ тебя полечимъ. Ухъ, какъ легко будетъ. Въ вечеру самъ въ Преображенское при- бьжишь муштровать. Ну-ка, приступай, Карло Карловичъ къ осмотру....»

— «Къ какому осмотру?» спросилъ Подсви- ковъ, и чуть было со страху не позабылъ, что боленъ; чуть было не поднялся съ постели....

— «Видишь, Василій Семеновичъ, ты шутокъ не любишь; да и недугъ твой такой, что шутокъ не терпитъ; мы-же тебя, какъ роднаго, любимъ; помочь хотимъ; такъ прежде по ученому надо осмотрѣть, гдѣ и какая немочь, а ужъ потомъ

за-разъ и выгонимъ ее изъ тѣла. Карло Карловичъ, начинай!...»

— «Да зачѣмъ же осматривать, когда я вамъ словами расскажу....»

— «Э, нельзя! У тебя жаръ; ты, можетъ быть, бредишь; какъ можно вѣрить горячкѣ. Это разъ, а другое — ты шутокъ не любишь, такъ я скажу безъ шутокъ. Царю подана роспись обо всѣхъ Нѣтчикахъ, которые по указу въ Преображенское не явились на смотръ. Чудно показалось Государю, что въ одинъ день полъ-Москвы захворало; вотъ Государь и указалъ намъ съ Карломъ Карловичемъ обыскать ваши недуги и по правдѣ донести; такъ не гнѣвайся, Василій Семеновичъ! Царскую волю правимъ, и это слово наше послѣднее. Лежи смирно, а мы бережно тебя осмотримъ, да и донесемъ, что ты боленъ, ходить не можешь. Ну-те, Карло Карловичъ, съ головы всякое начало. Я полотенцы разверну, а ты осматривай....»

— «Полотенцы!» заревѣлъ Подсвинковъ и вскочилъ....

— «Видишь, какая злая горячка! Ну-те, ну-те, Карло Карловичъ, не бойтесь, мы его попридержимъ; эй, ты, чурбанъ, чего стоишь, глаза выпялил? Бери за руки больного....»

— «Нетронь, убью!»

— «Не бойтесь, Карло Карловичъ, двери заперты, неуйдетъ!»

— «Двери заперты!» закричалъ Подсвинковъ, вырываясь изъ рукъ шута: «Прохоръ! Волю дамъ, только оттащи ты отъ меня этого медвѣдя.»

Прохоръ схватился за Яшу, Подсвинковъ изо всей силы рванулся къ окну; выскочилъ; въ калиткѣ съ кѣмъ-то повстрѣчался и, опрокинувъ гостя, безъ оглядки бѣжалъ по Мясницкой между двухъ рядовъ Бломберговой роты... Громкій хохотъ провожалъ бѣгущаго; опрокинутый въ калиткѣ тесть, ругалъ зятя самымъ отчаяннымъ образомъ, обчищая съ мундира грязь, которая, по древнему обычаю стояла у калитки неосушимую лужей.

— «А что?» спросилъ Яша, выходя съ Царскимъ врачомъ въ ту же калитку: «Говорятъ, что Нѣмцы лечить не умѣютъ; ни рукой, ни ногой шевельнуть не могъ; приняли въ руки, — побѣжалъ, будто встрепанный и вѣрно прямо въ Преображенское. Пойдемъ, Карло Карловичъ, дальше. У насъ больныхъ много, надо вылечить всѣхъ до вечера. А ты тутъ зачѣмъ?» спросилъ Яша Чижа, который, пользуясь смутой, тихонько ползъ изъ калитки...

— «Я?... Ничего! Такъ! За дѣломъ заходилъ по дорогѣ.»

— «А сдѣлалъ дѣло?...» спросилъ Яша, съ лукавой улыбкой.

— «Помѣшали!»

— «Ужъ не мы-ли? Не вѣрь, Чижъ! Не такой нашъ лекарскій промыселъ; мы ничего не испортимъ, а поправлять многое умѣемъ. Вотъ и мой тестюшка, тоже скажетъ. Вѣдь онъ меня давно знаетъ, самъ меня крестилъ, и такой добрый, хочеть меня женить на родной дочери... Да мнѣ

что-то не хочется. Больно хороша для шута! Не правда ли, Богданъ Крестьяновичъ!»

Бломбергъ промычалъ что-то и отошелъ къ своей ротѣ. Чижъ повернулъ въ Преображенское, а врачи отправились по своей практикѣ. На полпути стоялъ цырюльный дворъ Чижа; мальчинки отъ нечего дѣлать всѣ торчали на улицѣ и не безъ изумленія увидѣли Василя Семеновича въ самомъ беспорядочномъ и странномъ спальномъ уборѣ. Встрѣтили они Подсвинкова громкимъ хохотомъ; но когда увидѣли, что онъ прямо бѣжитъ къ крыльцу дома, перепугались, бросились на дворъ и прятались. Подсвинковъ нашелъ въ большой палатѣ Чижову жену, которая, въ торопяхъ спымила на дѣтскій крикъ; какъ увидѣла она гостя, вскрикнула и обомлѣла.

— «Матушка ты моя, голубушка!» кричалъ Подсвинковъ: «Спрячь меня, сохрани куда нибудь, врагъ за мной идетъ; отыщеть слѣдъ, окаянный! Спаси, не оставь!..»

Это воззваніе еще болѣе перепугало Чижову жену; на дняхъ еще читали Царскій указъ о бѣглыхъ и празднопнатающихся; по странному виду Подсвинкова, можно было подумать, что онъ не изъ числа добропорядочныхъ людей... Чижова дрожала всѣмъ тѣломъ. Испугъ ея возрасталъ, а Подсвинковъ видя что никто за нимъ не гонится, пріободрился, сталъ развертывать полотенца, поглядѣлъ въ зеркало и сказалъ спокойно:

— «Ну, что дѣлать, стало, борода не воро-

тишь, надо и остатки долей; гдѣ у твоего мужа ножи, подай ихъ сюда...»

— «Ножи?... Разбой, воры!» закричала Чижо-ва жена и вѣроятно бы надѣлала суматохи, если бы въ то же время въ комнату не вошелъ Чижъ...

Свиданіе было самое трогательное. Чижъ увелъ Подсвинкова въ свою снальню и занялся окончаніемъ прерваннаго подвига; между тѣмъ одинъ изъ мальчиковъ сбѣгалъ за Прохоромъ и платьемъ. Явился и Прохоръ. Василій Семеновичъ наклонилъ бороду, приодѣлся, но идти домой не захотѣлъ. Чижъ легко согласился укрыть дѣяка до вечера, тѣмъ болѣе, что Подсвинковъ не скупился на обѣщанія. Наступилъ и вечеръ. Подсвинковъ безпрестанно поглядывалъ въ окно, скоро ли смеркнется такъ, что возвратный путь и свадьбу можно будетъ совершить въ безопасности. Къ особенному удовольствію, на концѣ улицы онъ замѣтилъ ратныхъ людей, и между ними легко узналъ Бломберга.

— «Ай да тестюшка!» сказалъ онъ съ удовольствіемъ: «Выручаетъ, дай Богъ ему здорья. И ратныхъ людей взялъ пра случай, чтобы у него проклятый шутъ зятя не отнял... Только зачѣмъ такъ рано. Почитай день. Что же это онъ мимо идетъ. Богданъ Крестьяновичъ!» Подсвинковъ отворилъ окно и кричалъ во все горло: «Богданъ Крестьяновичъ! Куда ты? Я здѣсь!»

— «Ну, попался! А еще посолъ! Поди-ка сюда!» Подсвинковъ безпрестанно оцущивая бороду,

вышелъ торжественно на крыльце, гдѣ его уже ожидалъ Бломбергъ...

— «Ну, тestyюнка!» сказалъ дьякъ тихо: «Перепугалъ меня проклятый, да покрайней мѣрѣ все уладилось; бороды нѣтъ, это чужая... Ну, чтоже ты не радуешься, Богданъ Крестьяновичъ!»

— «Нечему, Василій Семеновичъ, нечему! Пойдемъ!»

— «Пойдемъ, а въ какой церкви будемъ вѣнчаться?... Да куда же ты идеешь?»

— «Въ Преображенское!»

— «Развѣ Шарлота Богдановна тамъ?»

— «Нѣтъ!»

— «Такъ почему же мы туда идемъ?»

— «По Государеву указу!»

— «Богданъ Крестьяновичъ, что это значить? Что, развѣ уже и ты съ Волковымъ за одно...»

— «Не я, а служба моя съ ними за одно!»

— «Да растолкуй ты мнѣ порядкомъ.»

— «Изволь.» И капитанъ вынулъ изъ кармана бумагу и прочелъ: «Ордеръ капитану Бломбергу! Отыскать дьяка Подсвинкова, укрывающагося на Москвѣ и въ какое бы позднее время оный дьякъ ни былъ найденъ, сообщить его персонально въ Преображенское, подъ личнымъ конвоемъ и сдать на руки старшему офицеру на гауптвахтѣ, или же, если пойманъ будетъ весьма поздно, то въ сѣзжую палатку стараго строя... Францъ Лефортъ...»

— «Богданъ Крестьяновичъ!»

— «Полно, полно! Ужъ лучше непросись, а крѣпись. На другой день послѣ похода свадьбу сыграемъ, а въ строю береги себя; горячкѣ воли не давай; я самъ слыналъ, что Волковъ хочетъ тебѣ прикладомъ голову разломить...»

— «Богданъ Крестьяновичъ! Я уйду, а ты и донеси...»

— «Ты съума сошелъ, Василій Семеновичъ! Что бы я, первый во всемъ войскѣ капитанъ, былъ ради дружбы, родства и свойства, измѣнщикомъ присягъ! Да послѣ этого я самъ себя разстрѣляю...»

— «Богданъ Крестьяновичъ, Богданъ Крестьяновичъ, помилуй, отпусти!»

— «Послушай Василій Семеновичъ! Не страми же и ты меня! Въ конвоѣ есть и офицеры, тотчасъ разнесутъ, что ты трусь...»

— «Трусь, Богданъ Крестьяновичъ, право, трусь.»

— «Шути, шути, а они заправду подумаютъ...»

— «Да какія тутъ шутки! Право меня или убьютъ, или я самъ умру со страха.»

— «Не бойся, я къ Шарлотѣ добрый караулъ приставилъ; муха къ ней не пролетитъ, вздоръ! А оно правда отсрочка, да за то, какъ ты подѣ Кожуховымъ отличишься, такъ тогда и свадьбу веселѣ справлять.»

— «Отличусь, Богданъ Крестьяновичъ, не дай Богъ, какъ отличусь...»

— «Вотъ видишь самъ! Да и знаешь ли, про между насъ сказать, коли въ свалкѣ Волкова по-

встрѣчаешь, такъ нечего жалеть... Понимаешь-ли? Тутъ грѣха нѣтъ. Вѣдь онъ-же хочетъ тебя убить...»

— «Да ты не ошибся ли, Богданъ Крестьяновичъ, можетъ быть только побить?»

— «Говорять тебѣ: убить...»

— «Немогу, Богданъ Крестьяновичъ, самъ видишь, немогу идти! Ноги отянулись...»

Подсвинковъ на этотъ разъ не притворялся, у него точно отянулись ноги, да по выговору слышно было что и языкъ собирается сдѣлать тоже. Неумолимый Бломбергъ приказалъ гдѣ нибудь въ ближайшемъ домѣ достать носилки. Достали гдѣ то рогожку на двухъ палкахъ, посадили Подсвинкова и понесли въ Преображенское.

—
V.

Какъ капитанъ Бломбергъ, не попавъ въ одинъ походъ, отправился въ другой.

На Кремль у переходовъ стояло множество женщинъ, подъ покрывалами и безъ оныхъ; между ними изрѣдка кое гдѣ торчали старики, — которымъ дряхлость не позволяла принять участіе въ походѣ, — именитое купечество, да боярскіе шууты, которые по случаю отъезда всѣхъ бояръ, къ Преображенскому, оставались праздными и про запасъ, на улицахъ и площадяхъ, собирали городскія сплетни. Во всѣхъ домахъ окна были открыты; въ нихъ, будто въ рамахъ, красивыми группами, пестрѣли преимущественно женскія головки.

Не смотря на то, что на небѣ исходилъ уже Сентябрь мѣсяць, на землѣ было еще тепло, даже жарко, потому что солнце, съ лѣтней привычки, приближаясь къ полудню, щедро разливало на всю Москву палящее пламя. Лефортовцы стояли на стражѣ у Кремлевскихъ дворцовыхъ зданій, у Приказовъ, у воротъ и вообще гдѣ нуженъ военный присмотръ. Офицеры, свободные отъ фрунта и карауловъ, ухаживали за знакомыми и не знакомыми горожанками. Больше другихъ привлекала къ себѣ взоры офицеровъ мадамъ Баць; можетъ быть и не мадамъ Баць, а Шарлота, но офицеры употребляли въ этомъ случаѣ отводъ, потому что возлѣ Шарлоты стоялъ капитанъ Бломбергъ, а всему полку было извѣстно, что Бломбергъ терпѣть не можетъ когда молодежь пустыми взорами сбиваетъ съ толку Шарлоту, невѣсту дьяка Подсвинкова. И надо сказать правду, Бломбергъ удивительно фехтовалъ глазами и съ необыкновенною быстротою отражалъ нескромные взоры дерзкой молодежи. Мадамъ Баць непреминула воспользоваться стѣсненнымъ положеніемъ Шарлоты. Съ быстротою Бломберга, она отвѣчала на умильные взгляды офицеровъ, только въ другомъ тонѣ, и такъ искусно вовлекла всѣхъ окружающихъ въ общій разговоръ, что капитанъ никакъ немогъ воспрепятствовать приближенію непріятелей. Онъ съ своей стороны сдѣлалъ все, что могъ. Подошелъ къ Шарлотѣ и сталъ такъ близко, что она даже инепотомъ не могла сказать слова, котораго бы онъ не услышалъ.

— «Мы не дождемся ихъ сегодня!» сказала мадамъ Бацъ, поправляя прическу: «И если бы мы, свои, не были вмѣстѣ, пришлось бы умереть отъ духоты, жара и скуки.»

— «Совершенно справедливо, Христина Ивановна, совершенно справедливо!» замѣтилъ офицеръ Мурандштраусъ, холостякъ, лѣтъ сорока съ хвостикомъ: «То есть это удивительно, Христина Ивановна, какъ вы всегда говорите точную правду и такъ сказать, самую истину; никогда не преувеличиваете, и такъ сказать, ничего не уменьшаете. Можно рѣзительно утверждать, что, по части разума, вы между женщинами чудо, или такъ сказать, явленіе необыкновенное...»

— «А вы думаете, что я не люблю комплиментовъ? Да, что я, не женщина, что-ли? Къ чему притворяться? Я очень вамъ благодарна за этотъ комплимантъ.»

Мурандштраусъ растаялъ и отвѣчалъ:

— «Да это не комплимантъ, а сугубая правда; точно такая, еслибы я сказалъ, что вы и Шарлота Бломбергъ красавицы...»

— «А тебя какое дѣло?» грубо прервалъ Бломбергъ: «Красавицы, да не для тебя. Притомъ же... фонъ-Бломбергъ; а еще Нѣмецъ; свой обычай забылъ... Однажды мнѣ случилось...»

— «Да я не знаю, за что вы сердитесь, Богданъ Крестьяновичъ!» перебила мадамъ Бацъ: «Вѣдь говорятъ не про васъ, а про Шарлоту, такъ пусть она и обижается...»

— «Да я...»

— «Да что вы? Возитесь съ подъячими и заразились отъ нихъ грубостью; потеряли обхожденіе. Вотъ я ничего такъ не желаю, какъ увидѣть вашего будущаго зятя на конѣ, при оружіи... Должно быть ужасно смѣшно...»

— «Отчего же должно быть ужасно смѣшно?..»

— «Да какъ эта чернильница можетъ держаться на сѣдлѣ?»

— «Отъ чего же чернильница?»

— «Удивительно, какъ его и въ старомъ стропе не забраковали!

— «Забрановать Подсвинкова! Да знаете ли вы, что Василія Семеновича бояринъ Иванъ Ивановичъ къ себѣ въ есаулы, то есть въ адъютанты, взялъ!..»

— «Ну, такому генералу и я бы въ адъютанты годилась...»

— «Ахъ!..» сказалъ тихо Мурандштраусъ, но такъ, что Христина Ивановна очень хорошо могла разслушать: «Охъ!.. Еслибы такіе были на оветъ адъютанты, кто бы не пожелалъ быть генераломъ!»

Христина Ивановна улыбнулась въ ту сторону, гдѣ стоялъ Мурандштраусъ, а глаза смотрѣли въ противную сторону, на Бломберга; есть такой способъ улыбаться, право есть; и жаль что этому способу не учатъ въ женскихъ пенсіонахъ. Опытномъ каждое пріобрѣтеніе трудно, и часто уже получается несвоевременно, когда въ немъ не настоятъ надобности. Но мадамъ Бацъ этотъ способъ былъ крайне пригоденъ; оттого она могла вести вдругъ двѣ бесѣды, съ мужемъ и съ по-

стороннимъ, а иногда и съ двумя посторонними, какъ случилось и на Кремль у переходовъ. Одному она улыбнулась, а на другаго посмотрѣла весьма степенно, даже сурово и безъ видимаго промежутка, продолжала...

— «И очень рада я, что нашъ полъ неучаствуетъ въ этомъ походѣ. Не велика честь разбить такого генерала съ такими адъютантами!»

— «Да знаешь ли ты, Христина Ивановна!» прервалъ запальчиво Бломбергъ: «что этотъ бояринъ сдѣланъ главнымъ воеводой въ старомъ стрѣ?»

— «Въ шутку, въ насмѣшку; ужъ повѣрь, за правду его не пошлютъ и на волчью облаву...»

Бломбергъ какъ буря собирался разразиться надъ головою Христины Ивановны громомъ и молніей, но мадамъ Бацъ, хотя и была скала, пристунная для человѣческаго рода, — однакоже не посмѣвалась надъ яростью стихій и времени и, приготовляясь встрѣтить грозу, стала въ такую позицію, устроила такую значительную мину, вонзила взоры свои не только въ глаза, но въ сердце, въ душу противника. Бломбергъ смутился; даже вспомнилъ, что лѣтъ шесть тому назадъ, когда Шарлота была ребенкомъ, самъ искалъ расположенія Христины Ивановны; но Христина Ивановна была тогда шестью годами моложе, а потому и степеннѣе; сему явленію исторія представляетъ многоразличные примѣры... Шарлота подрастала. Капитанъ не хотѣлъ подавать собою дурнаго примѣра, отставалъ и отсталъ отъ страсти, которая не успѣла укорениться; но совершенно искоренить изъ памяти

какой бы то ни было бывалой наклонности невозможно — и Бломбергъ смутился. Чуть было самъ не сказалъ госпожѣ Бацъ какой то отчаянной любви, но вдругъ покраснѣвъ, плюнулъ и отвернулся. Въ это самое время по всему Кремлю раздалось: здуть, идуть!.. И точно, недалеко слышался барабанный бой, на поворотъ показался стреманный стрелецкій полкъ; хотя стрѣльцы и были уже обучены по новому генераломъ Гордономъ, но какъ съ некотораго времени знаменитый сподвижникъ Петра занимался формированіемъ регулярныхъ войскъ, то и служба у стрѣльцовъ пришла въ забвеніе. Недавнія смуты привели эту надворную пѣхоту въ омерзеніе большей части Московскихъ жителей... Особенно женщины невольно отворачивались отъ страшныхъ лицъ этого войска. Сами они будто чувствовали, какое производили впечатлѣніе. Недовольные новымъ порядкомъ, общимъ мнѣніемъ и сами собой, они проходили потупивъ головы, безъ ратнаго веселія, безъ молодецкаго взгляда... За стреманнымъ, тянулись другіе полки стрѣлецкіе. Тотъ же видъ; тѣже впечатлѣнія... Но вотъ показался полковникъ Лаврентій Сухаревъ съ своимъ веселымъ и стройнымъ полкомъ и радостный говоръ пробѣжалъ въ зрителяхъ, выросъ и громкимъ одобрительнымъ гуломъ провожалъ этотъ четвертый полкъ старой надворной пѣхоты: прошелъ... и опять тоже унылое молчаніе, пока не прошли пятый и шестой стрѣлецкіе полки. Показалась конница и толпа зрителей развеселилась; правду сказать и было

отъ чего. Хотя эта конница и шла ротами или отдѣленіями; но отъ непривычки къ ратному порядку, отъ тѣсноты и неравенства улицъ, вся эта конница перемѣшалась. Семень Алексѣевичъ Языковъ съ С. Грибоѣдовымъ предводительствовали Приказнымъ войскомъ, къ которому присоединены были Государевы пѣвчіе. Послѣдніе еще туда-сюда, но Приказные представляли самую пеструю и забавную смѣсь людей, коней и одеждъ. Тамъ горбатый, приземистый дьякъ сидѣлъ на долговязомъ и сухопаромъ конѣ; а сѣдло подъ нимъ Турецкое, чепракъ чуть не изъ чистаго золота, да еще и не одинъ, а два; голова у лошади изукрашена кутасами и перьями; а тамъ подъячій, толстый, такъ, что отъ жира потерялъ очертаніе человѣка и для Академической природы сталъ ровно негоденъ, а сидитъ на малоросломъ, дюжемъ иноходцѣ, и будто гора какая, съ боку на бокъ переваливается; у того сабля въ рукахъ наголо, молодчество выказываетъ; у того въ ножнахъ покоится; ржавчины два холона не могли считать, а у иного двѣ сабли и съ того боку и съ другаго; нѣкоторые въ рукѣ держали пистолеты, а другіе карабины вѣмецкіе. Тѣ въ вѣмецкомъ платьѣ безъ бороды, тѣ купцами. Масти у лошадей, хуже чѣмъ въ картахъ; тамъ четыре только, а тутъ хоть коллекцію мастей подбирай; начинай съ бѣлаго, тамъ будто съ крапомъ; тамъ сѣроватыя, темнѣе, темнѣе и перешли въ яблоки, въ темносѣрыя, а тамъ оная посветлѣли; планжевыя, золотистыя, бурныя и т. д. до вороньихъ, т. е. до цвѣту во-

роняго крыла дѣйствъ, а больше всего пѣтихъ. Была одна полосатая отъ природы; такая невѣданная, что ее сами лошади не признавали и сторонили... Были и съ крашенными хвостами; и все это не въ порядкѣ какого нибудь зоологическаго кабинета, а въ живомъ и безпрестанно измѣняющемся движеніи. Этотъ калейдоскопъ производилъ неописуемый эффектъ; глаза зрителей разбѣгались. Шарлота смотрѣла на этотъ сбродъ, какъ любопытный ребенокъ; ее занимало, веселило странное разнообразіе; она наслаждалась этимъ зрелищемъ и вдругъ Бломбергъ все разрушилъ!..

— «Погляди, Шарлота!» сказалъ онъ, толкнувъ ее легонько: «Погляди, какимъ молодцомъ, Василій Семеновичъ!»

— «Правду оказать!» подхватила мадамъ Бацъ: «Между этими уродами онъ не послѣдній; есть и хуже, да мало. Не правда ли, Шарлота?»

— «Правда!»

— «Что ты сказала?» закричалъ Бломбергъ, будто его кипяткомъ окатили...

— «Что вы кричите!..» сказала мадамъ Бацъ, схвативъ Бломберга за руку и взглянувъ на него ласково, даже любовно. Такъ какъ этотъ взоръ пришелся въ пору, именно въ то время, когда въ головѣ Бломберга невольно бродили пробужденныя воспоминанія, то и гнѣвъ исчезъ; мѣсто его заступила какая-то неопредѣленная надежда. Бломбергъ, и самъ не зная почему, сталъ охораниваться... «Скорѣе бы Шарлоту занужь!» подумалъ онъ: «Тѣ двѣ другія еще

глуны и неразумны, можно бы приволокнуться... Только, Боже борони, узнают... Дойдетъ до Франца Яковлевича...» Бломбергъ поблѣднѣлъ и сталъ оглядываться, какъ будто его поймали *in flagrante delicto*... Желая успокоить себя и отогнать на время мадамъ Бацъ отъ воспаленнаго воображенія, Бломбергъ сталъ смотреть на будущаго зятя и невольно въ душѣ своей повторилъ отвѣтъ Шарлоты. Повторимъ и мы эту *правду*. Подсвинковъ въ Преображенское доставленъ былъ лѣвый и безъ оружія. Князь Ѳедоръ Юрьевичъ приказалъ послать за конемъ и оружіемъ къ Подсвинкову на домъ. Но лошади ушли въ деревню съ Дуней, а оружіе, какое было у отца Василя Семеновича, продано въ старый желѣзный рядъ Прохоромъ, съ вѣдома и даже съ позволенія Василя Семеновича, тотчасъ послѣ вступленія въ наслѣдство. Нечего дѣлать. Ромодановскій, яко генералиссимусъ, собралъ по сему случаю совѣтъ; при общемъ смѣхѣ на счетъ подвиговъ Подсвинкова, положили: вооружить его по-драгунски... Дали Василю Семеновичу лошадь, весьма ученую и умную, больше изъ челоувѣколюбія, чтобы она его берегла въ предстоящихъ опасностяхъ; нацѣпили съ одной стороны огромную саблю, съ другой карабинъ, въ сѣдло два пистолета, въ руку—пику. Все огнестрѣльное было заряжено; Ромодановскій, не смотря на обычную свою важность, весьма смѣялся и собранію совѣта и его приговору, но бояринъ Иванъ Ивановичъ счелъ эту выходку за личность къ себѣ, и какъ только былъ объявленъ

главнокомандующимъ противной стороны, тотчасъ поспѣшилъ утѣшить Подсвинкова:

— «Старый стражникъ!.. Всякое зло умѣешь дѣлать, дѣвицъ обижать, взятки брать, и то и третіе... А! Постой же! Дай къ Москвѣ будемъ, женю, непременно женю! На Дувъ женю! Экой, право...» продолжалъ бояринъ, смягчая голосъ: «Ужъ я бы тебя не пожалѣлъ! И такъ по Москвѣ изволь вхать въ ротъ, какъ указано, а ужъ на мѣсть я хозяинъ... Быть тебѣ при мнѣ есауломъ неотходно... Не ради жалости, а ради опася, чтобы въ конецъ нашихъ не острамилъ. Пошелъ вонъ! На мѣсто!..»

И нарядили Василю Семеновича, какъ указано, и на Москву выпустили. Ученый не ученаго не понимаетъ, и конь не понималъ Василю Семеновича, дьякъ хочеть приудержать его ретивость, а тотъ на дыбы, думаетъ: видно хочеть вздокъ красоваться, а Василий Семеновичъ ни живъ, ни мертвъ, брюхо коня ногами обхватить, держится, что есть силы, да грузецъ; съ драгунскаго сѣдла ползеть; поводья выронить, да за холку; конь и опустится и пойдетъ шажкомъ; конь бы еще ничего; нашелъ Василий Семеновичъ и съ нимъ снаровку; совсмѣтъ за поводья не держится; а конь себя, по ученому, за одно съ другими, и ходитъ; да вотъ бѣда: карабинъ и пистолеты заряжены; то и дѣло прислушивается, не выпалитъ ли тотъ или другой; сабля проклятая стучить, того гляди изъ ноженъ выскочитъ, ноги поранитъ; не удивительно послѣ этого, что дьякъ, блѣдный, полумертвый, на Мо-

сквъ ѣдетъ на конь, будто чучело; одною рукою карабинъ, другою саблю, подальше отъ себя держитъ, а туловищемъ на сѣдлѣ отъ пистолетовъ пятится. Товарищи, которые похрабрѣе, въ толпѣ глазами ищутъ знакомыхъ, а Василій Семеновичъ только того и желаетъ, чтобы ни онъ Москвы, ни Москва его не видала... Первый взглядъ на Подсвинкова возбуждалъ смѣхъ во всѣхъ, включительно съ Бломбергомъ, но такъ какъ строй двигался, по тѣснотѣ Кремля и множеству толпы, весьма медленно, то Бломбергъ имѣлъ довольно времени догадаться и убѣдиться въ догадкѣ. Бломбергъ вспыхнулъ, покраснѣлъ.

— «Посмотрите, Христина Ивановна!» сказалъ капитанъ, запинаясь, и желая отвлечь вниманіе дамъ отъ Подсвинкова: «Вотъ и самъ главный воевода стараго строя.»

— «Гдѣ, гдѣ!..»

— «Вотъ, на бѣломъ конѣ!..» И капитанъ загородилъ Хрестинѣ Ивановнѣ видъ на ту сторону, гдѣ еще былъ видѣнъ Подсвинковъ...

Въ богатыхъ одеждахъ, на дорогихъ коняхъ, которые выплясывали со всею граціей свой лошадиный танецъ, проѣхали простые и комватные столтники, и вслѣдъ за ними на бѣломъ конѣ, закрытомъ почти до самой земли богатымъ чепракомъ, въ великолѣпнѣйшемъ Русскомъ вооруженіи, появился бояринъ Иванъ Ивановичъ. Чернь и приверженцы стараго порядка, не выдержали и заревѣли; но вдругъ, незапно, какъ одинъ человекъ, всѣ смолкли. Сопровождающіе боярина, изъ первыхъ ро-

довъ, Русскіе вельможи въхали безъ бородъ и въ нѣмецкомъ платьѣ... Думные дворяне и думные дяки, въ такомъ же костюмѣ, заключили шествіе. Прошли, а народъ безмолвный стоялъ на Кремль въ уныніи и будто весь думалъ одну и ту же думу... Но не долго продолжалась эта молчаливая элегія о быломъ-прошедшемъ... Вдали раздавались флейты и трубы, прерываемыя барабаннымъ боемъ. Толпа оживилась любопытствомъ. Шутъ Яна первый въхалъ на Кремль на добромъ конѣ, въ костюмѣ, составлявшемъ смѣсь казацкаго съ нѣмецкимъ; богатая сабля болталась у боку; на круглой, высокой шапкѣ торчала разноцвѣтная китка или султанъ; за нимъ гурьбой, безъ строя, въхали Абросимки и Алеши; Абросимки въ красныхъ кафтанахъ и синихъ шароварахъ съ казацкими шапками и пиками. Алеши всѣ были въ сѣромъ и всѣ на одинакихъ сѣрыхъ коняхъ. Для Московскихъ жителей эта молодая вольница была страшнѣе старыхъ стрѣльцовъ; это были градскіе брадобреи и вѣстовщики; ни виномъ, ни деньгой нельзя было ихъ испортить. Удамой ротмистръ держалъ ихъ въ ежевыхъ рукавицахъ. На вѣчныхъ посылкахъ, они не могли однакоже избаловаться. Шутъ умѣлъ смотреть за ними и ночью и въ глухихъ захо-лустьяхъ. И служба и отдыхъ у этой вольницы, сопровождалась шутками; и теперь на Кремль отъ ихъ смѣха гулъ идетъ; между ними были такіе звонкіе голоса, что какъ засмѣется, такъ будто во всю Ивановскую пѣсню поетъ; такъ и зали-вается...

— «Вотъ онъ!» въ одно время почти вскрикнули и мадамъ Бацъ и Шарлота, и обѣ, какъ будто условясь, схватились за руки.

— «Ошиблись!» сказалъ мрачно Бломбергъ: «это не Волковъ; это легкое нерегулярное войско, и при томъ конное, а Волковъ простой и пѣший солдатъ.»

И мадамъ Бацъ и Шарлота посмотрѣли на Бломберга и расхохотались.

— «Чему вы обрадовались?»

— «Ахъ, Богданъ Крестьяновичъ! Неужели васъ не смвинить Царскій шутъ? Посмотрите, какія онъ дѣлаетъ намъ рожи. Здравствуй, миленькой, здравствуй, Яковъ Фодоровичъ... Береги себя въ походъ. Ты знаешь, по тебѣ не одна будетъ плакать. .»

— «Эй, Христина Ивановна! Гляди! Алешъ сей часъ на тебя пуцу! Языкъ отрѣжутъ!..» сказалъ шутъ, который, пользуясь медленностію отставшихъ пѣхотныхъ полковъ, счелъ обязанностью дождаться ихъ у переходовъ.

— «Ахъ, ты, право какой!» сказала мадамъ Бацъ: «вѣдь я твою руку держу; за тебя горой стою, а ты...»

— «Да вѣдь я, кажется, просилъ молчать, а не болтать. Хорошо, что Богдана Крестьяновича здѣсь нѣтъ, а то бы онъ Богъ знаетъ что подумалъ...»

— «Я здѣсь!» сказалъ капитанъ, выдвигаясь впередъ.

— «А, ты здѣсь, Богданъ Крестьяновичъ! Радъ,

очень радъ! Здравствуй, здравствуй! Давно не видалъ! Что ты не сталъ еще занкой?»

— «Это почему?»

— «Какъ почему! Потому, что кто съизмолоду гладко лжетъ, тотъ на старость заикается. Право, такъ! А ты ужасно гладко вралъ.»

— «Послушай ты, шутъ поганый, я тебя съ съдла стащу...»

— «Гладко, гладко врешь, ну дальше!»

— «Да я тебя сей часъ въ съвзжую избу отведу...»

— «Гладко, гладко! А не смъешь! Я на службъ...»

— «Да какъ же ты такое говоришь?...»

— «Говорить правду — это моя служба. А за правду нечего сердиться... Дай руку...»

— «Поди ты, чтобы я себя передъ всею Москвою опозорилъ...»

— «Ну, такъ подай мнѣ руку Шаролты Богдановны...»

— «Что, что такое?»

— «Что такое? Али не ясно?.. Я не Подсвинокъ. Тайностей не люблю; при всемъ честномъ народѣ, прошу у тебя Шарлоту Богдановну въ жены...»

— «Что... Что?» Бломбергъ побагровѣлъ и съ трудомъ выговаривалъ свои односложные вопросы.

— «Экой безтолковый! Жениться хочу! Понимаешь-ли? Вотъ ты любишь ложь, а я правду. Правду я сказалъ, а ты теперь солги что ни есть. Чай за словомъ въ карманъ не полезешь... Ну-ка, начинай!...»

— «Я съ тобой говорить не хочу; я буду жаловаться, требовать, чтобы за такую обиду мнѣ тебя головой выдали...»

— «Гладко, гладко! Ну дальше!.. А я дуракъ думалъ, что ты меня за тѣмъ и выписалъ изъ Персіи, за тѣмъ и крестилъ самъ, чтобы женить на своей дочери. За чѣмъ же ты и колымагу у боярина Ивана Ивановича велѣлъ нанимать, и Царскимъ столомъ кормить и Царскими погѣхами тѣшить. Ась, за чѣмъ?»

— «Пойдемъ Шарлота, я невыдержу, тутъ еще исторія будетъ!...»

— «Христина Ивановна!» сказалъ шутъ пригнувшись къ ней съ лошади: «Вотъ теперь выручай языкомъ и чѣмъ хочешь; приколдуй пожалуй, коли умѣешь, только гляди за нимъ; глазъ не спускай, что бы онъ мнѣ Шарлоты не мучилъ... Не то, худо будетъ... Наши подходятъ. Прощай!» И Явна повхалъ съ своими подъ переходы. Показались красные солдаты. То былъ Бутырскій полкъ; за нимъ прошли Семеновцы и Преображенцы. Въ нарядной Государевой каретѣ проѣхали бояринъ Матвей Степановичъ Пушкинъ и думный дякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ; за каретою въ нарядномъ платьи или стреминные конюхи явнкомъ и рота конныхъ нахаловъ, съ ротмистромъ княземъ Черкасскимъ. Налеты, пѣшіе, предшествовали двадцати стольничьимъ коннымъ ротамъ; каждая принадлежала кому либо изъ бояръ и другихъ чиновныхъ людей высшей ранги; была собрана и содержалась ихъ иждивеніемъ; за стольничьими

или рейтарскія съ карабинами. И тогда уже появился генералиссимусъ, князь Федоръ Юрьевичъ Ромодановскій, на конѣ, но въ старомъ русскомъ вооруженіи, окруженный всеми палатными людьми, генералами, иностранными офицерами и многочисленной прислугой... Всѣ полагали, что въ числѣ важныхъ лицъ, сопровождавшихъ генералиссимуса, былъ и самъ Государь. — И потому громкое ура встрѣтило и провожало князя и его спутниковъ далече: нѣкоторыя толпы бросились по слѣдамъ войска; другіе бѣжали на валы и стѣну и любовались великолѣпнымъ шествіемъ, которое въ это время тянулось черезъ каменный мостъ. Къ вечеру Москва совершенно одушвляла; любопытство увело жителей столицы за войсками; многіе предвидѣли, что маневры продолжатся не одинъ день и увѣжали съ съѣстными припасами и запасами... Лефортовцы, занимая и охраняя Москву, ходили по улицамъ большими партіями. Капитанъ Бломбергъ, оставшись старшимъ въ полку, за отсутствіемъ Лефорта, который также ушелъ въ походъ въ свитѣ Ромодановскаго, не могъ воротиться домой, на временную квартиру, раньше полудня. Но тамъ уже всѣ спали. Капитану ложиться спать не позволяла ни ранга, ни служба: онъ и выпнелъ на улицу, сѣлъ у воротъ на прилавкѣ, — сидитъ и наблюдаетъ. Первымъ предметомъ наблюденія какъ-то невольно сдѣлалось тускло освѣщенное окно, довольно низкое, такъ что капитанъ сидя могъ различать въ комнатѣ какую-то тѣнь, по всѣмъ примѣтамъ, женскую... Она вози-

лась съ постелью; прилаживала ее на ночь и никакъ не могла приладить. Въ это самое время по Мясницкой проходила большая партія Лефортовцевъ съ офицеромъ. «Стой!» закричалъ Бломбергъ. «Все-ли благополучно?»

Офицеръ, г. Бацъ, высокій и плотный мужчина, въ шинели, подошелъ къ капитану и донесъ о благополучии всего столичнаго града.

— «Это Бацъ...» подумалъ капитанъ: «Москва будто вымерла... Должно быть и Христина Ивановна въ Лефортово одна не повъхала; только она теперь чай спитъ... Послушай Бацъ!» сказалъ капитанъ громко: «Ты за чѣмъ тутъ съ такою большею партіею бродишь?»

— «Такъ изволили приказать!»

— «Тутъ меня одного довольно. Однажды я защищалъ цѣлый замокъ самъ-другъ съ моимъ конюхомъ. Да тутъ и жители все именитые люди, смиренные, у каждаго холопья, да собаки. А ты ступай въ Китай... тамъ лавки, надо оберегать торговлю купечества, потому что Государь торговлю покровительствуетъ.»

— «Тамъ съ карауломъ стоитъ офицеръ...»

— «Знаю. Да мало. Страхъ у меня великъ. Ступай и ты, ходи тамъ, а я пришлю смѣну.»

— «Слушаюсь. Только позвольте жень слова два сказать.»

— «Пожалуй!»

Г. Бацъ бросился прямо къ тому тускло освещенному окну. Постучался: окно отворилось; перешепнулись, поцѣловались. У Бломберга сердце

такъ и ёкнуло... Ушли Лефортовцы; окно затворилось; а свѣтъ не гаснетъ. Давай Бломбергъ мимо того окна ходить; до того доходился, что окно опять полуотворилось...

— «Богданъ Христіановичъ! Что вы тутъ дѣлаете?»

— «Берегу сонъ вашъ, Христина Ивановна!»

— «Да мнѣ не спится...»

— «И мнѣ тоже...» и бесѣда завязалась.

VI.

Ратные подвиги и походы Василія Семеновича.

Походъ уже продолжался нѣсколько дней; боярину Ивану Ивановичу въ первый день посчастливилось не дозволить Ромодановскому перейти черезъ Москву рѣку, подѣ деревней Кожуховой; онъ воротился въ свой лагерь, расположенный за Москвой, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ небольшого землянаго городка, нарочно построеннаго по всемъ правиламъ тогдашней фортификаціи; бояринъ, стрѣльцы и Подсвинокъ торжествовали побѣду, весьма непродолжительную, потому что на другой же день Ромодановскій, не смотря на всѣ препятствія, полагаемыя ему противникомъ, перешелъ рѣку со всемъ войскомъ, и, въ виду непріятельскаго городка и лагеря, самъ расположился станомъ.

— «Ну, теперь много зубовъ даромъ выбьютъ,» сказалъ бояринъ, ложась на пестрый персидскій коверъ въ богатомъ шатрѣ своемъ. Холопья ста-

выли на столъ ужинъ и робко поглядывали на главнокомандующаго. По всему было замѣтно, что бояринъ не охотно участвовалъ въ этой потѣхѣ; чувствовалъ, что его избрали главнымъ воеводой, какъ будто въ наказаніе за упрямое соблюденіе старыхъ нравовъ и обычаевъ; что неминуемой неудачей похода хотѣли убѣдить его въ недостаткахъ стараго артикула и въ бесполезности состава и свойствъ стараго строя.

— «И къ чему все это!» сказалъ бояринъ. «Не нравится? Ваша воля, отъмените! Слава Богу, старый строй Казань взялъ, Малую Россію къ большой воротилъ; отъ разныхъ сосѣдей сколько городовъ отобралъ... Коли прежде было хорошо, отъ чего теперь стало дурно. Дивно! Право дивно! Точно на смѣхъ... Выростеть, самъ догадается, что по пустыкамъ только насъ мучилъ. Да ужъ тогда не воротить стараго. До тла испортилъ. Почитай съизнова старое надо будетъ заводить. Пожалуй еще бороды отростутъ, котъ и тѣ щетиной будутъ казаться; а ужъ порядки, порядки! Пропали безъ возврата!.. Ты что тутъ торчишь, страмникъ?»

— «Я къ милости твоей пришелъ челомъ бить...» отвѣчалъ низко кланяясь Подсвинковъ: «указалъ ты мнѣ быть есауломъ при твоей особѣ.»

— «Есауломъ!!» съ презрительной улыбкой сказалъ бояринъ: «Да куда же тебя послать труса! Бумаги и слова со страху растеряешь.»

— «Зачѣмъ же мнѣ бумаги носить, когда я

могу писать бумаги. Пусть носятъ ты, которые писать не умѣютъ.»

— «Видишь къ чему приговаривается. Жаль, что я дурака съ собою не взялъ; онъ бы тебѣ за меня на такую глупую рѣчь отвѣчалъ. А жаль, что не взялъ. Вотъ теперь на отдыхъ и потѣшить некому...»

— «Да позволъ, бояринъ, намъ дурацкой мудрости попытаться!»

— «Экой норовъ подъячій! Готовъ въ дураки пойти, лишьбы пороха не нюхать. Да ужъ нечего дѣлать, пожалуй, сяди въ моему шатръ за дурака. Такъ, помалой мѣрь, не острамишь меня, что за такого зайца руку держалъ. Ну, коверкайся!...»

Подсвинковъ не успѣлъ исполнить боярскаго приказанія; ударили въ станъ тревогу; бояринъ пошелъ посмотреть въ чемъ дѣло, а Подсвинковъ ухватился за какое то холодное блюдо и уплемя его до чиста. Цѣлые сутки не вѣлъ; подкрѣпился Подсвинковъ, да и прилежъ на войлокахъ, лежавшихъ въ углу шатра; прилежъ, да и заснулъ богатырскимъ сномъ. Проснулся отъ пушечной пальбы... Глядитъ: пологи шатра отброшены; по всему пространству, раздѣляемому двѣ противныя арміи густыми облаками стелется дымъ, идетъ свалка; военные клики оглашаютъ окрестность... Подсвинковъ укуталъ голову въ войлони и притаилъ дыханіе: болѣе двухъ часовъ пролежалъ онъ въ углу шатра, изредка поглядывая на сраженіе; въ послѣдній разъ посмотрѣлъ онъ на поле и вскочилъ:

и конница и пѣхота, все стремилось къ палаткѣ главнокомандующаго. Чего добраго, бѣглецы растопчуть, раздавятъ. Подсвинковъ выскочилъ изъ шатра; давай и себѣ дальше за палатку бѣжать и кричать: «Стрѣляютъ, бьютъ, рвжутъ, уходите, уходите!» На бѣду, линія лагеря была не далека отъ главнаго шатра; эта линія состояла изъ глубокаго рва во всю окружность лагеря; этого Подсвинковъ не зналъ, да со страху и не видѣлъ; вскочилъ на небольшую насыпь, видитъ: ровъ подъ ногами, да съ разгону удержаться не могъ; ноги сами впередъ ушли, да по откосу и потащили за собою Подсвинкова. Съехалъ онъ въ ровъ, будто на салазкахъ съ горы, а ему на встрѣчу:

— «Василій Семеновичъ, Василій Семеновичъ, не выдай!»

Оторопѣлъ Подсвинковъ; стоитъ во рву на ногахъ и оглядывается; тамъ онъ не одинъ; нѣсколько человекъ во рву ковры подослали на разныхъ пунктахъ, кто въ шашки, а кто въ зернь играетъ.

— «Что за чудо?» думаетъ Подсвинковъ: «Али это за правду? Все знакомые; вотъ дякъ изъ большаго приказа, вотъ съ копященнаго богатый подъячій. Ну! Неловко я попался. Надо умненько повернуть дѣломъ... А что вы тутъ дѣлаете, честные господа, а?» спросилъ Подсвинковъ такимъ тономъ, какъ будто онъ подосланъ бояриномъ, съ тайнымъ наказомъ.

— «Василій Семеновичъ, не выдай!» шепотомъ говорили игроки: «Не кричи, Василій Семеновичъ! Скажи: нигдѣ не нашель. Тамъ народа и безъ

насъ довольно. Другіе вонъ въ тотъ лесокъ ушли, да мы поразмыслили, что тамъ, чего добраго на какую ни есть засаду наткнешься, а тутъ и не видно, и ужъ вѣрно станъ будутъ брать спереди. Какъ возьмутъ, мы въ свалкѣ и выполземъ, да и сдадимся.»

— «Кто это такъ умно выдумалъ?»

— «Ужъ видно съобща выдумали. Гдѣ-таки одной головѣ такую хитрость придумать. А не хочешь ли, Василий Семеновичъ, медку? У насъ всего довольно и кушанья и питей; позапаслись. Кто ихъ знаетъ? Можетъ быть, они до вечера провалятся... Такъ не прикажешь ли?»

— «А что, и заправду, отдохну и я; куда какъ ратная служба мучаетъ; да еще въ рядакъ ничего; а ужъ есауломъ, неприведи Богъ! Ступай туда, скачи туда; тотъ кричитъ: стой! тотъ руки спуталъ; обыскиваютъ, да и отпустятъ; опять скачи, опять стой; пусть же теперь другіе за меня, а я уморился; отдохну; спасибо добрымъ людямъ, что противу такого зла прибѣжище придумали. А медокъ знатный!» заключилъ Подсвинковъ, прикушавъ изъ серебряной кружки и облизываясь: «Жаль душкомъ вытянуть...»

— «Пей, Василий Семеновичъ, этого у насъ добра хоть прудъ пруди!..»

— «Ой-ли?» сказалъ Подсвинковъ и холодное серебро плотно прижалось къ жаднымъ губамъ, какъ вдругъ, надъ головами собесѣдниковъ раздался знакомый голосъ:

— «Съ этой стороны, пусть шестой Стрѣлец-

кій полкъ станъ бережетъ; вонъ уже и вижу, Преображенцы изъ лѣсу выходятъ... Э, да тамъ и копница и Бутырцы... Два полка Стрѣльцовъ сюда!.. Ба! А вы тутъ что дѣлаете?» спросилъ бояринъ, примѣтивъ нашихъ собесѣдниковъ. Всѣ отвернулись отъ грознаго лица боярскаго, стараясь остаться неузнанными. Одинъ только Подсвинковъ, по новому военному званію своему лагернаго шута, подвѣлъ вверхъ и глаза и стаканъ, сдѣлалъ дурацкую гримасу и спросилъ плаксивымъ голосомъ: «Мы?»

— «Да отвѣчай, болванъ, не кобеняся!»

— «Мы?.. Мы въ засадѣ сидимъ. Видимъ, что тебя вороги уходили; ты про этотъ конецъ позабылъ сгоряча; ни одного ратника тутъ не поставилъ; мы и рѣшили помочь нашему милостивцу, нашему мудрому боярину, костями нашими легли мы во рву глубокомъ, устроили засаду и воровъ поджидаемъ.»

— «Ахъ ты, лгунъ и страмникъ! Постой же, благо Преображенцы на насъ идутъ, пусть засаду потреплютъ...»

— «Преображенцы!»

— «Да, Преображенцы! Вонъ, изъ лѣса уже вышли; строй ладятъ...»

— «Бояринъ, милостивецъ! Погляди и скажи: Волковъ тамъ?»

— «Ну, ужъ этого молодца за семь верстъ отъ строя отличишь. Вонъ, погляди, цѣлою головою всѣхъ выше и впереди идетъ...»

— «Идетъ!»

И Подсвинковъ никого и ничего не слушаясь, побѣжалъ рвомъ къ городку, бѣжалъ, бѣжалъ и остановился у воротъ городка.

— «Пустите!» закричалъ онъ.

— «Не указано!» отвѣчалъ часовой.

— «Я есаулъ, адъютантъ отъ боярина. Пусти, голубчикъ, съ наказомъ къ коменданту...»

— «Да тутъ никакого коменданта нѣтъ! Тутъ Паша править...»

— «Турка? Вотъ тебѣ разъ!..»

— «Да, хоть и не Турка, а все таки Паша. Такъ названъ... Видишь, будто мы нехристи, будто мы вороги Церкви Православной; будто уже мы басурмане, али что ни есть нечистое на Святой Руси; а мы же его самого берегли; самъ намъ каланчу въ честь и почетъ выстроилъ, а Турками прозвалъ...»

— «Сухаревскій! Сухаревскій! Вотъ такъ по рѣчамъ и угадалъ. Знатный полкъ, вотъ я именно и посланъ отъ боярина къ Лаврентію полковнику съ наказомъ. Пусти же меня, голубчикъ, видишь Преображенцы близко.»

— «Э, пѣтухи; мы имъ хвосты укоротимъ, свѣсь собьемъ!..»

— «Пожалуйста, голубчикъ, а пуще вонъ этому что, какъ висѣльница какая, надъ всѣми торчитъ... Сдѣлай дружбу, не жалѣй!.. Онъ мнѣ самъ говорилъ, что одной рукой любого Сухаревца черезъ городокъ перебросить. Говорить: что они? пьяницы, ратнаго дѣла не разумвуютъ; и вѣрность только отъ лѣности оказали. Пожалуйста, побей,

пусть впередъ не чванится. Да этакого чорта-дьявола и совсѣмъ убить не грѣхъ. Пусти же ты меня!.. Видишь, онъ уже кричитъ... Голубчикъ ты мой, право худо будетъ, если не пустишь! Наказъ отымутъ...»

— «Такъ подай наказъ сюда, а я папъ передамъ...»

— «Да что ты, мой богатырь. Въдъ наказъ у меня не на бумагъ, а на языкъ... Пусти!..»

— «Эй!» сказалъ часовой: «Вонъ, тутъ кто-то пришелъ; есауломъ боярскимъ себя называетъ, наказъ, говоритъ, тайный принесъ, отведите его къ полковнику...»

И ворота полуотворились, Подсвинковъ проскочилъ почти въ щелку... Повели его къ полковнику:

— «Ну, что, какой наказъ?» спросилъ Сухаревъ, сидя на пушкѣ.

— «Наказалъ тебѣ бояринъ...» отвѣчалъ смѣло Подсвинковъ: «наказалъ тебѣ держаться храбро и крѣпко; Преображенцовъ побить на голову, а пуще солдата Волкова.»

— «Видно Волковъ боярина чѣмъ ни есть обидѣлъ...»

— «О, Волковъ великій обидчикъ. Бояринъ на него смотреть не можетъ. Говорить: вся надежда на Сухарева.»

— «Не на такового наналъ. Я въдъ знаю, что это не битва за правду, а прикладный муштръ; тутъ бить никого не надо.»

— «Только одного Волкова, Лаврентій, одного Волкова.»

— «Да поди ты съ своимъ Волковымъ. Мнѣ какое дѣло до боярскихъ обидъ. Ступай ты назадъ, да скажи боярину, что я мою службу знаю...»

— «Назадъ! Видишь, что выдумалъ; мнѣ вѣдно оставаться въ городъ до указа.»

— «Ну, такъ оставайся! А мнѣ право некогда. Не мѣшай смотрѣть на сраженіе...»

— «Да что! Смотрѣть и я не прочь! Я и на кулачный бой смотрѣть хожу за Донской монастырь, или на Дѣвичье поле; только тамъ нынче перестали баръ водить... Что это, Лаврентій? Я, знаешь, человекъ письменный. Мое дѣло приказъ, да посольство. Въ разныхъ земляхъ муштры военные при мнѣ показывали. Да я всегда отъ нихъ сторонилъ; послу на бранную потьху чужихъ людей смотрѣть не приходилось...»

Сухаревъ посмотрѣлъ на Подсвинкова съ почтеніемъ и даже съ пушки поднялся. Василий Семеновичъ былъ человекъ вострый, тотчасъ замѣтилъ какое впечатлѣніе произвела рѣчь его на полковника и продолжалъ въ пріятельскомъ тонѣ:

— «Что это, Лаврентій! Кажись бояринъ сюда идетъ!»

— «Да, видишь, бояринъ! Станъ со всѣхъ сторонъ прижали, что бы намъ подмоги не могъ подать; такъ и въ наказъ написано. Да бояринъ вотъ теперь, со стремяннымъ полкомъ къ намъ ударится; потышныя будутъ мѣшать старому строю, да не помѣшаютъ; бояринъ войдетъ въ городокъ, а тѣхъ прочихъ отрѣжутъ. Какъ войдетъ бояринъ,

такъ потынные и начнутъ осаду... Бояринъ, бояринъ!»

И все сбилось по словамъ Сухарева. Бояринъ Иванъ Ивановичъ вошелъ въ сарай, наскоро сколоченный изъ барочнаго лѣса и внутри обитый сукномъ. Туда же собрались всѣ главные начальники арміи. Подсвинокъ, уловивъ минуту, сталъ возль боярина,

— «Хоть бы перекусить чего нибудь!» сказалъ Иванъ Ивановичъ: «Глупо я сдѣлалъ. Надо было поваровъ и тутъ и тамъ посадить. А теперь дѣло долго потянетъ. Сказано: 15-го числа, раньше не сдаваться, а теперь четвертое.»

— «Да что, бояринъ, милости твоей не во гнѣвъ будь сказано...» замѣтилъ Подсвинокъ: «лишь бы припасы, а я и самъ въ поварскомъ дѣлѣ кое что смѣкаю; коли хочешь, кашницу сварю, всякую птицу зажарю; и на заморскій ладъ могу кое что изготовить. Въ большихъ путяхъ не разъ самъ былъ поваромъ.»

— «Что?» сказалъ бояринъ гнѣвно: «Готовъ и поваренкомъ быть, лишь бы не сражаться!... Страмникъ! Постой же, не я буду, если тебя на Дуня не женю, да въ Ярославль на службу не спроважу. Хорошо, что я зайцевъ не ѣмъ, а то бы велѣлъ самага тебя къ обѣду зажарить. Что тамъ? Надо быть труба... Ну, потѣха! Хоть бы отдыха на полчаса дали, а то ни състь, ни съють. Возись, да возись. Ну, что тамъ?»

Вошелъ комнатный стольникъ и есаулъ, князь

Яковъ Федоровичъ Долгоруковъ и отвѣчалъ на послѣдній вопросъ боярина:

— «Парламентерь, то-есть разговорщикъ отъ генералиссимуса прѣехалъ, на трубу играетъ и говоритъ, что быть тѣсною и крѣпкою осадъ.»

— «Вѣдь мы это и безъ него знаемъ; и въ томъ наказѣ такъ написано. Ну, пусть себѣ осаду начинаютъ, коли вѣсть не хотятъ, а мы перекусимъ. Стану я ватошакъ городокъ защищать. Пока позавтракаю, такъ они и подойти не успѣютъ....»

— «Да ужъ это, Иванъ Ивановичъ, такой обычай у Нѣмцевъ. Надо разговорщика позвать сюда въ большую палату и будто заправду съ нимъ разговориться....»

— «Ну, зови!»

Долгоруковъ скоро вернулся съ Царскимъ шуткомъ, Яшей. У парламента на лѣвой рукѣ висѣла труба, и въ той же рукѣ торчало бѣлое знамя. Яша остановился передъ бояриномъ со всею театральною важностью и сказалъ торжественно....

— «Генералиссимусъ у вратъ града вашего! Рать великая, рать несмѣтная, армія искусная обливаетъ вану фортецію. — Сдавайтесь на аккордъ, военнопленнымъ, или мы васъ къ тому принудимъ! Война или миръ? Отвѣчайте!...»

— «Прикажи миру быть, бояринъ!» шепотомъ сказалъ Подсвинковъ: «Видишь, знать, имъ тоже захотѣлось обидать, замиришь, а я, пожалуй, трактатъ поѣду писать....»

— «А что, въ самомъ дѣль!» сказалъ бояринъ:

«Изъ чего намъ проливать кровь Христіанскую; обжигать бороды порохомъ, тонуть въ водъ, ломать кости въ пустыхъ свалкахъ. Ступай, Подсвинковъ, съ Яковомъ Ѳедоровичемъ. Замирился! Да и не все ли равно, днемъ ли раньше, днемъ ли позже? Въдь и въ наказъ написано, что намъ сдать военноплынными. Ну, мы и сдаемся! Быть по вашему! Кажется, сердиться не за что. Мы васъ тѣмъ удовольствуемъ, чего вамъ такъ хотѣлось. Зачѣмъ такъ, даромъ, порохъ и людей тратить... Пусть же теперь не говорятъ, что я упрямъ, что со мною уходу нѣтъ... Сдаюсь, сдаюсь... Ступай, Подсвинковъ, замирился, а ты, Лаврентій, пошли поскорѣе въ станъ за моими поварами.»

— «Государь бояринъ, Иванъ Ивановичъ!» замятилъ шутъ: «Да твоего отвѣта мнѣ нельзя въ станъ княжескій нести....»

— «Почему нельзя?»

— «Да въдь я посланъ только ради обычая, а не заправду. Больше для приклада, нежели для самого дѣла. Ты на всю мою рѣчь долженъ сказать: Пошелъ вонъ! Небоюсь я вашей арміи, не боюсь я вашихъ осадныхъ инструментовъ, ничего не боюсь! Мой городъ не простой городъ, а фортеція. Народу у меня довольно, фуража и провіанта на годъ; отвѣдайте нашихъ пушекъ и знайте, что не такъ-то легко получить надъ нами викторію!»

— «Ахъ, ты, шутъ стриженный!» сказалъ въ сердцахъ бояринъ: «Это ужъ ты не меня ли учить задумалъ? Пошелъ вонъ! Вотъ все, что изъ твоей рѣчи для меня пригодно. Пошелъ вонъ! Сдаюсь и

кончено, а о прочемъ, пусть Василій съ вами толкуеть. Довольно уже мнѣ и такъ безчестія, что тебя ко мнѣ посломъ нарядили. Пошелъ вонъ!»

— «Иванъ Ивановичъ!» замѣтилъ Долгоруковъ: «Да вѣдь это форма только. Намъ по наказу сдаваться нельзя!»

— «Эхъ, Яша, вижу, вижу, что и ты за Нѣмцевъ тянешь! Самъ подумай, не все ли равно, что мы сдадимся 4-го или 15-го дня. Одинадцать дней—безъ трехъ сутокъ, двѣ недѣли; на Москвѣ, ни приказныхъ, ни палатныхъ, ни служилыхъ людей; сегодня морозъ былъ утромъ; видно Царь самъ смѣкаетъ, что перехватилъ срокомъ. И настоящей войны въ Октябръ не ведутъ, а тутъ потынная шутка. Да хоть бы и по вашему было; зачѣмъ съ запросомъ присылать? Бери себѣ городокъ. Право мѣшать не стану. А этой хари видѣть не могу. Пошелъ вонъ! Не то велю вытолкать. А ты чего стоишь, Василій. Ступай! Проводи посла! Онъ тебѣ подѣ статью, да и замиряйся. А я, пойду, сосну. Всю ночь тревожили.... А ты, Лаврентій, прикажи поварамъ плотную перекуску приготовить; да какъ будетъ готово, разбуди!...»

—
VII.

Какъ Василій Семеновичъ защитилъ одною своею личностію Кожуховскій городокъ отъ генеральнаго приступа.

На пригоркѣ, въ доброй верстѣ отъ городка и боярскаго стана, посреди палатокъ, правильно

расположенныхъ, возвышался шатеръ князя генералиссимуса; на обширной площадкѣ, передъ шатромъ, князь генералиссимусъ смотрѣлъ на неприятеля въ зрительную трубу и по временамъ передавалъ трубу генералу и главному инженеру арміи, Гордону; тутъ же стояло весьма много бояръ, окольныхъихъ, столянковъ, разныхъ воинскихъ чиновъ и два Преображенскіе солдата, прикомандированные къ главной квартирѣ. Одинъ изъ нихъ былъ самъ молодой Государь Петръ Алексѣевичъ, другой, князь Михайло Михайловичъ Голицынъ, оба стояли вѣзъ Ромодановскаго; первый частенько Самъ бралъ трубу въ руку и дѣлалъ различныя примѣчанія.

— «Что это?» спросилъ Государь: «Яна ѣдетъ назадъ, да не одинъ, а съ кѣмъ-то изъ приказныхъ; и тотъ приказный пѣшкомъ бѣжитъ...»

И точно Подсвинковъ, боясь отстать, и чтобы гдѣ нибудь не повстрѣчаться съ Волковымъ, бѣжалъ пѣшкомъ, а Яна нарочно ѣхалъ рысцей, кое гдѣ подгоняя лошадей и немало любовался истомой и страхомъ Подсвинкова...

— «Послушай, Яковъ Ѳедоровичъ!» жалобно говорилъ дякъ: «Да ужъ нельзя ли тебѣ шажкомъ пройтись. Лошадь измучишь...»

— «Что ты это, Василій Семеновичъ! Лошадь привычная, а на службу Самъ Государь смотреть. Ты развѣ не видишь?»

У Подсвинкова духъ захватило. Онъ не могъ бѣжать далѣе, хотя оставалось до лагерной линіи не

болше ста шаговъ. Яна поскакалъ въ лагерь, спѣшился и подошелъ къ генералиссимусу.

— «Ну, государичъ!» сказалъ онъ по своему: «Плохо намъ приходится; и себя показать негдѣ. Бояринъ съ тобою сражаться не хочетъ. Сдается. Прислалъ дьяка аккордъ писать....»

— «Да какъ онъ смѣетъ поступать противу инструкціи?» спросилъ гнѣвный Государь.

— «Видно, что смѣетъ! Я его военному порядку училъ; слова въ ротъ клалъ; не трудно было ему за мной тѣ рвчи сорокой проговорить. Такъ куда; пуще осерчалъ и говорить: не хочу драться. Сдаюсь на аккордъ. Что 4-е, что 15-е, все равно, а 4-е еще и лучше; къ пуховикамъ ближе, да и велѣлъ столъ готовить.»

— «Оставлю же я его безъ объѣда! А ты зачѣмъ?» спросилъ Государь съ возрастающимъ гнѣвомъ у Подсвинкова. Тотъ поклонился Царю въ ноги и молвилъ:

— «Великій Государь! Отъ великаго воеводы, до послѣдняго холопа въ старомъ строе, уразумѣли мы всѣ, что ратное искусство твое нѣмецкое превыше облакъ и звѣздъ; безъ битвы побѣжденными признаемся и охотно идемъ къ тебѣ въ пологъ, къ Отцу и Государю нашему....»

— «А, это ты, Подсвинковъ?» спросилъ князь генералиссимусъ: «Видно бояринъ твоего совѣта спрашивалъ? Только гдѣ же у тебя казенная лошадь, казенный карабинъ и сабля? А?...»

— «Украли, князь! При самомъ началѣ войны украли.»

— «Видно проспалъ.»

— Нѣтъ, князь, нашъ милостивецъ и отецъ родной, съ коня украли, какъ только мы за серпуховскія ворота вышли. И сплналъ какъ кто то съ одной стороны карабинъ, съ другой саблю подрывалъ....»

— «Зачѣмъ же ты вора неизловилъ....»

— «Ахъ, батюшка государь князь милостивецъ! Ловилъ, да хуже; слезъ я съ коня, да за воромъ побѣжалъ; воръ тотъ безъ вѣсти пропалъ, а другіе воры, видно съ ними за одно, лошадей и съ съдломъ и съ пистолетами увели. Такъ я и безоруженъ сталъ и пышкомъ весь походъ отбываю...»

Въ это время Государь, присѣвъ на пушкѣ, карандашемъ что то написалъ наскоро и отдавая Подсвинкову, сказалъ:

— «Поди, да отнеси своему боярину, и скажи, чтобы онъ впередъ отъ дѣла шуткой не отыгрывался; а то я надъ нимъ такъ подшучу, что плакать будетъ. Ступай!»

Подсвинковъ бросился съ площадки опроретью. Не успѣлъ онъ отбѣжать и пятидесяти шаговъ, раздался вѣстовой выстрѣлъ. Подсвинковъ на мѣств упалъ и не смѣлъ оглянуться. Барабанный бой по всей линіи заставилъ его поднять голову; вся армія была въ движеніи, рогатки сняты; полки отдѣленіями выступали въ поле. Поднялся Подсвинковъ на ноги и ну бѣжать. Добѣжалъ до воротъ и уже не говорилъ, а только мычалъ; впустили его и въ городокъ; онъ къ боярину; нельзя; pochиваетъ.

— «Будеть ему за такія шутки!» сказалъ онъ прерывающимся голосомъ: «Пустите! Указъ отъ самого Царя!»

— «Что ты тамъ разнумьлся!» спросилъ бояринъ, спѣшно вставъ съ походной постели.

— «На, на, читай! Хороши твои шутки! Чуть было меня не высъкли. Читай, читай!»

— «Ахъ ты уродъ, уродъ! Все по твоей милости. Вѣдь ты мнѣ дурацкой совѣтъ подалъ...»

— «Да вѣдь я у тебя за шута; мое дѣло шутки отпускать, а твое дѣло ратную хитрость и порядки вѣдать. Слышишь, идутъ!»

— «Идутъ! Постой же я тебя! Эй, кто тамъ, Лаврентій! Возьми ты этого страмника, да на самый валъ поставь; пусть теперь городокъ защищаетъ; да гляди, чтобъ не пятился. Лаврентій! Вели тревогу ударить. На валы! Я тебя, окаяннаго совѣтчика! Видишь, что выдумалъ! Тащи его, Лаврентій, тащи!..»

Барабанный бой приближался. Сухаревскіе стрѣльцы высыпали на валы. Подсвинкова поставили на главный редутъ, между рядовыхъ. Туда же въ скорости пришелъ и бояринъ со всеми главнѣйшими членами; непріятель быстро приближался; впереди несли лѣстницы, ясно было, что идутъ на приступъ. Сухаревцы воспламенились. Одинъ Подсвинковъ дрожалъ всемъ тѣломъ; смущеніе его тѣмъ болѣе увеличилось, что и накладная борода отказывалась служить дальѣ; отъ двухъ перегоновъ и внутренняго волненія, отъ жара и пота, клей не выдер-

жалъ и борода по краямъ совершенно отстала... Съ необыкновенною быстротою начался приступъ; но Сухаревцы сдержали слово и отразили непріателя съ отличнымъ искусствомъ; всѣ лѣстницы были ловко отброшены; одна только уцѣляла; ее поставилъ передъ самымъ Подсвинковымъ огромный солдатъ; какъ сталъ онъ на лѣстницу, такъ три стрѣльца не только не могли опрокинуть ее, но даже поворотить на мѣсть. Усилія стрѣльцовъ не допустить солдата взойти на валь придвинули Подсвинкова на самый краишекъ; а солдатъ уже глядѣлъ на нихъ орлиными глазами. Подсвинковъ взглянулъ и зажмурился. Онъ узналъ Волкова... «Убѣть, убѣть!» кричалъ онъ во все горло; а Волковъ уже былъ на самомъ верху лѣстницы; стрѣльцы его оттаскивали; чтобы удержаться на мѣсть, Волкову, для упора, надо было за что нибудь схватиться и онъ схватился за бороду Подсвинкова; оборвалась борода, оборвался и Волковъ и полетѣлъ стремглавъ въ ровъ. Общій смѣхъ привлекъ къ этому пункту самого боярина, въ то самое время, когда стрѣльцы, откинувъ лѣстницу, дали свободу Подсвинкову...

— «Это что!» вскрикнулъ бояринъ, увидавъ превращеніе: «Гдѣ твоя борода!»

— «Волковъ вырвалъ; окарпалъ, обесчестилъ на всю жизнь!!.. Куда я теперь дѣнусь?»

— «Вреть, вреть!» раздался громкій басъ изъ рва. Бояринъ нагнулся и увидѣлъ, что Волковъ отряхаетъ съ себя песокъ и грязь бороною Подсвинкова. «Видишь, какой!» продолжалъ Волковъ,

выходя на поле: «Свою бороду нѣмцу продалъ, а подставилъ чужую, Чижевской работы...»

Бояринъ не выдержалъ, схватилъ Подсвинкова за голову, повернулъ вверхъ подбородкомъ и неистово закричалъ: «Бритая!»

Неизвестно, что угрожало Подсвинкову, за этотъ ужасный, непростительный въ глазахъ боярина, подлогъ. Но вода спасла Подсвинкова и прохлдила общую горячность. Множество фонтановъ брызнуло изъ неприятельской среды въ городокъ; первая струя разлучила боярина съ Подсвинковымъ; неожиданность осадной мѣры привела всѣхъ въ смущеніе; породила беспорядокъ; пользуясь общей суматохой, Подсвинковъ побѣжалъ къ воротамъ, назвалъ себя гонцемъ и бросился бѣгомъ къ лѣсу... Но тамъ захватили его Алешки, сидѣвшіе въ осадѣ.

— «Стой! Кто ты!»

— «Я перемѣтчикъ!» смѣло отвѣчалъ Подсвинковъ: «Нехочу служить у боярина, хочу быть подъ началомъ у князя...»

— «Да гляди, чтобъ перемѣтчика не вельмъ князь повѣсить!»

— «Развѣ такой у васъ обычай!»

— «Говорятъ, такой! Ну, сиди же здѣсь, пока кончится приступъ.»

И Подсвинковъ, между страхомъ и надеждою, отдохнулъ въ лѣсу, отъ необыкновеннаго движенія, которое заставили его испытать въ этотъ день различныя обстоятельства. Онъ видѣлъ, какъ вода затопила городокъ, какъ полилась черезъ

верхъ съ валовъ, какъ Стрѣльцы опустили знамя. Побѣдители выпустили изъ городка и воду и Стрѣльцовъ. И каждая армія по прежнему заняла свой лагерь. Тогда и въ лѣсъ къ Алешкамъ прискакалъ удалой ихъ ротмистръ.

— «Что, даромъ только простояли?» кричалъ онъ издали.

— «Нѣтъ, не даромъ! Удалось глухаря поймать...»

— «Что я вижу? Василій Семеновичъ, да ты, кажись, бѣглець?»

— «Не бѣглець, а перемѣтчикъ...»

— «Ну, еще хуже! Распростись съ живото́мъ...»

— «Бѣглець, Яковъ Федоровичъ, право бѣглець!»

— «И то не легче! Разница самая дрянная. Бѣглеца аркебузируютъ, т. е. пулями прострѣляютъ, а перемѣтчика повѣсятъ.»

— «Да за что-же, Яковъ Федоровичъ!»

— «Какъ за что? Царскою службою не брезгай! Указовъ держись; трусовъ царству ненужно... Ужъ кто бороду съ битвы потерялъ, плохой ратникъ...»

— «Да я не для ратнаго дѣла сдѣланъ; меня изъ посольской глины выльпили; я уже мальчикомъ бывало отца съ матерью, крестьянъ со старостой, цѣна съ попадѣй миривъ. Кому что на роду написано. Яковъ Федоровичъ, не отъ Царской службы я ушелъ, а отъ обычая боярскаго. Хотѣлъ меня за то убить, что я, въ уютность новымъ порядкамъ, бороду скинулъ...»

— «Полно, Василий Семеновичъ; поминишь ли, какъ по всемъ приказамъ читали, что, кто хочеть, бороду снимай, нѣмецкій кафтанъ натягивай; небось, тогда не обрился. А какъ задумалъ ты жениться на Нѣмкѣ, такъ на все пошелъ. Напрасно! Ужь не видать тебѣ теперь Шарлоты Богдановны, какъ не видать свѣта Божьяго. Жаль мнѣ тебя, Василий Семеновичъ, видишь, плачу; да что ты будешь дѣлать; у меня служба прежде всего. Чтобы полегче тебѣ умирать, такъ ужъ такъ и быть, назовемъ бѣглецомъ. Смотрите же, ребята, не выдавать ротмистра! Я и солдатъ упрошу, что въ тебя стрѣлять будутъ, чтобы прямо въ сердце мѣтили. Такъ сразу и опрокинешься; и не спохватишься, какъ умрешь »

— «Яковъ Федоровичъ, помилуй!»

— «Слышишь, труба; кто поотсталъ, али далеко зашелъ въ станъ, — такъ вотъ труба созываетъ. Эй, ребята, вяжите его. Дружба дружбой, а служба службой. Ну, что же вы, поварачивайтесь!». »

— «Яковъ Федоровичъ! Помилуй! Тебя Государь жалуеть; выпроси меня у Его Царскаго Величества! Десять дворовъ подарю, да что десять, все... право все, только выручи...»

— «Поздно, Василий Семеновичъ, поздно! Даромъ бы отпустилъ, да есть причина. Что мнѣ лгать, Василий Семеновичъ... Ложь — дурное зелье. Растеть, да плода не носить... А на правду ты не пристанешь...»

— «Пристану! Вотъ-тъ Христось, пристану!»

Что хочешь приказывай, не слушаюсь, Яковъ Ѳеодоровичъ! Убей, если лгу.»

— «Смотри же, Василий Семеновичъ, ужъ довольно тебѣ быть нѣтчикомъ. Теперь всему войску отдыхъ объявленъ; завтра полки безъ дѣла простоятъ; можемъ такое дѣло уладить, что Государю будетъ угодно. Авось помилуетъ тебя за тяжкую вину. Ступайте, дѣтушки! Куда ротмистръ дѣвался, ни гугу... Нѣтъ, такъ еще чего добраго, исполнатеся, искать стануть. Нѣтъ, не такъ, а вотъ какъ! Скажите князю Михайлу, что я по важному дѣлу къ Москвѣ отлучился, на ночь, а утромъ стану на службу. Эй, Алешка курчавый, ты и пѣшій промаешься до завтра; скажи, что у тебя лошадь лѣшій изъ подъ сѣдла стащилъ, али волкъ зарѣзалъ, али въ вѣдму перевернулась, да ты лучше моего выдумаешь; а коня Василию Семеновичу подай!»

И два всадника поплелись проселкомъ черезъ лѣсъ въ Бѣлокаменную.

Уже на предмѣстьи, проѣзжая Козьмодемьянскою улицю, шутъ Яша подѣхалъ поближе къ Подсвинкову, и сказалъ значительно: «Ну, Василий Семеновичъ, помнишь ли слово?..»

— «Помню, и никогда не забуду, милостивецъ мой и кормилецъ Яковъ Ѳеодоровичъ! Что ни прикажешь, все сдѣлаю!»

— «Былъ ты нѣтчикомъ не одинъ разъ; вошло въ привычку; приходится тебѣ еще разъ отъ себя и отъ слова своего отречься; только этотъ разъ за правду, а не то прямо подѣ аркебузы

поведу. Какъ прїедемъ мы на Мясницкую... я вѣдь все знаю, Василій, отъ меня ничто не закрыто; знаю и то, что ты свой домъ, на время похода, Бломбергу уступилъ. Вотъ мы и прїедемъ на Мясницкую въ твой домъ... Понимаешь-ли?..»

— «Несовсѣмъ, Яковъ Ѳедоровичъ!»

— «Ну, такъ я тебя лучше разтолкую. Вотъ какъ мы прїедемъ и взойдемъ къ тебѣ въ домъ, ты и скажешь капитану: Богданъ Крестьянновичъ, по доброй воли, ото всего сердца отрекаюсь отъ Шарлоты Богдановны и нынѣ и присно и во вѣки...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, что ты? Потерялъ я бороду, боярскую руку, а теперь ты и невесту отымаешь...»

— «Да за то животь при тебѣ останется.... Хочешь или не хочешь? Мнѣ все равно. Не отдашь невесты по доброй воли, такъ убьютъ; и безъ тебя свадьбу сладимъ...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, не могу, право не могу...»

— «Ну, такъ чего и въ Москву вѣхать; воротимся; до утра хоть Богу успѣешь помолиться; а ни свѣтъ ни заря отцевъ увидишь; поворачивай оглобли!»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, да что тебѣ этотъ Волковъ? Братъ или сестра? Что ты изъ за него хлопочешь. Коли онъ твою руку купилъ, такъ сторгуемся!.. Я больше дамъ.»

— «Эхъ, Василей Семеновичъ, что мнѣ Волковъ; не ему, а мнѣ ты помѣха; не его хочу женить на Шарлотѣ Богдановнѣ, а себя...»

— «Ты... Ты самъ!...»

Подсвинковъ немогъ говорить дальше, а шутъ взявъ за уздцы дьякову лошадь, поворачивалъ въ обратный путь...

— «Куда?» отчаяннымъ голосомъ вскрикнулъ Подсвинковъ.

— «Извѣстно куда; въ станъ, подъ аркебузы, али на висельницу, какъ хочешь, мнѣ все равно. Я пожалѣлъ тебя, да ужъ теперъ и самъ каюсь...»

— «Отрекаюсь!»

— «Ну, отрекаешься, такъ помни, что ужъ этого слова назадъ не возьму...»

И неслухая ни плача, ни проклятій, которыми Подсвинковъ осыпалъ кого то въ третьемъ лицѣ, Яна молча вѣхалъ впередъ и несводилъ глазъ съ движенія рукъ соперника. Пріѣхали. Капитанъ съ дочерью сидѣлъ за ужиномъ, а Прохоръ прислуживалъ. Появленіе Подсвинкова удивило Бломберга...

— «Молодецъ!» закричалъ Бломбергъ: «Ай да Василій Семеновичъ, молодецъ! Удружилъ, нечего сказать. Изъ стана ночью ускакалъ, что бы съ невѣстой повидаться; и бороду припряталъ, что бы милѣе показаться; невѣсть приглянуться... Прохоръ! вина!...»

Бломбергъ не обращалъ ни какого вниманія на жесты и мимику Подсвинкова, который и лицомъ и руками подавалъ ему разные знаки и, остановясь у порога, не смѣлъ подвинуться впередъ и безпрестанно оглядывался на дверь...

— «Ну, что-же ты не идешь?» спросилъ Блом-

бергъ, наливая другой стаканъ для Подсвинкова...
«Кого поджидаешь? Развѣ не одинъ?»

— «Не одинъ, Богданъ Крестьяновичъ, тотъ другой лошадей привязываетъ.»

— «Кто же тотъ другой...» вставъ и подходя съ стаканами спросилъ капитанъ...

— «Я!» отвѣчалъ Яна, входя въ комнату. Капитанъ чуть стакановъ не обронилъ, отступая въ недоумѣніи; Шарлота также радостно вскрикнула, а Яна выхватила у Бломберга одинъ стаканъ; чокнувся съ нимъ, поклонился Шарлотъ, при-
молвилъ: «за здравье дорогой невесты моей и будущаго тестя!» и душкомъ и выпилъ.

— «Что, какъ, ты смѣешь говорить такія дерзости и при настоящемъ женихъ Шарлоты...»

— «Василій Семеновичъ, чтожъ ты молчишь!..»

— «Богданъ Крестьяновичъ... Не сердчай!..»

— «Ну, а ты что?..»

— «Я такъ, ничего... Яковъ Федоровичъ изъ бѣды, изъ смерти меня выручилъ, такъ и я его выручаю...»

— «Не такъ, не такъ, Василей Семеновичъ, изволь говорить по уговору..»

— «Да погляди, Яковъ Федоровичъ, какая красавица...»

— «Тото-же! Только одна жизнь краше ея и то не всякому. Э, вижу, на тебя затонъ нашелъ, такъ ненужно мнѣ рѣчей твоихъ; прощайте, Богданъ Крестьяновичъ; мы ъдемъ.»

— «Отрекаюсь!» закричалъ Подсвинковъ, чувствуя, что дюжая рука шута куда то его тащитъ...

— «Отъ чего ты отрекаешься?» закричалъ въ свою очередь капитанъ. Яна стала подсказывать; за нимъ дьякъ произнесъ торжественно условную формулу; капитанъ исполнился гнѣва-ярости, откачанъ съ виномъ ударился прямо въ лице Подсвинкова и расплеснулся... Шарлота обрадовалась, сбѣжала на середину и схватила Яшу за руку...

— «Ну!» сказалъ Яна: «Теперь я женихъ! Богданъ Крестьяновичъ, люблю твою дочь пуще жизни и умру, если ты не отдашь...»

— «Вонъ!» заревѣлъ капитанъ: «Вонъ изъ дома! Прохоръ, вытолкай его!..»

Подсвинковъ и головой и руками подавалъ знаки Прохору, чтобы не смѣлъ ослушаться капитанскаго приказанія... Но Прохоръ оторопѣлъ и не нялъ знаки на выворотъ...

— «Полно, бѣсноваться!» продолжалъ шутъ: «Сладимъ дѣло полюбовно, а не то, худо будетъ. Я уйду, только не одинъ, а съ Подсвинковымъ, и ужь ты его никогда не увидишь...»

— «Отрекаюсь, отрекаюсь!» закричалъ дьякъ...

— «Да я не отрекаюсь и на своегъ поставлю. Волей неволей, женю!.. А ты, дурацкая харя; вонъ!»

— «Пойдемъ, Василий Семеновичъ, видно сватовство надо на иной ладъ завести... Пойдемъ!»

— «Богданъ Крестьяновичъ! Спаси животъ мой! Ты ничего незнаешь еще; каюсь; да больно хотѣлъ Шарлоту Богдановну видѣть; сбѣжалъ; меня и поймали...»

— «Ну, велика бѣда!

— «Какъ-же не велика! Ужь только за ходатайствомъ Якова Федоровича аржебузируютъ. Будь не онъ, поввисли бы...»

Бломбергъ расхохотался. Шутъ, видя, что хитрость его не удастся, и готова обнаружиться, схватилъ Подсвинкова за воясъ и потащилъ къ дверямъ...

— «Ну, напугалъ-же тебя, шутъ!» смѣясь, сказалъ капитанъ: «Это не война, а забава! Станутъ изъ-за пустяковъ людей на смерть стрѣлять или въ-шать! Посадятъ куда нибудь въ съѣзжую избу, въ который ни есть полкъ. Просидишь на хлѣбъ и водъ недѣлку, другую; вотъ и все тутъ...»

— «Только-то!» весело воскликнулъ Подсвинковъ и рванулся изо всей мочи изъ рукъ шута. «Э, такъ ты думаешь у меня обманомъ невѣсту выманить?! Прохоръ, что-же ты капитана не слушаешься?.. А? Вонъ!»

— «Вонъ!» закричали въ трое и бросились на Яну; Шарлота заслонила его собою и этимъ удержала нападеніе...

— «Прочь, Шарлота!» кричалъ Бломбергъ...

— «Не выдамъ, не выдамъ моего друга, моего жениха... Одного его люблю!.. И будь, что будетъ, я за другаго не пойду...»

— «Врешь!»

— «Клянусь Богомъ! Уходи Яна и будь покоенъ... Не удастся никому къ такому мужу меня привевольтить... Я хочу, я требую, уходи!..»

— «Изволь, Шарлота Богдановна, только Подсвинкова мнѣ отдайте, онъ мой пѣвничекъ...»

— «Вонъ!» закричали опять все трое, бросились на Яшу, и въ этотъ разъ не помогло бы и заступничество Шарлоты, если бы шутъ не заблагоразсудилъ выскочить изъ западни... Все трое выбвжали за нимъ на улицу; но, къ удивленію, Яши нигдѣ не было видно; обѣ лошади стояли у забора и думали обычную думу.

— «Онъ гдѣ нибудь здѣсь! Спрятался! Да чортъ съ нимъ. Еще не такъ-то поздно; надо эту исторію разомъ покончить; у тебя много враговъ, Василій Семеновичъ; хитрости у нихъ, какъ грибы, растутъ; только и я непрوماхъ; все вижу; все разумью и смѣюсь надъ дурацкими уловками. Поетой же, я сей часъ распоряджусь по своему. Прохоръ, ступай ты вонъ въ тотъ домъ, что на углу; спроси Кирилу Андреича, купца — хозяина, скажи, что дѣло; пусть пріодѣнется и къ намъ пожалуетъ. За скоростью и онъ въ посаженные годится, а я ужъ самъ зайду къ Христинѣ Ивановнѣ; упрошу; она для меня все на свѣтѣ сдѣлаетъ (значительная улыбка); видишь у нея и окно отворено... Для того (Бломбергъ запнулся, но на лицѣ было написано великое блаженство) для того, что она сама любитъ Шарлоту...»

— «Такъ пойдемъ, Богданъ Крестьяновичъ, и я съ тобой!»

— «А ты зачѣмъ? Ты еще пожалуй все испортишь. Мало напуталь; ты ступай къ Шарлотѣ, да ухаживай, да гляди, про ввнчаніе ничего не намекай; разомъ покончимъ, а потомъ стерпится, слюбится; все пойдетъ, какъ по маслу. Ступай, ступай!»

Подсвинковъ ушелъ въ налитку, изънутри за-
совомъ задвинулъ и убрался въ хоромы; Прохоръ
уже былъ на самомъ углу; капитанъ пожиралъ
глазами открытое окно Христины Ивановны; да не
смѣлъ подойти, потому что у самаго окна кто то
стоялъ и покачивалъ головою... Христина Иванов-
на точно не спала и поджидала къ себѣ дорогаго
гостя. Она видѣла, какъ Богданъ Крестьяновичъ
веротился въ домъ Подсвинкова; на вопроситель-
ный взоръ кивнула ему головою утвердительно;
сидитъ Христина Ивановна у окна, да и думаетъ:
Видишь, какъ я его сердце зазнобила; какъ по-
слала мужа въ Китай, такъ всю ночь безъ смѣны
продержала на часахъ; говоритъ, позабылъ; а не-
бось меня не позабылъ; ну, да и Подсвинковъ,
какъ у себя дома оглянется, ахнетъ; почти все
вещи изъ его дому Богданъ Христиановичъ ко мнѣ
перетаскалъ. Говорить: Полно, Христина Ивановна,
церемонии творить; вѣдь это мой зять, у насъ все
общее; что мое, что его, все равно... А мужу
моему, небось, никакого гостинца не съѣмалъ,
только горячку подарилъ; изморозилъ, просту-
дилъ, ходьбой привелъ въ три дни въ удобу,
и отослалъ въ Лефортово въ госпиталь; нече-
го сказать, присталъ въ плотную. Не легко отъ
него отдѣлаться... Да и не къ чему... Это кто?..»

Пока такъ разсуждала Христина Ивановна, подъ-
ѣхали и наши гости; хоть и не поздно еще было,
да разобрать было трудно, потому что и туманъ
на дворъ и вечеръ; пока догадывалась Христина
Ивановна, кто бы это къ Богдану Христиановичу

пріѣхаль, пока досадовала, что поздніе гости капитана задержать, пока разсматривала стоявшій у самага окна столбъ, неизвѣстно, почему тутъ поставленный, и размышляла, не для указовъ ли тутъ была клетка, не висѣла ли тутъ кружка для подаянія; пока все это дѣлалось, вдругъ на дворъ Подсвинкова крикъ, застучала калитка, къ столбу подбѣжалъ мужчина, и за тотъ столбъ и спрятался... Глядитъ, выглядываетъ... Не успѣла она затворить окна, мужчина, будто летучая мышь, бросился въ окно, пригнулся, да волчкомъ, мимо самага носа Христины Ивановны, соскочилъ на полъ. Ахнула Христина Ивановна, въ потьмахъ не разобрала; кому такъ поздно быть, кромѣ Богдана Христіановича?..

Она и давай допрашивать: Богданъ Христіановичъ, отъ кого ты это убѣжалъ? Ты вѣдь меня острамишь, если такъ ходитъ ко мнѣ станешь... При всѣхъ людяхъ такъ и вскочилъ, будто бомба. Впередъ знала я, что наша любовь какъ жиръ на верхъ всплыветъ. Не даромъ я не хотѣла сдаваться... Не даромъ просила: не пей лишняго! Въ пьяномъ видѣ кто за себя поручится? На мое и вышло...»

Все это Христина Ивановна проговорила такъ быстро, что Яна едва успѣла сообразить въ чемъ дѣло; но сообразя, не мало обрадовался...

— «Постой же, ужъ коли такъ, надо запереть скорѣе окно, что бы погоня слѣдовъ не нашла.» Но Христина Ивановна не могла исполнить своего намѣренья... Не смѣла подойти къ окну; прижа-

лась къ Яшѣ и шепотомъ сказала ему: «Молчи, молчи! Тамъ кто то уже стоитъ!»

Яша посмотрѣлъ въ окно и расхохотался. По голосу узнала Христина Ивановна, что ночной ея гость не Бломбергъ; обомлѣла бѣдная и въ ужасъ присѣла на полъ, полагая что набѣжали разбойники, и настала часъ ея послѣдній.

— «Полно, Христина Ивановна!» сказалъ Яша тихо: «Конечно женъ, врознь отъ мужа, стороннюю любовь разводить не годится! Да кто же безгрѣшенъ! Яша, Царскій шутъ, своихъ не выдаетъ, только смотри-же, Христина Ивановна, помогать Яшѣ, а не то...»

— «Молчи, идутъ...»

— «А будешь помогать?...»

— «Буду, тс!!! Буду...»

И Яша притаился у стѣнки; по деревянной кладкѣ, которая можетъ быть на четверть пониже окна проходила, раздались неровные шаги; показался человекъ, въ которомъ легко было узнать капитана; проходя мимо столба, онъ замедлилъ походку и сталъ приглядываться; вдругъ сорвалъ со столба что-то, бросилъ оземь и сказалъ хотя и тихо, но съ примѣтнымъ волненіемъ:

— «Тфу къ черту! Кого это угораздило тутъ шапку възнять. Видно, какой пьяница. Христина Ивановна, а Христина Ивановна!..»

Христина Ивановна молчала, но шутъ толкнулъ ее и нечего дѣлать, Христина Ивановна отозвалась.

— «Можно?»

— «Почему жь... Только право я сегодня такъ нездорова; жаръ такой... Охъ!»

— «Вы больны!» — И капитанъ ступилъ на стулъ одной ногой, а другой на полъ... «Ахъ, милая моя Христина Ивановна! Да что вы мнѣ ротъ зажимаете? я знаю что вы о моей любви не охотно слушаете; да ужъ теперь, Христина Ивановна, воздно. Вы въ моей волѣ. Должны слушать... Только, сегодня семейныя дѣла лишаютъ меня пріятной бесѣды. Я къ вамъ за дѣломъ пришелъ; будьте у Шарлоты посаженной матерью...»

— «Когда?»

— «Сей часъ...»

— «Сей часъ?»

— «Да, я ужъ послалъ за отцемъ; оттуда Прохоръ зайдетъ въ церковь; все готово; женихъ и невеста ожидаютъ...»

— «Вотъ тебѣ разъ!» говорилъ проходившій мимо окна Прохоръ: «Дома нѣтъ. Видишь, важный какой, ухалъ походить смотреть...» Еще что то бормоталъ Прохоръ, но уже не было слышно...

— «Все равно, все равно, милая Христина, ангѣлъ мой, любовь моя, говорю вамъ, что изо всѣхъ тридцати пяти интригъ, которыя мнѣ удалось имѣть съ баронессами, герцогинями и другими дамами, ни одна не была такъ для меня полна счастья и наслажденія, что каждая минута съ вами — для меня пріятнѣе генеральнаго сраженія; имѣть въ плъну васъ — о, это все равно, что имѣть въ своихъ рукахъ плънникомъ великаго могола... Но, не смотря на все это, и вы и я, мы

должны отречься на сегодня отъ породожительной бесѣды; удовольствуемся поцѣлуемъ...»

И громкій поцѣлуй огласилъ комнату.

— «Ну, теперь одѣвайтесь и приходите поскорѣе къ намъ. Шарлота васъ ждетъ съ нетерпѣніемъ. А я пойду искать свидѣтелей...»

— «Возьмите меня за свидѣтеля!» крикнулъ Яша: «Я все знаю, все видѣлъ, все слышалъ... А за другаго свидѣтеля возьмите мою шапку, что на столбѣ висѣла.»

— «Христина Ивановна!» глухимъ голосомъ сказалъ капитанъ.

— «Это онъ!»

— «Это онъ... Яковъ Федоровичъ...»

— «И ты меня не предупредила...»

— «Я васъ толкала...»

— «А теперь ни меня, ни Богдана Крестьяновича вытолкать не лѣзя!» сказалъ шутъ садясь на окно. «Ну, Богданъ Крестьяновичъ, что теперь будетъ? Въ окно нельзя; черезъ двери также трудно, потому что я сей часъ сосѣдей кликну. Хозяинъ калитки не отпиралъ, такъ видно Богданъ Крестьяновичъ другимъ путемъ сюда проползъ. Вотъ при дворѣ то будутъ смѣяться. Чай хохоту на годъ хватить; а ужъ какъ Бацъ изъ бользни выдетъ, такъ смѣхомъ не кончиться, косточки поломаешь; и я помогу. А спасибо, Богданъ Крестьяновичъ, за науку; я и самъ теперь на Шарлотѣ жениться не хочу; заведу я съ нею любовь тайную, вотъ, ни дать ни взять, какъ ты; да еще и лучше; Подсвинковъ не Бацъ; не страшень;

на всю Москву любиться будемъ. Ай! люли, ай люли!»

И капитанъ и Христина Ивановна стояли передъ шнуромъ, потупивъ головы, какъ приговоренные къ смерти...

— «Послушайте вы, мои голубки! Что любовь, сладка, что ли? Вкусная сыта, медомъ пересыщена, дайте-ка и мнѣ отвѣдать! Въ вашихъ рукахъ мое счастье и счастье Шарлоты; въ моихъ рукахъ ваиа добрая слава, да когда себѣ на память приведу честной поровъ Франца Яковлевича, такъ ужь, верти не верти, а на одномъ безчестіи не обойдется...»

— «Чего-же ты хочешь дьяволь?» простоналъ Бломбергъ.

— «Родительскаго твоего благословенія! скажи: — Шарлота твоя... Выпусти изъ завадни и будто ничего не слышалъ, ничего не видѣлъ. Ты слово свое молодецъ держишь, по упрямству; знаю; а если не сдержишь... такъ извини, ко всѣмъ боярамъ поведу и стану въ лицахъ рассказывать, какъ все было... Ну, такъ Шарлота моя?»

— «Твоя!» сказалъ Бломбергъ и бросился въ объятія Христины Ивановны: «Видишь ли, милая, какую жертву я дѣлаю для тебя...»

— «Ну, полно!» сказалъ шутъ: «Моя, такъ моя! Пойдемъ-же сговоръ справлять... Это что?»

На быстромъ ковъ кто-то проскакалъ черезъ улицу; въ туманъ нельзя было рассмотреть, кто именно; крики Подсвинкова и Прохора еще болѣе возбудили общее любопытство и опасенія. Шутъ

и капитанъ выскочили на улицу; Христина Ивановна заперла окно и задернула занавѣску... Не успѣли Яша и Бломбергъ выдти на середину улицы, какъ на нихъ съ крикомъ и плачемъ наткнулись Подсвинковъ съ Прохоромъ...

— «Что такое? Что такое?» кричалъ капитанъ.

— «Ушла, убѣжала, уехала, ускокала, улетѣла...»

— «Шарлота?»

— «Шарлота Богдановна! Проклятый Прохоръ все испортилъ; пришелъ; говоритъ: былъ у посаженнаго; дома вѣтъ; надо теперь поскорѣе къ попу въ приходъ сбѣгать; такъ ты матушка, доложи батюшкѣ, пусть другаго посаженнаго самъ ищетъ.. Какъ услышала это Шарлота Богдановна, такъ и оторопѣла. Что ты, Прохоръ, промолвила она, да неужто сегодня и вѣчатся?... А тотъ болванъ, ворона, сова глупая: Сейчасъ, матушка, вотъ только я въ приходъ сбѣгаю... Хорошо, Прохоръ, хорошо! сказала притворщица: «Сходи! А я ужъ за посаженнымъ сама сбѣгаю; по своей душѣ выберу... Да шмыгъ изъ комнаты въ калитку, на моего коня прыгъ и ускокала; пока я въ калитку вылезъ, она уже была на концѣ улицы...»

— «Ахъ ты, тетеря!» закричалъ капитанъ: «Не умѣлъ невѣсты уберечь, такъ ступай же вонъ! Ты ей болыне не женихъ. Видѣть тебя поганнаго не хочу. Какой изъ тебя мужъ, когда ты и дѣвочки въ рукахъ удержать не могъ! Слышишь! Прощай! Только я тебя и видѣлъ... Яковъ Федоровичъ...»

Но Яна былъ уже на конь, на скаку успѣлъ только сказать: «Помни слово...» и пропалъ изъ виду...

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ...» началъ было Подсвинковъ...

— «Слушать не хочу! На глаза не показывайся! Пойдемъ, Прохоръ...» И капитанъ съ Прохоромъ вошли на дворъ Подсвинкова. Прохоръ запералъ калитку; дьякъ стучался въ свои ворота...

— «Что, пустить его? спросилъ Прохоръ.

— «Не смѣй! Пусть идетъ на свое мѣсто, подъ Кожухово.»

— «Слышь, Василий Семеновичъ!» повторилъ Прохоръ: «Нѣмецъ бить: ступай на свое мѣсто, подъ Кожухово...»

— «Прохоръ, я тебѣ спину вздую! Въдь это мой домъ.»

— «Слышь, Нѣмецъ, дьякъ бить, что это его домъ.»

— «Вреть! Пошелъ спать, Прохоръ, а ключи сюда подай...»

— «Ну, видно что вреть!» сказалъ Прохоръ: «А я всегда думалъ, что это его домъ. Видишь, никогда не думай, такъ и не будешь того знать, чего ненадо. Прощай, Василий Семеновичъ! Пора уgomониться; пѣтухъ запѣлъ, прощай!»

— «Прохоръ, Прохоръ!...» но Прохоръ ушелъ и все утихло на дворъ Подсвинкова, а несчастный дьякъ, въ тоскъ-кручинъ, сѣлъ на столбикъ противу окна Христины Ивановны и пошелъ думать,

и о бородѣ и о ратныхъ подвигахъ, и о невѣстѣ; все отняли злые люди; даже собственный, отцовскій, родовой домъ оттягали.»

— «Вотъ тебѣ и Нѣмка, вотъ тебѣ и Шарлота Богдановна!» Такъ заключилъ дякъ горькую думу и пошелъ ночевать къ священнику.

—
VIII.

Какъ Шарлота Богдановна съ часовымъ бесѣдовала.

Широко лежалъ станъ Ромодановскаго насупротивъ Стрѣлецкаго и землянаго городка; туманъ скрывалъ войска, но огни пробивались сквозъ густую дымку тумана; казалось звѣзды переселились съ неба въ эти бѣлыя волны, покрывавшія окрестность... Луна, будто Русская кормилица, круглой полной молодичей всплыла надъ усыпленной Москвой; на небѣ все стало видно, за то земля казалась будто послѣ потопа; кое гдѣ чернѣли пригорки, темные валы Землянаго Городка да вершины деревъ; у самаго лѣса, къ которому примыкалъ лагерь Ромодановскаго, въ шагахъ десяти отъ большой дороги пылалъ огромный огонь; вокругъ огня гурьбой сидѣли Абросимки и Алешки; у нихъ только что отошелъ ужинъ и пѣсни, и завязалась бесѣда:

— «Что, Алеша Буравъ?» спросилъ Алеша Курчавый: «Такъ по твоему, ротмистръ къ своей нѣмкѣ повхалъ...»

— «А то куда-же? Дивно мнѣ, что одинъ въ Москву пустился; а то всегда меня съ собой бралъ;

Но Яна былъ уже на конь, на
только сказать: «Помни слово...
виду...»

— «Послушай, Богданъ К...
чалъ было Подсвинковъ...»

— «Слушать не хочу!
ся! Пойдемъ, Прохоръ...
ромъ вошли на дворъ
пираль калитку; у
рота...»

— «Что, пусту»

— «Не смѣй!»

Кожухово.»

— «Слыши»

Прохоръ: «Н...
подъ Кожу»

— «П...
мой домъ»

— «... Толкують, что инутомъ быть
домъ: нѣвкивается, нѣмки жаль, съ самой вес-
любовь ведетъ...»

— «А чтожь ты, Буравъ, видель ту нѣмку?..»

— «Станеть онъ свое сокровище другимъ по-
казывать. Не равенъ часъ...»

— «Ну, ужъ ты, Буравъ, не страшень для крас-
ной дѣвуинки. У тебя одинъ носъ, такъ будто по-
года ветерь сулить... Такой красный...»

Засмѣялась гурьба, да и затихла. Въ ближнемъ
лѣсу раздался конскій топотъ. Всѣ вскочили отъ
огня и бросились на дорогу; въ толпу Алень
вскочила всадница...

когда въ Лефортово ѣхать, онъ и пристаётъ ко мнѣ: Ну, Буравъ, мой сподручникъ, поѣдемъ! Всякой разъ я у него и выманю алтынъ, другой, да и поѣду.... У меня въ Лефортовъ знакомецъ есть: солдатъ, да изъ Русскихъ. Вотъ у него нашъ притонъ. Какъ пристанемъ къ тому солдату, сей часъ свѣчку на окно; глядимъ, а въ томъ домъ, гдѣ нѣмка живетъ, тоже свѣчка стоитъ въ окнѣ. Ротмистръ свѣчку погаситъ и тамъ погаснетъ; будто одной рукой тушить. Вотъ онъ пождетъ, посидитъ, да и уйдетъ. Мы съ знакомцемъ сидимъ, да толкуемъ: языки умаются, мыи заснемъ; иной разъ передъ самымъ утромъ ротмистръ насъ своимъ приходомъ разбудитъ. И опять на коней, и въ Преображенское. Я залягу и сплю, а онъ на службу, болтаетъ безъ усталы, всѣхъ тѣшитъ, со всѣми другъ; говорятъ, не долго онъ у насъ останется. Хочетъ его Государь за море послать. Толкуютъ, что инутомъ быть ему мало; что у него разума на посла хватить; да все отнѣживается, нѣмки жаль, съ самой весны — любовь ведетъ...»

— «А чтожь ты, Буравъ, видѣлъ ту нѣмку?..»

— «Станетъ онъ свое сокровище другимъ показывать. Не равенъ часъ...»

— «Ну, ужъ ты, Буравъ, не страшенъ для красной дѣвушки. У тебя одинъ носъ, такъ будто погода вѣтеръ сулитъ... Такой красный...»

Засмѣялась гурьба, да и затихла. Въ ближнемъ лѣсу раздался конскій топотъ. Всѣ вскочили отъ огня и бросились на дорогу; въ толпу Алешъ вскочила всадница...

— «Стой! Кто вдеть!» закричалъ Алеша Курчавый, схватилъ подъ уздцы лошадь и ахнулъ: «Ба! Да это мой златогривка! Э, да какую же ты мнѣ красавицу принесъ. Увезъ чучело, а воротился... Да чуръ, наше мѣсто свято, ужъ не оборотень ли какой...»

— «Нѣтъ, Алеша!» смѣло отвѣчала всадница: «Не оборотень, а твоего ротмистра невѣста!»

Всѣ Алеша и Абросимки сдернули шапки и командиршѣ низко поклонились.

«Ахъ, ты, какая хорошая, ахъ, ты, какая бѣлолицая, кровь съ молокомъ!.. Ну, чета, чета, нечего сказать. Вся въ ротмистра! Вотъ тужить будетъ, что не застала...»

— «Да онъ у насъ остался, на Москвѣ, а меня послалъ съ важной вѣсточкой къ самому Государю. Проводите!»

— «Эй, ребята! Ужъ позвольте проводить мнѣ начальницу, видите, на моемъ конѣ и прѣехала; такъ ужъ знать эта честь мнѣ на роду написана...»

— «Тебѣ, тебѣ, Алеша! Пойдемъ же, время не терпѣть!»

— «Пойдемъ, матушка. Эй, Буравъ, прими лошадь! Пойдемъ!»

Пошли.

— «А гдѣ же Государь стоитъ!» спросила дорогой Шарлота.

— «Онъ въ княжеской палаткѣ, и не одинъ. Чай теперь не спитъ. Еще рано. Тамъ дальше меня не пропустятъ; нашему брату не указано въ

линеяхъ шататься. Знаешь, что такое линея? Это значитъ полки ротами, да ты сама найдешь; дорога прямая, будто выстрѣлилъ. Если кто спросить, ты только отвѣчай: «Царьградъ нашъ будетъ!» Это окликъ такой военный... Вотъ и первая линея Преображенская. Ступай!..»

— «Кто идетъ?» раздалось у рогатки.

— «Царьградъ нашъ будетъ!»

— «Ступай!..» И Шарлота прошла до самой площадки передъ шатеръ Ромодановскаго, и увидавъ у входа двухъ часовыхъ, остановилась.

— «Кто идетъ?» спросилъ высокій статный Преображенецъ, ходя по деревянной кладкѣ взадъ и впередъ; другой также ходилъ, но въ иную сторону.

— «Царьградъ нашъ будетъ!» отвѣчала Шарлота, запинаясь.

— «Во истинну! Только за чѣмъ бабамъ про то вѣдать? Что ты, матушка, тутъ дѣлаешь, и за чѣмъ такъ поздно?..»

— «Отъ чего поздно? Государь объ этой порѣ еще не спитъ...»

— «Мало ли чего! Не спитъ! Да вѣдь и ему покой нуженъ.»

— «Больше нашего!»

— «Да и послѣ зари, никто не смѣй по стану шататься...»

— «Да ужъ послѣ зари, али до зари, мнѣ все равно; бѣда моя велика, а Государь великъ и добръ, не осердится; помилуетъ, выслушаетъ... Пусти меня къ нему, служивый. . .»

— «Нельзя, матушка! Здѣсь не Москва! Теперь военное время, Государь въ лагерь...»

— «Да какая это война! Дрянъ! Изъ за такихъ пустяковъ можно и наши дѣла разбирать...»

— «Кто тебѣ сказалъ, что наша война пустяки?...»

— «Многіе говорятъ...»

— «Много на Москвѣ глупцовъ. Авось поумнѣютъ...»

— «Охъ, ужъ что правда, такъ правда. Много дураковъ. Вотъ и я пришла на одного жаловаться. Только ты пусти меня къ Государю. Увидишь, какъ онъ ему голову взмоетъ, да и моему отцу достанется...»

— «Нельзя, матушка, не указано. Ужъ и это противъ службы, что я съ тобою говорю... И завтра разберемъ, а сегодня ты воченьку просидишь подъ карауломъ. А какъ тебѣ зовутъ?»

— «А тебѣ какое дѣло? Видишь, къ Царю не пускаетъ, да еще и допрашиваетъ. Тебѣ то все равно, что сегодня, что завтра, а мнѣ такъ не все равно, за кого идти: за урода Подсвинкова, или за моего неважняго Яшу...»

Часовой остановился на одномъ мѣствѣ и пристально посмотрѣлъ на Шарлоту.

«Что ты на меня глаза выпялилъ? Я и такъ промерзла. всего пути будетъ верстъ десять, я верхомъ ѣздить не привыкла, а тутъ и погони боялись, и жениха, и всего; лошадь измучила; всю изломало и холодомъ прошибло...»

— «Да куда же ты вхала!»

— «Да куда больше? Къ самому Государю; у кого просить мнѣ противъ отца защиты. Надѣ отцемъ только и властенъ что Богъ да Государь. Куда мнѣ было броситься? Уже въ церковь послали; уже и за посаженымъ пошли; не уйди я къ Государю, завтра бы меня и на свѣтъ не было. Какъ Онъ положитъ, такъ и быть. Велитъ идти за Подсвинкова, заплачу и пойду; только не велитъ. Онъ справедливъ, говорятъ, даромъ что молодъ...»

— «Да развѣ только одни старики и справедливы...»

— «Ну, все таки, знаешь, молодость горячка. Говорятъ и про Петра Алексѣевича, что иной разъ какъ осерчаетъ, да расходится, такъ и умные старики удержать не могутъ... Бѣда, если правда...»

— «Э, матушка, не всякому слуху вѣрь...» отвѣчала Часовой съ примѣтнымъ волненіемъ... «Только право странно, что такая умная двушка хочетъ идти за мужъ за дурака.»

— «Отвѣчала бы я тебѣ, да право некогда и языкъ отъ холода не поворачивается.»

Часовой спустилъ съ плечъ свой полушубокъ и подалъ Шарлотѣ.

— На, прикройся! Сыро и прохладно...»

— «Да что ты, всю ночь растабарывать со мной думаешь? Что я тебѣ далась за разкащица такая?..»

— «А какъ же ты съ Царемъ будешь разговаривать, когда языкъ у тебя холодомъ отнимаетъ...»

— «Да ты развѣ къ Царю меня пустишь?»

— «Нѣтъ, не пущу...»

Шарлота заплакала.

— «Неплачь! Нельзя, такъ нельзя. Порядокъ. А вотъ что можно, такъ можно... Волковъ!... Михайло! Поди сюда!...»

Изъ ближней палатки медленно выползла огромная фигура и вытянулась въ струнку передъ Часовымъ.

— «Что, ты одинъ въ палаткѣ?»

— «Одинъ!»

— «Опрости ее для этой дамы, а самъ ступай въ роту.»

— «Слушаю!»

— «А завтра, какъ встанетъ Государь, проводи эту даму къ нему; суда просить...»

— «Слушаю...»

— «Ну матушка, теперь ступай съ Богомъ! Утро вечера мудренѣе. Ложись и спи. Тутъ безопасно... А завтра, дастъ Богъ, все устроится...»

— «Ступай вонъ туда!» говорилъ Волковъ указывая на палатку: «Тамъ все есть, что нужно. И чертъ не разберетъ, какіе теперь порядки; бабы по лагерямъ таскаются; спать не даютъ; ихъ бы прикладами провожать отсюда надо; такъ нѣтъ, свою постель уступи; поглядимъ, гдѣ самъ то спать будешь, какъ съ часовъ смѣнять; и князю Михайлѣ тоже негдѣ прилечь; видишь, для одной бабы трое безъ мѣста!» И продолжая ворчать, Волковъ исчезъ между солдатскихъ инатровъ. Между тѣмъ Шарлота Богдановна прилегла на солдат-

скую койку, да и задремала. То и дѣло снится ей Часовой. И ростъ, и кудри, и даже какое то определенное лице... все это врѣзалось въ память бѣдной дѣвушки и не давало ей уснуть какъ слѣдуетъ; къ утру уже и воображеніе утомилось, и сонъ, совсѣмъ не бабскій, а богатырскій оковалъ красавицу. Проснулась она отъ громкаго крика. Вслушивается. Кто то у самой палатки реветъ басомъ: «Вставай! Слынишь, вставай!... Да не лучше ли взойти, да разбудить?..»

— «Немоги! Пусть сама проснется. Яна, послалъ ты за Бломбергомъ?..» Такъ говорилъ Часовой; Шарлота легко узнала по голосу. Схвати-лась Шарлота съ койки, особенно усльпшавъ, что часовой кликалъ Яну и отца. Вскочила, и несмотря на сильное волненіе, на странное свое положеніе, стала оправляться; не забыла ни прически ни платья; не упустила изъ виду и кружки съ водой и полотенца... тутъ только она замѣтила, что въ этой солдатской палаткѣ три койки и великій порядокъ; искала Шарлота гребешка, и нашла математическіе инструменты, ландкарты, письменный приборъ, бумаги, наконецъ гребешокъ, даже зеркальце. Последней находкѣ она крайне обрадовалась и нѣсколько лишнихъ минутъ заставила прождать самого Государя...»

О женщины!...

— «Да что ты тамъ вознишься!» опять раздался басъ Волкова: «Выходи! Весь походъ задержала... Часъ десятый будетъ...»

— «Десятый!» И Шарлота бросила зеркало, во

вышла, а выбѣжала изъ палатки; взглянула на площадку — и зажмурилась присвѣла... Позиція Волкова была не менѣе интересна; увидавъ, кто былъ въ палаткѣ, онъ вытянулъ руки вверхъ и живо представилъ подобіе вѣтряной мѣльницы... Эта живая картина дополнилась третьимъ дѣйствующимъ лицомъ, капитаномъ Бломбергомъ, который, въ это самое время подходилъ со всею должною важною къ площадкѣ, но поравнявшись съ Шарлотой, сбился съ шагу и маршировалъ на одномъ мѣстѣ... На площадкѣ, передъ княжескимъ шатромъ, стоялъ вчерашній Часовой, въ Преображенскомъ мундирѣ, окруженный всеми главными чинами дѣйствующей арміи. Все это было неподвижно. Чѣмъ не картина? Только одинъ Яна разрушилъ эту картинность; сбѣжалъ съ площадки, поднялъ Шарлоту и подъ руку подвелъ къ Часовому... Ставъ самъ передъ нимъ на колѣни, Яна сказалъ Шарлотѣ: «Дорогая невѣста; стань и ты на колѣни предъ земнымъ образомъ Бога живаго и проси о нашемъ счастьи у Отца, который старше отца роднаго.»

— «Какъ?» вскрикнула Шарлота: «Этотъ Часовой?...»

— «Государь...»

— «Помилуй, Государь, помилуй!»

— «За что?»

— «Право, съ холода, Государь Великій, отъ устали...»

— «Да что такое?...»

— «Ахъ, Боже мой, Боже мой, право не на-

рокомъ я грубила тебѣ... Ты же меня къ Себѣ не пускалъ.. »

— «Хорошо, Шарлота, что на этотъ бракъ отецъ твой согласенъ!» сказалъ Государь: «А то бы не помогла твоя ироническая выходка... Поздравляю! Будьте счастливы. А свадьбу я самъ устрою. До свиданія!...»

Государь ушелъ почти со всеми приближенными; остался только на площадкѣ одинъ Лефортъ.

— «Г. Бломбергъ!» спросилъ Лефортъ: «Все ли у васъ благополучно?»

— «Честь имѣю донести, что сей ночи, въ два часа, въ военной госпитали вашего имени, скончался офицеръ нашего полка, г. Бацъ, отъ сильной простудной горячки...!»

— «Ну, этотъ грѣхъ на вашей душѣ, капитанъ, но любовь забывчива... Молодая вдова, а вы, молодой вдовецъ. Хорошая партія... Советую жениться!»

Лефортъ ушелъ. Капитанъ стоялъ будто оглушенный громомъ.

— «Ну, чтожъ, Богданъ Крестьяновичъ!» сказалъ Яша: «Дочь выходитъ за дурака, а вы женитесь на дурь...»

— «Не правда!» закричалъ капитанъ: «Я одинъ дуракъ! Зачѣмъ я тебѣ отдалъ Шарлоту! И безъ этой жертвы я могъ бы жениться на Христианѣ Ивановнѣ. Бѣдный Подсвинковъ, онъ перенесъ для меня столько неприятностей, обидъ, поруганій, и остался безъ бороды и невесты.»

— «Э, полно, Богданъ Крестьяновичъ! и та и

другая выростуть. Поѣдемъ лучше въ Москву. Государь меня отпустилъ и велѣлъ свадьбу готовить...»

— «Поѣдемъ! Надо обрадовать Христину Ивановну такимъ великимъ для нея счастьемъ. О, Шарлота, для тебя я отказалъ двумъ баронамъ и многимъ богатымъ и прекраснымъ невѣстамъ, а она!..»

— «А она, неблагодарная...» прибавилъ шутъ: «выходить за мужъ, и женить отца насильно...»

— «Насильно!.. Поѣдемъ.. Поѣдемъ, а то ты еще пожалуй чортъ знаетъ до чего доболтаешься...»

IX.

Какъ кончилась моя повѣсть.

Кожуховскій походъ кончился благополучно. Не только городокъ, но и Стрѣлецкій лагерь взяты приступомъ. Военачальники, даже самъ бояринъ Иванъ Ивановичъ, взяты въ полонъ; всѣмъ завязали руки назадъ, и представили въ шатеръ князя Ромодановскаго, гдѣ собраны были и всѣ начальники побѣдоносной арміи. Принявъ ласково побѣжденныхъ, князь генералиссимусъ сѣлъ на бѣлаго коня, и въ сопровожденіи всего генералитета и палатныхъ людей поѣхалъ къ войску. И не пріятельскіе, т. е. Стрѣлецкіе и свои, т. е. Бутырскій и Потѣшные полки, выстроены были въ полъ въ двѣ линіи, лѣвая или побѣжденные преклоняли предъ княземъ оружіе и головы, а правая, т. е.

свои, производили ружейную пальбу и кричали: Ура, Государичъ! Объявивъ строй, князь объявилъ полкамъ роспускъ, а самъ возвратился въ палатку, гдѣ приготовленъ былъ блистательный пиръ. На томъ пирѣ надлежало потухнуть условной враждѣ, которая не продолжалась и мѣсяца; стали садиться къ столу. Возлѣ Государича по правую руку сѣлъ бояринъ Иванъ Ивановичъ, по лѣвую Гордонъ, а возлѣ него Лефортъ... Прочіе не могли усѣсться, спорили за мѣста, и шумѣли... Государь еще не садился; онъ тихо разговаривалъ съ княземъ Михайлой и Яшей...

— «Посмотри, Государь...» сказалъ шутъ: «какъ твои бояре мѣстничаютъ... Видишь, на походы не смѣли, на указныхъ мѣстахъ торчали, а теперь обрадовались, что у стола могутъ спѣсь и родъ свой показать.»

Государь нахмурился, не отвѣчалъ на шутковскую рѣчь ни слова, подошелъ къ самой серединѣ стола, взялъ стулъ, какой попался, и сѣлъ. Почти всѣ поняли смыслъ нѣмага выговора и спѣшили усѣсться, гдѣ кому случилось. Шутъ бѣгалъ кругомъ стола и подгонялъ гостей:

— «Проворнѣе, поворачивайтесь, холодныя простынуть, жаренныя пережарятся, лукъ чеснокомъ станетъ, проворнѣе, проворнѣе!..»

Почти всѣ усѣлись; только двое увлеченные спѣсью и враждой, не сѣлись, осыпали другъ друга историческою бранью, возмущали тѣни предковъ, каждый восхваляя своихъ и унижая противниковыхъ; собраніе смолкло: всѣ обратили слухъ

и вниманіе на ссору, а глаза на юнаго Царя. Государь спросилъ, о чемъ споръ. Оба противника заговорили вмѣстѣ. Презрительная улыбка Царя до того ихъ смутила, что оба стали путаться въ словахъ и наконецъ отъ сильнаго смущенія оба смолкли...

— «Оставьте предковъ въ покоѣ!» сказала Государь: «Когда кто какое мѣсто заслужить, того у него никто не отыметъ. Только мѣсто не вотчина. А за столомъ садитесь, гдѣ прилучится, или гдѣ хозяинъ укажетъ... Садитесь!» — И не обращая болѣе на нихъ вниманія, сказала Ромодановскому: «Государичь! Дуракъ Яковъ боярамъ, окольниковъ и всѣхъ чиновъ думнымъ палатнымъ людямъ хочетъ челомъ бить. Позволь!»

— «Пусть его! Дурацкое дѣло за столомъ шуткой тышить...»

— «Шутка шуткѣ розъ!» отвѣчалъ шутъ: «Вотъ тебя Государь въ шутку въ Государичи пожаловалъ; такого и ранга ни въ какой землѣ не было, а ты въ томъ чинѣ и умрешь... Только чай спѣсь у тебя, что гребень у пѣтуха, на аршинъ выростетъ. Ужъ не мотай головой. Я вѣдь знаю, что ты спѣсивъ...»

— «Да съ чего ты это взялъ?...»

— Ну, постой! Мы тебя сей часъ на чистую воду выведемъ. Завтра моя свадьба. Приведешь ко мнѣ въ гости?»

— «Приведу!»

— «Ай да Государичь! Поцѣлуемся!»

— «Такъ чего добраго, и самъ Государь пожалуетъ!»

— «Буду!...»

— «Важно! Бояры милостивцы, окольнічіе, и думные люди Московскіе, всѣхъ васъ поимянно и до свѣтлаго воскресенія не перечтешь!! Такъ ужъ не взыщите, если гуртомъ стану васъ кликать.»

— «Будемъ, будемъ!» отозвалось нѣсколько голосовъ...

— «Ну, плохо же мнѣ приходится, плохо; вѣнть отвѣтъ, что покойная борода у Подсвинкова; ключьями, а въ каждомъ по три волоска, ну нечего дѣлать, надо съ васъ слова что въ Думѣ собирать...» И шутъ подбѣгая къ каждому гостю, заглядывалъ въ глаза и спрашивалъ: будешь? Волей, неволей, всѣ отвѣчали: буду! только одинъ Волковъ вмѣсто буду, отвѣчалъ: побью!

— «Бей пожалуй, только не больно; я тебѣ тоже чужую спину подставлю, какъ Подсвинковъ сдѣлалъ. Ну, милостивцы, вы на Волкова не смотрите; мы супротивники. Онъ стрѣлецъ, а я потышній! Только уговоръ лучше денегъ. Всымъ на моей свадьбѣ быть безъ мести!»

Общій смѣхъ огласилъ шатеръ и привелъ въ краску двухъ спорщиковъ... Шутъ продолжалъ:

— «Вѣдь вы это въ думѣ и приказахъ и бояре, и окольнічые, и то и се, языкъ сломаешь, память намозолишь, пока всѣхъ перечтешь. Какъ къ столу сажать стану, собьюсь; по платью не различу

никого... Такъ знаете ли что, мои милостивцы
пріѣзжайте къ шуту не въ своихъ нарядныхъ
платьяхъ, а запросто...»

Ропотъ негодованія зашумѣлъ за столомъ; ни
кто не могъ рѣшиться на отвѣтъ.

— «Выдумка тебя стоитъ!» сказалъ Государь:
«Быть по твоему. Ты ужь это все князю на
руки отдай; онъ устроитъ, а теперь выпьемъ за
здоровье Государича, генералиссимуса, князя Фе-
дора Юрьевича!...»

И громкое ура понеслось изъ палатки въ поле,
и тамъ еще долго гремѣло въ полкахъ, мѣшаясь
съ пушечными и ружейными выстрѣлами.

На другой день рано по утру, между Преобра-
женскимъ и Семеновскимъ селами, въ полѣ, было
поставлено нѣсколько шатровъ. Яна съ своими
Алешами и Абросимками прискакалъ чуть свѣтъ;
устроилъ вездѣ порядокъ, разставилъ стражу и
вернулся въ Лефортово. Послѣ вѣнца повозъ
брючный отправился къ шатрамъ и этотъ повозъ
своею оригинальностью представилъ самую стран-
ную картину. Повозжане вѣхали въ куляхъ и лыч-
ныхъ шляпахъ; одни въ кафтанахъ изъ крашенины,
а опушка изъ кошечьихъ лапокъ; у другихъ сер-
мяги разнаго цвѣта, опушенные бѣлыми хвостами,
у кого соломенные сапоги, у другаго мыначьи
рукавицы, лубочныя шапки; кто на быкъ, тотъ
на козлахъ, свиньяхъ или собакахъ; гамъ, смѣхъ,
пѣсни особеннаго склада; но за то молодые вѣхали

въ лучшей Государевой каретѣ, за которой шли знатные гости, пынкомъ, въ старинныхъ бархатныхъ кафтанахъ. Трое сутокъ кипѣлъ пиръ въ шатрахъ у Якова Ѳедоровича; наконецъ все развѣхались; даже молодые. Яковъ Ѳедоровичъ въ лучшемъ нѣмецкомъ платьѣ отвезъ жену свою Шарлоту Богдановну въ новый свой домъ на Покровку... Прошла недѣля... Молодые отправились на свадьбу къ Богдану Крестьяновичу... Прошла еще недѣля... Пришелъ изъ посольскаго приказа подъячій. Говорить: «Ты, Яковъ Ѳедоровичъ, долго съ дякомъ Подсвинковымъ возился. Такъ не знаешь ли, куда онъ пропалъ? Посылали всюду, нигдѣ не могли найти.»

— «Какъ не знать! Ушелъ Василій Семеновичъ въ вотчину свою, что за Воскресенскимъ; женился на Дуинъ Поярцовой и медовый мѣсяцъ отживаетъ... Да еще въ придачу бороду растить.»

И сбылось по слову Якова Ѳедоровича. Воротился Василій Семеновичъ изъ своей вотчины, и съ молодой женой, и съ съдой бородой; отросла, да отъ невзгодъ и волненій отросла съдыми волосами... И все успокоилось на Москвѣ... Долго жили наши герои, но гдѣ и какъ, расскажу на досугъ.



Максимъ Савонтовичъ

БЕРЕЗОВСКІЙ.

Историческій разсказъ.

—

I.

АКАДЕМИКЪ.

— «А что за пречудесная сторона!» говорилъ Онанасъ, въ переводъ на русскій Авонасій, лежа подъ плетеной бесѣдкой, затканой широкими листьями и завитками винограда: «Ни дать ни взять — Макіевка, только и разницы, что вмѣсто хмѣлю, вино надъ головой растетъ; а у насъ яблоки, да груши, да черешни; или заберешься въ огурцы; не успѣешь заснуть, а ужь сотню проглотить. Надо правду говорить. Еслибъ борщъ, да вареники, да водка, такъ тутъ просто того... рай; и на небо не нужно: и послѣ смерти готовъ тутъ жить; и солнце наше; и того — дѣвчата, не то что казачки... Куда же имъ тальянкамъ до казачекъ? далеко куцому до зайца... правда... что-то у нихъ и въ лицъ такое цыганское; и что ни дѣвка, то съ усами, и то правда; чернобровы, такъ, да ужь бѣлолицой ни одной; гдѣ тамъ! Царски нашей,

или Марины, что за Мартына вышла, такъ такихъ и промежду господъ не найдешь, да того...»

И Опанасъ зѣвнуль сладостно; храпѣніе Опанаса раздавалось по всему саду виллы Броски, недавно отстроенной и разубранной съ царственнымъ великолѣпиемъ. Неудивительно; Опанасъ плотно пообѣдалъ на кухнѣ; мѣстные слуги разбрелись по должностямъ, тѣмъ поспынивъ, что у хозяина были гости. Съ Опанасомъ некому было записаться, да и что за бесѣда въ теплое климатъ послѣ обѣда? Лучшій собесѣдникъ сонъ; а подѣ виноградной сѣткой такъ прохладно; ни капля растопленного золота, такъ обильно разливаемаго южнымъ солнцемъ въ полдень, не могла пробиться сквозь густую зелень. Опанасъ спалъ своимъ сладкимъ, пользуясь расположеніемъ природы и сада. Я по крайней мѣрѣ больше всего дорожу расположеніемъ природы. Нѣтъ горя, тоски и грустной думы, которыхъ бы не разогнало тихое, ясное, весеннее утро; въ хорошую погоду, человекъ не чувствуетъ бѣдности, не хлопочетъ, не печется о суетныхъ плодахъ труда; ему ничего не нужно; какъ Опанасу, ему не нужно ума, памяти; не хочетъ думать; онъ забываетъ все, даже обязанности, хотя бы и любимыя. Вотъ и Опанасъ не сходилъ посмотреть, что дѣлаютъ ослы; не справился, когда баринъ поѣдетъ назадъ въ Болонью; будутъ ли тутъ ночевать или нѣтъ; кто этотъ вельможа, къ которому они такъ давно собирались и боялись вѣхать... А долженъ быть человекъ весьма важный, потому что самъ старый Мартынь, какъ

вхвать на вилау, надѣлъ свою длинную французскую свиту, а на шею повѣсилъ золотую цѣпь, а старый Мартынъ во-первыхъ ни къ кому самъ не ѣздить, а во-вторыхъ всѣхъ у себя принимаетъ въ шелковомъ желтомъ халатѣ; а на томъ халатѣ и розмаринъ и незабудки, и воробьи зеленые шелками вышиты. Должна быть важная особа хозяиня виллы; Опанасъ это предугадывалъ, да лѣнился спросить; такъ и остался въ неизвѣстности. Впрочемъ, еслибы и спросилъ, еслибы ему и отвѣчали, онъ бы не много выигралъ; едвали бы онъ запомнилъ имена хозяина и другихъ связанныхъ съ нимъ лицъ; что толку, еслибъ Опанасъ и узналъ, что вилла Броски—принадлежитъ кавалеру Броски, какъ въ уединеніи своемъ называлъ себя Фаринелли; что знаменитый пѣвецъ излечилъ неизлечимую болѣзнь короля и сдѣлавшись первымъ министромъ, мудро управлялъ Испаніей. Опанасъ не уважалъ испанскаго короля, потому что въ Неаполь видѣлъ тму нищихъ и потому еще, что онъ испанскую водку считалъ истиннымъ ядомъ, а испанскихъ мухъ боялся пуще скорпионовъ. Еслибы онъ зналъ, что теперь гоститъ у бывшаго испанскаго министра, кто знаетъ, можетъ быть, онъ бы не спалъ такъ покойно, не храпѣлъ такъ гармонически; но этого нельзя сказать утвердительно... Опанасъ рѣдко измѣнялъ своимъ привычкамъ и дома, а ужъ въ гостяхъ... что же бы это было за угощеніе. Тутъ же никому до него не было дѣла; онъ былъ ненуженъ даже своему барину; котораго, можно сказать, поглощала затрапезная

беседа. Въ прохладной мраморной галлерей, украшенной добропорядочною живописью и цвѣтами, за столомъ, накрытымъ серебряной и золотой посудой, сидѣло небольшое общество болонскихъ гостей Фаринелли; старикъ-хозяинъ сидѣлъ въ глубокихъ креслахъ; ноги его покоились на мягкихъ подушкахъ и были покрыты атласнымъ стеганнымъ одѣяломъ; на головѣ, совершенно забытой волосами, торчалъ остроконечный бѣлый колпакъ съ красными коймами и красной кисточкой; бороды также не было, и казалось, что на этомъ тѣлѣ никогда не пробивался пухъ мужественнаго возраста; отменно нѣжное и пріятное лице Фаринелли было изморщено и болезненнаго цвѣта, хотя дородство, можно сказать, даже тучность выгодно говорила о состояніи его здоровья. По правую руку отъ хозяина сидѣлъ знаменитый Мартини, президентъ Болонской академіи и музыкальнаго общества. По лѣвую Леопольдъ Моцартъ; возлѣ четырнадцатилѣтній сынъ его Вольфгангъ, а возлѣ Мартини, Опанасовъ баринъ, молодецъ челоуѣкъ лѣтъ двадцати шести, Максимъ Созонтовичъ Березовскій. Полудній былъ въ красномъ кафтанѣ съ черными пуговицами, что ясно въ то время свидѣтельствовало о недавней потерѣ кого-либо изъ близкихъ родственниковъ. Хотя общій разговоръ шелъ своимъ чередомъ живо и непрерывно, но глаза всехъ постоянно были обращены на четырнадцатилѣтнее чудо, освѣтившее современный музыкальный міръ невиданнымъ блескомъ. А Вольфгангъ, приученный съ семи лѣтъ къ

любопытству и удивленію всѣхъ его окружающихъ; съ семействомъ своимъ включительно, ни мало не смущался и глядѣлъ то на хитрую рѣзбу столовой утвари, то на отца Мартини, какъ его называлъ тогда весь свѣтъ.

— «Что же, папа!» сказала Фаринелли съ лукавой улыбкой, потирая щеку: «кажется вамъ сомнѣнія теперь разсѣялись... Пора бы моему другу получить дипломъ и званіе академика..»

Мартини, безъ малѣйшей перемѣны въ лицѣ, протянулъ подѣ столу руку и значительно пожалъ колено Фаринелли. Министръ, угадывавшій кабинетныя тайны, не могъ смѣкнуть, что замышляетъ князь музыки и поглядѣлъ на него съ видомъ вопроса.

— «Удивительно!» сказалъ наконецъ Мартини, принужденный къ разговору непонятливостью Фаринелли. «Вы очень хорошо знаете наши уставы — и спрашиваете! Честь быть академикомъ — велика; стыдъ не выдержать испытанія — больше.»

— «Ахъ, папа!» съ живостью прервалъ Вольфгангъ: «Я не боюсь испытанія...»

— «Талантъ твой великъ, но одинъ талантъ можетъ измѣнить...»

— «Есть ли у меня талантъ или нѣтъ, право не знаю. Но у меня, папа, есть наука; эта не измѣнитъ...»

Родъ улыбки, или тѣнь улыбки пробѣжала по лицу Мартини и разморщила высокое чело старца. Онъ произнесъ какое-то глухое междометіе, нѣсколько обращаясь къ Березовскому. Максимъ Со-

зонтовичъ отвѣчалъ учителю такимъ же мсждомо-
тисемъ и разговоръ кончился.

— «Я отъ васъ не отстану, папа!» опять на-
чалъ Фаринелли.

— «И я тоже» подхватилъ Вольфгангъ... «На-
значьте день и часъ моему испытанію...»

— «Завтра!» сказалъ сухо Мартини.

— «Что завтра?» прервалъ Вольфгангъ... «Зав-
тра вы назначите день—или...»

— «Нѣтъ! Завтра быть или не быть тебѣ ака-
демикомъ.»

— «Быть!» закричалъ Вольфгангъ и ударилъ
о столъ съ такою силою, что посуда запляса-
ла... Слезы выступили у него на глазахъ. Онъ не
могъ удержать душевнаго волненія, вскочилъ съ
мѣста, побѣжалъ къ старцу, обнялъ его нѣжными,
можно сказать женскими руками и повисъ на шеѣ
Мартини.

— «Ахъ, папа, вы не шутите! Согласятся ли
ваши цензоры, ваши ужасные профессеры?... Од-
ного изъ нихъ я боюсь; онъ такъ похожъ на
медвѣдь... И простите, папа, вы не разсердитесь,
а? вы не разсердитесь?... Мнѣ, кажется, что онъ
и въ музыкѣ—медвѣдь...»

— «Другъ мой...» сказалъ сухо Мартини: «всѣ
члены нашей академіи получили свои мѣста при
мнѣ...»

— «О, тогда простите, папа! Васъ нельзя ни
обмануть, ни обольстить, какъ публику...»

— «А публику можно?...»

— «Можно, мама! Вотъ вы увидите, какъ моя будутъ хвалить за царя Митридата...»

— «А ты ее обманешь?...»

— «Обману, что дѣлать, обману... Опера не мой родъ; я не люблю оперы; пожалуй, я ихъ напишу сколько и какихъ угодно: маленькихъ, большихъ, веселыхъ, плачевныхъ; не моя часть; да что же дѣлать. Надо уметь сочинять все, иначе нельзя написать ничего... Квартетъ, папа, квартетъ...»

— «И для голосовъ...» замѣтилъ Мартини:

— «Нѣтъ, сначала для инструментовъ...»

— «Что въ нихъ? Испортишь чувство...»

Вольфгангъ задумался, и черезъ минуту сказалъ:

— «Хорошо! Да кто же будетъ пѣть мой квартетъ?»

— «Глаза!» отвѣчалъ сухо Мартини и оборотился лицомъ къ Фаринелли: «Да, я нацѣлъ много вещей, въ старой музыкѣ, неисполнимыхъ, но для глаза очаровательныхъ. Massimò, помнишь ли ты наизусть небольшой четырехголосный стихъ, что ты переписывалъ для себя въ пятницу?..»

— «Помню...» отвѣчалъ Березовскій.

— «Вотъ мы послѣ обѣда попробуемъ... Какъ разъ четыре голоса.»

— «Извольте!» сказалъ Фаринелли: «но какъ-то у меня голосъ?..» и сталъ пробовать свой знаменитый сопрано; сначала тоны были нечисты, но мало по малу звукъ прояснялся; послѣ двухъ трехъ гаммъ, Фаринелли запѣлъ любимую свою аріету; всѣ невольно задумались; каждый слушалъ

во, какъ отрывокъ изъ политической жизни хозяина. Примѣтивъ впечатлѣннѣе; Фаринелли засмѣялся и остановился на половинѣ послѣдней фразы. Собесѣдники не выдержали, и хоромъ окончили ариэту. Это повело къ любопытнымъ разсужденіямъ о свойствахъ рима и каденціи, а между тѣмъ завадное солнце съ боку заглянуло въ галерею и напомнило и гостямъ и хозяину, что уже не рано. Встали. Березовскій, никому не говоря ни слова, забрался въ кабинетъ Фаринелли, написалъ партіи четырехголоснаго стиха, и вынесъ ихъ въ залъ, когда Моцарты уже прощались съ хозяиномъ. Видъ любопытнаго отрывка удержалъ всѣхъ и вся дворня, въ томъ числѣ и Опанась, сошлись слушать пѣніе къ стекляннымъ дверямъ залы. Всѣ согласились съ Мартини, что это превосходно и можетъ быть исполнено глазами, воображеніемъ, если не достанетъ въ пѣвцахъ искусства и знанія. «Это вѣчно!» заключилъ Мартини: «а четыре пѣвца, по крайней мѣрѣ въ Болоніи, всегда сыщутся... Простите!»

— «Я съ вами не прощаюсь...» сказалъ Фаринелли, провожая гостей: «Завтра, пана, пріѣзжайте ко мнѣ откушать съ дѣтьми и призовите новаго академика, непременно академика!..»

— «Двухъ...» робко и едва слышно произнесъ Березовскій и покраснѣлъ до ушей. Фаринелли не слышалъ, что сказалъ Максимъ Созонтовичъ, но Мартини посмотрѣлъ на него своими блестящими, пронизательными глазами, покачалъ головой и пошелъ молча къ осламъ. Дорогой Вольфгангъ не

давалъ покою своему папá, котораго всю жизнь такъ много любилъ и уважалъ. Сухость и важность Мартини не отталкивали отъ ученаго старца; напротивъ, какъ-то магически привлекали къ нему всякаго, сообщая немногимъ рѣчамъ его значеніе аксіомъ; вопросы и разсужденія лились изъ устъ филармоническаго кавалера, какъ тогда называли Моцарта въ Италіи. Живая исторія музыки, Мартини удовлетворялъ любопытству чудеснаго мальчика съ необыкновенною краткостью и ясностью. Какъ ни занимателенъ былъ ихъ сочный разговоръ, особенно для музыканта, но Березовскій отсталъ отъ нихъ и вѣхалъ особнякомъ, въ глубокой думѣ... Опанась, примѣтивъ это, догнавъ своего барина и нѣсколько времени вѣхалъ возлѣ него молча, собираясь съ мыслями или просто лѣнясь зачать разговоръ. Уже въ улицахъ Болоньи Опанась рѣшился сказать что-нибудь и почесавшись въ затылкѣ, проговорилъ сквозь зубы:

— «Вотъ ужъ города, такъ такого у насъ нѣтъ; и Кіевъ и Полтава такъ-себѣ; живутъ; да противъ дышнихъ городовъ — пась.»

— «Экъ, Опанась! Надоѣли мнѣ эти города; пустая моя Украина милѣе для меня и Флоренціи и самаго Неаполя... Подумай, Опанась, шесть лѣтъ, седьмое, мы тутъ маемся; пока языки выломали, пока къ житью-бытью чужому привыкли... Я благодаренъ отцу Мартини; многому я отъ него научился... Только онъ меня и держитъ тутъ; люблю его всюю душею...»

— «А что жъ? Возьмемъ съ собою на Украину»

и пана Мартына. Пускай послушаетъ нашихъ кievскихъ пѣвчихъ. Пускай Вуколь, что въ хорѣ у преосвященнаго, передъ паномъ Мартыномъ, по своему, басомъ протянетъ.»

— «Ой, Опанась, панъ Мартини свою сторонку такъ любить, какъ и мы свою. И правду сказать, есть за что. Божьими дарами словно церковь убрана; цѣлый край будто хоромы добраго и богатаго пана. Ходишь по комнатамъ, будто живыхъ людей, будто живую прекрасную сторону видишь; выйдешь на воздухъ, одна другой краше, картины стоять...»

— «А на Украинѣ?..»

— «А на Украинѣ — и земля и люди степь неисходная, пустыня заглохая...»

— «Какъ же вамъ не стыдно родную сторону такъ поречить!...»

— «Не порочу я Украини... Сердце плачетъ, да правду говоритъ. Хотя бы вотъ и мое ремесло. Гдѣ таки найдешь ты тутъ такіе голоса, какъ у насъ на Украинѣ. Помнишь, въ дежинки какъ распеются наши красавицы: это герлынекъ такихъ, какихъ нѣтъ ни у одной итальянской актрисы»

— «Э, мало ли чего, такъ то-же Украина! Я самъ слышалъ одну дѣвку подъ Лубнами, что съ соловьемъ на выпередки заливалась. Что у нея тамъ въ горль сидло, не знаю, только какъ пойдетъ языкомъ плясать, такъ будто дудка какая; то защечечетъ такъ мелко будто макъ сыплется; то загудитъ какъ вътеръ въ трубу; то тянетъ долго долго, будто нитку какую безъ конца прядеть... Пусть

Богъ милуетъ... Я знаю, гдѣ она живетъ. Мы и ее пану Мартыну покажемъ; пусть только съ нами ѣдетъ...»

— «Какъ разъ! Онъ то свое дѣлаетъ, да мы чужой соръ возимъ. Намъ бы должно свою ниву пахать; да ба!»

— «Да отчего-же и ба! Вотъ вы теперь майстеръ; такъ и панъ Мартынъ говоритъ; вотъ я повѣдемъ до Кіева, да и заберемъ архіерейскихъ пѣвчихъ, да изъ братняго, да въ науку. А тотъ нашъ Румянцевъ подможетъ.»

— «Теперь и Румянцева тамъ нѣтъ; пошелъ на Турокъ.»

— «Такъ чтожъ что пошелъ? Долго-ли ему Турокъ побить? Веротится. А мы покуда такую школу зложимъ, какъ у пана Мартына...»

Березовскій горько улыбнулся; хотѣлъ, но не успѣлъ отвѣчать. Мартини простился съ Моцартами у ихъ квартиры и поджидалъ остальныхъ спутниковъ. Березовскій подъѣхалъ и, не ожидая вопроса, сказалъ съ вримѣтнымъ смущеніемъ:

— «Отецъ нашъ! Время мое прошло! Я долженъ оставить васъ! Я ѣду домой! Тамъ я нужнѣе... Здѣсь я нуль...»

Мартини молча ѣхалъ дальше. Черезъ нѣсколько минутъ Березовскій опять началъ:

— «Я давно готовъ выдержать строгое академическое испытаніе. Но мнѣ не хотѣлось увѣзжать изъ Италіи. Последняя честь не позволила бы мнѣ уже долѣе оставаться у васъ; и не робость, не трудность, нѣтъ, страхъ лишиться вашего общества удержи-

валъ меня отъ развязки... Опыты моихъ успѣховъ въ музыкѣ извѣстны вамъ, всей Италиі и Государынѣ Императрицѣ... Что я собралъ здѣсь, надо посвятить въ отечествѣ.»

Мартини молчалъ.

— «Прошу послѣдней милости!» продолжалъ Березовскій: «Допустите меня къ испытанію завтра же, вмѣстѣ съ Моцартомъ.»

— «Завтра, изволь! Но не вмѣстѣ... Это противу правилъ, академія не конское ристалище. Не тотъ хорошъ, кто лучше, а кто самъ собою хорошиъ, по требованіямъ науки. Завтра, въ 10 часовъ утра — ты; въ 12 Вольфгангъ... до свиданія!»

На другой день рано по утру вся Болонья была взволнована вѣстію, что молодой Моцартъ дерзаетъ насильно ворваться въ святилище музыки, откуда со стыдомъ бѣжали цѣлыя полчища музыкантовъ съ репутацией; композиторовъ, наводнившихъ итальянскіе театры разнаго рода и достоинства операми; капельмейстеровъ, управлявшихъ довольно важными публичными оркестрами. Званіе академика не только казалось, но въ существѣ было очарованнымъ, недоступнымъ замкомъ; для того, чтобы туда проникнуть, требовалось необыкновенныхъ свѣдѣній и силы духа. Болонскій академикъ во всей Европѣ имѣлъ такое же значеніе, какъ и въ самой Болоніи. Слава и достоинства Мартини и его неподкупныхъ совѣтниковъ были извѣстны всему сколько нибудь образованному міру. Это званіе уничтожало всѣ прерогативы къ полученію важнаго мѣста, гдѣ бы то ни было; но избранный день не былъ благопріятенъ для

академикомъ Болонскихъ, какъ вы увидите. Соображая все обстоятельства, остается думать, что всею виною дурно выбранный день. И погода была какая-то необыкновенная, непостоянная; дождь перемежался съ сѣверо-западнымъ вѣтромъ; было холодно, сыро. Не смотря на погоду, улицы были покрыты любопытнымъ народомъ. Bambino! мальчишка! шарлатанъ! отцевская кукла! и тому подобныя выраженія были слышны въ разныхъ мѣстахъ. Особенную дѣятельность языка и ногъ обнаруживали такъ называемые профессора музыки; они вовсе не принадлежали къ академіи, занимались вольной практикой, учили пѣнію и писанію нотъ или игрѣ на инструментахъ; нѣрѣдко профессора знали меньше своихъ учениковъ; этотъ классъ, до нынѣ существующій съ нѣкоторыми перемѣнами, тогда былъ весьма многочисленный; они составляли когорты или партіи известныхъ людей, и даже академиковъ, въ надеждѣ посредствомъ лести, ласкательствъ, протекціи ворваться въ академію; но пока жилъ Мартини, патроны не могли пропустить въ академію ни одного кліента. Хотя на доскѣ, гдѣ обыкновенно выставлялись имена допускаемыхъ къ испытанію, написано было и имя нашего Березовскаго, но объ немъ никто не заботился. Любимый ученикъ Мартини, онъ не могъ не выдержать экзамена, тѣмъ болѣе, что онъ учился въ Болоніи шесть лѣтъ и посѣтилъ все города, гдѣ жили ученые по его части. Никто не сомнѣвался въ уснѣхъ. Напротивъ того, все были увѣрены, что строгость и проицательность Мартини обнаружатъ обманъ, которымъ отецъ

Моцартъ такъ давно дурачилъ всю Европу. Ударило девять часовъ. Двери академіи отворились. Оттуда въ красныхъ тогахъ и черныхъ инапочкахъ попарно вышли академики, цензора и наконецъ *Principes academiae*, Мартини. Передъ нимъ на бархатныхъ подушкахъ младшіе капельмейстеры несли президентскій жезлъ и хартію. Вся академія перешла черезъ улицу въ ближайшую церковь, выслушала молебствіе и тѣмъ же порядкомъ возвратилась въ залу засѣданій, куда вслѣдъ за ними ворвалась и толпа народа. Два цензора поднесли Березовскому тему, заданную Мартини, увели его въ боковую комнату, тамъ заперли и воротились на мѣста. Прошло около получаса. Академики во все это время читали книги, каждый про себя; нѣкоторые писали музыку. Крикъ швейцара: Леопольдъ и Амедео Моцарты! раздвинулъ и взволновалъ толпу. Моцарты поклонились президенту, потомъ членамъ, наконецъ публикѣ. Все это совершалось съ театральною важностью. Мартини взявъ со стола жезлъ, другою рукою поднялъ бумажку. Цензора приняли ее почтительно и понесли къ Моцарту... За тѣмъ отца разлучили съ сыномъ и обоихъ заперли въ разныя боковыя комнаты. Публика не утерпѣла и громогласно одобрила эту мѣру предосторожности. Прошло не болѣе получаса. Березовскій и Моцартъ въ одно время трижды застучали въ двери; цензоры выпустили затворниковъ. Очередь была за Березовскимъ. Академики молча просмотрѣли его работу; многіе съ удовольствіемъ улыбались; послѣдній взялъ поты

Мартини, нѣсколько разъ просмотрѣлъ ихъ съ начала до конца, взявъ опять жезлъ и всталъ; всѣ встали за нимъ и это было знакомъ единогласнаго одобренія... *Dignus!* сказалъ Мартини и цензоры, взявъ Березовскаго подъ руки подвели къ президенту для принятія диплома. Принявъ грамоту на всемірную извѣстность и музыкальную славу, Березовскій занялъ указанныя президентомъ кресла. Вся эта церемонія совершалась при громкихъ восклицаніяхъ публики. Пришла очередь Моцарта, — и толпа заволновалась и затихла; всѣ глаза были обращены на члена, которому по порядку приходилось читать работу Моцарта. *Optime!* воскликнулъ первый; *mirandum!* сказалъ другой. Восклицанія удивленія умножались болѣе и болѣе, возрастая съ переходомъ бумаги изъ рукъ въ руки. Одобрительная полуулыбка Мартини показалась и Моцарту и публикѣ какимъ-то сіяніемъ лучшей, высшей славы; и та же толпа, которая за часъ изрыгала хулу, вложенную въ уста народныя хлопотливою завистью, та же толпа отъ безмолвнаго удивленія перешла къ громовымъ изъявленіямъ восторга. Когда, по уставному порядку, цензоры усадили и Моцарта въ академическія кресла — Мартини поднялъ жезлъ — и все затихло. Рѣчь его была коротка и заключала родъ отцовскаго благословенія и напутствія молодымъ сочленамъ. Этимъ заключилась церемонія и президентъ съ тѣми же спутниками, на тѣхъ же ослахъ отправился къ Фаринелли. Хозяинъ ожидалъ ихъ на дорогѣ и весьма удивился, когда Мартини, вмѣсто одного академи-

ка, представилъ ему двухъ. До этого дня Фаринелли не обращалъ большаго вниманія на Березовскаго, почитая его обыкновеннымъ ученикомъ, прислужникомъ Мартини. — И вдругъ прислужникъ — Болонскій академикъ! Massimo, красивый, блондурий Massimo, игравшій въ бесѣдахъ въ молчанку, сидѣвшій всегда въ углу, тише кошки и — онъ академикъ... Удивленіе Фаринелли возрасло еще болѣе, когда онъ узналъ, что этотъ Massimo — Русскій!

— «Эти Русскіе...» сказалъ онъ задумчиво: «на-дѣлаютъ много бѣдъ въ Европѣ. Вчера ночью я получилъ извѣстіе, которому съ трудомъ вѣрю... Русскій флотъ въ Дарданеллахъ!»

— «Возможно ли?» спросилъ удивленный Мартини.

— «А могъ ли я ожидать, что твой Massimo сегодня будетъ академикомъ. Какъ въ искусствѣ, такъ и въ политикѣ надо имѣть талантъ. Въ Петербургѣ теперь славная политическая академія и удивительный президентъ. Скоро всѣ наши географіи будутъ негодны. Екатерина сочиняетъ новую... Твой Massimo все-таки для меня загадка...» и Фаринелли сталъ спрашивать Березовскаго о разныхъ подробностяхъ жизни; собесѣдники изъявили также любопытство; Максимъ Созонтовичъ, блѣднѣя, краснѣя и запинаясь, принужденъ былъ рассказать свою исторію.

— «Мнѣ, право, совѣстно...» такъ началъ онъ: «Ужь сдѣлайте милость, извините... Я совсѣмъ не умѣю говорить... И что вамъ за охота и нужда

знать, кто я и откуда, и то и другое... Развѣ отъ того что нибудь прибудеть или убудеть... Право, не знаю, какъ вамъ это все и объяснить, потому что объяснять нечего, а стороны моей вы совсѣмъ не знаете и никогда о ней не слыхали. Китай и Америка для васъ ближе, чѣмъ моя Украина... Тамъ, видите, все иначе, не такъ какъ въ другихъ земляхъ. Украина не то, чтобы народъ какой былъ, а войско, казачество, рыцарство. И не то, чтобы войско, потому что есть помѣщики и мужики. Край чудный, край богатый, вашему въ Божьихъ дарахъ не уступить — да люди науки дичатся, хотя у нихъ подъ бокомъ въ Кіевѣ — академія. Рѣдкій помѣщикъ туда сына отпустить. Я былъ счастливѣе другихъ. Отецъ мой въ Петербургъ по дѣламъ лѣтъ шесть прожилъ. Воротился въ свое село, видитъ: я подростъ; онъ отдалъ меня на руки вѣрному слугѣ и отправилъ въ Кіевъ; чему можно, тому я тамъ научился, а на досугъ пѣсни складывалъ, составлялъ для нихъ свою музыку; какъ, не знаю, только начала гармоніи лежали въ душѣ моей; я писалъ на два, на три, потомъ и на четыре голоса; выходило складно; и товарищи и учителя — дивились; донесли генералу Румянцеву; тотъ меня въ Императорскіе пѣвчіе отрекомендовалъ; отвезли меня въ Петербургъ; въ Петербургъ сказали, что у меня есть талантъ и отправили въ Италію...»

— «И только?» спросилъ Мартини: «Больше нечего тебѣ рассказать, Массимо!»

— «Да что же вамъ еще рассказывать; что у

меня отецъ умеръ; что мнѣ надо вѣхать въ Петербургъ; тамъ у меня и служба и братья учатся. Богъ имъ не далъ музыки; надо имъ отдать земное въ руки; надо вѣхать поскорѣе; не то братьевъ въ армию на войну безъ меня ушлютъ; вотъ и все...»

— «Такъ я-же доскажу, Массимо, если ты не хочешь...» сказалъ Мартини: «Года не прожилъ у меня Массимо, какъ я замѣтилъ необыкновенныя его способности; онъ не учился, а будто шелъ по лѣстницѣ, безъ труда и усталости; послѣ трехъ лѣтъ, я самъ послалъ ко двору Екатерины его церковныя сочиненія и не сомнѣвался въ успѣхѣ. Я видѣлъ пьесы Сарти; онъ не лучше. Я побоялся, чтобы привычка ко мнѣ не имѣла вреднаго влiянiя на стиль и манеру; отправилъ его въ Верону, Парму, Миланъ, Римъ и Неаполь. Отовсюду онъ привезъ дипломы и не хотѣлъ нашего. До сего дня я щадилъ его скромность и любовался этимъ несомнѣннымъ признакомъ большаго таланта. Сегодня послѣдовала Емансипаціо. Ты не ученикъ мой, а товарищъ. Теперь я могу хвалить тебя, не краснѣя.»

— «И такъ, Массимо, вы хотите насъ оставить; талантъ вашъ похоронить...»

— «Посвятить отечеству; оно въ немъ нуждается. Отецъ Мартини правъ: я приобрѣлъ стиль и манеру, не отъ него, отъ всѣхъ; сочиненія мои могутъ хвалить и чувствовать Итальянцы; дерево одно, но у него много вѣтвей; такъ и у музыки; итальянская музыка только вѣтвь, можетъ быть

главная, но дереву объ одной ветви быть нельзя; должны расти и другія; между нихъ должна быть и русская ветка; чужеземецъ не съумветъ ни привить ее, ни выростить; для того надо быть Русскимъ. Надо открыть ея начала; ихъ обнаружить ученое наблюдение; я помню такъ сказать цвѣтъ нашего церковнаго пѣнія и народныхъ пѣсень; въ нихъ много своего, какъ въ плодахъ земли; пусть будетъ тыква, да своя, не чужая дыня. Народной музыки еще нигдѣ нѣтъ въ правильномъ развитіи, а уже всѣ противу нее вооружаются. Значитъ она должна быть. Говорятъ: не вкусно, не нравится. Нашему брату подавай нашего перцу, Англичанину — англійскаго, Турку турецкаго, а у искусства повара — всѣ хороши. То, что есть — должно быть. Не вытопчешь, не вырѣжешь ничего изъ Божьяго міра. Не уничтожай ничего; улучшай все! Перваго ты сдѣлать не можешь; второму благодатная помощь отъ Бога прійдетъ; ткали рогожу, доткались до батиста...»

Massimo замолчалъ и голова его упала на грудь, распаленная размышленіями и усиліемъ высказать свою мысль.—Итальянцамъ не совсемъ была понятна тоска Березовскаго, но маленькій Моцартъ легко понялъ Максима Созонтовича; онъ самъ думалъ тоже... Не смѣтруя на всѣ усилія Фаринелли, разговоръ не могъ возобновиться. Березовскій упорно молчалъ. Бесѣда переходила на другіе предметы, но все какъ-то урывочно, нескладно и гости на этотъ разъ уѣхали раньше обыкновеннаго. Березовскій тихо прошелъ въ свою

комнату и въ какой-то безотчетной задумчивости ходилъ взадъ и впередъ; удивительно, какъ у него голова не закружилась отъ непрерывныхъ оборотовъ, потому что во всей діагонали его комнатки не было болѣе двѣнадцати шаговъ; шумъ въ передней прекратилъ эту ходьбу, похожую на движеніе маятника.

— «Не до насъ!» говорилъ Опанасъ за дверьми: «Изъ Петербурга еще могутъ быть письма отъ Ивана, или отъ Терентія Созонтовича, а то изъ какой-то Ливорны; такого и города нѣтъ: а если и есть, такъ мы тамъ не бывали; кто же до насъ станетъ писать. Вѣрно кому нибудь другому. И безъ насъ есть на свѣтъ Березовскіе. Вотъ въ Черниговъ—генеральнымъ судьей—Березовскій...»

— «Да ужъ это навѣрно къ твоему господину...» отвѣчалъ неизвѣстный голосъ: «Поди, доложи!»

— «Стану я докладывать! я могу и просто сказать, да не можно; только что съ паномъ Мартыномъ съ хутора вернулись, отдыхать легли...»

— «Нѣтъ, я не сплю!» сказалъ Березовскій, выходя изъ своей комнаты: «Что такое?...»

— «Да что такое! Навязываетъ письмо. Говорить изъ Ливорны...»

Березовскій уже не слушалъ Опанаса; въ рукахъ его дрожало письмо; на немъ странная надпись: *Любезнѣйшему брату нашему Максиму Созонтовичу; въ Болонью, а нѣтъ въ Болонью, то въ другомъ Итальянскомъ городѣ, идъ есть пльчѣе или музыка. За тѣмъ мелкими буквами приписанъ былъ*

по-итальянски дѣйствительный адресоъ Березовскаго.

«Вотъ, любезнѣйшій братецъ нашъ Максимъ Созонтовичъ! и не дождался мы васъ, и все въ ротъ надъ нами смѣялись, глаза кололи, что братецъ итальянскій пѣвчій, за горами пѣсни поетъ, да за Итальянками ухаживаетъ, а насъ уже на коронный коштъ обмундѣрили, обстригли и отослали сюда въ приморскій городъ Ливорно, для того, что, какъ наши корабли изъ Туречины придутъ, то и насъ заберутъ и завезутъ на греческіе острова гарнизоны держать. Мы всемъ довольны, только бы хотѣли повидаться съ вами, братецъ Максимъ Созонтовичъ. Намъ изъ Ливорны нельзя, а вамъ сюда можно. Будьте ласковы, любезнѣйшій братецъ, пріѣзжайте. Турковъ слышно на голову nobили, корабли вернуться могутъ и насъ заберутъ. Тогда поминайте какъ звали. Съ чувствительнѣйшимъ почтеніемъ и неложною преданностію, остаемся ваши, любезнѣйшіе братцы Иванъ, да Терентій Березовскіе...»

Въ тотъ же день, ночью, Максимъ Созонтовичъ съ Опанасомъ отправились въ Ливорно; на дорогъ они повстрѣчали многихъ русскихъ и чужестранныхъ курьеровъ, но ни одинъ не могъ или не хотѣлъ объяснить имъ съ какою вѣстію ѣхалъ. Наконецъ они достигли Ливорно; толпы народа волновались по улицамъ; одни другимъ пересказывали всемъ извѣстную повость; Максимъ Созонтовичъ не рѣшался спросить въ чемъ дѣло; какое-то невольное опасеніе его удерживало; уди-

васнѣ и любовитство ея возрали, когда въ гостинницъ сказали ему, что всѣ Русскіе, скользя ихъ тутъ не было, ували въ гавань, на русскій корабль, поутру приплывшій въ Ливорно. Перувивъ Опанаеу устроиться на квартиру, Максимъ Созонтовичъ испынилъ въ гавань, сѣлъ въ верную лодку, какая ему попала и поплылъ къ кораблю, видъ котораго наводилъ уныніе и множилъ тревогу въ душѣ Березовскаго. Безъ мачтъ и парусовъ стоялъ онъ; во многихъ мѣстахъ ребра его были избиты, изломаны; тысячи лодокъ какъ стая хищныхъ птицъ около слоноваго трупа, кружились на покойномъ какъ зеркало морѣ; почти на всѣхъ лодкахъ сѣдали нарядно разодѣтыя дамы; на палубѣ корабля-инвалида гремѣла музыка, раздавались веселые клики; на одной сторонѣ палубы ставили зеленую палатку и сердце Березовскаго радостно вздрогнуло, когда на этомъ шатрѣ, вмѣсто мѣднаго шарика, загорѣлся золоченый крестъ. Окрестъ представлялась картина очаровательная; стѣны, возвышенія, крыши, все покрыто было пестрою толпою народа; на всѣхъ корабляхъ, стоявшихъ въ гавани, развѣвались всѣ европейскіе флаги; казалось вся Европа чему-то радуется, и виновникомъ этой радости явственно былъ русскій разбитый корабль. Гребецъ повернулъ мимо корабля.

— «Причаливай!» закричалъ Березовскій.

— «Недѣзя...»

— «Я Русскій!» еще громче прикрикнулъ Березовскій и лодочникъ почтительно сѣлъ шаялу.

Причалили. Въ одно мгновение Березовскій изобрался на палубу; но тамъ уже все утихло; солдаты охружали зеленую палатку съ обнаженными головами. Кларъ гремѣлъ молебными пѣснями; Березовскаго охватило неописуемое чувство; дыханіе у него остановилось; сердце сжались; мгновение — и слезы брызнули въ три ручья; рыдая, онъ бросился въ палатку и распростерся передъ походнымъ престоломъ. Тебѣ Бога хвалимъ, тебѣ благодаримъ, вѣстѣ со свѣщенникомъ занѣмъ Березовскій звучнымъ, серебрянымъ теноромъ, и обратилъ на себя общее вниманіе. Изъ угла раздались крики.. «Это вы, братецъ, это вы, Максимъ Созонтовичъ!..» И братья, проливая радостныя слезы, обнялись съ надлежащею горячностью. Максимъ Созонтовичъ разчувствовался, совершенно забылся и сталъ по порядку обнимать всѣхъ присутствовавшихъ; дошла очередь до какого-то генерала; тотъ не отказался отъ такою искренняго поздравленія: обнявъ Березовскаго и спросилъ: откуда пожаловать изволилъ? Тутъ только опомнился Березовскій, смутился не на шутку и отступая бормоталъ какія-то несвязныя извиненія.

— «Это нашъ братецъ, Максимъ Созонтовичъ Березовскій!» сказалъ братъ Иванъ: «Мы уже докладывали вашему сіятельству.»

Князь протянулъ Березовскому руку. Видя, что тотъ пришелъ еще въ большее смущеніе, князь взялъ его за руку по ниже плеча, поставилъ возлѣ себя и сказалъ тихо: «Радъ знакомству съ вами, но дослушаемъ молебеніе.» Вскорѣ съ ко-

рабля раздались пушечные выстрѣлы и громкое ура! Лодки любопытныхъ Ливоридевъ отхлынули, хотя это была самая интересная минута праздника. Князь вышелъ на палубу, и принималъ поздравленія:

— «Теперь, господа, пообъедаемъ!» сказалъ князь. «Мы растаемся кажется на долго. Надо сизнѣть. Посидимъ въ темницѣ. Я надѣюсь выпросить у тосканскаго правительства льготу для побѣдителей Турковъ; мы уже очистились отъ чумы чесменскимъ огнемъ. Пусть зачтутъ намъ это время въ карантинный срокъ...»

Это замѣчаніе навело на всѣхъ уныніе. Тутъ только вспомнили всѣ, что по тогдашнимъ правиламъ и понятіямъ о чумѣ, — они безъ исключенія и снисхожденія подвергались сорока-дневному карантину. Положимъ, побѣдители Турковъ — соприкасались съ носителями чумы; но ихъ гости невинно попались въ ту же категорію, не убивъ ни одного Турка; чувство патриотизма перенесло ихъ на корабль, откуда не было возврата до истеченія сорока дней. Но Русскій не знаетъ продолжительнаго унынія. Нѣсколько мгновений неудовольствіе выражалось короткими фразами; удачная шутка розогнала досаду и пошелъ пиръ горой, продолжавшійся до глубокой ночи. Карантинъ, какъ и всѣ карантинны, сначала былъ весьма строгъ; пристава объѣзжали корабль на лодкахъ, не смѣя къ нему приблизиться; но мало по малу стали вступать въ разговоры съ оцѣпенѣлыми; привозили все нужное изъ города, принимали подарки; раз-

рѣшеніе изъ Флоренціи пришло тогда уже, когда не было нужды въ разрѣшеніи. Вся офицеры не только побывали въ Ливорнѣ, но посѣтили театръ, слушали оперу и на корабль другъ другу сообщали свои небывалыя городскія похождения по амурской части. Одинъ только Березовскій ни за что не хотѣлъ съѣзжать въ городъ до истеченія срока; черезъ другихъ посылалъ наставленія и деньги Опанасу и съ жадностью слушалъ и переслушивалъ рассказы о чесменскомъ побойцѣ. Но вотъ, всѣ градскія власти на великолѣпной лодкѣ пристали къ кораблю, поздравили князя съ неслыханной побѣдой и объявили объ окончаніи карантинна. — Князь на скоро простился съ ними и со своими, сѣлъ въ шлюпку, и отправился въ Ливорно. Лодочники окружили корабль и сняли съ него всѣхъ офицеровъ и гостей. Березовскіе также переехали въ Ливорно, и само собою разумѣется, расположились на житье у Максима Созонтовича въ выгодной квартирѣ въ лучшей городской гостиницѣ. Опанасъ имѣлъ довольно времени къ принятію дорогихъ гостей. Онъ встрѣтилъ ихъ у пристани.

— «Бдуть! Бдуть!» закричалъ онъ во все горло, завидя Березовскихъ. «А и молодцы же какіе! До Максима добираются; и доберутся, какъ подростутъ. Здравствуйте, Иванъ Созонтовичъ! здравствуйте, Терентій Созонтовичъ! здравствуйте! Вотъ же, Богъ знаетъ гдѣ, на краю свѣта, а привелось увидѣться. А видно таки въ школѣ васъ хорошо кормили! Видишь, какіе толстенныіе. Даромъ что

молодость! Вотъ я люблю васъ за это, что на сухари не похожи... А что за городъ пречудесный! двухъ глазъ мало, всего насмотришься: пойдете, я вамъ покажу пушкарню, или гдѣ большія веревки вертять...»

— «Нѣтъ, Опанась! дай намъ прежде дома осмотрѣться, а тогда уже...»

— «Домой, такъ домой, а въ пушкарню завтра. И то правда, что панъ Мартынъ изъ деревни наши деньги получилъ и сюда прислалъ; да еще былъ какой-то жидъ или цыганъ; спрашивалъ васъ, пана Максима. Я ему сказалъ: панъ на морѣ живетъ, ступай туда... Да каждый день приходитъ. И сегодня былъ. Вы съ нимъ осторожно. Долженъ быть изъ таковскихъ, какъ говорятъ Москали. Вотъ и домъ! Вотъ эта лѣстница наша; мы тутъ одни; и ключъ у меня; вотъ тутъ будетъ спальня, какъ въ академіи; тамъ учиться, а здѣсь обѣдать...»

— «Чему учиться?» спросилъ Иванъ.

— «Вотъ это вы изъ школы выскочили, да и забыли про науку. Нѣтъ, паньчу! Максимъ Созонтовичъ все учится, каждое утро поетъ, играетъ и пишетъ.»

Въ это время Максимъ Созонтовичъ распечаталъ огромный пакетъ, присланный отъ Мартини; свертки съ червонцами упали на полъ; но Березовскій не обращалъ на нихъ вниманія; онъ жадно читалъ огромный листъ; то былъ дипломъ Болонскаго музыкальнаго общества на званіе капельмейстера. Новая и важная честь; она чувствительно тронула

Болонскаго академика; онъ зналъ, что этой честью онъ обязанъ Мартини. Не успѣвъ онъ раздѣлить своей радости съ братьями, Опанасъ, взглянувъ въ окно, закричалъ: «Прячьте деньги! Жидъ идетъ!..» И черезъ нѣсколько мгновений раздался вопросительный звукъ въ двери. «Войдите!» сказала Березовскій и въ комнату съ низкими поклонами вошелъ человекъ небольшого роста; наружность его совершенно оправдывала мнѣніе Опанаса...

— «Что вамъ угодно?» спросилъ Березовскій...

— «Много и высоко уважаемый членъ Болонской академіи и капельмейстеръ знаменитаго общества не приметъ за дерзость — искреннѣйшаго желанія содержателя здѣшняго театра — свести съ вами знакомство. Отецъ Мартини...»

— «Очень радъ съ вами познакомиться! Садитесь! мы только что воротились изъ карантина! Не успѣли осмотрѣться...»

— О, простите, простите, тысячу разъ простите! назначьте время, когда я могу имѣть счастье представить вамъ мое предложеніе...»

— «Какое предложеніе?»

— «Санъ Себастіано, театръ нашъ, по удивительному превосходству прима-донны и другихъ сюжетовъ, можетъ быть самостоятельнымъ, но вы знаете, что мы получаемъ всѣ оперы очень поздно отъ переписчиковъ, а это приходится очень дорого; наши слушатели люди торговые, бываютъ въ разныхъ городахъ, слышать музыкальныя новости прежде, и въ Ливорнѣ ходятъ въ С. Себастіано только отъ нечего дѣлать. Надо бы свою оперу,

знаменитой руки — и С. Себастьяно привлечетъ въ Ливорно слушателей даже изъ другихъ городовъ. У меня оперы не спешутъ, за это ручаюсь. Такъ вы мнѣ позволите ли, знаменитый мужъ, прийти къ вамъ...»

— «Если за оперой, напрасно будете трудиться. Это не мой родъ... Я далъ себѣ слово никогда не писать оперъ...»

Impressario истощилъ все краснорѣчивыя убѣжденія, расточалъ безстыдную лесть, все напрасно. Березовскій не согласился. Опечаленный Sisto, такъ назывався содержатель Ливорнскаго театра, вздохнулъ, вынулъ четыре билета и, положивъ ихъ на столъ, сказалъ съ улыбкой: «Я не теряю надежды! На этотъ разъ смѣю надѣяться, что вы не откажетесь удостоить С. Себастьяно вашимъ посвященіемъ сегодня, въ 6 часовъ. «Гекуба» opera Seria! Вашъ преданный слуга!»

И неожиданная отвѣта, Sisto ушелъ.

II.

PRIMA-DONNA.

Что такое — поэзія, если не живое воспоминаніе? Откуда набираютъ поэты столько воспоминаній? Душа помнитъ; разумъ только вѣрить; а гдѣ что видѣлъ, слышалъ, объ этомъ не спрашивайте; можетъ быть память сохранила впечатлѣніе сна; осуществила воспоминаніе о томъ, что было до рожденія; вездѣ тайна; во всемъ тайна; что было сегодня знаніемъ, завтра отошло въ область по-

басенокъ, въ пищу такъ называемому новъжеству. Выводы опыта не лучши догадокъ; безчисленныя явленія; ни одной причины и тма умничаній, исполняющихъ должность причинъ — но за то явленія увлекательны; ихъ вліяніе волшебное; мелодія, напримѣръ, явленіе самое поэтическое, но что, откуда оно? Съ какого свѣта отголосокъ; какъ пришла она въ Божій міръ, куда летитъ отъ насъ; неужели воздухъ не имѣетъ памяти и ничего не сохраняетъ? Композиторъ, говорите, сочинилъ мелодію. Полноте. Отъ чего же я плачу, слушая эту мелодію, отъ чего я понимаю ее; знаю, что онъ первый облекъ ее въ ноты; этотъ подвигъ принадлежитъ ему, а мелодія моя, ваша. Есть и такія мелодіи, которыя ни мои, ни ваши, а композитора; но эти мелодіи не мелодіи; это ноты, сложенныя въ осмитактную фигуру, какъ лоскутки картона въ головоломкѣ (Casse-tête). Нѣтъ, та, моя — *ваша* мелодія не носитъ признаковъ человѣческаго созданія; она унала изъ головы чловѣка, какъ золотая пылинка, брошенная случайной волной на прибрежный песокъ; люди хитры; они умѣли усадить безплотный огонь на воковой свѣтильняхъ; нечего дивиться, что и другое безтѣлесное явленіе могло получить у нихъ такую же осязательность и человѣческій голосъ прислѣлъ въ кавткъ линеекъ на разнообразныхъ крючкахъ. Его читаютъ, какъ мысль словесную; это не бѣда, напротивъ, полезно, но вотъ что жаль: иные слушаютъ музыку будто разбираютъ египетскіе іероглифы и этому несчастію подвергаетъ ученію.

Братья Березовскіе, военные, слушали увертуру съ удовольствіемъ; зрію прима-донны съ восторгомъ; Максимъ Созонтовичъ — ему нечего было читать въ этой музыкѣ; и когда разношерстная публика С. Себастьяно, во окончаніи орк., стала кричать и хлопать — Максимъ Созонтовичъ съ изумленіемъ оглядывался и не понималъ причинъ. Онъ не зналъ, что причину онъ давно потерялъ, выкуривъ ее изъ себя ученіемъ, а окружающіе носили ее безъ устали и вѣроятно весь умерли вмѣстѣ съ нею. По врожденной добротѣ и снисходительности, Максимъ Созонтовичъ не хотѣлъ выйти изъ театра; нусть себя поютъ, дослушаю, думалъ онъ; ужъ другой разъ за то не пойду; поплю Опанаса, ему понравится. — Онъ бы еще что нибудь придумалъ, да на сцену вошелъ хоръ: три души мужеска и двѣ женска пола пропѣли, пропѣумѣли и въ Гекубъ, то есть прима-доннѣ, подошла молодая дѣвушка, завѣла речитативъ и увлекла все вниманіе Березовскаго. Весь речитативъ состоялъ изъ десяти словъ, но каждое было произнесено такъ зрѣло, выразительно, сильнымъ, звучнымъ и несповѣдно пріятнымъ сопрано, что Максимъ Созонтовичъ, къ общему соблазну, воскликнулъ громко: «Вотъ эта знаетъ, что поетъ.» По несчастію, эти слова вырвались по итальянски, возбуждали смѣхъ, досаду въ приверженцахъ Гебуки; въ бѣдную дѣвушку полетѣло нѣсколько яблокъ; раздался сильный свѣтъ; присутствіе Русскихъ, побѣдителей Турковъ, выручило Березовскаго отъ неприяностей; но пѣвица, смущенная, расонлака-

ней, должна была сойти со сцены и во всю оперу болѣе не появляться передъ раздраженными слушателями. Изъ театра молодежь толпами повалила въ кафе; болѣе всего набралось народа въ кафе, которое смѣтливый хозяинъ называлъ русскимъ. Офицеры пристали къ Максиму Созонтовичу...

— «Что вы сегодня откололи въ театрѣ? Неужели вамъ не понравилась прима-донна?» спрашивали наперерывъ знакомые и незнакомые. Березовскій качалъ головой въ какой-то странной задумчивости. Докучливые вопросы, умножаясь, принудили его къ объясненію.

— «Я сказалъ, что думалъ. Могъ ошибиться и можетъ быть ошибся. Но прима-донна поетъ, какъ всѣ итальянскія пѣвицы; ломаетъ музыку, чтобы удивить пустяками... Пѣніе выражаетъ-же что нибудь, а мы половыми словъ и не поняли; они погибли въ блестящихъ *staccato*. И все это, по совѣсти, происходитъ отъ того; что она не понимаетъ, что поетъ... тогда какъ другая...»

— «Хороша собой, какъ прелестная мечта Гвидо Рени» замѣтилъ офицеръ, который любилъ говорить о живописи. «Она не уйдетъ отъ меня. Я радъ ея несчастью; теперь она будетъ нуждаться въ утѣшеніяхъ, а я на это мастеръ. Отъ Чесмы до Ливорно, я только о томъ и думалъ, какъ бы завести интрижку съ актрисой. Говорятъ, это въ большой модѣ, а вотъ и мы повзримъ, хороша ли мода. Я уже въ театрѣ прінскалъ себя человѣчка, который знаетъ хорошеву корыстку и очень огорчился, когда ее постигло театральное несчастіе. Я

съ нимъ тотчасъ познакомился. Вы знаете, я на это мастеръ; мы сговорились завтра вмѣстѣ обѣдать; условимся и дѣло пойдетъ на ладъ...»

— «Видно, что новичекъ!» сказалъ морякъ, обросшій ужасными бакенбардами. «Еслибъ ты, Ваня, повздылъ по разнымъ странамъ съ наше, ты бы умѣлъ обходиться безъ чужой помощи; въ дѣлахъ любви третій всегда или соперникъ или предатель...»

— «Или плутъ, которому нужны деньги...»

— «Ну, постой же, Ваня! Хотя мнѣ надобны женщины до нельзя, да ужъ такъ и быть... я знаю, что я сдѣлаю...»

— «Что же ты сдѣлаешь?»

— «Мое дѣло...»

— «Послѣ меня, пожалуй, но ужъ прежде извини!...»

— «Признаюсь...» прервалъ очень молодой человекъ, не имѣвшій еще и офицерскаго чина: «Хорнетка и мнѣ ужасно понравилась. Я тоже думалъ за ней приволокнуться; но я умѣю быть хорошимъ товарищемъ и уступаю Ванѣ... Мы себя найдемъ...»

Такъ дѣлила молодежь между собою върную, по ихъ мнѣнію, добычу; рвчи ихъ тяжелымъ свинцомъ падали на душу Березовскаго и будили въ ней чувство сильное, чувство прекрасное—состраданіе. Ему хотѣлось бы вырвать у одного изъ рыцарей шпагу, бѣжать къ порогу несчастной и стать на защиту ея невинности... Невинность? О! въ этомъ Березовскій былъ увѣренъ. Въ немногихъ звукахъ роковаго речитатива она сказала Березовскому, такъ тайно, что никто болѣе не

слышалъ, всю чистоту души свѣжей; въ пѣніи ея господствовало спокойствіе совѣсти, въ лицѣ... вотъ лица-то онъ и не успѣлъ разсмотрѣть; это обстоятельство возбудило въ немъ досаду; онъ рѣшился удовлетворить своему любопытству; было еще не поздно; Березовскій схватилъ шляпу и ушелъ... «Куда?» закричало сто голосовъ. «Сей часъ прійду!» отвѣчалъ онъ уже съ площади, и узнавъ въ театрѣ, гдѣ живетъ Sisto, прямо къ нему отправился. Докладываться не было ни какой нужды; двери были отперты; живой разговоръ, какъ ручей, лился шумно въ гостинной...

— «Да кто закричалъ?» говорилъ Систо: «Скажите мнѣ кто кричалъ?»

— «Все равно!» вопила синьора Ладичи, примадонна, еще въ костюмѣ Гекубы.

— «Совсѣмъ не все равно! Какой-нибудь отчаянный Венгерецъ гаркнулъ съ пресоңья, а вы приняли это...»

— «Повторяю тебѣ, Систо, что для меня все равно. Вонъ Матильду! Вонъ! Сейчасъ! Чтобы она не смѣла являться на однихъ доскахъ со мною! Вонъ! Дрянъ! Она подучила этого варвара, подкупила своими прелестями...»

— «Синьора Ладичи!» отозвался звучный, по-жойный голосъ женщины. «Я теряю хлѣбъ насущный изъ вашего упрямства. Это еще не бѣда. Но у меня нѣтъ ни одного любовника...»

— «Сто! Любовника въ твоемъ званіи имѣть не стыдно; но у тебя ихъ много и всѣ должны скрываться въ тайнѣ — это ясно...»

— «Мнѣ, вѣрно, совѣстно васъ слушать... И лучше уйду...»

— «Нѣтъ, не уйдешь! Прежде надо рѣшить, кому изъ насъ оставаться на театрѣ Себастьяно...»

— «Позвольте, сдѣлайте милость!» опять началъ Систо. «Прежде надо узнать кто кричалъ?..»

— «Вотъ кто кричалъ!» съ бѣшенствомъ закричала Ладичи, указывая на входящаго Березовскаго...

— «Мазстро Массими!»

— «Мазстро Массими!» повторили женщины и всѣ онѣмѣли...

— «Я не кричалъ, а громко сказалъ мое мнѣніе и въ немъ, кажется, нѣтъ ничего обиднаго. И вамъ, первой пѣвицѣ, должно быть пріятно, что при васъ и второстепенныя актрисы возимаютъ свое дѣло.»

— «Ну, вотъ видите!» прервалъ радостно Систо: «Я вамъ говорилъ, что тутъ не было ничего обиднаго. Слава Богу, что вы, высокопочтенный мужъ, пришли ко мнѣ на помощь; безъ вашего внимательства мы бы никогда не кончили этой исторіи.»

— «А ты полагаешь, что исторія кончена!» съ злобыиымъ смѣхомъ вскрикнула Ладичи: «Я или она! Выбирай сегодня, сейчасъ, сію минуту...»

— «*Signora divina...*»

— «Я или она! Въ послѣдній разъ спрашиваю: я или она!»

— «Конечно вы, но... Она ушла! Господи Боже мой, скорѣе вы, знаменитый маэстро, навинете

десять оперъ, нежели Ладичи уступитъ мнѣ на волосъ! Отъ огня, меча, воды и прима-донны избави насъ, Господи! Нечего дѣлать, Матильда, мы должны разстаться...»

— «Я сама это вижу...» сказала Матильда съ тихою грустью: «особенно послѣ сегодняшняго происшествія...» и она печально взглянула на Березовскаго. Максимъ Созонтовичъ былъ тронутъ положеніемъ Матильды, но чѣмъ помочь горю? Душа его волновалась; сердце билось; онъ не смѣлъ смотреть на Матильду; она встала тихо со стула, подошла къ Систо и сказала шепотомъ:

— «Потрудитесь со мною расчитаться...»

— «Въ томъ-то и бѣда» отвѣчалъ смущенный Систо: «что у меня нѣтъ ни павла; вы видѣли сегодня, въ кассѣ со мной сидѣлъ полицейскій чиновникъ и забралъ весь сборъ на уплату долговъ нашихъ... Еще одно, два представленія такія, какъ сегодня... и я чистъ, поправлюсь, заплачу вамъ съ благодарностью, принцу вамъ мѣсто, гдѣ-нибудь въ ближайшихъ городахъ... Чортъ возьми эту Ладичи! Безъ нея... Право, отдамъ, ей Богу отдамъ; повремените три четыре дня...»

Матильда горько улыбнулась и Систо замолчалъ отъ смущенія.

— «Куда я уѣду!» сказала Матильда: «Зачѣмъ я уѣду! О! я знаю, чувствую сама, что у меня достало бы дарованія и для большихъ ролей, но гдѣ мнѣ учиться, на что навѣтъ учителя...»

— «Въ этомъ вы не нуждаетесь!» поспѣшно перебилъ Березовскій. «Позвольте предложить мои

услуги; я останусь въ Ливорно всю зиму, а въ нѣсколько мѣсяцевъ можетъ быть, синьоръ Ладичи прійдется учиться у васъ...»

— «Какое неожиданное счастье! какой благопріятный оборотъ принимаетъ наше дѣло! Но, ради Бога, сохранимъ все это въ тайнѣ. Я женѣ не скажу... Что-же вы не радуетесь благополучію вашему, синьора? Кладъ упалъ съ неба, а вы льнитесь нагнуться, чтобы поднять его... Кланяйтесь, благодарите! Маэстро Массимо первый ученикъ отца Мартини...»

— «Знаю... но гдѣ и чѣмъ мнѣ жить? Меня держали на хлѣбахъ добрые люди въ долгъ; сомнѣвались и надѣялись, что вы заплатите; теперь и сомнѣніе и надежды исчезнутъ...»

— «Кто вамъ сказалъ, синьора? Кто вамъ сказалъ? Вотъ ваши деньги сполна! Расплатитесь съ добрыми людьми. Вотъ вамъ шесть червонцевъ впередъ. Вы будете получать исправно вамъ жалованье, и не будете играть на театрѣ. Согласитесь, такого предложенія никто вамъ не сдѣлаетъ...»

— «Но...»

— «Да что тутъ много говорить. Берите ваши деньги, ступайте! Помните, что мы съ вами поссорились, разошлись! Тайна между насъ троихъ. Учитесь!...»

— «Но я не хочу быть въ долгу...»

— «О, помилуйте, разсчитаемся! Съ перваго вашего дебюта я выручу всѣ мои издержки втрое! Уходите; Ладичи можетъ возвратиться, замѣтитъ

нашу сдѣлку и тогда сядетъ мнѣ на шею. Ради Бога, уходите! Маэстро Массими васъ проводитъ! Уходите, жена моя воротилась; она съ нею въ дружбѣ! Уходите, ну, такъ я самъ уйду! Прошу покорно оставить и мой театръ и мой домъ! Надѣюсь, мы больше не увидимся, убирайтесь!» и Систо ушелъ, хлопнувъ дверью, въ самое то время, когда красиво разодѣтая, блистательной красоты женщина вошла въ комнату и съ изумленіемъ слушала окончаніе разговора.

— «Что это значить, Матильда?» спросила жена Систо съ видомъ милостивой покровительницы: «Неужели ты должна пострадать за глупыя слова какого-то невѣжи? Я въ театръ не была, но мнѣ рассказывали...»

— «Простите, прекрасная синьора!» сказалъ Березовскій. Систо взглянула на него гнѣвно, но замѣтивъ красивую наружность гостя, ласково улыбнулась. Березовскій почтительно продолжалъ: «Конечно, Матильда не заслужила такого наказанія за чужую вину, но дѣло кончено. Супругъ вашъ исполнилъ только желаніе Ладичи — и вмѣстѣ желаніе Матильды.»

— «Развѣ такой ребенокъ можетъ уже имѣть желанія?..»

— «Пока только одно: славы первой итальянской пѣвицы!» и схвативъ за руку Матильду, Березовскій почти насильно вывелъ ее изъ дому, при громкомъ хохотѣ жены Систо...

— «Куда идти?» глухо спросилъ Максимъ Созонтовичъ. Матильда рукой указала въ переулокъ

и пошла впередъ молча. Березовскій проводилъ ее до дома, при прощаніи сухо сказалъ: «Простите, до завтра!» возвратился домой, не отвѣчалъ на вопросы Опанаса, не замѣтилъ отсутствія братцевъ; улегся, но спать не могъ.

— «Я испортилъ, я долженъ и поправить это дѣло!» думалъ онъ, метаясь на постели: «Но что, ежели я ошибся!.. Весьма легко... десять словъ!.. заученныхъ на двухъ трехъ счастливыхъ нотахъ... Наружность... (Березовскій покраснѣлъ) наружность чудная, глаза большіе, губы... (лихорадочная дрожь пробѣжала по всему тѣлу)... Но наружность одна не выкупить...» — И мысль за мыслию, мечта за мечтой, высыпали шумнымъ, блестящимъ роємъ, какъ-будто ночь освѣтилась горящими разноцвѣтными мушками въ этомъ фантастическомъ мірѣ и пѣли такъ отрадно, и уста... ть, что пѣли... Но всего не перескажешь... Приходъ братцевъ, довольно шумный и веселый, на мгновенье разогналъ свѣтлыя мечты; ночь опять потемнѣла, Максимъ Созонтовичъ притворился крѣпко спящимъ; Опанасъ сказалъ, что баринъ легъ не совсѣмъ здорово, и братцы присмирѣли, улеглись и за правду заснули. Тогда изо всѣхъ угловъ, съ неба, изъ-подъ земли, надъ головой Максима Созонтовича собрались безплотные и завели прежнюю свою пирушку. Крѣпко подружились они съ Березовскимъ, но солнечный лучъ разогналъ ихъ и поднялъ на ноги любимца свѣтлыхъ видѣній. Братцы еще спали; а Максимъ Созонтовичъ съ нотами и скрипкой подъ мыпкой стоялъ уже въ бѣдной гостин-

ной, откуда разогналъ полунагихъ и полусонныхъ дѣтей. Въ другой и послѣдней комнатѣ этой жалкой квартиры, шушукали нѣсколько человекъ, суетились, возились; только и можно было разобрать: Надвѣнь, ангелъ мой, бѣлую мою косыночку. Тебѣ она очень къ лицу... Паоло, отойди отъ дверей! стыдно подсматривать черезъ щелку... и тому подобныя родительскія наставленія. Наконецъ тотъ же голосъ произнесъ шепотомъ: Смѣло! смѣло! чего бояться! — Двери тихо отворились, поскрипывая весьма немзыкально и въ гостинную вошла дрожащая Матильда. Она не смѣла поднять глазъ и потому не видѣла, что Максимъ Созонтовичъ, но особенному какому-то чувству, не поклонился, а присмѣлъ какъ-то, понизился и зажмурился. И было отъ чего! Только въ полный день Матильду нельзя было назвать красавицей, потому что этого пошлаго названія было бы мало; только въ полный день, когда ни одна коварная тѣнь не могла украсть у Матильды малѣйшей частички ея красоты, можно бы утверждать и биться объ закладъ, что она не дѣва земная, а гостья съ другаго міра; знали это и Ладичи и жена Систо, и одѣвали ее уродливо и красили не въ попадѣ; и все еще не могли показать ее безобразною. Безлюдный переулокъ съ тѣхъ поръ, какъ сюда перевхала Матильда, сталъ шумной улицей, блестящимъ гульбищемъ; всѣ театральные слуги были подкуплены богатыми сластолюбцами; во всѣхъ сосѣднихъ домахъ каждая комната въ одно окно отдавалась въ наемъ дорогою цѣною; разными путями соблазнь

пробирался въ эту неприступную крѣвость — неприступную потому, что тутъ былъ неподкупный и недремлющій комендантъ, Лючія д'Орвеліо, вдова одного бавкрута, раззорившагося отъ собственныхъ благодѣяній. Отецъ Матильды былъ прикащикомъ въ купеческомъ домѣ д'Орвеліо; съ паденіемъ хозяина, и Джіакомо Вальоне потерялъ все, сохранилъ только теплую благодарность за ирѣжнее добро; Матильда имѣла хорошій голосъ, и Джіакомо опредѣлилъ ее въ хористки на Ливорнскій театръ, но не могъ жить чужимъ жалованьемъ, хотябы дочернимъ; умеръ, и Лючія взяла Матильду къ себѣ въ домъ, любила и берегла ее, какъ собственную дочь, хотя и своихъ дѣтей было у нея шестеро, малъ мала меньше. На театръ и съ театра Матильду провожалъ всегда старшій Космо, родъ самороднаго неприступнаго редута; осада многочисленныхъ обожателей Матильды обратилась въ блокаду. Бѣдность всего семейства и можетъ быть умышленная неоправность Систо угрожали Матильдѣ великой опасностью; но осажденные получили важное подкрѣпленіе; явился Березовскій. Онъ исподоволь выпрямился, осмѣлился взглянуть и чуть было не присѣлъ ниже прежняго. На него съ удивленіемъ смотрѣли черные блестящіе глаза; улыбка удивленія играла на дивныхъ устахъ. — «Что съ вами?» спросила Матильда — и Максимъ Созонтовичъ снова выпрямился; это ужъ такъ въ натурѣ чловѣка: безмолвная бесѣда источникъ самаго затруднительнаго смущенія; раздался звуки голоса и откуда берется бодрость и все идетъ на ладъ...

— Такъ, ничего, отвѣчалъ Максимъ Созонтовичъ; — солнце въ глаза... А куда тамъ солнце; окна этой комнаты были обращены на самый свѣрхъ; удивительно, что Матильда этого не замѣтила и бросилась къ окну чтобы задернуть занавѣску...»

— «Не трудитесь! Это съ бессонницы...»

— «А вы не спали?»

— «Не могъ! Послѣ карантина, не привыкъ еще къ новому мѣсту. И знаете, Атанасю, постлалъ мнѣ какъ-то неловко; переворачивался съ боку на бокъ; не могъ уместиться.»

— «Зачѣмъ же вы безпокоились! Мнѣ право совѣстно...»

— «О, помилуйте! Я такъ былъ золъ вчера на ванну прима-донну, что право всю ночь только о томъ и думалъ, какъ бы отомстить ей почувствительнѣе.»

— «Я вамъ не вѣрю, маэстро, впрочемъ...»

— «Да отчего же не вѣрите?»

— «Богъ съ нею! Мы говоримъ о ней за глаза. Я не ищу соперничества; куда мнѣ; я и не думаю о первыхъ роляхъ; сказать ли вамъ правду? я ненавижу театра, но...»

Люція приложила палецъ къ губамъ и посмотрѣла на двери. Березовскій вспыхнулъ.

— «Что же это? Такъ васъ принуждаютъ...»

— «Обстоятельства и обязанности. Я пѣла въ хоръ, точно такъ же, какъ принимаю вашъ вызовъ быть моимъ учителемъ. Но не бойтесь! Я не употреблю во зло вашей снисходительности. Про-

ну у васъ только полчаса времени и только сегодня...»

— «Боже мой, Боже, я готовъ...» Но маэстро какъ ни былъ восторженъ своею ученицею, не могъ кончить фразы; языкъ не повиновался; что сказать, онъ не умѣлъ, а сказать пошлую любезность его бы не достало.»

— «Вы будете такъ добры; испытайте меня; но ради Бога, скажите мнѣ откровенно могу ли пѣть превосходно и во сколько времени, или нѣтъ. У людей много способностей; я стану искать своей и отыщу... Рѣшите, чѣмъ мнѣ быть? Клависина у меня давно нѣтъ, потрудитесь взять скрипку...»

— «Что же мы будемъ пѣть?»

— «Что вамъ угодно. У васъ, кажется, есть ноты...»

— «Да это мои...»

— «Вѣдь вы ихъ возьмете съ собою...»

— «Но вы ихъ не пѣли...»

— «Такъ неужели вы станете слушать мои партіи изъ оперныхъ хоровъ. Позвольте! Вотъ у васъ, кажется, это арія для сопрано...»

— «Точно такъ...»

— «Позвольте...»

И скрипка мгновенно настроена и раздался оильный звучный голосъ, которому сначала сопутствовало легкое пѣніе смычка; мало по малу скрипка стала стихать; замерла и трудная арія, правда безъ вычуръ и украшеній, была пропѣта и пересказана съ безупречною вѣрностью интонаціи и съ замѣчательною правдою выраженія.

Есть лица, весьма обыкновенныя, а при пѣніи херошють, а тутъ... Напрасно разсказывать; нельзя и вообразить, не только разсказать подобныхъ впечатлѣній. Березовскій походилъ на скрягу, который нашелъ въ лѣсу кладъ такого объема, что ни поднять, ни спрятать. То просилъ Матильду, чтобы пѣла, то прерывалъ вѣнѣ, чтобы не слышали ся голоса на улицѣ... «Одну зиму, Матильда, одну зиму и не Ливорно будетъ для васъ поприщемъ. Мы поведемъ въ Болонью, въ Парму, въ Миланъ... Отонлите эти шесть червонцевъ — Систо; отонлите; это задатокъ за тяжкую неволю; подайте сюда эти шесть червонцевъ; а ихъ самъ отнесу Систо; я возьму съ него россію; пѣть! Мы съ нимъ кѣтъ! Мы не нуждаемся въ его помощи... Мы сами предпринимемъ ему условія... Слышите! Я скажу ему, что у васъ нѣтъ таланта, рывительно никакого расположенія къ музыкѣ. Онъ оставитъ васъ въ покоѣ, онъ забудетъ про васъ... О, мы надѣлаемъ чудесъ!.. Но, Матильда!..» и Березовскій посмотрѣлъ на нее такъ значительно, что та вздрогнула. Конечно, Матильда была очень молода, но жизнь при театрѣ, а еще болѣе заботливая Люція открыли ей много, что у педагоговъ считается не нужнымъ къ объявленію молодежи. Не такъ поступала Люція; она не старалась оставлять Матильду въ невѣдомомъ невѣдѣніи, что значатъ пламенные обеты любезныхъ юношей, богатые подарки пожилыхъ мужчинъ и дружба пожилыхъ женщинъ. Напротивъ, Люція явилась съ Матильдой теоріе страшной науки

свѣтской любви между богатою львицею и хоро-
шенькой актриссой. Странный слогъ рѣчей Бере-
зовскаго уже порождалъ сомнѣнiе. *Мы, да мы!*
Отъ чего же *мы*? Кто соединилъ ихъ такъ тѣсно?
И поведемъ вмѣстѣ, и чудесь надѣлаемъ, и этотъ
странный, палящій взглядъ, слинкомъ ярко обли-
чавшій страстную думу, которую Березовскій не
успѣлъ досказать. Матильда не могла не вздрог-
нуть. Она видѣла ясно, что гость хочетъ уволить
ее отъ зависимости Систо, съ тѣмъ, чтобы нало-
жить на нее свое ярмо... что за издержки суще-
ственные, за труды и хлопоты ученiя онъ пред-
ложитъ страшныя, отвратительныя условiя. Про-
тянувъ руку, блѣдная, она хотѣла предупредить
ударъ, отвести молнiю, но Березовскій не видалъ
ея движенiя; онъ отвернулся и не зналъ какъ
сказать то, что думалъ. Мысли, какъ корабли въ
узкой бухтѣ, стѣснились и ни одна не могла
выйдти...

— «Матильда! Матильда!» наконецъ робко про-
говорилъ онъ. «Искусство — мысль Божiя и жи-
ветъ только въ чистомъ сосудѣ... Птица поетъ
такъ сладко, потому что она невинна... Ахъ Гос-
поди, какое мученiе; вы меня не поймете, да я и
самъ не приберу словъ для моей мысли... Страсть
можно выразить вѣрно тогда только, когда мы
сами испытываемъ эту страсть; ахъ, не то, совсѣмъ
не то... Или лучше сказать, почти то... только
не такъ. Представьте себѣ двушкку: она любитъ,
желаетъ любить, потому что когда она любитъ
совсѣмъ, тогда уже любви не выразить; но когда

выйдетъ замужъ, тогда перестанетъ любить, и не то, что перестанетъ любить, но уже не пропоетъ своей любви. Артисту надо понимать страсть, а не чувствовать. Не любите, Матильда, если можете, никого не любите страстно — и я отвѣчаю за ваше первенство... Искусство — есть постъ страстей, математика нравственная, уединеніе въ толпѣ, борьба съ цѣлымъ свѣтомъ, съ самимъ собой... Матильда, достанетъ ли у васъ силъ? Матильда, свободно ли ваше сердце?..»

Рѣчь Березовскаго удивила не только Матильду, но и Лючію; хозяйка наскоро набросила на себя платокъ и выбѣжала въ гостиную посмотреть на чудака, который училъ молодую дѣвушку не любить. И какъ же удивилась Лючія, когда нашла, что учителю не было и тридцати лѣтъ, и что, по наружности, онъ могъ научить совершенно противоположному. Жарь, съ какимъ говорилъ Березовскій, убѣждалъ Лючію въ его искренности.

— «Ваши совѣты очень хороши ..» сказала она, какъ-будто давно была знакома съ Березовскимъ: «но не забудьте, что Матильда — женщина...»

— «Или пѣть, или хозяйничать на кухнѣ, кормить дѣтей, быть женой!..»

— «Пѣть!» почти вскрикнула Матильда...

— «Ну, вотъ и все! Давайте пѣть!.. Заприте окна... Пѣть ли у васъ комнаты поединеннѣ?.. Постойте! Пѣть! Я не могу... Мнѣ дурно... Мнѣ жарко... Оставьте меня одного... Я подумаю...»

Березовскій схватилъ шляпу и ушелъ. Скрипка и ноты остались на столѣ. Удивленные дамы про

вожали его глазами... Березовскій не зналъ Ливорно, да если-бы и зналъ, это-бы ни къ чему не послужило. Менѣе чѣмъ въ четверть часа, онъ очутился за городомъ, шель по прекрасной битой дорогѣ; по обѣ стороны въ небольшихъ промежуткахъ красовались большіе и малые лѣтніе домики; во многихъ ставни были еще заперты: такъ еще было рано; дорога вдругъ круто повернула и видъ моря своимъ великолѣпіемъ и незапностью поразилъ Березовскаго. Онъ остановился, оглянувшись: красивый дворъ, домикъ, за нимъ тѣнистый садъ; передъ заборомъ на дорогѣ скамейка. Все это въ порядкѣ вещей; Березовскій почувствовалъ усталость — и это въ порядкѣ вещей; онъ присѣлъ на скамью и возбудилъ опасенія чуткихъ собакъ: продолжительный ихъ лай вызвалъ къ калиткѣ старика, который издали еще кричалъ: кто тутъ? за чѣмъ пришелъ? Но увидѣвъ Березовскаго, почтительно снялъ шляпу, поклонился и сказалъ: «Не извольте бояться, синьоръ, моихъ сторожей; за рыветкой вы безопасны.

— «Это твои собаки?» спросилъ Максимъ Созонтовичъ разсѣянно.

— «Если хотите, одна только моя; вотъ эта бурая; а та другая, видите, вотъ та пѣгая, старая, дороже для меня чѣмъ своя...»

— «Отъ чего же она тебѣ дороже?»

— «Отъ того, что она была любимицей синьора Антонио.»

— «Такъ чтожь изъ этого?..»

— «А то, что синьоръ былъ мой благодѣтель...»

Березовскій всталъ и пристально посмотрѣлъ на старика.

— «А гдѣ же твой синьоръ?..»

— «У Бога. Умеръ съ горя, а добрая госпожа съ дѣтьми можетъ быть умираетъ съ голода; выгнали ее изъ этого дома; а кому онъ нуженъ? Вотъ другой годъ продають, никто его не хочетъ и даромъ; тамъ, говорятъ, трое сряду разорились; никто не хочетъ быть четвертымъ... Хоть-бы наняли, а то скука будто въ пустынь, а отъ города и четверти мили нѣтъ...»

— «Видно, дорожитесь?..»

— «Куда! Сначала запросили что-то много денегъ; потомъ стали сбавлять; а теперь поздно; лѣто на исходѣ, чуть не даромъ отдають...»

— «Да за сколько же?..»

— «Стыдно говорить! Вотъ и вчера приходилъ приказчикъ, говорить: Піэтро, что, никто не принималъ?.. Я говорю нарочно: какъ никто? Были... Такъ что же ты? — Да что я; давали цѣну на смѣхъ; я не смѣлъ... А что же давали? Да стыдно говорить. Пятьдесятъ піастровъ на годъ... — Отдай, Піэтро, отдай! чортъ его побери, заколдованный домъ; только деньги впередъ...»

— «Хорошо, Піэтро, хорошо! Вотъ тебѣ и деньги впередъ!» сказалъ Березовскій, опуская руку въ карманъ. «Сегодня же сюда переѣдутъ жильцы... Но, Піэтро, ты здѣсь не можешь оставаться...»

— «Это почему?»

— «Потому что нельзя...»

— «Такъ спрячьте же ваши деньги назадъ. Безъ меня никому не позволю жить въ домъ моего благодѣтеля...»

— «Ты правъ, Піэтро, правъ! Но ты исполнишь ли мою просьбу?»

— «Посмотримъ.»

— «Никто не долженъ знать, кто здѣсь живетъ...»

— Только сами не проболтайтесь, а ужъ я никому не скажу, кромъ приказчика.»

— «И приказчику нельзя!»

— «Такъ что же я ему скажу?»

— «Скажи, что наняли Русскіе, вотъ и все тутъ; да прибавь, что отчаянные, не любятъ, чтобы къ нимъ чужіе ходили; понимаешь?..»

— «Если вы правду говорите, такъ и мнѣ что-то страшно...»

— «Почему?»

— «Да помилуйте, слышно, будто они самихъ Турковъ побили.»

— «Да въдь то Турки...»

— «И то правда...»

— «Вашнихъ не трогаютъ...»

— «И то правда .. Ничего дурнаго не слышно.»

— «Приходится имъ тутъ у васъ съ флотомъ зимовать; такъ для женъ, для дѣтей веселѣе жить за городомъ.»

— «Право, веселѣе. Вотъ я, такъ и въ городъ никогда не хожу. Стукотня, бѣготня, толкаются на улицахъ, такъ что право стыдно... Ну, такъ

быть по вашему. Я пойду комнаты провѣтрю; не хотите ли взглянуть...»

— «Нѣтъ, пріятель, мнѣ все равно и некогда...» И на этотъ разъ Березовскій шелъ въ городъ бодро, весело, ровнымъ шагомъ и прямо къ своей ученицѣ. Онъ засталъ все семейство за скуднымъ завтракомъ; какъ-будто домашній чловѣкъ, взялъ послѣдній стулъ и присѣлъ къ столу.

— «Все идетъ какъ нельзя лучше...» сказалъ онъ съ веселымъ спокойствіемъ: «Вамъ надо бѣжать изъ Ливорно! Не пугайтесь! Бѣжать изъ этихъ опасныхъ ущелій, гдѣ въ каждой щорѣ таится ядовитый звѣрь. Я нашелъ для васъ тихое и безопасное убѣжище! На берегу моря, въ виду Ливорно.»

И Березовскій разсказалъ, гдѣ и за сколько нанялъ онъ для нихъ квартиру. Не безъ труда согласились дамы туда переехать; надежда сдѣлаться извѣстною пѣвицею и быть въ состояніи возратить Березовскому все издержки, заставила Матильду принять предложеніе. Положили переехать ночью, чтобы никто не могъ узнать, куда исчезла Матильда. Старый Космо приготовилъ все къ переезду. Въ сумерки явился проводникъ. Березовскій, дамы и дѣти, подъ его начальствомъ, выступили въ походъ пѣшкомъ; за ними шелъ небольшой обозъ подъ надзоромъ Космо. На поворотѣ къ морю, Березовскій указалъ на красивую усадьбу и Лючія вскрикнула, судорожно схвативъ Березовскаго за руку.

— «Что съ вами?» спросилъ онъ заботливо...

— «Великодушный синьоръ! Я оттуда изгнана закономъ!»

— «Какъ!»

— «Это мой домъ! Тамъ сокрушилось мое счастье,» и въ короткихъ словахъ рассказала свою не интересную, но всегда однакоже страшную исторію, потому что повесть всякаго несчастья ужасна, хотя бы это несчастье заключалось въ короткихъ словахъ: утонулъ, сломалъ ногу, и прочая. Читатель легко можетъ представить бурю смышанныхъ ощущенийъ, волнованныхъ Лючію и Матильду, когда онъ приближались къ старому монастырю, какъ онъ во дни счастья называли свою загородную усадьбу; но ужь никакъ не вообразить онъ себя, что дѣлалось съ Космо и Піэтро, когда они встрѣтились у воротъ. Господа вошли въ садъ черезъ калитку, далече отъ Піэтро и потому встрѣча съ Космо была совершенно для него неожиданна...

— «Космо...» закричалъ онъ: Космо! Ты служишь Русскимъ! Ты покинулъ нашу добрую госпожу! Ты... Ахъ, ты вѣтренная мельница! Пусть тебѣ вѣтеръ изломаетъ крылья, искрошитъ...

— «Піэтро! молчи! Я и самъ ничего не понимаю; вижу чудеса и дивлюсь милосердію Божію... Снимай эту рухлядь, ты ее узнаешь! Отпускай погонщиковъ! Тогда потолкуемъ...»

Піэтро, качая головой, шепотомъ бормоталъ свои сомнѣнія и проклятія, но повиновался старшему, разгрузилъ обозъ, отпустилъ погонщиковъ,

которымъ было заплачено впередъ, залеръ ворота и сказалъ съ чувствомъ:

— «Ну, Космо! оправдывайся!»

— «Пойдемъ, Піэтро, пойдемъ! Посмотри кому я служу...» и потащилъ его въ покои. Съ перваго взгляда на Лючію и ея дѣтей, Піэтро чуть съ ума не сошелъ отъ радости. Безъ всякихъ чиновъ цѣловалъ то дѣтей, то Лючію, и съ тѣмъ же намѣреніемъ подошелъ къ Матильдѣ; она стояла у окна и тихо разговаривала съ Березовскимъ. Странная мысль блеснула въ головѣ Піэтро и сожгла его радость. Онъ отступилъ отъ Матильды въ ужасъ...

— «Что съ тобой, Піэтро!» спросили всѣ, не безъ страха и участія.

— «Такъ что же это вы думаете! А! За болвана, осла считаете ванаго Піэтро! Вы думали: Піэтро пустынный, Піэтро въ городъ не ходитъ, Піэтро насъ не любитъ; онъ объ насъ не заботится и не знаетъ... Все знаетъ Піэтро, все. Онъ сидитъ вонъ на томъ камнѣ; темно, теперь не видно, да все равно, вы знаете эту мохнатую глыбу; тамъ сидитъ Піэтро; туда къ нему приходятъ старые знакомцы и рассказываютъ!.. О, лучше, сто разъ лучше, еслибы я ихъ не слышалъ!.. Но неужели вы думаете, что я на все на это позволю...»

— «Что такое?» нетерпѣливо спросила Лючія:

• «Растолкуй!..»

— «Простъ, Піэтро! куда простъ! Ужъ ему не понять всего этого грѣха и соблазна! А я еще чуть не прибилъ стараго Джюзеппо, когда онъ

сталъ разсказывать, что дочь нашего добраго Вальоне... Собаки раздѣлили мое негодованіе... искусаѣи бѣднаго — а выходитъ онъ правъ!.. Театръ!.. Видишь, куда понесли старинную честность!.. Свели выгодное знакомство съ этимъ народомъ, что побилъ самихъ Турковъ... И мой домъ, святой домъ...»

Всѣ поняли, что возбуждало негодованіе Піэтро; но никто не могъ да и не умѣлъ бы его разуверить. Одинъ только Космо легонько ударилъ старика по лбу и сказалъ съ улыбкой:

— «Ахъ, ты голова, голова! А я на что! Ты думаешь, такъ бы я и позволилъ! Видишь ты, мудрость плзшивая, золотыя горы стояли передъ моимъ носомъ; ты бы всю честность растерялъ; а я моего клада не выдалъ... Что говорить, театръ подлое ремесло: только подмѣтили, кошельки въ рукахъ задрожали: на, бери, Космо, только...»

— «И ты не взялъ, Космо!»

— «Ни одного, Піэтро!..»

— «Ну, и защитилъ, спасъ?»

— «Съ театра, братъ, мы увезли, отъ грѣха, не для грѣха! По милости этого благороднаго и великодушнаго человѣка!»

— «Бей Турковъ!» закричалъ Піэтро, схвативъ обѣими руками за голову Березовскаго: «Бей враговъ Христа и Дѣвы Маріи и разливай добро, гдѣ оно добро, а не шутка! Здравствуй благородный, здравствуй великодушный... Но надѣюсь, ты въ этомъ домѣ гость, не хозяинъ...»

— «Гость! и пора мнѣ домой! Твои глупыя сомнѣнья только задержали меня... Такой же вѣрный слуга, какъ и ты, и братья ожидаютъ меня...»

— «Ступай, ступай. Поскорѣй ступай! Не засиживайся! У людей языки красные; клеветой горятъ! Прощай...»

— «Прощай, Піэтро! но не забудь условія! Тайна! Тебѣ расскажутъ зачѣмъ...»

— «Хорошо, хорошо! Я кусокъ стѣны здѣшняго дома. Я ворота: всѣхъ и все вижу, и все молчу, нѣмъ какъ они.»

И Березовскій наскоро простился со всеми и почти бѣгомъ отправился въ Ливорно...

III.

OPERA SERIA.

На другой день Березовскій посвятилъ своихъ пустынницъ въ качества учителя; пѣли долго, пѣли много; Піэтро слушалъ съ особеннымъ чувствомъ и утиралъ слезы умиленія. Зная, что новая музыкальная академія желаетъ сохранить строжайшее *incognito*, Піэтро на длинныхъ вервяхъ привязалъ своихъ собакъ къ оградѣ на улицѣ, такъ что пѣшеходы, проходя по другую сторону дороги, слышали миновать поскорѣе заколдованный домъ. Березовскій послѣ урока не остался объѣдать, а возвратился въ городъ, въ сборное мѣсто всѣхъ Русскихъ, красную аустерію, гдѣ его давно ожидали дорогіе братья и городскія сплетни. Братья и великое число военныхъ Русскихъ чиновъ уже

сидѣли за общимъ столомъ; Березовскій вошелъ въ столовую залу во время огромнаго аккорда смѣха и хохота; возбуждавшая его шутка уже улетѣла далече; Березовскій не озаботился ее воротить; полный блаженства необъяснимаго, онъ не разставался съ Матильдой, съ мечтами, говорившими только о ней, и, сидя на мѣстѣ, сохраненномъ для него братцами, вмѣсто супа, питался воспоминаніями... Прямо, насупротивъ, сидѣлъ морякъ, оброслый бакенбартами, и подтрунивалъ надъ Ваней...

— «Скрылась, исчезла, улетѣла; вотъ тебѣ и посредникъ! А мы безъ посредника всегда и начинаемъ и оканчиваемъ подобныя исторіи. — Да отъ чего-же бы, Ваня, не поискать слѣдовъ! Въдь не сквозь землю же она провалилась; не улетѣла же на облака... Нѣтъ, у меня бы она не ушла такъ легко; воротилъ бы съ дороги; заставилъ бы...»

— «Да полноте, пожалуйста!» прервалъ Ваня: «Мнѣ не до шутокъ!»

— «Крѣпко, видно, въ сердце вцѣпилась...»

— «Теперь только чувствую, когда ея ужъ нѣтъ въ Ливорнѣ!»

— «И слава Богу! Такая страсть могла бы довести до женитьбы! А морякъ, по природѣ, существо однополое, холостое... Въ рывкахъ твердой земли не загуливайся; тамъ вездѣ на тебя западня или засада. Дай слово, Ваня, не влюбляться въ пѣвуню по уни, и я тебѣ отыщу бѣглянку...»

— «Полно шутить!»

— «Какія тутъ шутки! Не только отыщу, — сведу васъ, познакомлю и познакомлюсь и прочая...»

— «Старая хвастъ! Спасибо!»

Разговоръ продолжился бы далѣе до неизвѣстныхъ послѣдствій, но въ залу въбѣжалъ Систо, весьма встревоженный и глазами искалъ Березовскаго. Какъ коршунъ, бросился Систо на академика и схвативъ за руку, тащилъ изъ-за стола.

— «Одно слово, великій мужъ! Мы обмануты; надъ нами посмѣялась неопытная дѣвушка. Ребенокъ одурачилъ стариковъ. Деньги мои пропали...»

— «Нѣтъ!» спокойно перебилъ Березовскій: «Вотъ ваши шесть червонцевъ...»

— «Шесть! Но я заплатилъ...»

— «То ея собственность, а вотъ этотъ задатокъ Матильда возвращаетъ вамъ съ извиненіемъ, что не можетъ исполнить нашихъ общихъ желаній. Она совершенно отказалась отъ театра и уѣхала въ Болонью...»

— «Въ Болонью!»

— «Да! Я долго спорилъ, признаюсь, для вашихъ видовъ, но она такъ упряма...»

— «Охъ! Ужъ не говорите пожалуйста объ ея упрямствѣ. Ужъ не я-ли предлагалъ ей самыя выгодныя партіи...»

— «Конечно не въ операхъ...»

Систо опомнился и смутился. Деньги взялъ, спряталъ, сказалъ: «Чортъ ее возьми! Она меня обманула; ограбила, но за то въ другой разъ

буду умнѣе» — и Систо скрылся и слѣдъ Матильды занесло въ памяти безчисленныхъ обожателей ея красоты пескомъ разнообразныхъ впечатлѣній. Никто уже объ ней не заботился. Какъ никто? Само собою разумѣется, кромѣ Березовскаго. Каждый день утромъ продолжительный урокъ преподавался продолжительною бесѣдой; къ обѣду въ Красномъ трактирѣ капельмейстеръ и академикъ заводилъ русскія пѣсни и все Ливорно собиралось слушать варварскіе напѣвы; каждый вечеръ ученый мужъ слушалъ несносную для него оперу, и еще несноснѣйшую синьору Ладичи; казалось, онъ ловилъ ея недостатки; изучалъ ея средства; мучился соображеніями. Наступила зима; побѣдоносный чесменскій флотъ съ своими орлами усялся въ Ливорнской Гавани. Лучшій домъ, убранный съ возможнымъ великолѣпіемъ, едва могъ вмѣстить гостей Чесменскаго побѣдителя; свои, чужіе, все расточали похвалы и поздравленія. Приличія и долгъ требовали того-же и отъ Березовскаго; онъ явился къ графу съ невольнымъ тайнымъ страхомъ.

— «Очень радъ съ тобой познакомиться!» сказалъ графъ, когда Березовскаго ввели въ турецкій кабинетъ: «Давненько въ Италиі?..»

— «Девятый годъ, ваше графское сіятельство!»

— «Слышалъ я о твоей славіи и успѣхахъ. Очень похвально, любезный, да въ Россіи-то нѣтъ ни одного порядочнаго музыканта. Ты бы, братецъ, подумалъ объ этомъ. Однихъ побѣдъ мало для славы государствъ. И то правда, не все вдругъ,

да пора начинать. Вотъ Державинъ хорошо стихи складываетъ; чай Лосенку ты видалъ; порядочный живописецъ: пора бы и за музыку...»

— «Ваше графское сіятельство...»

— «То-то-же! Надо, братецъ, вхвать въ Россію. Я отправилъ бы тебя курьеромъ къ матушкѣ Государынѣ, да еще чего добраго, безъ меня тебя затрутъ, эшпугуютъ; нынче и нашего брата оттираютъ; много ли увидишь, когда станешь ходить въ *потемкахъ*...»

На словахъ: брата, въ *потемкахъ*, графъ усиливалъ голосъ, какъ будто намекая на возраставшую тогда силу князя таврическаго.

— «Ваше графское сіятельство...»

— «Да, мой любезный! Будь ты искусный коноводъ, я взялъ бы тебя къ себѣ: у меня — какъ у Христа за пазухой; сюда, братецъ, въ это сердчинко, клевета не найдетъ дороги... У меня добро на рысяхъ ѣздить: русская рысь, батюшка! русская! Ей вездѣ дорога; умѣемъ, кормилецъ, и круто поворачивать!...»

Графъ всталъ и съ примѣтнымъ неудовольствіемъ прохаживался по комнатѣ. Березовскій собирался что-то сказать, да графъ не далъ...

— «Такъ, любезный, ты въ этомъ году не поѣдешь въ Петербургъ; ты мнѣ здѣсь нуженъ; надо потышнить нашихъ удалцовъ русскою оперой; либо имъ будетъ слушать своего сочинителя. Такъ распорядись же, любезный! Тутъ есть какой-то плутишка Систо; у него есть театръ и комедіанты; скажи ему, что я приказалъ тебѣ написать, а ему

представить твою оперу; на эту зиму не успеешь, а уж на ту, верно, справишься; а я тебя утешу: скажу тебѣ искренно: то будетъ послѣдняя зимовка и ты увидишь матушку Государыню! Я самъ тебя представляю...»

— «Ваше графское сіятельство!..»

— «Хорошо, хорошо любезный! Благодарности твоей мнѣ не нужно. А есть ли у тебя деньги, чѣмъ прожить? Верно нѣтъ! И какія у тебя деньги! На, любезный, на — двѣсти червонныхъ покуда, довольно для начала! Ступай съ Богомъ, только чуръ не лѣниться; жаль, если твоя фязіонемія меня обманетъ...»

— «Ваше...»

— «Съ Богомъ! съ Богомъ! Не благодари! то есть не лги! пока ничего не сказалъ, ничѣмъ и не обязанъ; а наговоришь, да не то выйдетъ, жаль... Ну, прощай!

— «Я хотѣлъ просить ваше сіятельство за моихъ братьевъ...»

— «А что? Попались въ исторію, напналили?»

— «Не приведи Господи!»

— «Такъ что же?»

— «Обратить на нихъ милостивое вниманіе...»

— «Это ихъ дѣло, любезный! Ни твое, ни мое! Ты же умѣлъ обратить на себя общее вниманіе; пусть стараются. А впрочемъ, такъ и быть, для тебя по веснѣ возьму ихъ съ собой въ экспедицію; на берегу подвиговъ не высидишь. Ну, прощай, некогда! а нужно будетъ, пришло за тобой!»

И графъ придвинулъ кресло къ столу и отвер-

нулся. Что случилось съ Березовскимъ? Какія мысли вынесъ онъ изъ турецкаго кабинета? Голова его горѣла, сердце билось; но отъ чего? Предстать предъ свѣтлыя очи Императрицы, оковавшей міръ чароподобными подвигами, красотою царственною и государственною мудростью; предстать яко первому русскому музыканту, съ громкимъ именемъ, съ блестящими надеждами, для прямой, патриотической цѣли; начать въ Россіи новую эпоху по части, едва тамъ извѣстной; дать русской музыкѣ тѣло и душу... А Матильда! Драматическій родъ былъ всегда не любъ для Березовскаго; но отомстить Ладичи, Систо, публикѣ; въ аріяхъ, нарочно придуманныхъ для голоса и средствъ Матильды, доставить ей вѣрную, несомнѣнную побѣду. — А Матильда?— Что-жь, Матильда! Въдѣ не разставаться же съ нею; напротивъ; теперь чаще можно съ нею видѣться; мысль о любви, эта пошлая ежедневная мысль не появлялась въ головѣ такъ хорошо устроенной и настроенной. Максимъ Созонтовичъ съ триумфомъ объявилъ своимъ дамамъ о порученіи графа: онъ такъ обрадовались; съ возрастающимъ жаромъ, съ избыткомъ самодовольствія сказалъ онъ и о своемъ отъѣздѣ въ Россію, — и веселость дамъ исчезла; выраженіе тайнаго страданія разлилось по лицу Матильды; Лючія задумалась; Березовскій огорчился, что такое почетное назначеніе не радуешь его друзей; онъ старался разогнать непріятное впечатлѣніе, самъ не понимая отъ чего и ему вдругъ стало грустно. Лючія поспѣшила на помощь и разговоръ возобно-

вился. Стали толковать о выборъ сюжета. По естественному сочувствію и можно сказать по тогданней модѣ, обратились къ Метастазію, дѣлателью превосходныхъ либреттъ, но книги не было и Березовскій отправился къ Систо... Онъ не нашелъ его дома. Синьора Систо и синьора Ладичи завтракали съ двумя молодыми людьми; синьоръ Систо, само собою разумется, тутъ былъ лишній и по всегдашнему своему благоразумію и любви къ сценѣ отправился на репетицію. Миловидная двушка, исполнявшая должность слуги, остановила Березовскаго и не позволяла войти въ столовую. Максимъ Созонтовичъ, узнавъ, что тутъ Ладичи, сказалъ служанкѣ, что онъ присланъ съ приказаніемъ отъ такого лица, которое не терпитъ никакихъ отлагательствъ и препятствій; вельшь служанкѣ не медля ни минуты сбѣгать за Систо, а самъ, къ немалому удивленію хозяйки и гостей, вошелъ въ столовую...

— «Синьоръ Массимо!»

— «Не безпокойтесь, синьора! Я васъ не тревожу; продолжайте ваши занятія, а я обожду...»

— «Но вы не можете отказать женщинѣ и не принять участія по крайней мѣрѣ въ бесѣдѣ...»

— «Обязательность ваина...»

— «Помилуйте! Какая тутъ обязательность,» сказала хозяйка, разгоряченная можетъ быть разговорами, а можетъ быть и виномъ. «Садитесь сюда, къ намъ, вотъ такъ!» и почти насильно усадила Березовскаго между собою и Ладичи. «Вы человекъ опытный...» продолжала она: «помогите

михъ просвѣтитъ вотъ этихъ новичковъ! Я ихъ увѣряю, что двумъ братьямъ никакъ не слѣдуетъ влюбляться въ одну и ту-же женщину...»

— «По крайней мѣрѣ неблагоразумно...» замѣтилъ Березовскій, рассматривая двухъ братьевъ новичковъ. Нельзя было по виду угадать, который изъ нихъ старше: и тому и другому было, какъ казалось, не болѣе двадцати лѣтъ; не смотря на молодость, они не могли щегольнуть наружностью, но одежда, булавки, пуговицы, перстни обличали богачей, а рѣчи — купцевъ ливорпскихъ...

— «Вотъ вамъ!» сказала хозяйка, продолжая разговоръ: «Я увѣрена, что сеньоръ Массимо одобритъ и другую мысль мою; не должно любить женщину, которая насъ не любитъ...»

— «Ну, съ этимъ можно еще поспорить...»

— «А что, видите, прелестная Марія!» вскочивъ, сказалъ одинъ купчикъ: «видите?»

— «Вотъ напримѣръ...» сказалъ Березовскій, покраснѣвъ до ушей: «я знаю, что вы меня не любите, неправидите, а я...»

— «Кто вамъ сказалъ? Какой вздоръ? Мы съ вами и видѣлись всего раза три, и то въ театрѣ... Мы объ этомъ никогда ничего и не говорили...»

— «А вы позволите поговорить съ вами о любви?...»

— «Да вы видите, что мы здѣсь говоримъ все о любви; отъ чего же вы одни не можете...»

— «Но прежде я желалъ бы поговорить съ вашимъ мужемъ.»

— «Мужъ никогда не мѣшается въ дѣла жены;

въ этомъ отношеніи я завела у себя въ домъ отличный порядокъ. Откушайте!..»

И Марія подала Березовскому добрый стаканъ вина, приправленнаго соблазнительнымъ взглядомъ и коварною улыбкой; Березовскій горьлъ какъ ракъ, но вино выпилъ, поцѣловалъ руку Маріи и посмотрѣлъ на нее такъ пламенно, такъ пронизательно, что Марія совершенно забылась; выдумала какой-то странный, неуклюжій предлогъ къ разлукѣ и кучички должны были уѣхать.

— «Послушайте!» сказала Ладичи съ важностью: «Вы, какъ вамъ угодно, но я не намѣрена терять такихъ богатыхъ обожателей. Вы обѣщали мнѣ уступить одного; вы хотѣли поѣлиться; а теперъ и я и вы въ потерѣ...»

— «Полно, мой другъ! Оба твои! Оба! ручаюсь! Перестанемъ говорить объ этихъ несносныхъ торговцахъ. Обрадовались, что отецъ умеръ. Они любятъ еще десять разъ. Это дѣтская причуда. И еслибы я въ самомъ дѣлѣ искала ихъ знакомства, еслибы я любила эту буйную жизнь, о, я иначе направила бы ихъ дѣтскія чувства. Я не хотѣла имъ сказать на отръзъ: подите прочь! Мнѣ жалко ихъ молодости. Видишь, любезная, наше положеніе въ свѣтъ даетъ пищу этой уличной дерзости. Ты очень молода еще! Хочешь ловить, а я наказывать... Перестанемъ говорить объ этомъ...»

— «Ахъ, нѣтъ, Марія! Нѣтъ! Объ этомъ тонкомъ наказаніи я люблю разсуждать. Я самъ человекъ мстительный и желалъ бы научиться...»

— «Чему? Полно, полно! Всѣ эти разговоры

для меня несносны. Станемъ лучше говорить объ искусствѣ; я потеряла голосъ, но любовь моя къ музыкѣ не угаснетъ... Когда-то, Массимо, мы васъ услышимъ!»

— «Сейчасъ!»

— «Неужели! Вы такъ добры...»

— «Для васъ, Марія!»

— «Пойдемъ къ клавичембаламъ...» Марія повела Березовскаго за руку въ другую комнату и по дорогѣ жала эту руку нещадно. Чудеса! Стыдливый Березовскій отвѣчалъ тѣмъ же. Усѣвшись за фортепьяно, Максимъ Созонтовичъ испугалъ уни слушательницъ мудреными переходами, въ каждомъ обнаруживая глубокую, оконченную ученость; но вдругъ этотъ хаосъ звуковъ прояснился, мало-сложный мелодической ритурнель проигранъ и свѣтлый, чистый, серебряный теноръ запѣлъ каватину, торжество и славу синьоры Ладичи. Прима-донна была поражена какъ громомъ; всѣ трудности, которыми она такъ гордилась, изливались изъ мужскаго горла съ такою легкостью, съ такою непринужденностью, какъ-будто ихъ выдѣлывалъ кларнетъ; расположение силы голоса на всю каватину вовсе не сходствовало съ манерой Ладичи; тысячи оттенковъ сообщали плохому музыкальному сочиненію интересный характеръ; какъ статуя, блѣдная, неподвижная, Ладичи стояла у клависина; къ концу аріи брызнули слезы досады; съ послѣдними аккордами ея уже не было въ комнать...

— «Не понравилось!» со смѣхомъ сказала хо-

зѣйка и, взявъ стулъ, присѣла къ Березовскому: «Ахъ, Массимо! Что я слышала! Мнѣ кажется, это пѣли ангелы! Не пойте болыне! Не пойте! Я не снесу этого пѣнія; дайте къ нему привыкнуть! Но послушайте, Массимо, вы съ умысломъ пропѣли эту арію? Скажите, съ умысломъ... Не правда ли? Чтобы выжить эту несносную кокетку, чтобы остаться... Скажите...»

— «Вы угадали!.. Марія! Долго я боролся съ самимъ собой, долго противостоялъ вашимъ огненнымъ взглядамъ, вашимъ вздохамъ, приглашенію вашему: я боялся повиноваться; не правда ли, ихъ внушала...»

— «Вы угадали, Массимо! Вы угадали! Но вините судьбу, съ перваго взгляда я полюбила васъ... Массимо, вы меня не осуждаете?»

— «Вы простили невѣжу, который даже не отвѣчалъ...»

— «А вы получили эту безумную записку?...»

— «Вотъ она...»

— «Тихе, тихе, мужъ идетъ! Я его не боюсь, но...»

Березовскій заигралъ на фортепьяно триумфальной маршъ, подъ который и вошелъ въ комнату Систо. — Импресарію едва вѣрилъ глазамъ своимъ. Во все время пребыванія Березовскаго въ Ливорно, Систо не переставалъ докучать ему оперой; кромѣ академической Болонской славы, Систо рассчитывалъ и на патриотизмъ слушателей; въ угожденіямъ, искательствамъ не было конца; въ театрѣ и Систо и жена его расточали въжливость,

ласки, даже нежности; Марія искренно помогала мужу; крѣпкое сложеніе придавало фигурѣ и лицу Березовскаго красоту марціальную; и хотя Марія уже не была способна любить по всемъ правиламъ страсти, но за то пылала, томилась жаждой минутныхъ восторговъ; частыя встрѣчи, равнодушныя къ ней Березовскаго, все это волновало Марію до безумія; она не устыдилась писать къ нему; была презрѣна — и не переставала обдумывать путей желанной цѣли. Мужъ, всегда въ этихъ отношеніяхъ спокойный по расчету, на этотъ разъ былъ спокоенъ по убѣжденію, полагая, что поведение жены было плодомъ угодливости и корыстныхъ общихъ намѣреній. Онъ надѣялся на побѣду, но не ожидалъ видѣть ее такъ скоро и вотъ — Массимо у него въ домъ какъ старый пріятель; возль жены; играетъ, поетъ; твердый металлъ расплавился; теперь изъ него можно все дѣлать, что угодно...»

— «Откуда этотъ маршъ?» закричалъ Систо.

— «А что, нравится?»

— «Да это просто чудо, прелесть, очарованіе, такъ и напѣвается! Ради Бога, откуда?...»

— «Изъ моей оперы!»

— «Что вы говорите! Вы пишете оперу! Наконецъ вы бросили пустыя предубѣжденія. Ага! Сценическая, громкая, живая слава задѣла васъ за живое?...»

— «Нѣтъ! Я не пишу оперы! А такъ иногда отъ нечего дѣлать, отъ томительной скуки на этомъ рынкѣ, который называютъ городомъ, и

мнѣ приходять на умъ оперныя шалости... Вотъ не хотите ли прослушать и каватинку; она безъ словъ; скажите только хороша ли форма, какъ вамъ понравятся украшенія; я спою ее своимъ голосомъ... Послушайте!»

Систо присялъ и вытянулъ уши; Березовскій импровизировалъ большую арію со всеми современными причудами...

«Это будетъ нравиться не однимъ Русскимъ,» думалъ Систо, слушая пѣніе: «это во всей Италіи будетъ имѣть ходъ... У меня не сплунуть тайкомъ!... И всѣ будутъ вздѣть сюда, ко мнѣ, въ Ливорно... Этой оперы станеть на два карнавала. Но надо скрыть чувство удивленія; а то станеть дорожиться...»

— «Прекрасно!» сказалъ онъ громко, когда арія была окончена: «Право, хорошо! Ручаюсь за большой успѣхъ...»

— «Да что мнѣ въ немъ... Я не намѣренъ писать оперы.»

— «Почему же?»

— «Потому что не стоить! Что за нее дадутъ? Двѣсти, триста червонцевъ, а потомъ даромъ будутъ разыгрывать на всѣхъ италіанскихъ театрахъ.»

«Чортъ его побери!» подумалъ Систо: «Двѣсти червонцевъ! За эту цѣну можно списать шесть оперъ. — Впрочемъ... Послушайте, синьоръ Массимо, объ этомъ предметъ станемъ говорить безъ шутокъ...»

— «Станемъ!»

— «Во первыхъ: не слышать. Это ужъ мое дѣло. Но я желалъ бы, чтобы первая вава опера была исключительною принадлежностью Санъ Себастьяна...»

— «Пожалуй! Но въ такомъ случаѣ я получу отъ васъ пять сотъ червонцевъ!»

Систо уничтожился, присѣлъ и зажмурился.

— «Пять сотъ червонцевъ! запищалъ онъ: «вспомните, что карнавалъ у насъ тянется какой нибудь мѣсяць; я за всеми расходами не выручу и половины.»

— «Полно-те! Выручите вчетверо.... Я это знаю...»

«Знаетъ! Истинно знаетъ...» подумалъ Систо: «и отъ того дорожится! — Положимъ, маэстро, положимъ, что я выручу эту сумму, но вспомните, что я весь въ долгахъ, отецъ семейства; а вы человекъ холостой, одинокій; зачѣмъ вамъ такъ много денегъ?»

— «Забавный вопросъ...» со смѣхомъ сказала Марія. «Я увѣрена, что Массимо шутить; а ты хотѣлъ говорить съ нимъ безъ шутокъ, и пускаешься въ торгъ. Скажи, что можно дать по твоему разсчету и я увѣрена..»

— «Что можно дать... червонцевъ сто...»

— «И это вы говорите опять безъ шутокъ...»

— «Ужъ я прибавляю еще сто...» сказала Марія...

— «А я еще сто и это послѣдніе» отвѣчалъ Березовскій, всталъ съ мѣста и взялъ шляпу...

— «Послушайте, великій мужъ! Корыстолюбие унижаетъ художника.

— «И содержателя театра, а трудъ долженъ быть заплаченъ. Я отправлюсь въ Миланъ и возьму вдвое...»

— «Помилуйте, Миланскій театръ раззорился.»

— «Я помогу ему поправиться...»

— «Тамъ въ этотъ карнавалъ будутъ петь оперу мальчишки; никто для Милана писать не хочетъ.»

— «Тотъ мальчишка — Моцартъ; я поставлю себя за честь сразиться съ такимъ соперникомъ...»

— «Двѣсти пятьдесятъ!»

— «Триста... Прощайте! —

— «Триста! Но одно условіе: на тотъ карнавалъ, потому что на этотъ уже все готово, и срокъ близокъ.»

— «Триста, и три условія: первое, деньги на столъ, когда принесу рукопись: второе, разучивать я не буду; я только посмотрю последнюю репетицію. Третье, и самое главное: петь какъ написано; не передѣлывать по своему ни одной нотки. Теперь напишемъ контрактъ...»

— «Очень хорошо... А какой же сюжетъ? Какая опера? *Seria*, *Buffa*?...»

Seria! Слова *Метастазіо*...»

— «Постойте! Вотъ это прекрасная мысль; я нигдѣ не могъ достать музыки на *Демонфонта*; говорить пустая; въ *Вѣнѣ* упала; но слова прелесть!.. Угодно...»

— «Съ удовольствіемъ...»

— «Ну, жена, ты займи гостя, а я сбѣгаю за нотаріусомъ...» И Систо съ особенною торопливостью убѣжалъ изъ комнаты.

«Чортъ возьми, триста!» думалъ онъ дорогою. «Все равно; перейдетъ къ женѣ; можетъ быть, его же деньгами заплатимъ; только бы Марія не оплошала. Надо ей дать время. Съ такими медвѣдями нелегко ладить. Чего же я бѣгу... Тине, тине, Систо! Шагомъ, шагомъ! Иногда медленность доводитъ къ цѣли скорѣе поспѣшности...»

Напрасно медлилъ Систо. У Маріи было слишкомъ много и мало времени, чтобъ окончить романъ свой. — «Ахъ, Массимо!» сказала она, когда ушелъ Систо: «Мы опять одни! Нашъ домъ точно рынокъ! Намъ могутъ помѣшать...»

Максимъ Созонтовичъ ходилъ большими шагами по комнатамъ и не слушалъ страстнаго лепета Маріи. Онъ разсуждалъ: хорошо ли поступилъ онъ, что не объявилъ Систо воли графа. Но червь самолюбія уже точилъ и это доброе сердце. Онъ былъ увѣренъ, что не могъ бы написать ни одной порядочной нотки, еслибы принятіемъ своей оперы на Ливорнскій театръ онъ былъ обязанъ силъ и значенію графа. Обращеніе его съ Маріей до этого дня, безъ сомнѣнія, заставило бы ее употребить все средства, угрозы и такъ далѣе, чтобы отклонить мужа отъ всякой съ нимъ сдѣлки; а синьора Ладичи помогла бы ей своимъ адскимъ усердіемъ. Надо было устранить, разрушить все препятствія. Все удалось, какъ нельзя лучше. Но контрактъ еще не подписанъ, и Березовскій протянулъ руку

Маріи. Странно и удивительно, какъ женщина, эта гордая, недоступная повелительница всѣхъ напихъ желаній, поступковъ, однимъ взоромъ посылающая мужчину на всѣ жертвы, на смерть, — въ тѣ мгновевія, когда рывається увѣнчать его пламень, становится не царицей, а рабой; не награду подаетъ она за жертвы и лишения, а платитъ униженно дань своему повелителю, становится игрушкой его своеобразныхъ восторговъ. И Марія дрожа и пылая цѣловала руку Березовскаго, влекла его въ объятія, но не увлекла...

— «Марія!» сказалъ онъ грустно: «Неужели и для меня нѣтъ исключенія! Я мечталъ, я надѣялся, что сердце твое чисто, что случай только, твое невыгодное для женщины положеніе въ обществѣ заставило, какъ ты называла, уличную дерзость распускать о тебѣ недостойные слухи... Да! Я долженъ признаться, долго боролся я съ этими слухами и бѣжалъ можетъ-быть счастья; но теперь... мы одни. Скажи, что увлекло тебя ко мнѣ, чѣмъ заслужилъ я твою любовь... Опера! Я пишу ее для тебя, я хочу высказать мои чувства въ звукахъ потому, что я не умѣю говорить словами.»

Безсмысленно смотрѣла Марія въ глаза Березовскаго, не понимала ни его, ни себя; и страсть и стыдъ метали сердцемъ; чтобы оковать новую жертву, надо было въ глазахъ его поддержать достоинство женщины, онъ еще несовсѣмъ ослѣпъ; взоры его отуманены красотой Маріи; но этого мало: надо помутить разумъ, надо притворить-

ся; не жрицей Киприды предстать его художническому воображенію, а тихою голубкой ворковать невинную повѣсть безгрѣшныхъ ощущеній.. Опытная женщина, въ самомъ разгарѣ страсти, способна изнасиловать сердце; отсрочить, чтобы не потерять навсегда вождельнаго торжества. И Марія ударилась въ слезы; Березовскій не испытывалъ еще въ жизни своей дѣйствій этого ужаснаго средства, но добрый геній берегъ его; онъ снесъ, выдержалъ пытку; слезы смѣнились упреками, упреки ласками и тихой повѣстью любви Маріи... Всѣ эти акты любовной комедіи поглотили много времени, больше, нежели сколько находилъ для того нужнымъ Систо. Во всѣхъ своихъ поступкахъ благоразумный и осторожный, Систо еще на лѣстницѣ сталъ говорить съ нотаріусомъ о невыгодахъ своего положенія такъ громко, какъ-будто пѣлъ бравурную партію.

«Diavolo!» прошипѣла Марія: «очень нужно связать глупымъ контрактомъ. — До свиданія, Массимо, до свиданія...» и порхнула въ другую комнату.

Контрактъ написанъ, переписанъ и подписанъ. Березовскій исчезъ, пропалъ; изрѣдка видали его въ театрѣ, въ отдаленныхъ рядахъ; у Опанаса набралось множество записокъ разнаго формата, и всѣ покоились нераспечатанныя въ самомъ темномъ углу чемодана; Богъ знаетъ, почему, Опанасъ полагалъ, что онъ когда-нибудь пригодятся; братцы, узнавъ волю графа, не безпокоились о постоянномъ отсутствіи Максима Созонтовича, котораго

видали разъ, два, въ недѣлю; пусть его пинеть оперу; они тоже были заняты любовными похожденіями; по милости братца деньги и у нихъ водились. Чего же больше? А братецъ? — Въ виду оконъ Матильды, въ рыбацкой избункѣ, усердно писалъ Демфонта. Къ веснѣ первый актъ былъ совершенно окончанъ. Партія прима-донны была испещрена, обременена самыми отчаянными вычурами, какихъ и не снилось Ладичи, но съ тѣмъ вмѣстѣ въ главныхъ драматическихъ мѣстахъ разливалось широкое, исполненное чувства, возвышенное пѣніе. Рисунки мелодій были столько же новы и правдивы, сколько украшенія нарядны и затѣйливы до роскоши. И какъ все это пѣла Матильда, какъ успѣхи ея превосходили всѣ надежды Березовскаго; объѣмъ голоса, по его методъ, распространялся болѣе и болѣе, и казалось терялъ уже естественные предѣлы діапазона... Наступила весна; встрепенулись морскіе орлы, распустили широкія крылья и улетѣли плавать надъ классическими водами старой Греціи; Ливорно опустѣло почти на половину народонаселенія; отправивъ братцевъ въ экспедицію, Березовскій распростился съ городомъ; разсчитался въ гостинницѣ, забралъ Опанаса съ прочими вещами и совершенно заперся въ своемъ уединеніи; только и ходилъ онъ каждое утро на урокъ къ Матильдѣ: пѣлъ съ нею и для ней Демфонта, который быстро приближался къ окончанію. Вечеръ посвящался труду и музыкальнымъ размышленіямъ; въ душѣ, полной лирическихъ думъ, Матильдѣ почти не было мѣста. Солн-

це садилось за далекія горы. Восточный вѣтеръ ложась струилъ адриатическія волны; темнѣло; Опанась стоялъ у открытаго окна

— «Полно-те, право...» говорилъ онъ громко: «Вотъ уже и на свѣтъ Божиємъ темненько, а въ этой лачужкѣ зги невидно. Вы не кошка. Гдѣ же писать музыку въ потемкахъ...»

— «Сейчасъ, сейчасъ, Опанась... Остается только двѣ строки для духовыхъ... Не мѣнай...»

— «Вотъ ужъ духовыхъ бы я поменьше; городскіе дудилы такъ фальшаютъ, что не приведи Господи. Намедни, какъ я былъ въ театрѣ, чуть не оглохъ отъ трубъ... Чуръ имъ... Правда, и на скрипкахъ больно нескладно нарѣзываютъ, да ужъ куда не шло; то таки трудно; на то и скрипка; такой и инструментъ уже, что безъ фальши не заиграешь.»

— «Кончено!» закричалъ Березовскій не своимъ голосомъ, и захвативъ лукъ исписанной нотной бумаги, безъ шляпы опрометью бросился къ заколдованному дому; видно и Лючія и Матильда сидѣли у окна; видно глядѣли въ ту сторону, гдѣ стояла рыбацкая избушка; видно, да ужъ не знаю почему, а объ поспѣшно бросились въ садъ, выбѣжали на улицу и встрѣтили Березовскаго тревожными вопросами: «Что съ вами, что случилось?» Матильда забылась совершенно, схватила его за руки и дрожа шептала: «Массимо, Массимо! Бога ради, не змѣя ли?...»

— «Опера!» отвѣчалъ онъ въ восторгъ: «опера! Вотъ она отъ начала до конца, отъ первой

до послѣдней нотки; вотъ она: моя мечь! вотъ она: торжество моей Матильды! Я сдержалъ слово! Я свободенъ! Я блаженъ! Пойдемте! Пойдемте! Вы увидите, какъ помогло мнѣ само небо!...» и всѣ бросились къ клавици; когда поставили ноты на передокъ, расположились пѣть и слушать, тогда только замѣтили, что стало совершенно темно, а свѣчей не было! Подали свѣчи и финалъ удивилъ, привелъ въ восхищеніе всѣхъ, даже самого Березовскаго... Матильда, этотъ строгій, разборчивый, даже привязчивый критикъ, не нашла никакого повода сдѣлать малѣйшее замѣчаніе, а прежде безъ этого не обходилась; она такъ заботливо хлопотала о Демофонтѣ, какъ-будто о собственномъ произведеніи; въ теченіи года, Матильда уже была посвящена въ тайны композиціи; трудная музыкальная математика въ изложеніи Березовскаго казалась ей наукою общественной игры въ родѣ лото или домино! но не эта математика руководила ея совѣтами и замѣчаніями; тайное, неопредѣленное чувство вкуса или чего хотите, вспыхивало какъ порохъ при удачномъ переходѣ, разливалось въ блаженствѣ при вѣрной и красивой мелодіи, кипѣло бурно при страстныхъ порывахъ звуковъ и также чувствительно оскорблялось пошлостью, тосковало при общихъ мѣстахъ, негодовало, когда въ музыкѣ замѣтно было безвдохновенное усиліе, напряженный трудъ или изысканность... И всѣхъ этихъ впечатлѣній не умѣла скрывать Матильда, и всѣ эти впечатлѣнія служили законами и нерѣдко вдохновеніемъ для Березовскаго.

Но онъ, счастливецъ, онъ не страдалъ отъ неудачъ; онъ только восхищался тѣмъ, что нравилось Матильдѣ. А чѣмъ она была недовольна, то равнодушно перечеркивалъ и радъ былъ случаю написать лучше, угодить Матильдѣ, себѣ доставить удовольствіе въ удовольствіи Матильды. А она? Поймите капризы женщинъ! Она въ тотъ день, когда Березовскій съ неудачнымъ номеромъ весело возвращался въ рыбацкую избушку съ твердымъ намѣреніемъ замѣнить плохое изящнымъ и уже обдумывалъ перемѣны, — она съ печалію просталась съ учителемъ, съ печалію провожала его взорами, съ печалію иногда до ночной тмы глядѣла на море, само собою разумется, въ ту сторону, гдѣ торчала рыбацкая избушка. Она сердилась на себя, зачѣмъ огорчила маэстро; зачѣмъ... и давала себѣ слово твердое не мѣшаться болѣе въ чужія дѣла, скрывать свои впечатлѣнія, и оставалась при объѣтахъ. На утро, когда Березовскій съ робостью входилъ въ завѣтныя ворота; когда явственно раздавались его обычные вопросы: встали? здоровы? Матильда дрожала; съ стѣсненнымъ сердцемъ выходила въ гостинную; она боялась за новую неудачу, за пошлую нотку, за поспѣшную небрежность аккомпаньемента.... Поймите капризы женщинъ! Я ихъ не понимаю, а рассказываю, и увѣряю васъ, что во всей оперѣ финалъ доставилъ и маэстро и Матильдѣ и впоследствии всей публикѣ наибольшее удовольствіе. Три раза повторили финалъ и задумались, да задумались такъ грустно, такъ печально, какъ-будто слышали горькую вѣсть; какая-то пустота томила

жаждой и Березовскаго и Матильду, какъ—будто они играли въ интересную игру и она кончилась въ ничью. Поймите капризы людей! Опера написана; во всѣхъ послѣдствіяхъ нельзя было сомнѣваться; да они и не думали о послѣдствіяхъ. Ну, чтожь, опера написана! Да! написана, но души, которыя предъ тѣмъ страдали надъ этимъ срочнымъ трудомъ, за окончаніемъ возложеннаго на нихъ порученія, остались праздными; невидимая нить, связывавшая два сердца однимъ общимъ дѣломъ, оборвалась; правда, они сидятъ такъ близко другъ къ другу, но это физическіе пустяки; наступила нравственная разлука; для этой тоски тѣсны духовные сосуды; чету разлучило море грусти... Люція не могла участвовать въ этомъ разрывѣ, но дружба имѣетъ свойство угадывать чужія чувства чрезъ отраженіе; она почти поняла въ чемъ дѣло и поспѣшила нарушить это опасное, безмолвное спокойствіе...

— «Теперь...» сказала она, не безъ принужденія: «теперь вы не можете отговориться отъ насъ работой. Все кончено. Мы вмѣстѣ поужинаемъ...»

— «Да, кончено!» сказалъ онъ со вздохомъ. «Я свободенъ отъ труда, но никогда душа моя не требовала такъ сильно совершеннаго уединенія, какъ сегодня.»

— «Вотъ ужъ я этого не позволю. Такой счастливый день мы должны провести вмѣстѣ. Ступайте, погуляйте съ Матильдой по саду; въ комнатахъ душно, а я похлопочу объ ужинѣ...»

— «Лючія!» почти вскрикнули оба, какъ-будто боясь остаться на единь; но Лючія уже не было. «Правда! Душно! Очень душно!» тихо сказала Матильда: «пойдемте!» и потупивъ головы, гуськомъ, и она и онъ выпли на небольшую террасу, уставленную цвѣтами.

Темно синее небо, усыпанное яркими звѣздами; благоуханіе цвѣтовъ и весенней зелени, торжественное безмолвіе ночи хоть кого расположатъ къ задумчивости, къ чувствамъ нѣжнымъ, грустнымъ; и безъ предшествующихъ поводовъ къ размысленію, можно задуматься, замечтаться, а у нашихъ друзей на сердцѣ стояла цѣлая ярмарка; шумъ, гамъ, толкотня, пестро, разнообразно; ничего не поймешь, ничѣмъ не уймешь! На террасѣ стало хуже чѣмъ въ комнатахъ; можно рѣшительно поручиться, что ни Березовскій, ни Матильда ничего не думали о любви до окончанія оперы... Но опера окончена и цѣпи страстей порвались какъ гнилыя бичевки и зашумѣла буря, ей же нѣтъ названія. Будущность, какъ это безконечное небо, разостлалась ковромъ передъ ихъ воображеніемъ, искрошилась въ вопросы: Что будетъ? Дадутъ оперу, а послѣ что? Много славы, да въ славѣ что? Пріятно, да какъ-то воздушно, неудовлетворительно? Что будетъ послѣ славы? Не вѣкъ же оставаться вмѣстѣ учителю и ученицъ; но почему-же бы и не остаться? Что изъ этого будетъ? Но ему надо послѣ оперы тотчасъ вхвать въ Россію, а ей надо стяжать не одну ливорнскую извѣстность; у нея много долговъ; надо ихъ за-

платить; и она такова, что за деньги заплатить только деньгами; она пожалуй и любить перестанет, если не въ состоянiи будетъ разсчитаться. Да развѣ она уже любить? Кажется. Повѣсть раскроетъ истину; а теперь, на этой террасѣ, трудно добиться отъ нихъ слова. — Вздохи и больше ничего; глаза, полные слезъ, сверкаютъ тихимъ отблескомъ звѣздъ; вотъ и все тутъ... самая романтическая бесѣда, и я никакъ бы не повелъ моихъ читателей на эту несносную террасу, еслибы не зналъ навѣрное, что всѣ серьезныя бесѣды начинаются краснорѣчивымъ молчанiемъ. Эти паузы необходимы въ житейской музыкѣ; безъ нихъ пришлось бы задохнуться музыкантамъ... Правда, речитативъ, которымъ прерывается это краснорѣчивое молчанiе, глупѣе самаго молчанiя, но что же дѣлать. Всѣ речитативы глупы и есть законы, не терпящiе исключенiй.

— «Чудная ночь!» сказалъ Березовскій съ глубокимъ вздохомъ.

— «Да, ночь прекрасна» отвѣчала Матильда: «прекрасна, хотя все-таки тяжело, душно...»

— «Да! не легко!»

Речитативъ затруднился. Послѣ краткой паузы:

— «Какую звѣзду вы больше любите, Матильда!»

— «Для меня всѣ равны, кромѣ вотъ этой... Я не могу смотрѣть на нее безъ страха...»

— «Это звѣзда моего холоднаго отечества!»

Матильда вздрогнула и рука, указывавшая на свѣрѣ, упала, будто сломанная.

— «Отъ чего же этотъ страхъ, Матильда!» сказалъ Березовскій, садясь на скамью въ задумчивости: «И у меня бываютъ припадки безотчетнаго предчувствія. Матильда! Повѣрите ли, въ Ливорно и я познакомился съ небеснымъ сводомъ; прежде мнѣ до звѣздъ не было никакого дѣла; прежде море для меня было огромною лаханкой, безъ всякаго значенія... Теперь ропотъ его наводитъ на меня уныніе; звѣздное небо—тоже, а эти сѣверныя звѣзды вселяютъ тайный страхъ, который проходитъ только послѣ свиданія, то есть послѣ пріятной бесѣды. Неужели въ этихъ странныхъ ощущеніяхъ таятся капли существенности...»

— «Не дай Боже!»

— «Никто какъ Богъ! Онъ тамъ за этими звѣздами; Онъ насъ видитъ теперь, Матильда; передъ лицомъ Его теперь много молящихся... О, звѣзды, мои звѣздочки! Я понимаю васъ! Вы съ упрекомъ сверкаете въ глаза мои; вы зовете меня на мѣсто, къ предназначенному подвигу... Я спѣшу! спѣшу! Я не уклонился отъ обязанности!»

— «Объ чемъ вы это говорите, Массимо? Вы...»

— «Матильда! У каждаго свои мысли и у меня свои; три любви на этомъ свѣтѣ: къ родной землѣ, къ родному искусству, къ роднымъ... Первая болѣе всѣхъ! Весь я, вся моя душа цѣликомъ должна лечь на службу отчизнѣ. И звѣзды зовутъ меня; нечему учиться мнѣ по своей части въ Италиі; да и возрастъ ученія миновался; надо учить; родное искусство мое—музыка; а тамъ у насъ въ

Россіи еще и учиться не начинали; на одного на меня пало счастье—проникнуть въ это таинство; я нуженъ теперь государству, какъ генераль, какъ судья, какъ купецъ; тѣхъ еще много, а я одинъ, и сижу въ Италіи, пишу итальянскія оперы, трачу время, принадлежащее моимъ соотечественникамъ.

— «Такъ вы почитаете это время потеряннымъ?...»

— «О, нѣтъ, Матильда! Тутъ есть и уступка отъ промысла въ пользу челоуѣка; это срокъ льготы, который мы должны употребить для родныхъ и я употребилъ его съ пользою. Я отдалъ все мое состояніе братьямъ; я обезпечилъ ихъ будущность; я былъ такъ счастливъ, помогъ раскрыться и развиться вашимъ колоссальнымъ способностямъ. Вы теперь на безопасной высотѣ..»

— «Такъ вы и меня считаете родною?...»

— «Больше, Матильда! Больше! Клянусь небомъ...»

— «Пожалуйте ужинать! раздался голосъ Лючин и бесѣда прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ; но послѣднихъ словъ Березовскаго было очень довольно для Матильды; она вошла въ столовую такая веселая, радостная; сіяла счастьемъ; улыбалась краше утренней зари; дышала блаженствомъ; разрумяненная внутренними ощущеніями, она была невыносимо прелестна и Березовскій понялъ наконецъ, что еще есть на свѣтѣ четвертый родъ любви, который эту новую родную отдѣлялъ отъ семьи кровныхъ и друзей. Съ этихъ поръ каждый день они проводили вмѣстѣ: свверныя звѣзды

возбуждали въ нихъ то же странное чувство страха, но эти ощущенія пролетали легкимъ облакомъ и небо блаженства ихъ опять было светло и чисто. Само собою разумъется, что Демофонтъ былъ между ними самымъ дьявольнымъ посредникомъ. Матильда пѣла свою ужасную партію въ совершенствѣ; время летѣло быстро, и однажды, когда подѣ вечеръ нани пустыпники скромно ужинали на открытомъ воздухѣ и любовались видомъ инунаго моря, на отдаленномъ горизонтѣ показались знакомыя вѣтрила. Легкій попутный вѣтръ неслъ въ Ливорно цѣлое стадо кораблей; ближе, ближе; смерклось, и сумерки освѣтились вспынками пороха на корабляхъ, тишину ночи нарушили пушечныя салюты: русскій флотъ воротился.

— «Неужели осень!» закричалъ Березовскій: «они пришли за мной! Матильда! Наше блаженство рушилось! Матильда, не выдавай меня...»

— «Что это значитъ?» спросила Лючія, изумленная выходкой Максима Созонтовича: «Опомнитесь, Массимо!»

— «Да! да! Вы правы!» отвѣчалъ Березовскій, потирая рукою лобъ. «Гдѣ права мои? Кто я! Что я! Бѣднякъ, служка, птица въ клеткѣ... Да! да! Я и забылъ! У меня есть обязанность! О, я полечу, я ихъ исполню! Матильда, руку! На годъ, не больше! Прощайте, Матильда! Не пройдетъ и года! Имя ваше будетъ гремѣть въ Европѣ! Въ Петербургѣ итальянская опера; въ Петербургѣ любимѣйшіе композиторы Италіи! Надѣюсь, очистятъ мѣсто, когда прійдетъ его законный властитель.

Надѣюсь, они поосторожатся передъ болонскимъ академикомъ и капельмейстеромъ, передъ русскимъ композиторомъ. Они должны уступить! Я ихъ застаню, я.. О, тогда, Матильда, вы придете въ Петербургъ, вы уже будете богаты, я съ достаткомъ; мы будемъ обеспечены. Не правда ли?..»

— «Я васъ не узнаю, Массимо» сказала Лючія. «Я увѣрена, что Матильда никогда не согласится...»

— «Напротивъ! Напротивъ!» закричала Матильда въ свою очередь, взошавъ съ мѣста. «Я принимаю твой вызовъ, Массимо! Вотъ тебѣ моя рука! съ ней и сердце и клятва въ неизмѣнной любви.»

— «Матильда!»

— «Массимо!»

И къ неопisanному удивленію Лючіи, любовники безъ всякихъ церемоній обнялись, поцѣловались и, проливая радостныя слезы, бросились на шею Лючіи.

IV.

ОТЪ ВЪЗДЪ.

Рано утромъ, въ знакомомъ турецкомъ кабинетѣ, графъ въ халатъ принималъ поздравленія. Ему что-то нездоровилось. Онъ былъ всамъ и всамъ недоволенъ; въ отвѣтахъ своихъ онъ былъ необыкновенно коротокъ, сухъ; въ вопросахъ замолчать, страненъ; можетъ быть... Но въ этомъ отношеніи причины неудовольствія графа пусть раз-

гдываетъ исторія. Очередь пріема гостей дошла и до Березовскаго:

— «А здравствуй! Что, опера готова? Хорошо разучили?»

— «До карнавала, ваше графское сіятельство, ещё...»

— «Глупо! Я еду завтра! Оставайся ты тутъ съ своей оперой, а мнѣ некогда. Только смотри, чтобъ было хорошо. Не осрами и не обрамись. Вотъ тебѣ денегъ на подмогу, а по веснѣ прѣзжай въ Петербургъ. Ну, прощай, любезный! Дай Богъ свидѣться въ Петербургъ по-добру, по-здорову. Прощай!»

И Березовскій ушелъ безъ особенныхъ какихъ-либо ощущеній и отправился къ Систо. Тамъ господствовало великое замѣшательство и волненіе. Систо ходилъ большими шагами взадъ и впередъ по комнатамъ. На него съ коварной и злобой улыбкой глядѣла Марія; полуодѣтая, она покоилась въ мягкихъ креслахъ; возль на табуретъ безъ спинки вертѣлась Ладичи, перебраниваясь съ первымъ пѣвцомъ и другими сюжетами труппы; на полу были раскинуты цѣлые тюки ноть; въ нихъ рылась подслѣпватая и неопрятно одѣтая фигура...

— «Ну, что, нашель?» спросилъ Систо. «Вѣрно, продалъ, мерзавецъ! Цѣликомъ продалъ! Я берегъ эту партицію на черный день, про случай, а онъ... Извергъ! и продалъ за бездѣлицу, за фульету испанскаго вина! — Посадилъ меня на мель, этотъ академикъ...»

«И меня!» подумала Марія. — «А ты, Систо, я думаю, и задатокъ отпустилъ въ полцѣны! Принялъ бродягу за академика и капельмейстера...»

— «Теперь ужъ не то время, чтобы отличить плута отъ честнаго чловѣка. Ухаль! Не велика бѣда, подумалъ я, времени много; поѣздить по разнымъ городамъ и воротится... А онъ — хотя бы слово написалъ. Разорилъ, просто разорилъ, взялъ впередъ больше половины денегъ, связалъ меня, спуталъ... И безъ оперы! Тогда какъ... Боже мой! Синьоръ Массимо!»

Березовскій стоялъ посреди комнаты съ огромнымъ фоліантомъ подъ мышкой; Систо стоялъ передъ нимъ въ позиціи удивленія; Марія вскочила и онѣмѣвъ, оставалась въ неподвижномъ изумленіи; прочіе менѣе или болѣе раздѣляли то же чувство. Первый опомнился Систо.

— «И съ оперой» закричалъ онъ. «Право, съ оперой! Да здравствуетъ великій мужъ и его опера! Кресла сюда, клависинъ; кругъ, кругъ, становитесь въ кругъ, станемъ слушать...»

— «Не безпокойтесь! Клависина не нужно. Вотъ столъ, вотъ опера, пожалуйста по условію деньги...»

— «Какъ? Но...»

— «Я исполнилъ волю графа, исполнилъ условіе — теперь за вами очередь...»

— «Но все однако же надо просметрѣть...»

— «Что это! Ужъ не собираетесь ли вы заняться разборомъ моего труда. Это не по вашей

части, Систо. Кончимъ! Я долженъ уведомить графа чѣмъ мы рѣшили...»

— «Давайте рубли!»

— «Давайте деньги!»

— «Деньги вѣрныя...»

— «Когда будутъ въ моемъ карманѣ. Опера еще вѣрнѣе; вотъ она, извольте осмотрѣть, я вамъ не обманываю... Не хотите ли взглянуть и на контрактъ; можетъ быть вспомните?...»

— «Я очень хорошо помню, но согласитесь сами, что не видавъ ни одной нотки...»

— «Продайте! Мнѣ право некогда! Я доложу графу о вашей исправности и побѣду въ Малаккѣ, чтобъ не терять времени...»

— «Да что же это вы, изъ денегъ хлопочете, что ли? Стану я затруднитися такими путями; вотъ ваши деньги!...»

— «Вѣрно! простите!» и положивъ деньги въ карманъ, Березовскій хотѣлъ уйти...

— «Массимо!» раздался дрожащій женскій голосъ: Березовскій вздрогнулъ. Онъ не зналъ что сказать, какъ обойдтисъ и очень хорошо чувствовалъ всю неловкость своего поведения. Марія во всякомъ случаѣ имѣла право на соблюденіе общественныхъ приличій; и Березовскій подошелъ къ ней, поклонился, хотѣлъ что-то сказать, но Марія его предупредила:

— «Гдѣ это вы пропадали, Массимо!»

— «Я провелъ эту весну и лѣто какъ ландшафтны, на берегу моря; пытался устроить оперу и музыкой; эти дѣла лишніи требовали оперы...»

— «Надѣюсь, вы намъ прощете что нибудь изъ этого образцоваго произведенія...»

— «Вы услышите его на сценѣ гораздо лучше...»

— «Но до карнавала далеко... Мы можемъ и вовсе не услышать...»

— «Не мой убытокъ, синьора! Я свое получилъ — и спѣшу изъ Ливорно. Возвращусь къ самому представленію; къ послѣдней репетиціи, но еще разъ напоминаю послѣднее условіе и прошу артистовъ не перемѣнять ни одной нотки! Простите!»

И Березовскій, неловко поклонясь, ушелъ; Марія, дрожа отъ злости, схватила за руку Ладичи такъ сильно, что та чуть не вскрикнула, и увлекла ее въ свою спальню.

— «Сто разъ я помогала тебѣ, Ладичи. Помогни мнѣ одинъ разъ... Не быть этой оперѣ на сценѣ во что бы то ни стало...»

— «Нѣтъ, Марія! Мстить, такъ ужъ позволь мнѣ... Дать оперу, дать, спѣть, разыграть, но какъ: все вверхъ дномъ; ни одной нотки живой не останется, все переиначу! На послѣдней репетиціи спою какъ слѣдуетъ; а на первомъ представленіи смѣхъ, стыдъ, поруганіе — вотъ что я доставлю этому гордецу... Не правда ли, моя месть умнѣе...»

— «Сто, тысячу разъ... Но, кажется, мужъ насъ подслушиваетъ» и Марія шепотомъ досказала свои желанія и мысли.

Прошло около трехъ недѣль. Партии были расписаны, тщательно перевѣрены, разосланы. Прошло

еще нѣсколько времени. Березовскаго нѣрѣдко видали въ театрѣ съ дамами, но дамы были въ маскахъ; ночевали въ гостинницѣ; утромъ, ни ихъ, ни Березовскаго уже не находили въ гостинницѣ; а искали? любопытные офицеры отъ нечего дѣлать, да Марія; чутко было ея сердце: опасны преслѣдованія и дамы перестали бывать въ театрѣ. Березовскій не скрываетъ отъ нихъ прошедшаго. Братцы получили чины и награды, и кутили въ новыхъ званіяхъ и съ новыми средствами, какъ истинные побѣдители Турковъ, но уважали тайну брата, даже Опанаса не смѣли про нее разспрашивать. Все шло самымъ обыкновеннымъ и совершенно не романическимъ порядкомъ. Дни, недѣли мелькали; начались репетиціи, наступила послѣдняя; кромѣ Маріи, постороннихъ никого не было. Березовскій явился въ урочное время со всею важностью маэстро. Почтёніе, съ какимъ привѣтствовалъ его Систо и всѣ артисты, показывало, что опера имъ понравилась. Березовскій держалъ въ рукахъ афишку и капельмейстерскій жезлъ.

— «Мнѣ кажется» сказалъ онъ спокойно и сухо: «вы поспѣшили, Систо; объявили слишкомъ рано; поставили себя въ неурядную обязанность завтра дать Демофонта непременно...»

— «Да отчего же нѣтъ? Опера идетъ какъ нельзя лучше!»

— «Посмотримъ, посмотримъ!»

«Какъ, великій мужъ, вы рываетесь сами вести оркестръ...»

— «Разумѣется! Начнемъ же, госнода!»

Все усьлоось, откапнялось, вооружилось инструментами и по мановенію палочки Березовскаго раздалась превосходная симфонія, замѣчательная античною простотою и величіемъ; въ самомъ дѣлѣ, музыканты постарались и проиграли симфонію съ отличною отчетливостію; первыя сцены прошли недурно; вышла прима-донна и съ первыхъ пассажей Березовскій остановилъ репетицію.

— «Синьора!» сказалъ онъ съ кроткою улыбкой: «А условіе! Вы оставили почти одно нѣрое пѣніе; всѣ мои арабски пропали...»

— «Неужели ихъ можно пѣть?» тоже съ улыбкой сказала Ладичи и значительно взглянула на Марию, которая въ полумракѣ злилась и горѣла нетерпливою местию.

— «Видно, что можно, если написано! Потрудитесь пропѣть вполнѣ...»

— «Помилуйте! Да этого не съиграетъ и скрипка...»

— «А споетъ человѣчскій голосъ...»

— «Кажется, я это лучше васъ понимаю...»

— «О нѣтъ, синьора! Я профессоръ пѣннй, я знаю возможности человѣческаго голоса... Такъ не угодно ли?»

— «Нѣтъ! Я съ этими украшеніями пѣть не буду...»

— «Въ такомъ случаѣ лучше вовсе не пѣть...»

— «По мнѣ пожалуй!...»

— «И по мнѣ тоже!...»

— «Что вы, что вы! Помилуйте!» закричалъ Систо: «завтра представленіе! Уже объявлено!...»

— «Вспомните условіе...»

— «Да если оно невозможно!»

— «Систо!» сказалъ Березовскій строго: «за кого вы меня принимаете! Развѣ я полуумный, что ли, и стану писать неисполнимое! Угодать капризамъ вашихъ пѣвицъ! Стыдиться труда своего! Отчего же другіе могутъ пѣть, а только одна прима-донна...»

— «Да когда всѣ эти ужасы и сидятъ въ моей партіи...»

— «Стыдитесь, синьора, говорить такія вещи! Вы пренебрегли партію, не дали себѣ труда по-работать и не можете пѣть... Но я объявляю торжественно, что завтра же, если вамъ не угодно пѣть какъ написано, я остановлю представленіе на первой вашей перемѣнѣ и прикажу опустить занавѣсъ!»

— «Такъ пойте же сами!» закричала Ладичи въ бѣшенствѣ, швырнула свитокъ съ партіей прямо въ лице капельмейстеру и убѣжала; и Систо и Марія бросились за нею, а Березовскій спокойно поднялъ свитокъ, поправилъ свѣчу, настроилъ лежавшую возлѣ запасную скрипку и сталъ на свое мѣсто..

— «Не беспокойтесь, господа!» сказалъ онъ съ невозмутимымъ хладнокровіемъ: «станемъ продолжать репетицію. Все уладится. Покуда, я за прима-донну» — и репетиція пошла впередъ. Березовскій тщательно индѣ игралъ на скрипкѣ, индѣ пѣлъ партію Ладичи и опера шла какъ нельзя лучше... Въ финалъ перваго акта съ крикомъ вбѣжалъ на сцену Систо.

— «Что вы!» кричалъ онѣ: «Съ ума сошли! Пробуйте безъ прима-донны! Ступайте къ ней! Молите! Просите! Мнѣ она сказала на отръзъ: Не буду пѣть!»

— «И не нужно! Молчите! Не мѣшайте!» грозно сказалъ Березовскій и продолжалъ финалъ. Систо, нѣмой отъ удивленія, смотрѣлъ то на капельмейстера, то на артистовъ. Ему казалось, что они все сошли съ ума; то щупалъ себя за голову и не зналъ что подумать обо всей этой исторіи. Кончился первый актъ. Систо опять присталъ къ Березовскому.

— «Но подумайте, великій мужъ, какъ же это будетъ...»

— Ахъ, какой вы несносный, Систо! Будетъ хорошо, превосходно. Я и не знаю какъ благодарить господъ артистовъ... Въ Болоннѣ, въ Миланѣ мнѣ не удавалось встрѣчать такого согласія, такой твердости; восхитительно! Теперь, господа, кончимъ репетицію и не откажитесь со мною откупать во здравіе Демифонта!

— «Да здравствуетъ Демифонтъ и его родители!...»

— «Право, они съ ума сошли!» кричалъ Систо: «все до одного съ ума сошли, со мною включительно. Да вспомните, ради самого Бога, что у васъ нѣтъ прима-донны...»

— «Систо! говорю вамъ безъ шутокъ! отвѣжитесь! Намъ не до васъ! Ступайте прочь, занимайтесь своимъ дѣломъ, приготовляйте костюмы, декорации, лампы и побольше билетовъ; послѣ репетиціи приходите ко мнѣ обѣдать...»

— «Въ еумасшедшій домъ развѣ...»

Но рѣчь его заглушилъ сильный аккордъ. Репетиція пошла своимъ порядкомъ. Во все время слышны были одобрительныя восклицанія музыкантовъ и плачь Систо.

Репетиція кончилась аплодисментомъ исполнителей оперы.

— «Теперь ко мнѣ, господа!» сказалъ громко Березовскій и странный стукъ ящиковъ, и гулъ голосовъ смѣнили стройные звуки Демофонта. Березовскій уходилъ изъ театра, Систо бѣжалъ за нимъ и кричалъ по своему: «Шутки въ сторону, маэстро! Вы не знаете здѣшней публики. Мы съ нею не раздѣлаемся! Она готова убить меня и васъ...»

— «До этого не дойдетъ, Систо! Но я вижу, что васъ нельзя унять. Послушайте! У меня есть братъ, который по несчастію.. вы меня понимаете, — превосходно поетъ сопрано... Чуръ, секретъ...»

— «Отсохни языкъ!.. но это все похоже на сказку...»

— «Слушайте! Онъ еще очень молодъ, женоподобенъ и красивъ... Но если вы меня выдадите!..»

— «Убей меня громъ небесный!»

— «Завтра пропоетъ онъ... Партію онъ уже знаетъ и пропоетъ безъ репетиціи... Такъ завтра онъ, а послѣ завтра, вы увидите, Дядичи у насъ же будетъ просить прощенія...»

— «Великій мужъ! Вы все предвидѣли! О, эти

Ладичи! она стоить такого урока, право стоить; сотремъ рогъ ея гордости...»

— Но вы видите, куда влечетъ меня авторское самолюбіе. Для славы моей я жертвую репутаціей моего брата. Понимаете? И потому вы должны первое: завтра на афишкѣ не ставить лицъ, а только роли...»

— «Весьма умно! Не поставлю ни одного лица, кромѣ вашего.»

— «Второе: сколько у васъ выходовъ со сцены?»

— «Два. Одинъ въ театрѣ, другой на подъездѣ...»

— «Хорошо! Тамъ будутъ держать стражу мои люди. Ни Ладичи, ни ваша жена не должны быть пропущены на сцену...»

— «Я скажу, что вы взяли все на себя, скажу, что графъ не приказалъ; да ужъ я скажу, не бойтесь, а покуда...»

— «А покуда, и сегодня и завтра до самого вечера настаивайте, чтобы Ладичи пѣла. Она не согласится, это вѣрно.»

— «Это такъ вѣрно, какъ то, что ваша опера чудо...»

— «Стращайте правительствомъ...»

— «А она притворится больною...»

— «И не придетъ въ театрѣ...»

— «И все сойдетъ съ рукъ, какъ нельзя лучше. Публика будетъ благодарна, что мы не оставили представленія... А что, вашъ братецъ, въ самомъ дѣлѣ, поетъ...»

— «Лучше, гораздо лучше Ладичи...»

— «Да это просто чудо, прелесть!» и Систо на площади хлопалъ въ ладоши, подпрыгивалъ, подбрасывалъ шляпу, къ изумленію артистовъ, выходявшихъ изъ театра. Но вдругъ онъ стихъ, повѣсилъ голову и печально пошелъ за Березовскимъ — и неудивительно! Въ окнахъ своей квартиры онъ увидѣлъ жену и синьору Ладичи. Замѣтивъ радость Систо и спокойствіе Березовскаго, и зная, посредствомъ тайныхъ посольствъ служанки, что репетиція продолжалась, дамы не знали что гадать, что думать; подозрѣнія возрастали и могли навести на опасную догадку; но послѣ добраго объѣда явился Систо; вино придало ему смѣлости; онъ настаивалъ, грозилъ, — и дамы успокоились, душевно смѣясь надъ легкомысліемъ Березовскаго. На другой день рано по утру появились небывалыя афишки, прилѣпленныя на стѣнахъ домовъ, на всѣхъ перекресткахъ; онѣ возбуждали толки и привлекали толпу. Театръ былъ въ осадѣ, но Систо, всегда лично раздававшій билеты, почтительно кланялся изъ своей конурки и докладывалъ публикѣ съ гордостью, что билетовъ нѣтъ въ продажѣ. Весьма многіе молодые и богатые люди обращались въ подобныхъ случаяхъ къ женѣ Систо, къ прима-доннѣ и къ другимъ важнѣйшимъ членамъ труппы. Но каково же было ихъ удивленіе, когда Ладичи не принимала никого за тяжкимъ недугомъ, жена Систо не хотѣла никого видѣть... Въстъ, что Ладичи не будетъ ввечеру пѣть, разнеслась по городу съ быстротою самой нелъпой сплетни, значить быстрее молніи...

— «Слышали, господа!» кричали осаждающіе въ заднихъ рядахъ: «Оперы сегодня не будетъ.»

— «Будетъ!» ревъль Систо во все горло.

— «Ладичи больна...»

— «Къ вечеру выздороветь!...»

— «Она при смерти...»

— «Это уже не въ первый разъ — и еще ни разу не умерла. На то есть мѣры.» Все Ливорно очень хорошо знало и вѣдало, что партія примадонны въ оперѣ Березовскаго ужасно трудна, что кромѣ Ладичи съѣтъ ее некому, и потому не удивительно, что ввечеру, за часъ до урочнаго времени, въ С.-Себастьяно съѣхались не только слушатели, получившіе билеты во и тѣ, которые не достали мѣсть ни въ кассѣ, ни у факторовъ Систо за плату, иногда вдесятеро превышающую установленную магистратомъ. Публика сидѣла и стояла въ потемкахъ, громко требовала огня, но Систо презиралъ подобныя требованія и зажигалъ одинокую лампу, освѣщавшую амбонтеатръ ровно за десять минутъ до начала представленія; притомъ же ему теперь было не до внутренней публики; внѣшняя крайне его беспокоила: она огромными двумя толпами окружала оба театральныя крыльца, въ особенности заднее. Систо очень хорошо зналъ, что въ этихъ толпахъ скрываются такіе обожатели синьоры Ладичи, которые готовы взять театръ приступомъ и надѣлать тму самыхъ неприятныхъ исторій; почему, забывъ объ лампахъ и костюмахъ, Систо бросился къ коменданту города; выпросилъ чуть не полкъ тосканскихъ драгунъ; они

оттаскивали объ толпы на приличное разстояніе, устроили широкую военную дорогу, по которой, немедленно по открытіи, четыре трактирные лакея пронесли въ закрытыхъ носилкахъ неизвестныхъ съдаковъ и выпустили ихъ прямо въ театръ. Уличная публика только и могла замѣтить, что одна изъ приближенныхъ въ носилкахъ особъ была въ греческомъ костюмъ и маскѣ, другая въ мужскомъ плащѣ и также въ маскѣ. Огромныя двери заперлись; ключъ щелкнулъ два раза и площадь съ этой стороны опустѣла; но за то у выхода со сцены на театръ происходило сильное словопреніе между Опанасомъ и городскими щеголями. Привилегированные посѣтители закулиснаго края напрасно истощали все свое краснорѣчіе и доказывали Опанасу, что еще праятцы ихъ имѣли свободный доступъ за кулисы. Опанасъ сначала опровергалъ ихъ права и притязанія; потомъ махнулъ рукой, сѣлъ на деревянный табуретъ у самыхъ дверей и на всѣ фигуры словъ и на всѣ монеты закулисныхъ гостей отвѣчалъ упорнымъ молчаніемъ. И съ этой стороны осаждающіе должны были отступить. Внизу, то есть по нашему, по нынѣшнему, въ партеръ, при слабомъ свѣтѣ уже зажженной лампы, въ темномъ углу собралась партія Ладичи и условливалась насчетъ дальнѣйшихъ дѣйствій; но нѣсколько неосторожныхъ словъ ей измѣнили; братцы ихъ подслушали и подняли тревогу. Такъ какъ это было послѣ объѣда и разумется объѣда плотнаго, располагающаго къ великимъ подвигамъ, то и не удя-

вительно, что къ братьямъ пристали все объ-
давшіе такимъ же образомъ и торжественно объ-
явили, какъ будто другъ другу, но такъ, что
заговорщики не могли не слышать, — что вся-
кое поползновеніе къ шиканью, къ метанью гни-
лыми дблоками и ко всякимъ инымъ безпоряд-
камъ они принимаютъ на себя наказывать лише-
ніемъ уха, носа и другихъ частей человѣческой
фигуры. Въ этотъ несчастный день, во всемъ
театрѣ и его окрестностяхъ не было уголка спо-
койнаго. И на сценѣ артисты, собравшіеся въ кругъ,
разспрашивали Систо: кто прима-донна? откуда?
и такъ далѣе. Но Березовскій стоялъ близко и
Систо пантомимой наказывалъ молчаніе... И Бере-
зовскій не былъ покоенъ. Какъ хотите, и Моцартъ
и Мольтеръ трепетали невольнымъ страхомъ передъ
представленіемъ даже послѣднихъ своихъ произве-
деній; нельзя привыкнуть къ этому чувству; оно
создано изъ особенныхъ ощущеній; не принадле-
житъ къ психологическимъ каталогамъ чувствъ, и
сходства съ другими чувствами въ немъ мало; а
у Березовскаго двойной страхъ и за себя и за
прима-донну; не смотря на всю увѣренность въ
высокихъ достоинствахъ и своего труда и прима-
донны, Березовскій дрожалъ всемъ тѣломъ, хо-
лодный потъ выступалъ по лицу крупными кап-
лями; ему хотѣлось бы и скорѣе начать пред-
ставленіе и отмѣнить его вовсе; но послѣдняго
сдѣлать нельзя и Березовскій, громко сказавъ: Пора!
пошелъ въ оркестръ. Амфитеатръ заволновался,
но съ первыми аккордами симфоніи затихъ и хра-

ннлг мертвое молчаніе до конца увертюры. За-
шавсь поднимась при оглушительномъ громѣ ру-
жонесканій и опять наступила тишина, и явнѣ
шло покойно, волнуя только искреннихъ любите-
лей и знатоковъ прелестью, простотою и новостью
мелодій; но вдругъ простота закурдявилась, ор-
кестръ сыгралъ ригурнель въ высшей степени за-
тѣливую; вниманіе публики напряглось; во глу-
бинѣ театра показалась прима-донна; по располо-
женію пѣсы, она должна была издали, чуть не
за кулисами, начать свою арію. И звучный сере-
бряный голосъ разсыпался подобно блистатель-
ной ракетѣ, на темномъ небѣ раскинувшей свои
ослѣпительные блестки. Публика, будто одинъ че-
ловѣкъ, вздрогнула: прима-донна медленно при-
ближалась къ аванъ-сценѣ; изъ полумрака рисо-
валась дивной стройностью и прекраснымъ ростомъ
роскошная женская фигура; костюмъ увеличивалъ
прелесть; ближе, ближе, и переднія лампы освѣ-
тили очаровательное лицо Матильды, оживленное
вдохновеннымъ выраженіемъ; плуоткрытыя уста,
окончивъ первую часть аріи, сомкнулись небесной
улыбкой — и амфитеатръ завылъ. оглушая трубы
оркестра. Нѣсколько голосовъ кричало: Matilda!
Matilda! Divina!... Волненіе въ оркестръ увлекло
общее вниманіе на Березовскаго; ближайшіе му-
зыканты, спѣшно оставивъ инструменты, подхва-
тали его подъ руки; онъ плакалъ навзрыдъ сле-
зами блаженства; умоляющій взглядъ Матильды
привелъ его въ чувство; онъ схватилъ палочку и
оркестръ загремѣлъ. Арія была окончена и пред-

ставленіе остановилось слишкомъ на четверть часа. Крики, стукъ, кошельки, цвѣты, платки, все это пришло въ движеніе и смѣшалось въ странный и общій хоръ; даже Систо и артисты до того забылись, что выбѣжали на сцену и громко кричали: Матильда, Матильда! Систо не преминулъ прибавить: «Убей меня громъ небесный, я этого не зналъ и не ожидалъ! Никогдабъ не позволилъ, никогда!...».

— «Прочь со сцены!» закричалъ Березовскій.

— «Прочь со сцены!» повторило сто голосовъ и опера пошла далѣе, постепенно возрастая въ успѣхъ, такъ что послѣдній финалъ угрожалъ разрушеніемъ старому С.-Себастьяну. Занавѣсъ упала. Вызовы окончились, но публика не расходилась, ждала, ждала чего-то долго и разбрелась уже въ потемкахъ, потому что Систо приказалъ потушить лампу. Замаскированная дама, въ сопровожденіи Лючіи въ мужскомъ плащѣ и маскѣ, въ тѣхъ же носилкахъ благополучно воротилась въ гостинницу, благодаря тосканскимъ драгунамъ. Толпы восторженныхъ слушателей провожали ихъ до гостиницы криками, пѣснями; и долго, долго, далеко за полночь бродили подъ тусклоосвѣщенными окнами... А Матильда? Она не раздвѣвалась, она ждала кого-то, и дождалась. Максимъ Созонтовичъ вбѣжалъ въ комнату какъ полуумный и бросился въ ея объятія! Долго плакали всѣ трое безъ словъ, но голосъ Систо привелъ ихъ въ чувство...

— «Маэстро! Вы погубили меня! Вы разорили меня! Онъ уже узнали! Видите, на лицѣ моемъ

кровь — это жена моя; видите, у меня нѣтъ парика — это Ладичи; нога болитъ; я летѣлъ съ собственной лѣстницы, какъ падшій ангель; только и разницы что не въ адъ, а изъ аду. Что я буду теперь дѣлать?»

— «Что хотите! Мы свое сдѣлали! Вы нарушили условіе. Я требоваль...»

— «Знаю, Господи Боже мой, знаю, да что я стану теперь дѣлать...»

— «Что угодно! Демофонть данъ! Публика довольна! Мы отомщены; теперь можете сжечь мою оперу; я объ ней не пожалю...»

— «Да я что буду дѣлать! На завтра всѣ билеты проданы; а кто будетъ нѣтъ, Ладичи не хочеть...»

— «Заключите условіе съ Матильдой; она на этотъ карнаваль, пожалуй, останется въ Ливорно...»

Систо стоялъ вытаращивъ глаза на Матильду и не зналъ что сказать, на что рѣшиться.

— «Ну, послушайте, Систо! Теперь уже поздно; дамамъ нуженъ отдыхъ. Пойдемъ ко мнѣ...»

— «Да нѣтъ-то кто будетъ?»

— «Ладичи или Матильда... Но если Ладичи, такъ по моему. Не прощу ни одной нотки... Пойдемте!»

И простясь съ дамами, Березовскій утащилъ Систо въ корридоръ...

— «Постойте, маэстро! Не ложитесь! Пойдемте со мною къ Ладичи, можетъ быть она согласится...»

— «Да мнѣ какое до этого дѣло? Если Матильда не будетъ пѣть, я и въ театръ не пойду.»

— «Не пойдете? Честное слово?»

— «Пожалуй! Честное слово!»

— «Ну, смотрите же, ни ногой! Вы дали честное слово! Простите пока» и Систо, какъ ни былъ разбитъ, бросился домой, но тамъ, о ужасъ! тамъ нашелъ цѣлую ордію. Жена его и Ладичи, въ неистовомъ бѣшенствѣ, не зная чѣмъ заглушить вопиющую злобу, пировали съ обожателями и покупали безумными ласками ужасныя клятвы отомстятъ Матильдѣ, Березовскому, Систо, всемъ, и отомстить завтра же. Домъ Систо, всегдашній притонъ тайнаго разврата, обратился въ открытый вертежъ самыхъ дикихъ, безстыдныхъ страстей. Очарованіе было слишкомъ сильно, по роскоши, прелестей главной вакханки Маріи. Необинуясь, она громко объявила, что не останется жить съ Систо, что уйдетъ, зарыжетъ его, какъ только увидитъ; что любовь ея тому наградой, кто чувствительнѣе отомститъ за ея подругу Ладичи; обѣты Ладичи были тѣ же: и молодость клялась и ликовала, торжествуя впередъ легкую побѣду. Какъ псы, бросилась вся компанія на Систо, какъ только его зачужала, но страхъ на своихъ легкихъ крыльяхъ унесъ его отъ погони прямо въ гостинницу; Березовскій впустилъ его въ свой номеръ, дрожащаго всемъ тѣломъ; онъ долго не могъ выговорить слова; но какъ только оправился, тотчасъ началъ старую пѣсню:

— «Да кто же будетъ пѣть завтра? Ладичи не будетъ! А билеты все проданы!»

— «Я вамъ говорилъ, Систо! Матильда, только надо заключить контрактъ по всемъ правиламъ...»

— «Такъ слушайте же, разбудите ее, станемъ торговаться...»

— «Ничего этого не нужно! Я за нее... за карнавалъ тысячу червонныхъ — и дѣло съ концемъ...»

Напрасно Систо истощилъ все способы убѣжденія, чтобы сколько нибудь облегчить участь С.-Себастьяно и своего кошелька. Неумолимый Березовскій умѣлъ воспользоваться своимъ положеніемъ и къ утру условіе было написано, переписано, подписано передъ объѣдомъ засвидѣтельствовано всеми и городскими властями. И Марія, и Ладичи, и обожатели ихъ, положившіе страшную клятву, еще спали, когда началось второе представленіе Демонфонта, обезпеченное драгунами, Опанасомъ и братьями съ братіей. И Марія и Ладичи какъ львицы прибѣжали въ театръ посмотреть на паденіе Матильды, и были свидѣтельницами только ея законнаго торжества; мстители еще одѣвались, пудрились, охорашивались, когда Матильда единогласно была провозглашена первою пѣвицею Италіи и почти вся публика провожала ее въ триумфъ до крыльца гостинницы. На другой день все почетнѣйшіе люди въ городъ искали ея знакомства; записные волокиты всякаго рода и званія, въ томъ числѣ почти все мстители, явились къ ней съ повинною головою, но, увы, уходили отъ нея влюб-

леньки по уши и безъ надежды, унося съ собою какое-то благоговѣйное уваженіе къ женской добродѣтели. Напрасно шипѣли злобой Марія и Ладичи; какъ змеи въ травѣ, невидимыя и безвредныя, онѣ обливались собственнымъ ядомъ: съ каждымъ днемъ слава Матильды возрастала; Смсто богатѣлъ; публика блаженствовала и незабвенный карнавалъ доставилъ Еврощъ пѣвицу, какихъ не много видали на лучшихъ италіанскихъ театрахъ. Но всему есть срокъ въ этой срочной жизни. Во вторникъ на первой недѣлѣ поста ударилъ колоколъ, зовущій грѣшниковъ къ покаянію; Амвросіо стихло; весенніе дожди и вѣтры обновили природу, флотъ русскій готовился къ отъезду; день разлуки Березовскаго съ Матильдой приближался. Они боялись даже говорить объ этомъ страшномъ днѣ, но благоразумная Лючія каждый разъ наводила разговоръ на эту тяжелую тему. Березовскій не сомнѣвался въ успѣхахъ своихъ въ Россіи; примѣръ Моцарта не могъ служить ему урокомъ, хотя онъ не разъ удивлялся, что Моцартъ, славный, знаменитый, истинное чудо въ своемъ родѣ, скитался безъ мѣста по родной Германіи; Березовскій былъ твердо уврѣнъ, что въ Петербургъ только и ждутъ его, что на другой же день онъ будетъ занимать первое музыкальное мѣсто, осмотрится и пріймется за реформу; Матильда въ это время успѣетъ удивить всю Италію; пропоетъ на важнѣйшихъ театрахъ, карнавалъ проведетъ въ Миланъ и черезъ Вьну, Дрезденъ и Варшаву пріѣдетъ съ торжествомъ въ Петербургъ и тамъ—и сердце Березов-

скаго замирало въ избыткѣ блаженства и Матильда разделяла все эти надежды и чувства. Да и могло ли случиться иначе: контрактъ съ Миланомъ былъ уже заключенъ; другіе города звали ее на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, гдѣ на мѣсяць, гдѣ на болѣе; Березовскій проводилъ Матильду до Венеціи, былъ свидѣтелемъ ея торжества, поручилъ свою невѣсту заботливой дружбѣ Лючіи, простился будто на одинъ день — и воротился въ Ливорно. Тамъ ужъ давно ждали его и на другой же день Березовскій въ красивой каютѣ на адмиральскомъ кораблѣ пустился въ дальній путь. Адриатическія волны и петербургскія надежды убаюкали его снова сладостнымъ; онъ прѣснулся.

—
V.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Уже нѣсколько городовъ убѣдилось въ справедливости слуховъ насчетъ ливорнской пѣвицы. Матильда превосходила все ожиданія: толпа волокитъ изъ города въ городъ преслѣдовала несравненную; но никакія хитрости, подкупы не удавались; самые отчаянные селадоны не могли добиться минутнаго свиданія съ Матильдой; навязчивыхъ, нахальныхъ гостей принимала и отправляла Лючія — и весьма естественно; Лючія была и казначейша и домоправительница; она заключала контракты, получала деньги, расписывалась, закупала все нужное; никто не могъ имѣть самаго ничтожнаго дѣла къ

Матильдъ; но прелести ея были такого высокаго достоинства, что самыя непріятныя неудачи усиливали только, раздували людскія желанія и въ Веронъ всѣ возможныя гостиницы, и множество забытыхъ, полуразрушенныхъ домиковъ на предмѣстьяхъ все было наполнено, набито пріѣзжими изъ другихъ городовъ обожателями. Знаменитая пѣвица не знала гдѣ остановиться въ обширномъ городѣ; все было заблаговременно нанято; принуждены были нанять загородную виллу; но и тамъ обожатели не оставляли ихъ въ покоѣ. Серенады раздавались подъ высокой оградой; письма кучами приходили въ руки Лючіи и отправлялись нераспечатанныя въ огонь; но вотъ пришло письмо съ почты; Лючія рѣшилась распечатать и бросилась на балконъ къ Матильдѣ.

— «Письмо отъ Массимо!» успѣла прокричать Лючія и Матильда уже читала:

«Петербургъ, 7-го Іюля 1775 года. Матильда! Здорова ли ты, Матильда! Хранить ли ангель Божій лучшее твореніе Божіе, мою Матильду? Каждый день молюсь! На корабль въ однообразной тоскѣ морскаго пути душа моя пѣла молитву о тебѣ и напѣла эту тихую пѣсенку, которую тебѣ и посылаю. Я въ Петербургъ со вчерашняго дня. Девять лѣтъ такъ измѣнили нашу столицу, что узнать трудно. Я боялся за тебя; думалъ, что объѣхавъ лучшіе города Италіи и Германіи, ты найдешь нашъ Петербургъ пустыней. Теперь не страшно. Само собою разумѣется, я не успѣлъ еще и осмотрѣться; остановился въ гостин-

ницъ; Петербургъ пусть. Вся въ Москвѣ; это у насъ другая столица, центральная и старая, гдѣ коронуются наши Государя и отъ времени до времени посвящаютъ старушку; весь Дворъ тамъ. Празднуютъ миръ съ Турціей. Опера, виртуозы, артисты, капелла, все тамъ и мнѣ рзнительно нечего дѣлать, некуда пойти. Ни души знакомой. Положеніе мое было бы незавидно, еслибы душа моя не носила въ себѣ неотлучной собесѣдницы, тебя, Матильда... Разлука—Богъ съ ней... это жестокое страданіе; слава Богу, что не съ кѣмъ говорить, нечего дѣлать. Разлука впрочемъ имѣетъ и хорошую сторону. Это мѣра нашимъ чувствамъ. Это время для самаго труднаго экзамена; я выдержалъ его, Матильда, и теперь во сто кратъ болѣе люблю тебя. Все къ лучшему. Вольтеръ не правъ. Право все къ лучшему.—Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ почти мальчикомъ, мнѣ показалось, что меня привезли на кладбище, гдѣ и для меня уже готова могила. Когда я имѣлъ счастье, въ старомъ деревянномъ дворцѣ, за обѣдней, въ плохомъ концертѣ, слышать неумѣстное соло, я испугался своей будущности... Боже мой, Боже! думалъ я: только-то и цѣли въ моей жизни! Зачѣмъ? Развѣ я не могъ допѣть моей жизни и въ холмистомъ Кіевѣ? Но покойный Цописъ самъ немного зналъ, однако же открылъ во мнѣ музыкальное дарованіе. Кто ему шепнулъ, что меня надо посвятить въ тайны композиціи? Не думай, Матильда, что я обрадовался предложенію Цописа. О, нѣтъ, я испугался; но пріученный къ повиновенію старшимъ,

торячо принялся за ученіе. Когда рѣшили, что меня должно послать за границу, въ Италію, — я плакалъ съ горя, не спалъ ночи: мнѣ казалось, что Цояисъ хочетъ уморить меня; но повиновался, прѣхалъ въ Болонью, учился, работалъ, мучился — не понимая, не постигая зачѣмъ я все это делаю. Въ трудахъ моихъ не было никакого вдохновенія; ничто меня не воспламеняло, не увлекало; въ искусствѣ моемъ я не видѣлъ цѣли; естественно, я сталъ изнемогать, трудъ обратился мнѣ въ казнь, я боялся за разумъ; на краю пропасти я самъ угадалъ необходимость дать занятіямъ своимъ какую нибудь систему, отыскать цѣль — и Богъ благословилъ меня высокимъ чувствомъ сознанія въ моемъ назначеніи для пользы и чести Россіи. Съ тѣхъ поръ мнѣ стало легче; но признаюсь, и это чувство заключало меня въ чужомъ-то волинебномъ пустынномъ кругу; я жилъ будто не въ свѣтъ, ни чѣмъ съ нимъ не связанный; и нерѣдко я сравнивалъ себя съ тучей — ходитъ высоко надъ землею, льетъ воду, растеть, тяжелеетъ, чтобы разлиться дождѣмъ надъ бутрами песку и исчезнуть. И грустно было мнѣ на этомъ свѣтъ, грустно, такъ грустно, что и улыбки не видалъ на устахъ моихъ ни Атаназію, ни Мартини. Пустота въ моей жизни стала для меня замѣтна. Я ходилъ около нея, какъ бессмысленная лошадь на мельницѣ, не понимая откуда и зачѣмъ этотъ однообразный стукъ колесъ и жершовой, и отчего подъ ногами земля кодитъ. Я сдѣланъ академикомъ. Не думай, чтобы эта честь сколько нибудь

меня порадовала. Ни на волосъ. Я считалъ обязанностью въ отношеніи къ Россіи быть академикомъ не позже малолѣтнаго Моцарта; я не читалъ моего диплома и если бы не Атаназіо, то вѣрно бы не привезъ его съ собою въ Петербургъ. Письма братьевъ на мгновеніе оживили тоску мою, кровь заговорила. Я полетѣлъ къ нимъ на крыльяхъ, свидѣлся—и совершенно упалъ духомъ. Скажи, Матильда, зачѣмъ меня утащили изъ Кіева, зачѣмъ отправили въ Италію, зачѣмъ учили, къ чему Богъ мнѣ подарилъ голосъ и музыку?.. О тебѣ, Матильда, заботился PROVIDENCE, и кто знаетъ, можетъ быть я уже болѣе не нуженъ на этомъ свѣтѣ. — Я не могу писать болѣе... Мнѣ грустно... Прости, Матильда!.. Нѣтъ! Я еще не могу съ тобою разстаться, Матильда! Я провелъ весь день на открытомъ воздухѣ; любовался великолѣпной, оживленной Невой! Случай навелъ меня на стараго знакомаго, товарища по капеллѣ; онъ спалъ съ голосу и теперь служитъ въ Сенатѣ. Ахъ, какъ онъ обрадовался встрѣчѣ со мною; мы проговорили съ нимъ цѣлый день, обошли почти весь невскіе острова пѣшкомъ; и признаюсь я порадовался за Петербургъ. Не смотря на отсутствіе Двора, вся рукава Невы покрыты большими ладьями; на нихъ то публика, то музыканты, то пѣсенники; со всехъ сторонъ слышались звуки рожковъ, кларнетовъ, фаготовъ; я тебѣ кое что рассказывалъ о нашей роговой музыкѣ, но самъ еще не имѣлъ объ ней порядочнаго понятія; на вѣдь эффектъ этого оркестра поразителенъ, но

на бѣду играютъ пѣсы, вовсе несродныя этого рода инструментамъ; я дорогой, гуляя съ товарищемъ и слушаю его рассказы, сочинилъ для роговъ концертъ; посылаю тебѣ его мотивы; напиши, что ты объ нихъ думаешь. Мой товарищъ ужасно забавенъ. Сначала мнѣ разсказалъ подробно разныя училищныя сплетни; потомъ, что у нихъ дѣлается въ сенатской канцеляріи. Представь, онъ не знаетъ, что я сдѣлавъ академикомъ и капельмейстеромъ; на все мои увѣренія качалъ головою сомнительно, и заключилъ опасеніемъ, что въ Петербургъ я никогда не буду капельмейстеромъ. Чудакъ!» Полно, братецъ, полно» говорилъ онъ мнѣ: «Ты прежде не любилъ хвастать, теперь какъ по маслу...» Я не могъ обидѣться, а онъ продолжалъ: «Вѣрю, братецъ, что ты теперь знаешь больше, чѣмъ зналъ, да куда тебѣ до Чимарозы и Паэзіалло; первые въ цѣломъ свѣтъ! Такія пинуть оперы, что просто на диво... «А ты думаешь, что я не пишу оперъ!» — Полно, братецъ, полно! «Да знаешь ли ты, что въ Ливорно играли мою оперу Демофонтъ!» — Онъ чуть не легъ со смѣху; признаюсь, это меня нѣсколько огорчило! Какъ! Знакомый, товарищъ, и тотъ не знаетъ, что я академикъ, капельмейстеръ, что я написалъ Демофонта! Но такъ какъ занятія по службѣ могли его отвлечь отъ искусства, я утѣшился и пересталъ разговаривать о музыкѣ. — Но вотъ уже и утро, то есть солнце, потому что ночи здѣсь нѣтъ — легкіе сумерки и только. Я измученъ прогулкой. Завтра, то есть сего-

дня, идетъ почта; прости, Матильда!—Да, милый другъ, если можно, сдѣлай моего Демофонта сколько нибудь известнымъ въ Миланъ, во время карнавала и когда будешь вхать черезъ Германію. Меня взбѣсилъ этотъ невѣжа! Итальянскихъ газетъ, какъ онъ сказывалъ, никто не читаетъ въ Петербургъ; о миланскомъ карнавалѣ пишутъ и Нѣмцы; а это бы пригодилось по крайней мѣрѣ для сенатскихъ чиновниковъ. Жду отъ тебя писемъ по прилагаемому адресу... До свиданія, Матильда, когда-то мы увидимся! Весь твой М. Б.»

«Верона. 22 го сентября 1775 года. Другъ мой, Массими! Я не писала къ тебѣ такъ долго, потому, что все поджидала изъ Ливорно Демофонта. Но вотъ что случилось. Марія Систо, твоя любовь, и моя соперница, узнавъ, что я прислала за оперой не мало денегъ, ночью забралась въ кладовую, отыскала партитуру и все голоса и предала нашего друга и наперсника огню. Не огорчайся, мой другъ, горю можно помочь; я нашла въ Веронѣ бывшаго капельмейстера въ Ливорно. Онъ увѣряетъ меня, что помнить всю оперу наизусть и уже, съ моею помощію, принялся писать партитуру. Пропусковъ и ошибокъ быть не можетъ, потому что я знаю оперу лучше его; мнѣ нуженъ только работникъ. Впрочемъ я не упускаю случая блеснуть Демофонтомъ. Въ знатныхъ домахъ и разъ на театрѣ я пропѣла мою арію — и все были въ восхищеніи. Кому же ближе забо-

тяться о славѣ твоей, доброй мой другъ и благодѣтель. Ахъ! скоро ли эти холодныя имена замѣнятся священнымъ именемъ супруга. Массими, Массими, ты правъ! Разлука возвышаетъ и усиливаетъ любовь! На дняхъ я оставляю Верону, беру моего капельмейстера и ѣду въ Парму. Пиши прямо въ Миланъ, потому что въ Пармѣ я долго не пробуду. Сдѣлай милость старайся поскорѣе устроиться и я полечу къ тебѣ на крыльяхъ. Безъ тебя мнѣ скучно, очень скучно. Мнѣ кажется, я и пою хуже, и дурно играю, хотя добрая Лючія и увѣряетъ меня, что я дѣлаю успѣхи. Прости, милый другъ; но кажется мы съ тобой не похожи ни на свѣтскихъ любовниковъ, ни на романтическихъ героевъ. Я иначе о тебѣ не думаю, какъ будто бы объ отцѣ, мужѣ и дѣтяхъ вмѣстѣ. Грусть моя велика отъ заботливыхъ думъ; я знаю, я помню, ты увхалъ, у тебя не было и трехъ сотъ червонныхъ; деньги всегда нужны, съ ними тебѣ и устроиться будетъ легче. Не прикажешь ли, Массими, прислать тебѣ пять, шесть сотень; у меня набралась денегъ куча, уже за двѣ тысячи; ты велѣлъ беречь эти деньги и мы не проживаемъ лишняго ни павла. Лючія — истинный Колбертъ. Напиши только куда и какъ переслать. Я увѣрена, что ты не разсердишься за это на твою Матильду.»

«Петербургъ. 15-го декабря 1775 года. Я получилъ письмо твое, Матильда, получилъ тогда, въ такую минуту, когда безъ этой небесной

помощи я не знаю что бы со мной сдѣлалось... Не знаю станеть ли у меня духу, хладнокровія, чтобы разказать тебѣ въ порядкѣ все, что со мною случилось. Не пугайся, Матильда! Буря стихла, но волненіе еще продолжается! Я едва стою на ногахъ. Это было въ день моего рожденія, 21-го сентября. Ты какъ будто знала и на другой же день спынила меня утѣнить неоцѣненнымъ письмомъ. Но могъ ли я этого надѣяться, могъ ли я думать, мечтать!... Да, не даромъ насъ пугали сѣверныя звезды... Надо было вѣрить небу... Надо было... Ахъ, Матильда, зачѣмъ я пишу къ тебѣ? Скажи, не безумецъ ли я? Клянусь Богомъ и всѣми святыми, я не хотѣлъ писать къ тебѣ; горя стыдомъ, я искалъ когонибудь, чтобы излить мои страданія, но Атанасію меня не понялъ, братья меня поздравили съ позоромъ; вѣтъ у меня ни живой души, которая бы могла понять мое положеніе. И какъ же ты хочешь, чтобы я не писалъ къ тебѣ. О, Матильда, но послѣ всего что случилось, могу ли, смѣю ли обращаться къ тебѣ... Признаюсь, я стыжусь объ тебѣ думать, когда сижу на своемъ новомъ мѣстѣ... Но будь что будетъ, Матильда! Прими мою исповѣдь и забудь меня. — Да, это было въ день моего несчастнаго рожденія. Очень нужно мнѣ было... Но... вотъ видишь. Я былъ одинъ, какъ всегда; запершись я доканчивалъ осьмиголосный концертъ: «Не отвержи мене...» Я чувствовалъ какое-то небесное удовольствіе отъ священнаго труда; ты, Матильда, право ты одна си-

дѣла у стола и улыбалась такъ ангельски вдохновенной работъ, и звуки будто слышимо лились на бумагу. Вдругъ вошелъ Опанась и говорить: Царица будетъ завтра! — Ты почему знаешь? — Да прѣхали пѣвчіе, комедіанты и дворская челядь. Печки топятъ, театръ снаряжаютъ. По счастью концертъ былъ совершенно оконченъ; оставалось дописать послѣднюю разрывительную каденцу; я бросилъ перо, наскоро одѣлся и пошелъ во дворецъ. Въ самомъ дѣлѣ, это огромное зданіе, все время стоявшее пустыремъ, вдругъ оживилось; вездѣ мыли окна, люди бѣгали по крыльцамъ, кругомъ разнообразныя дорожныя экипажи. Я справился. — Директоръ капеллы Сарті прѣхалъ; онъ жилъ недалеко отъ дворца, тутъ же на Мойкѣ; я поспынилъ къ нему. Онъ принялъ меня сухо, гордо, невыносимо и объявилъ мнѣ, что для меня нѣтъ вакансіи. Всѣ помощники и его учителя въ комплектъ, а мнѣ нѣтъ мѣста! Мнѣ! Да чье же мѣсто занимаешь ты, наемный приналецъ? Мнѣ, Русскому, ты, чужеземецъ, не даешь пристанища въ моемъ же отечествѣ, у меня дома! Ответъ его меня разсмѣшилъ. «Простите, маэстро» сказалъ я, принуждая себя къ учтивости: «Я со всѣмъ не за этимъ и пришелъ къ вамъ. Мѣсто мнѣ укажетъ Ея Императорское Величество, Всемилостивѣйшая Государыня, а я пришелъ къ вамъ только засвидѣтельствовать мое почтеніе какъ товарищу по ремеслу и свести необходимое знакомство.» Ответъ ему не понравился; онъ гордо окинулъ меня взглядомъ съ ногъ до головы и ска-

залъ съ запальчивостью: «Императорскій пѣвчій, не забудьте, вы говорите съ своимъ начальникомъ.» Признаюсь, я не выдержалъ. «Кочующій музыкъ, не забудьте и вы, что говорите съ членомъ Болонской Академіи! Наше знакомство кончено. Прощайте!» Не знаю, хорошо ли я все это сдѣлалъ, но признаюсь я былъ и есмь доволенъ моимъ отвѣтомъ. Прошло нѣсколько дней. Я не выходилъ изъ дома, ожидалъ приказанія представиться Императрицѣ и сочинялъ рѣчи, какія намѣренъ былъ сказать Екатеринѣ; это было въ воскресенье, какъ теперь помню; я дремалъ утреннимъ сномъ, досыпая до моего урочнаго часа; вошелъ Атанасіо и доложилъ, что пріѣхалъ изъ Царскаго Села, загороднаго дворца Императрицы, красный лакей. Я поспѣшно одѣлся; лакей вошелъ и подалъ мнѣ пакетъ: читаю — Боже мой, Боже, я хотѣлъ бы скрыть отъ тебя, Матильда, содержаніе этой странной бумаги, но ты уже знаешь много, знай все — и забудь меня, ничтожнаго:

— Возвратившійся изъ чужихъ краевъ камеръ-пѣвчій Максимъ Березовскій сопричисляется къ ивъческой Ея Величества капеллѣ, съ окладомъ по четыреста рублей въ годъ. О чемъ объявляя, предписываю вамъ явиться въ контору капеллы для полученія дальнѣйшихъ приказаній. Подписано италіянскими буквами: Sarti. — Что ты скажешь, Матильда, а? что ты скажешь на все на это? Забудь меня, забудь, я не достоинъ твоей любви; ничтожный музыкъ со всеми моими заморскими титулами, со всею моею трансальпійскою славою.

Забудь меня, Матильда. До этой минуты я не зналъ, что я самолюбивъ; не видѣли, не слышали меня и уже рѣшили чего я стою; и кто же? Какойнибудь Сарти, которому такъ усердно дивится невѣжество, Сарти, который печатно не устыдился обличить себя въ незнавнн музыки: онъ цѣлой книгой доказывалъ, что Моцартъ не знаетъ музыки и пишетъ бессмыслицу! И этотъ Сарти за ухо посадилъ въ клетку твоего Массими, подвелъ подъ уровень съ толпою невѣждъ, ремесленниковъ самаго низкаго класса. Въ бѣшенствѣ я не зналъ что дѣлаю; съ добрую милю я бѣжалъ пѣшкомъ въ Царское Село; усталость заставила меня опомниться; меня догналъ какой-то кухонный придворный экvipажъ; я сталъ проситься и меня привезли на дворцовую кухню; вотъ я и въ Царскомъ. Но къ кому обратиться, кому пожаловаться; кого и объ чемъ спросить? Я пошелъ куда глаза глядятъ; обошелъ я раза три весь дворецъ съ пристройками; было уже не рано: вижу музыканты одинъ за другимъ идутъ во дворецъ; я къ нимъ; начинаю говорить по-русски; качаютъ головами и уходятъ; наконецъ одинъ изъ нихъ отозвался на мой вопросъ довольно грубо: «Кого тебѣ нужно! Остерегись! Тутъ бродягъ не жалуютъ; тутъ и Хандошкину иногда нѣтъ проходу...» Вы Хандошкинъ! закричалъ я: «вы знаменитый русскій скрипачъ.» — Скриплю себя порядочно; а знаменитымъ, батюшка, насъ не смѣи называть. — Почему же? — Потому, батюшка, потому... Пусть послѣ скажу, — а съ кѣмъ, ба-

бляшка, не въ обиду будь сказано, пришлось гово-
рить... — Максимъ Березовскій. — Не слыхаль,
извини, родной отецъ, не слыхаль!... — Матильда,
скажи, нужно ли рассказывать тебѣ, какъ при
этихъ словахъ заболѣло, закричало бѣдное сердце.
Я стиснулъ губы, но глаза налились кровавыми
слезами. «Что съ вами, батюшка!» спросилъ Хан-
дошкинъ заботливо и поставилъ лѣщикъ со скрип-
кой на гранитную ступеньку. — Ничего, право
ничего... Пусть послѣ скажу; вѣжется мы не
смѣемъ называться знаменитыми, даже быть сколь-
ки нибудь известными во одной и той же при-
чинѣ. — А чѣмъ же вы батюшка знамениты?
Простите невѣдѣнію. — Въ Петербургъ пока ни-
чѣмъ, а въ Италиі...» Ба ба ба! вспомнилъ, вспо-
мнилъ! Графъ Алексій Григорьевичъ что то расска-
зывалъ. — А гдѣ графъ! — Да онъ здѣсь, вотъ
тутъ за оранжерей въ небольшомъ домику. Ныч-
че не для всѣхъ есть мѣсто...» Я это испытать
не хуже графа... Простите! — Куда же вы? —
Да къ графу. И не слушая что говорилъ Хандош-
кинъ, я поспѣшилъ къ указанному дому. Но графа
не засталъ дома. Я вошелъ опять во дворъ, въ
надеждѣ встрѣтить Хандошкина и овести съ нимъ
знакомство покороче. Русскій, какъ ни грубъ, а
все-таки свой. Смерклось, изъ раскрытыхъ оконъ
пошлись очаровательные звуки превосходнаго смѣч-
ка. Я забылъ все, усѣлся на скамейкѣ и пилъ эту
чуждую музыку, исполненную высокой энергіи, ве-
ликодушнѣйшей простоты. Игра вполне соответство-
вала сочиненію. Тутъ все было совершенно. Но

не прошло и получаса и все кончилось; прокричали браво, протрепали въ ладоши и музыканты стали расходиться. Почти все проходили мимо меня, въ глубокомъ молчаніи, чуть не на цыпочкахъ. Опять послѣднимъ явился Хандошкинъ. «А! Вы все еще здѣсь. Видно поджидаете...» Васъ! — Меня! — Да кого же больше? Мы товарищи, мы должны познакомиться; потолковать... — Батюшка, помилуй, смерть хочу подкрѣпить себя пуншикомъ; тоска, скука такая; пусть ужъ познакомимся завтра.»

— «Да развѣ вамъ не все равно, выпить стаканъ пуншику у меня или дома?»

— «Батюшка благодѣтель, вотъ ужъ и видно что родной! Не согрѣшу отказомъ, а гдѣ твоя конурка?» Тутъ только я вспомнилъ, что у меня въ Царскомъ нѣтъ пристанища; по счастью конелекъ былъ со мной и я отвѣчалъ что остановился въ гостиницѣ.»

— «Знаю, знаю» сказалъ Хандошкинъ: «кто не знаетъ обжогинскаго заведенія; ужъ на городскія харчевни не похоже. Пойдемъ!» и Хандошкинъ проводилъ меня въ деревянный домъ, довольно грязный; мы закупились въ самомъ отдаленномъ номерѣ; Матильда, я стыжусь тебя, я пилъ, я не могъ не пить; я горѣлъ; меня жгла неиспытанная жажда... Бесѣда пуще и пуще распалала мое негодование. Я убѣдился изъ его ужасныхъ разсказовъ, что Итальянцы составили огромный заговоръ, съ цѣлю не давать Русской музыкѣ никакого хода; душить ея свѣжіе побѣги; если можно сгноить

ея зерно въ землю и обогащаться чужимъ достояніемъ. Итальянцевъ тутъ тма; заговоръ идетъ успешно, потому что Чимароза, Паэзіэлло, Віотти, Дельфини, Мара, Тоди, Маркези, Маркети — люди съ талантомъ; интрига умзеть благовидно прикрываться ихъ достоинствомъ... Ахъ, Матильда, Матильда! Какъ хочешь, я не доскажу чѣмъ кончился этотъ ужасный вечеръ... Нѣтъ, я не въ силахъ сказать... Да и къ чему тебѣ знать мой тяжкій грѣхъ! Я уже за него наказанъ; во многихъ домахъ уже громко называютъ меня пьяницей и положительно утверждаютъ, что за границу молодыхъ людей посылать не слѣдуетъ... Балуются, набираются дерзости, спиваются съ круга... Я покорился необходимости... Явился въ капеллу. — Вотъ уже третій мѣсяць — и только разъ поручили мнѣ пройти съ пѣвчими одинъ концертъ моего сочиненія, присланный еще изъ Италіи. — Куда я ни обращался, вездѣ видѣлъ, что Хандонкинъ правъ. Мнѣ нѣтъ, не дадутъ хода; въ бездѣйствіи я просижу долго, долго, до смерти, потому что и года я не проживу въ такомъ униженіи. Мечты мои рушились! Матильда! Ты свободна; никогда я не захочу, не позволю, чтобы ты погубила славный свой жребій для ничтожнаго, заживо погребеннаго чловѣка. Я приучаю себя къ этой ужасной мысли. Вѣчная разлука, вѣчная! И это еще лучшая сторона моего положенія, потому что хуже будетъ, если я тебя увижу... Прости навѣки!»

«Миланъ, 1-го марта 1776 года. Массимо, Массимо! Не нужно намъ никого и ничего! Ненавистенъ мнѣ театръ, мнѣ тяжка извѣстность; но я не сниму этого бремени, пока не соберу подати со всей Европы для и за тебя, Массимо. — Мой талантъ принадлежитъ тебѣ; я принесу тебѣ плоды твоихъ же трудовъ; мы утонемъ въ общемъ забвеніи, проснемся для истинной жизни. Твердости, Массимо, твердости! Я не узнаю тебя! Не ты ли говорилъ: пельзя взойти на гору, благоразуміе велитъ обойти ее; обойдемъ же, Массимо, эту пустую славу, не позволимъ грѣшному самолюбію волновать сердецъ, назначенныхъ для семейнаго счастія. Знаешь ли что я придумала. Тебѣ нечего дѣлать. Напизи для меня оперу и пришли въ Вѣну; я поставлю на своемъ; опера будетъ дана. Слава твоя, заглушенная заговорщиками, воскреснетъ; станутъ писать въ газетахъ, дойдетъ до Петербурга и великая твоя Государыня обрадуется, что у нея въ Петербургъ живетъ первоклассный европейскій композиторъ; отъ ея проницательнаго взора не укроется интрига; это событіе можетъ сломать все зданіе, удачно построенное корыстолюбивымъ коварствомъ. Право, такъ, Массимо! — О себѣ не пишу ни слова. Ты одна моя забота и прошу тебя, Массимо, не дурачиться, писать мнѣ каждую недѣлю, исправно, со всеми подробностями, а чтобы тебя не отдали въ пытку нищеты и лишеніямъ, посылаю тебѣ тысячу червонныхъ изъ твоего же капитала. Найми себѣ порядочный домъ, заведи хозяйство, опрятную мебель,

хорошую прислугу. Это необходимо. Объ этомъ просить, молить твоя Матильда.»

«Петербургъ, 1-го мая 1776. Матильда, я уже простился съ вами навсегда; я уже начиналъ привыкать къ моему положенію, живой гниль, влюблялся въ ничтожество... Каждый день я убъждалъ себя, что васъ и все прошедшее я видѣлъ во снѣ, въ сладкой горячкѣ. И вдругъ вы напомнили мнѣ, что все это было на самомъ дѣлѣ. Нѣтъ, неправда! Этого ничего не было! Клянусь этимъ стаканомъ англійскаго грока и пью его за мое ничтожество! Опера... Какой лукавый сонъ! И онъ уже снится не впервые; но какъ вы могли, какъ вы смѣли подумать, что я захочу, что я позволю себѣ жаловаться передъ ненавидною Европой на страстно любимое отечество. Оно растетъ и процвѣтаетъ на глазахъ моихъ. Не одна музыка, — много, много отраслей знанія еще не начинались въ нашемъ огромномъ царствѣ. Такъ чтожъ за бѣда! Придетъ время и они выйдутъ изъ-подъ спуда, а музыка и подавнему. Тутъ нѣтъ никакой ошибки, развѣ та, что я родился слишкомъ рано, что полюбилъ музыку по свойственному мнѣ неблагоразумію, какъ полюбилъ васъ. Тутъ никто не виноватъ, кромѣ меня. Я все это очень хорошо понялъ, бросилъ въ печку все мои сочиненія, купилъ себѣ геометрію, учусь математикѣ, хочу быть астрономомъ, чтобы заняться изслѣдованіемъ, какое имѣють вліяніе звѣзды на судьбу человѣ-

ческую. Не можетъ быть, чтобы столько въковъ вѣровало въ науку безъ сознанія. Желаю вамъ, Матильда, успѣховъ вездѣ и больше всего при выборѣ чловѣка... Деньги вамъ возвращаю; я не могу издержать и своихъ; братья уѣхали давно уже въ армію; Атанасію я отправилъ въ деревню. Надобѣль своими правоченіями. Я теперь совершенно одинъ. Мнѣ ничего не нужно. Надѣюсь, что вы перестанете думать о томъ, о комъ теперь уже рѣшительно никто не думаетъ. Съ глубокимъ почтеніемъ и всегдашнимъ удивленіемъ къ вашему высокому таланту всегда останется вашъ покорнѣйшій слуга Максимъ Березовскій.»

«Петербургъ, 3-го іюля 1776. Надежда! Надежда. Она блеснула радужнымъ крылышкомъ! Матильда, я еще самъ не знаю, вѣрить ли моей радости. Но постой, я люблю все дѣлать и рассказывать въ порядкѣ. Ты не знаешь, что у насъ есть гениальный, колоссальный чловѣкъ, графъ Григорій Александровичъ Потемкинъ; онъ любитъ Россію не меньше меня; здѣшнихъ чужеземныхъ обиралъ крѣпко не жалуется; у него строятъ Русскіе, поютъ для него русскія пѣсни; вѣтъ онъ по-русски. Словомъ на большую руку русской чловѣкъ. На дняхъ его сдѣлали свѣтлѣйшимъ княземъ. Ты, я думаю, много слыхала про него въ Вѣнѣ. Его знаетъ и уважаетъ цѣлый свѣтъ. Надобно тебѣ сказать, что онъ еще въ прошломъ году назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Южную

Россію, гдѣ такъ тепло, какъ у насъ въ Ливорно; отъ моей родины два шага; князь полагаетъ, и весьма справедливо, что музыкальная академія съ большимъ успѣхомъ можетъ существовать въ Малороссіи; что для удачи въ этомъ предпріятіи нуженъ русскій музыкантъ и меня зовутъ завтра по утру къ его свѣтлости. Прости что не пишу больше; почта скоро отходитъ, а мнѣ еще надо хлопотать, достать на прокатъ порядочный кафтанъ и другія мелочи. Прости, до слѣдующей почты. — Весь твой М. Б.»

«Петербургъ, 10 іюля 1776. Ура! Да здравствуетъ свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ! Я, твой Массимо, я директоръ музыкальной академіи въ Кременчугъ! Слушай, Матильда, и радуйся! Прихожу; лакеи то и дѣло отворяютъ двери; а я себя иду, да иду... Надо тебѣ знать, что я на себя похожъ не былъ: обрить, вымыть, въ хорошемъ нарикѣ, въ хорошемъ платьѣ, выступаю себя по интучнымъ поламъ, будто по улицѣ; ни какого страха; прошелъ комнату я думаю съ двадцать; вошелъ въ большой залъ; на серединѣ столъ стоитъ, подъ серебромъ трещить; на одномъ концѣ самоваръ, на другомъ кофейникъ, а промежду балыки, сельди, икра, сыры, пироги, ветчина, просто съѣстная лавка. Тутъ въ этой комнатѣ человекъ двадцать генераловъ военныхъ и статскихъ ожидаютъ князя, да молчатъ, не зашепчутъ... Идетъ! кто-то сказалъ и точно по-

слышалась тяжелая походка; щелкали турецкія туфли. Князь вышелъ. На немъ была юбѣ изъ смушекъ, подпоясанная шалью, рубахи не было видно, на шеѣ ничего, и туфли болтались на босыхъ ногахъ. Какой молодецъ! Вотъ вельможа, такъ вельможа! и ростъ, и черты лица, и взглядъ — богатырскіе. Кивнулъ всемъ гостямъ головой, да къ столу; то ветчины кусъ большой, то сыру ломога, то редисы горсть, ѣсть себѣ на здоровье, такъ что мы и послѣ завтрака были, а примѣтно всемъ ѣсть захотѣлось; тутъ гости стали поодначкѣ подходить; одинъ поднесъ ему дипломъ и ордена въ футлярѣ; докладываетъ, что отъ польскаго короля, другой отъ датскаго, третій отъ шведскаго; онъ себѣ мурныкнетъ сквозь зубы: «Спасибо,» такъ, что чуть разслушаешь, да и укажетъ на пустой столъ у стѣнки; то есть поставь покуда тамъ; теперь некогда, да и продолжать себѣ закусывать. Какъ дошелъ до кофе, тутъ пріостановился, налилъ себѣ чашку, потомъ сливокъ туда и сталъ, прихлебывая, съ гостями разговаривать... — Я долженъ, господа, сказать вамъ новость.. » Мы все упи и протянули, а онъ пошелъ опять по другой сторонѣ стола, гдѣ персикъ, гдѣ кусокъ ананаса захватить, тамъ малины тарелочку со сливками, дошелъ до самовара, тутъ кресло стоитъ, онъ и сѣлъ, налилъ себѣ большую чашку такого пахучаго чаю, что по всей комнатѣ ароматъ пошелъ; а мы все стоимъ, да новости ждемъ. «Вотъ, господа,» сталъ говорить, «вы Кременчугъ знаете. Тамъ будетъ музыкальная

академія — и вотъ я нарочно позвалъ его; мы съ нимъ по-русски, мигомъ кашу сваримъ. Какъ тебя зовутъ? — Максимъ Созонтовъ Березовскій. — Ну, хорошо, Максимъ, такъ ты останешься со мною. — Ть другіе видятъ, что аудіенція кончилась. Князь кивнулъ имъ головой, съ улыбкою такою странной, что и опредѣлить нельзя, посмотрѣлъ на столъ у стѣнки, допилъ чай, утерся рукою и разлегся себѣ на мягкой низенькой софѣ. «Ну, Максимъ, ты у меня человекъ свой и безъ глупой спѣси, такъ садись.» «Ваша свѣтлость...» Садись, говорятъ тебѣ. Дѣло народное; чванство въ сторону; ты знаешь за чѣмъ позванъ, такъ и говори что думаешь...» Я съелъ и молчалъ; князь лежалъ и насвистывалъ. Вотъ я и собрался съ духомъ и говорю: «Мысль вашей свѣтлости низпослана самимъ Богомъ. При настоящихъ обстоятельствахъ, русская музыка не можетъ родиться въ Петербургъ; иноземцы употребятъ все средства задумитъ первые отпрыски будущаго древа.» Князь кивнулъ головой одобрительно; я продолжалъ: «Положеніе Кременчуга таково, что со всѣхъ мѣстъ Южной Россіи могутъ туда безъ большихъ издержекъ съѣзжаться охотники до музыки, а уединенность города и отсутствіе всякихъ развлеченій представитъ учащемуся юношеству возможность заниматься наукой со всею необходимою внимательностію. Я не знаю, какія средства предполагать изволите для этого заведенія? — Какія нужны. — Въ такомъ случаѣ, я осмѣлился бы представить на благоусмотрѣніе вашей свѣтлости,

не угодно ли будетъ академію раздѣлить на двѣ части: одна открытая, въ которой будетъ преподаваніе для всѣхъ, кто только пожелаетъ учиться; другая часть закрытая, для избранныхъ учениковъ, принимаемыхъ на содержаніе заведенія. Этихъ надо учить гораздо болѣе и обезпечить въ будущности, не требуя отъ нихъ никакого возмездія, дабы не лишить ихъ бодрости и возбудить необходимое для всякаго искусства самолюбіе.» — Князь опять кивнулъ головой весьма ласково; я совершенно воодушевился и забылъ кто лежитъ передо мной. «Курсъ ученія, продолжалъ я, следовало бы раздѣлить согласно назначенію учащихся. Въ открытомъ публичномъ отдѣленіи достаточно будетъ преподавать чтеніе нотъ для фортепьяно и голосовъ; главныя основанія генеральбаса и шифрованный басъ; методу пѣнія съ нѣкоторыми важнѣйшими упражненіями — и на этомъ покончить; кто захочетъ учиться далѣе или играть на какомъ либо отдѣльномъ инструментѣ, можетъ въ томъ же Кременгугѣ имѣть учителей по вольнымъ цѣнамъ. Это усилитъ и средства наставниковъ и съ другой стороны освободитъ ихъ отъ излишняго и бесполезнаго труда заниматься съ множествомъ учениковъ, которымъ, можетъ быть, нѣкоторыя части музыкальной науки будутъ вовсе непригодны. Въ закрытое отдѣленіе избираются тѣ изъ учениковъ, которые въ публичныхъ курсахъ уже обнаружили дѣйствительныя, неподверженныя сомнѣнію способности. Не стоить кормить, поить, одѣвать множество дѣтей, не въдая

еще что изъ нихъ выйдетъ и воспитывать будущихъ нищихъ. Неспособные къ музыкѣ пусть, пока не ушло время, обращаются къ другимъ ремесламъ. Въ закрытомъ отдѣленіи, я полагаю учредить четыре класса. Во всѣхъ ежедневное упражненіе въ избранной части; кто поетъ, пусть поетъ съ учителемъ ежедневно; кто играетъ на скрипкѣ, пусть играетъ ежедневно; это упражненіе должно занять два три утренніе часа; тогда ученики отправляются въ классы. Въ первомъ генераль-басѣ въ самомъ обширномъ развитіи съ упражненіями; во второмъ инструментовка, то есть свойства разныхъ инструментовъ, ихъ ключи, и употребленіе. Тутъ же читать и писать партитуры на заданныя уже готовыя піэсы; въ третьемъ контрапункція, композиція и исторія музыки. Четвертый классъ или годъ посвящается исключительно практическимъ упражненіямъ и сочиненію большой піэсы для полученія академическаго званія. Такимъ образомъ въ теченіи шести лѣтъ, — потому что я полагаю для публичнаго преподаванія два года, — такъ въ шесть лѣтъ воспитанники академіи непременно достигнутъ полнаго музыкальнаго образованія, какого получить нельзя даже въ лучшихъ иностранныхъ заведеніяхъ. Само собою разумѣется, что пѣвцы и пѣвицы останавливаются на второмъ классѣ, если не пожелаютъ учиться инструментовкѣ, контрапункціи и композиціи; но за то слушаютъ исторію музыки вмѣстѣ съ другими, и все-таки во всѣ четыре года продолжаютъ методически упражняться въ пѣніи и въ сцени-

ческомъ искусствѣ, на академической сценѣ. Это главные курсы утренне, на которые ученики могутъ употреблять съ пользою ежедневно только три часа. Вечернее время должно быть посвящено на слушаніе вспомогательныхъ курсовъ; въ самомъ большомъ талантѣ непріятно встрѣчать невѣжу; для дополненія воспитанія въ этомъ отношеніи, я полагалъ бы въ первомъ классѣ по вечерамъ преподавать русскій, итальянскій и французскій языки, во второмъ исторію и географію, въ третьемъ продолжать исторію, а въ четвертомъ прочесть энциклопедію. Право, никому не мѣшаетъ имѣть хотя поверхностныя свѣдѣнія обо всѣхъ наукахъ; по крайней мѣрѣ знать ихъ названія и чѣмъ каждая занимается. По выходѣ изъ академіи, каждый артистъ, сверхъ своихъ занятій, найдетъ еще очень много времени для приобрѣтенія подробныхъ свѣдѣній въ той наукѣ, которой предметъ ему поцрвился. Если ваша свѣтлость не изволите скучать .. — Нѣтъ, нѣтъ, продолжай, Максимъ, я слушаю очень внимательно. — Насчетъ курсовъ я имѣлъ честь изложить мое мнѣніе. Насчетъ наградъ и поощреній я полагаю необходимымъ учредить слѣдующія три степени: воспитанникъ академіи, академикъ, и профессоръ. Первые обязаны въ послѣднемъ курсѣ исполнить пѣніемъ или на инструментѣ по три разнородныя піэсы съ перваго взгляда и публично. При удовлетворительномъ исполненіи имъ выдаются дипломы съ засвидѣтельствомъ ихъ успѣховъ и къ чему они на службѣ способны, и небольшая сумма денегъ для отправленія

въ Петербургъ, въ Москву или куда пожелаютъ, не обязывая ихъ ни чѣмъ относительно академіи; академикъ, кромѣ исполненія пѣнъ или на избранномъ имъ инструментѣ трехъ разнородныхъ пѣснь, напишетъ три большія сочиненія: одно для голосовъ, другое для голосовъ съ аккомпанементомъ, и третье для полного оркестра: если въ этихъ сочиненіяхъ не найдено будетъ ошибокъ, выдаются дипломы на званіе академика, и академія уже сама озабочивается опредѣленіемъ удостоеннаго къ мѣсту. Званіе профессора получается исключительно академиками и воспитанниками академіи по конкурсу, назначаемому только въ случаѣ надобности, то есть когда профессоръ, преподающій въ академіи, оставитъ службу. Для конкурса предлагается написать концерто-гроссо, или симфонію, или со временемъ, когда число русскихъ музыкантовъ и пѣвцовъ умножится — даже оперу. Трудъ увѣнчанный даетъ сочинителю право на профессорское мѣсто и разыгрывается въ обѣихъ столицахъ и при академіи публично; собранная за то сумма раздѣляется поровну между соискателями, чтобы и они даромъ не трудились. Теперь ваша свѣтлость позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ и о составѣ академіи. Во первыхъ голова, директоръ... «Это ты!» сказалъ князь, и я чуть не полетѣлъ съ кресель; голова у меня закружилась; я всталъ; не зная какъ благодарить достойнаго вельможу. «Полно, Максимъ!» сказалъ князь: «садись и докладывай! У меня для музыки времени немного!» И я кое-какъ собрался съ силами и продолжалъ:

Профессоровъ семь: двое — пѣнія; двое — генераль-басса и фортепiанной игры; одинъ — контрапункци и композици, одинъ инструментовки, и одинъ исторiи музыки. Учителей по возможности побольше для всѣхъ инструментовъ и вспомогательныхъ наукъ; первоначально профессеры должны быть выписаны изъ-за границы и преподавать по контракту въ теченiи семи лѣтъ; я ужъ буду тщательнo смотрѣть за ними и ручаюсь вашей свѣтлости, что положу всего себя, но черезъ семь лѣтъ всѣ профессорскiя и учительскiя мѣста займутъ воспитанники академiи не по нуждѣ, а по достоинству. Но вотъ еще обстоятельство, на которое осмѣлюсь обратить вниманiе вашей свѣтлости: я назначилъ двухъ профессоровъ пѣнія, но какъ они должны образовать столько же пѣвицъ, сколько и пѣвцовъ, то я и полагаю, что одинъ изъ этихъ профессоровъ должна быть женщина, потому что въ женскомъ пѣнiи есть трудности, неизъяснимыя безъ живаго примѣра. Вотъ, ваша свѣтлость, планъ музыкальной академiи въ общихъ чертахъ; подробностей еще множество; но всѣ онѣ зависятъ отъ главныхъ основанiй и съ болъшею удобностью могутъ быть изложены на бумагѣ. «Такъ потрудись же, Максимъ, займись этимъ дѣломъ и когда будетъ готово, прiйди ко мнѣ прочесть. Спасибо, Максимъ! У меня болъзная на тебя надежда! Ну, прощай! Заслунался я твоихъ пѣсень, а дѣла тма...» и князь перевернулся на другой бокъ. Ужъ не знаю, заснулъ ли онъ или сталъ думать. Я на цыпочкахъ вышелъ изъ зала,

на крылышкахъ пробѣжалъ весь рядъ комнатъ домой; за перо и давай писать. Матильда! Проектъ почти конченъ. Каждую статью пересматриваю по сто разъ, за то ужъ будетъ и академія! Боюсь опоздать на почту и потому прощусь съ тобой, мой несравненный ангелъ, наскоро. — Весь твой М. Б.»

«Петербургъ, 17 іюля 1776. Милая Матильда, у меня дѣло кипитъ не по днямъ, а по часамъ. Я прочелъ князю черновую проекта. Онъ почти все одобрилъ; сдѣлалъ, правда, и замѣчанія, но такія, съ которыми нельзя не согласиться. Что это за человекъ этотъ Потемкинъ; глядя на него, слыша его рѣчи, веселѣе быть Русскимъ. Родятся же такіе тузы. Немногому онъ учился, а знаетъ все лучше профессоровъ. Кажется, всего два раза я имѣлъ счастье говорить съ нимъ, а онъ уже разсуждаетъ о методѣ музыкальнаго ученія такъ здраво, что я передъ нимъ молчу и соглашаюсь. Ужасный умъ. Захоти, послѣ завтра будетъ астрономъ! Онъ приказалъ мнѣ исправить проектъ по его замѣчаніямъ и представить себѣ какъ можно скорѣе: да зайти къ здѣшнему отличному архитектору Старову и объявить, что его свѣтлости угодно, чтобы Старовъ сдѣлалъ проектъ академическаго зданія по моему и смѣту издержкамъ; да еще, чтобы я составилъ списокъ лицамъ, которыхъ думаю выписать на профессорскія мѣста. Ты угадаешь, что я нашелъ только одного профессора — тебя, Матильда... Я знаю въ Италіи весьма многихъ достойныхъ людей, которые были

бы полезны для всякой другой академіи, только не русской; здѣсь они невольно увлекутся губительною системою соотечественниковъ; незаметно пристанутъ къ заговору и на каждомъ шагу будутъ мѣшать моему дѣлу. Я долго думалъ, откуда взять людей, и вспоминалъ, что теперь музыкальная ученость, кромѣ отца Мартини и его сподвижниковъ, наилучше развита въ Прагѣ. Сверхъ того, какъ хочешь, а Богемцы Русскимъ съ родни; говорятъ схожимъ языкомъ; по-русски выучатся скоро; полюбятъ Россію какъ отчизну; съ Кремнучугомъ и въ климатѣ нѣтъ большой разницы. Тамъ, въ Прагѣ, есть знаменитый ученый профессоръ музыки, Немашекъ; отецъ Мартини былъ съ нимъ въ перепискѣ и хвалилъ всегда его обширныя историческія и теоретическія свѣдѣнія. Другъ мой, Матильда, если можно, бросай Вѣну и поѣзжай въ Прагу; переговоры съ богемскими профессорами, согласи ихъ на подвигъ общій, славянской, прилагаю и отъ себя письмо къ Немашку, и какъ можно скорѣе уведоми меня, на какихъ условіяхъ они согласятся перевѣхать въ Кремнучугъ. Если тебѣ нельзя этого сдѣлать лично, такъ нельзя ли посредствомъ переписки. О, Матильда, Матильда, думалъ ли я, утолая въ мрачномъ ничтожествѣ, что я выплыву еще изъ этой бездны! что счастье мнѣ улыбнется, покроетъ меня непроницаемой моднѣй. Страшно и подумать о прошедшемъ, но я чувствую, что тамъ было только безумное отчаянье; благодареніе Богу, я не успѣлъ занемочь страшнымъ, отвратительнымъ

недугомъ; я пью, Матильда, пью, но не пугайся, я теперь вижу всю гнусность этого средства заглушать ничтожныя огорченія; и не пью, и не тоскую; радуюсь; что не дошло до болѣзни; да мнѣ и некогда пить. Съ утра до вечера я занятъ моимъ проектомъ и справками. Теперь я совершенно понимаю, что ни на волосъ не принадлежу себѣ; а Россіи и тебѣ, Матильда! Дѣлитесь какъ знаете. Весь твой М. Б.»

«Петербургъ, 25 Июля 1776. Проектъ совершенно оконченъ. Лежитъ переписанный на прекрасной бумагѣ, красивымъ почеркомъ, переплетенъ въ зеленый сафьянъ, — а я все медлю отнести его къ князю; поджидаю писемъ отъ тебя; плановъ и смѣтъ отъ Старова. Наша квартира, Матильда, будетъ хороша на чудо. Она расположена въ нижнемъ этажѣ, и вотъ какъ: все зданіе идетъ фасадомъ на сѣверъ; отъ него два огромные флигели тянутся на югъ и въ стѣнахъ своихъ заключаютъ цвѣтники; тамъ идетъ уже рѣшетчатая ограда; за нею огромный садъ, раздѣленный высокою каменною стѣной на двѣ части: одна правъ я для учащихся, другая лѣвая для учащихся; изъ каждаго флигеля ходъ прямо въ садъ; въ верхнихъ этажахъ размѣщены учебныя комнаты, бібліотека, инструментальный музей; концертная зала и театръ; все это идетъ неразрывною цѣпью черезъ главный корпусъ и флигеля; въ нижнемъ этажѣ главнаго флигеля квартиры для

профессоровъ, въ лѣвомъ спальни и столовая воспитанниковъ, а низъ корпуса, раздѣленный огромными сѣнями и лѣстницей, вмѣщаетъ контору, казначейство, музыкальный магазинъ — и нашу квартиру. Въ ней комната множество: прихожая съ двумя выходами: одинъ въ залъ, другая въ мой кабинетъ, окнами въ цвѣтники; изъ зала ходъ въ гостинную, тамъ въ столовую, а изъ этой въ буфетъ и кухню; а изъ моего кабинета комнаты идутъ такъ: моя уборная; людская съ выходомъ на черный дворикъ, тутъ и черной ходъ на кухню; потомъ твоя уборная, спальня и кабинетъ. Пой себя сколько хочешь! Никто не помѣшаетъ. Вдоль моихъ и твоихъ комнатъ идетъ корридоръ и ведетъ въ дѣтскія и дѣвичьи съ особымъ выходомъ на тотъ черный дворикъ; наконецъ, корридоръ упирается въ столовую воспитанниковъ, откуда по круглой лѣстницѣ я могу подняться прямо въ корридоръ, на которомъ расположены классы. Совершенство, истинное совершенство размѣщенія! Не забудь, изъ оконъ парадныхъ комнатъ видѣнъ величественный Двѣпръ и весь городъ. Старовъ носилъ уже князю черновые чертежи; князь перечертилъ ихъ съ начала до конца своеручно; Старовъ спорилъ, но долженъ былъ уступить справедливости замѣчаній его свѣтлости. И по истинѣ — все къ лучшему. Старовъ въ этомъ самъ сознается и только удивляется. Когда дѣло дошло до нашей квартиры, князь сказалъ: «Ну, Максимъ, какъ онъ себя хочетъ, а ужъ для одной квартиры стѣитъ жениться!». О, какъ бы я желалъ испол-

дать советъ князя какъ можно поскорѣе. Прости, Матильда; жаль, что писать нечего, а теперь такъ пріятно съ тобой бесѣдовать. Не забудь, душа моя, узнать въ Вьнѣ, какіе инструменты музыкальные можно теперь сейчасъ достать у Штейна въ Аугсбургъ; у него въ Вьнѣ есть свои лавки. Справься что стоить такъ называемый *vi-a-vi-s*, двойной клависинъ, мелодиконъ и гармоника, то есть инструментъ съ клавиатурой и со струнами для смычковъ; также средній органъ и обыкновенныхъ клависиновъ съ дюжиною; такая огромная покупка должна доставить покупщику и значительную уступку; если они не могутъ рѣшить этого въ Вьнѣ, пусть напишутъ къ старику въ Аугсбургъ, и доставятъ тебѣ отвѣтъ. Не забудь, что они должны принять на себя доставку по крайней мѣрѣ до Кіева; а тамъ ужъ, пожалуй, спустимъ нашъ караванъ Днѣпромъ. И безъ того надо начинать съ Кіева, ради многихъ причинъ. Всѣ эти инструменты мнѣ нужны сейчасъ: одни для ученья, другіе для музея. Линніе, если окажутся, можно продать въ магазинъ. Поэтому потрудись попросить Моцарта или Гайдна, чтобы отобрали для тебя коллекцію лучшихъ нотъ во всѣхъ родахъ, десятка три кременскихъ скрыпокъ, десятокъ брачин и шесть басовъ, но сдѣлай милость, проси всѣхъ о секретѣ; если узнаетъ Сальери, тотчасъ дастъ знать своимъ друзьямъ сюда въ Петербургъ, а мы отъ нихъ тщательно скрываемъ бурю, которая въ тишинѣ собирается на ихъ голову. За все за это, кромѣ штейновыхъ инструментовъ, можешь запла-

титъ изъ своихъ денегъ, и выслать ихъ хотя сюда ко мнѣ. Да, мой другъ, ужъ и римскихъ струнъ; здѣсь въ Петербургъ нельзя достать порядочныхъ. Наконецъ, что сама придумаешь. Пиши, ради Бога! Вотъ ужъ сколько написалъ я писемъ, ни на одно отвѣта. — Весь твой М. Б.

Р. S. Сейчасъ получилъ записку отъ Старова. Планы утверждены княземъ. Его свѣтлость изволилъ приказать изготовить все для доклада Императрицъ; по утверженіи, Старовъ отправится со мной тотчасъ въ Кременчугъ; я осмотрюсь въ краѣ, приглашу охотниковъ къ музыкѣ учиться; а Старовъ войдетъ въ условія съ подрядчиками и заготовитъ всѣ нужные матеріалы, такъ что зданіе будетъ готово къ сентябрю будущаго года; я открою академію въ день моего рожденія.

«Прага, 2-го сентября 1776. Ты не можешь пѣнять на меня, милый другъ, за мою неисправность; едва соберусь писать къ тебѣ, получаю новое письмо съ новыми порученіями, едва исправлюсь, опять письмо. Къ тому же и вѣнскій мой ангажементъ окончился только въ началъ августа; но это время я употребила не безъ пользы. Всѣ ноты искуплены, съ помощію Гайдна, потому что Моцартъ, твой старый пріятель, сидитъ съ своимъ чудеснымъ сынкомъ въ Зальцбургъ, и оба ровно ничего не дѣлаютъ. Поговариваютъ,

что они опять собираются въ Парижъ. Скрипокъ, брацій, басовъ и струнъ нельзя было закупить по весьма простой причинѣ: хорошихъ въ продажѣ весьма немного, но мой миланскій корреспондентъ, который по счастью случился въ Вьнѣ, общалъ мнѣ выбрать и выслать къ будущему карнавалу. Слѣдственно они прїѣдутъ къ тебѣ гораздо ранѣе чѣмъ я. Штейну я писала сама, потому что лавки его въ Вьнѣ закрылись. Ты, любезный другъ, забылъ объ арфахъ; безъ нихъ нельзя и для оркестра и для насъ, бѣдныхъ женщинъ; намъ только и позволено играть, что на клависинъ, да на арфѣ. Недавно мнѣ случилось слышать женщину-виртуоза на скрипкѣ; я едва досидѣла до конца концерта — неприятно смотрѣть. Не сердись, я купила двѣ арфы; если будетъ мало, я пожалуй пожертвую и мою, что ты мнѣ подарилъ. — Въ Прагѣ я нашла дѣйствительно высокое образованіе. Это городъ виртуозовъ и знатоковъ. Здѣсь знаютъ музыку, какъ вечернія и утреннія молитвы; здѣсь не считаютъ этого знанія достоинствомъ, а обязанностію. Здѣсь даже *Impressario Bondini* не похожъ на нашихъ итальянскихъ жидовъ. Человѣкъ отличнаго образованія, простой, откровенный, любитъ Прагу какъ Богемецъ; мы съ нимъ условились въ десять минутъ, тогда какъ нигдѣ мнѣ не удалось заключить контракта въ теченіи трехъ дней; случалось торговаться недѣлю. Прага еще и тѣмъ хороша, что никто не влюбляется въ заѣзжихъ гостей: ни одной серенады, ни одного подброшеннаго стиха съ

пламенною ложью; тихо, скромно, но за то, признаюсь, я нигдѣ не была принята такъ хорошо, какъ здѣсь. Я боялась за успѣхъ, считала ихъ холодными умниками и ошиблась самымъ пріятнымъ образомъ. Вотъ бы гдѣ хотѣлось мнѣ съѣсть твоего Демофонта, вотъ бы гдѣ хотѣлось мнѣ видѣть и тебя самого, Массимо, въ кругу этихъ почтенныхъ людей, прямыхъ служителей искусства. Они бы тебя оцѣнили, полюбили и не выпустили изъ Праги. Я знаю тебя, я узнала ихъ. Неманекъ пришелъ въ восторгъ отъ твоего предложенія. У Богемцевъ къ Русскимъ есть какое-то сочувствіе, влеченіе. Онъ взялся переговорить съ лучшими по его мнѣнію людьми для твоей цѣли, представить ихъ ко мнѣ на экзаменъ, словомъ устроить, уладить все какъ можно лучше, и черезъ три четыре года лично посѣтить насъ въ Кременчугъ и полюбоваться *нашими* успѣхами. Это онъ такъ говоритъ: *нашими*. Онъ считаетъ твой подвигъ общимъ подвигомъ всѣхъ славянскихъ народовъ. Вотъ ужъ больше недѣли пишетъ къ тебѣ письмо; каждый день заходитъ ко мнѣ и говоритъ, что еще до конца далеко, потому что онъ хочетъ написать все, что знаетъ и думаетъ объ этомъ предметѣ. Хвалить твой проектъ до небесъ и утверждаетъ, что на этихъ же началахъ надо передѣлать и перестроить пражское гармоническое общество: Чудесный старикъ! Въ Прагѣ такъ весело, такъ пріятно, что я останусь здѣсь до тѣхъ поръ; пока не прикажешь ѣхать въ Петербургъ или Кременчугъ. Бондини проситъ меня о томъ же; а условія его го-

раздо выгоднѣе всѣхъ, какія досель я имѣла. Теперь, мой другъ, слѣдовало бы тебя пожурить за два глупѣйшія письма; но ты былъ боленъ и Богъ тебя проститъ. Ты не знаешь своей Матильды!»

«Петербургъ, 5-го октября 1776. Ангель, которому нѣтъ названія и сравненія! Я чувствую всю вину мою и твое великодушіе. Я знаю тебя, Матильда, но ты не знаешь твоего недостойнаго Массимо; онъ своенравенъ, гордъ, самолюбивъ; вмѣсто крови, въ жилахъ его разлито нетерпѣніе. Самъ чувствую мои недостатки, но какъ же не бѣситься, когда вотъ уже второй мѣсяць прошелъ, а отъ князя ни слуху, ни духу. Мы съ Старовымъ справлялись; князь и не думалъ докладывать Императрицѣ; дѣло затягивается, тогда какъ оно должно кипѣть... У меня все готово. Я сижу какъ на корабль и готовъ каждую минуту пуститься въ море; князь и не думаетъ о томъ, что бы могло доставить ему вѣчную славу и вѣчную благодарность. Я выдерживалъ мое достоинство; не хлопоталъ, не ходилъ къ князю; но общее святое дѣло останавливается; приходится не въ мочь; одиннадцать часовъ. Прощай! Я ѣду къ князю...»

«Петербургъ, 5-го октября 1776. О! Это уже нарочно пытаются меня! Шутятъ, издѣваются надъ моимъ чувствомъ! Я отослалъ письмо на почту, пошелъ къ князю, вхожу, стою въ пріемной, вы-

ходить, завтракаетъ, разговариваетъ съ генералами о Туркахъ и Татарахъ; между прочимъ, между кускомъ баранины и стаканомъ пива спрашиваетъ у меня!.. «Что, Максимъ, здоровъ ли ты, что подъльмываетъ твоя академія?» — «Ваша свѣтлость, мы имѣли счастье представить...» — «Ахъ, забылъ, право упомянулъ. Хорошо, хорошо; я посмотрю и приплю за тобой на досугъ.» — И я долженъ былъ уйти! Матильда! Молись объ моемъ терпѣніи.»

«Петербургъ, 7 ноября 1766 года. Неужели надежды обманули меня; неужели мнѣ все это снилось. Ради Бога, напиши мнѣ, Матильда, какъ все это было. Кажется, мы хотѣли устроить академію въ будущемъ году; онъ говоритъ: Нѣтъ, не въ будущемъ, а когда позволятъ обстоятельства. — Но; ваша свѣтлость, вы уже хотѣли доложить Государынѣ. — Эхъ, Максимъ, твое дѣло не ушло, стану я беспокоить Императрицу пустяками, когда есть на свѣтъ Турки и Татары, когда... да ты, любезный, не поймешь меня. Съ твоимъ дѣломъ можно и обождать, не испортится; да и деньги нужны на важные предметы: Музыка покуда пусть извинить...» Слышишь, Матильда, еще ждать, еще... Я не могу писать, Матильда! Мнѣ кажется, что я тебя никогда не увижу, какъ не увижу моей академіи; мнѣ чудится, что ты уже... Нѣтъ, Матильда, не могу писать. Молись объ моемъ разсудкѣ!»

«Прага. 15 декабря 1776 года. Не стыдно ли, Массимо! опомнись, четыре какихъ нибудь мѣсяца истощили твое терпѣніе. Хороша же будетъ академія съ такимъ директоромъ. Признаюсь, я не замѣчала въ тебѣ прежде такого малодушія и если позволишь, объясню его источникъ. Приѣмъ, оказанный тебѣ въ Петербургѣ, уязвилъ тебя, нанѣсь такую глубокую рану твоему самолюбію, что ты одичалъ и хочешь мести скорой, сейчасъ, ещо минуту. Когда ты, мстилъ за меня, у тебя каждый шагъ былъ обдуманъ, а теперь ты мнешься, плачешь какъ ребенокъ, и если бы я не звала твоего сердца, могла бы подумать, что ты не любишь, не хочешь, не умѣешь любить ни отечества, ни меня. Иди къ своей цѣли на проломъ, твердо, но не теряй бодрости отъ пустяковъ, связывай и то, что разорвется, благоразуміемъ и терпѣніемъ. Такія народныя дѣла въ одинъ день не совершаются. Настойчивостью неумѣстною ты можешь поселить въ князь отвращеніе къ предпріятію, для него совершенно побочному, которое, можетъ быть онъ и затѣялъ только для тебя. Можетъ быть, онъ скрываетъ передъ тобою и недостатокъ средствъ, падить твою чувствительность. Массимо, вспомни обо мнѣ; жалю, что отпустила безъ себя, но извини, я скоро съ тобою увижусь... Твоя Матильда! Р. S. Добрый Немашекъ! Онъ сдержалъ слово; профессора всѣ въ сборѣ, одинъ другаго ученѣе и благонамѣреннѣе, всѣ какъ ты. Это мое ежедневное общество. Я толкую съ ними и съ ихъ женами о нашей

жизни въ Кременчугъ и время летить, и върь мнѣ, все исполнится какъ нельзя лучше, по твоему желанію...»

«Петербургъ, 1 января 1777. Не пріѣзжай, Матильда, ради самого Бога, не пріѣзжай! Не за чѣмъ! Не за чѣмъ! Онъ ѣдетъ! Это уже рѣшено! Ёдетъ въ Южную Россію... Я былъ у него. Скажу тебѣ, Максимъ, на прямки: теперь не время! Сиди смирно и жди моего возвращенія.» — Нѣтъ, я не дождусь его! Развѣ онъ не можетъ насъ взять съ собою; онъ будетъ въ Кременчугъ; мы бы могли все кончить и ринуть на мѣсть... Бѣдный Максимъ, ты обмануть, ты обманулъ Матильду, ты обманулъ пражскихъ ученыхъ, всѣхъ, всѣхъ... Новый годъ, ты ударилъ; я слышу стукъ каретъ по улицъ; ѣзжать, поздравляютъ, веселятся... Поздравляю тебя, Матильда, съ превосходнымъ годомъ. Но какъ ты себѣ хочешь, у насъ въ крещеніе долженъ быть балъ. Сдѣлай милость, закупи все что нужно и пріѣзжай поскорѣе. Жду и не могу тебя дождаться. Директоръ музыкальной Кременчугской Академіи, членъ болонской академикъ, капельмейстеръ, Максимъ Березовскій.»

«Кременчугъ. Новый годъ. 1777. Его свѣтлость проѣхалъ черезъ Кременчугъ двадцать минутъ тому назадъ. Я въ парадномъ мундирѣ, со звѣздой и шляпой съ перьями провожалъ его по всему заведенію; князь остался весьма доволенъ моею

распорядительностью, но разсердился, зачѣмъ у меня на окнѣ сидитъ черный котъ. — Это не котъ, важна свѣтлость, это генераль-капельмейстеръ Сарти. — А! Сарти! Очень хорошо! и остался очень доволенъ, что черный котъ былъ Сарти. Потомъ мы поцѣловались съ княземъ; я велѣлъ подать карету въ мою комнату и онъ уѣхалъ въ это окно. Богемскими профессорами также очень доволенъ, и разспрашивалъ: гдѣ же Матильда Березовская? Я совершенно смѣшался, не зналъ что отвѣчать; сдѣлай милость, увѣдоми, гдѣ Матильда; я обѣщала князю донести о томъ рапортомъ. И правду сказать, безъ хозяйки въ этой огромной квартирѣ ужасная скука, пустота такая; ничего не умѣютъ ни подать ни приготовить. Какой-то трактирный мальчишка вмѣсто рому принесъ мнѣ прескверной французской водки. Не могу допить шестаго стакана. Ужасъ какой шумъ въ Петербургъ; все будто въ барабаны стучать, кричать: князь уѣхалъ. Конечно, уѣхалъ вотъ въ это окно... И я ѣду, но прежде запечатаю письмо...

Матильда не дочитала этого ужаснаго письма, которое вполне обличало состояніе разсудка Березовскаго... «И я ѣду!» закричала она. «Лючія, карету!» И точно, захвативъ деньги, брильянты, кое-что изъ бѣлья, въ почтовомъ экипажѣ. Матильда пустилась въ путь съ однимъ Піэтро, оставивъ Лючію въ Прагѣ для расчета съ Бондини и устройства дѣлъ... Прошелъ мѣсяць, другой... Въ

Прагу поздно вечеромъ возвратился одинъ Пётро, перепугалъ детей и Лючію своимъ неожиданнымъ появленіемъ и своими ужасными вѣстями...

— «Гдѣ Матильда?» спросила Лючія въ ужасъ.

— «Умерла на гробъ сумасшедшаго...»

— «Массимо...»

— «Зарѣзался наканунѣ нашего приѣзда въ припадкѣ бѣлой горячки...»

— «Матильда...»

— «Она доказала, какъ любила сумасброда. Упала на деревянный, неокрашенный даже гробъ Массимо. Я поднялъ трупъ и справилъ обоимъ похороны. Было мнѣ за чѣмъ ѣздить въ Петербургъ!»



ПОЗУМЕНТЫ.

I.

Какъ Богданъ Кирилловичъ не захотѣлъ быть почтмейстеромъ; и о Федоръ Ильичъ нѣчто.

Тысяща семь сотъ десятаго года, Новгородскій почтовый станъ отстоялъ отъ города на сто богатырскихъ шаговъ, а какъ почтовая контора той же осени погорѣла, то Богданъ Кирилловичъ Чегликовъ, отставной сержантъ и дѣйствительный Новгородскій почтмейстеръ съ женою, двумя малолѣтними дѣтьми, конторою и двумя почталіонами, переселился на станцію, вновь поставленную и знаменитую тогда добрымъ строеніемъ и просторомъ. Не смотря на сильную стужу, а время было зимнее, уголокъ, въ которомъ мѣстилось семейство Чегликовыхъ, былъ теплый; Богданъ Кирилловичъ, осмотрѣвъ суму новопривышнаго почталіона, повѣривъ съ регистрами пакеты, приобщилъ свои, при особомъ спискѣ, всю почту обвернулъ въ огромный листъ, запечаталъ казенною печатью и положилъ въ суму. «На! Семень!» сказалъ онъ, отдавая суму старому инвалиду, который, не желая возвращаться во свояси, за увѣчемъ, опредѣлился въ почталіоны къ Богдану Кирилловичу, по примѣру товарища своего,

Автамона, также инвалида, за увъчьемъ и также вмѣстѣ съ нимъ служивнаго нѣкогда подъ началомъ и сержантскою палкой Чегликова. «На, Семень, повъзжай съ Богомъ; только не мѣшкай; тутъ есть и сенатскіе указы. Постой, на, выпей рюмку настойки! Хорошъ тулупъ сверху, да въ такую стужу животь замерзнетъ; только уже Семень, пожалуй, дальше, на другихъ станціяхъ виномъ не грѣйся! Ну, съ Богомъ!» Семень укатилъ; колокольчикъ отъ быстроты не звѣнѣлъ, а какъ-то шипѣлъ по своему; пріѣзжій почталіонъ вытянулся у дверей и произнесъ тихо: «Счастливо оставаться, ваше благородіе!»

— «Куда ты, Ефимъ!» сказалъ почтмейстеръ, снявъ собственными своими натуральными щипцами длинный носъ нагорѣваго сальнаго огарка и растирая смрадный трутъ ногою: «Спать тебѣ сегодня врядъ ли придется; чай, черезъ полчаса, а можетъ и раньше, придетъ Питербурхская купеческая; у меня купеческихъ писемъ нѣтъ, такъ и задерживать тебя нечего. Я знаю Автамона и ямъ соседній; донесутъ на крыльяхъ. Ты вотъ лучше намъ скажи, съ Федоромъ Ильичемъ, что у васъ слышно про разбойниковъ.»

— «Да что слышно, ваше благородіе! Лучше было бы, кабы не слышно; какъ на Москву почту везешь, такъ отъ страха морозу не чувствуешь. Тутъ еще на новой, на Питербурхской дорогѣ, не такъ-то больно инаютъ; только одинъ Клинь отъ нихъ въ напасти; заходили, правда, подъ Тверь; какого-то царскаго сыщика искали; да не нашли и

опять подъ Москву потянули; а тамъ, упали Господи, что творится. Въ Клину, на Волоколамскомъ, въ Можайскъ, такъ не вѣринь, что рассказываютъ. Вотъ ужъ, прости Господи, чертово племя! Натѣкаютъ съ многолюдствомъ, со всякимъ боевымъ ружьемъ; дома помѣщичьи, села, деревни жгутъ; воруютъ въ волю; а унять некому...»

— «Съ нами крестная сила!» сказалъ Федоръ Ильичъ и перекрестился.

— «Съ нами крестная сила!» повторилъ женскій голосъ за перегородкой.

— «Спите съ Богомъ, Настасья Ивановна!» замѣтилъ почтмейстеръ: «Не то дѣтей разбудите, а воры отъ насъ верстъ за триста. — Ну, Ефимъ! Такъ больно воруютъ?»

— «Не что, кабы только воровали, а то бьютъ людей до смерти; бабъ и дѣвокъ уводятъ съ собою, для ради ругательства; всѣ животы берутъ безъ остатку; а чего не возьмутъ, побьютъ до смерти, хлѣбъ на улицу изъ житницъ повыкинуть, да коли разгуляются, такъ и зажгутъ въ придачу. Прежде малымъ ходили многолюдствомъ, а теперь со многихъ городовъ соберутся, да полкомъ идутъ. Больше все бѣглые драгуны, да корелы, да ямщики, что съ дороги провѣзжіе офицеры разогнали...»

— «А чего же смотреть почтмейстеръ?» сказалъ Богданъ Кирилловичъ самодовольно: «дай волю господамъ офицерамъ, такъ они и тебя запрягутъ въ оглобли! А задашь двумъ, тремъ острастку, такъ и уймутся. Свѣтлѣйшій провѣзжалъ; онъ меня персонально знаетъ. Вмѣстѣ служили. Я

ему на барича Лаптева и билъ челоюъ; случись и Лаптевъ тутъ. Свѣтлѣйшій къ нему: — «А какъ ты смѣлъ ящика до смерти бить? — А тотъ: я его билъ не до смерти. — «Да онъ отъ побоевъ умеръ, подь твоимъ кулакомъ.» — Подь моимъ кулакомъ, потому что озорничалъ, а умеръ не отъ побоевъ, а по своей причинѣ. — «Я те дамъ по своей причинѣ! Государю доложу!»

— «Что это вы, право, Богданъ Кирилловичъ!» раздался женскій голось за перегородкою: «кричите, хуже свѣтлѣйнаго.»

— «Да я то чѣмъ виновать, что у меня голось гуще?»

— «Да Наташа проснулась.»

— «А коли проснулась, пусть не спить. Ей же хуже! — Ну, братъ Ефимъ, такъ больно во-рують!»

— «Я ужъ докладывалъ вашему благородію!»

— «Правда, правда, плохое время!» сказалъ почтмейстеръ и зѣвнулъ, а Ѳедоръ Ильичъ всталъ и сталъ шарить въ темномъ углу. Почтмейстеръ догадался, что онъ ищетъ фуражки.

— «Что ты, что ты это?» вскричалъ онъ такъ сильно, что Настасья Ивановна опять заворчала: «помилуй, Ѳедоръ Ильичъ, куда ты въ такую стужу?»

— «Эхъ. Богданъ Кирилычъ, старому солдату морозъ потѣха. У меня, что принадлежитъ до лѣвой руки, такъ не совсѣмъ хорошо. Въ Польнѣ по самое плечо, такъ сказать, оторвало, а ноги...

могу похвастать. И теперь, безъ привалу, на три перехода хоть сей часъ.. »

— «Что ты это Федоръ Ильичъ, право не по сосѣдски. Просидѣлъ со мной за полночь, компанства ради; я зѣвнулъ, а ты и обидѣлся.»

— «Богъ съ тобой, Богданъ Кирилычъ, зѣвай себя сколько хочешь; стану я обижаться. На всякое чиханіе не наздравствуешься...»

— «Такъ отчего же ты идешь?»

— «Иду, потому что пора. Боря у меня одинъ дома съ няней. Вѣдь мы не въ городѣ. Добрая верста до моей усадьбы. Безъ хозяина, всякое можетъ прилучиться. На людей не надѣйся! Прощай, Богданъ!»

— «Экой ты право! Когда-то еще пріѣдетъ Автамонъ, а я тутъ сиди одинъ. Ну, повремени, пока почта. Выпьемъ себя настоички, а если хочешь, такъ мы съ тобой *Московскіе Куранты* *) прочитаемъ.»

— «Посидѣть, изволь посижу, а ужъ отъ курантовъ уволь. Право эти куранты не доброе; зачѣмъ народу знать, что за моремъ дѣлается. Добро бы еще сенатскіе, али другіе какіе нужные указы друковали, а то обо всякихъ нѣмцахъ пишутъ, что который по своимъ городамъ дѣлаетъ.»

— «Ну, братъ, извини! Тамъ иной разъ такое начитаешь, что во всю жизнь не только не увидишь, да и не услышишь. Ну, знаешь ли, примѣр-

*) Первые газеты въ Россіи.

но, что Турскимъ султаномъ Перскому шаху интилынтандъ аккордованъ?»

— «Да это братъ каждый солдатъ знаетъ, который былъ подь Азовомъ.»

— «Ну, а что?»

— «Да известно что —»

— «Не отвливай, скажи что? —»

— «Да какъ же я скажу, когда Настасья Ивановна не спитъ...»

— «Ужъ это мой грѣхъ, говори...»

— «Ну, изволь, когда привязался; это значитъ: что Турскій султанъ приказалъ Перскаго шаха на колъ посадить.»

— «Какъ на колъ?»

— «Ну, да на колъ, на шпиль; это, ради странности такой, по-Нѣмецки и написано.»

— «Вотъ что, а я совсемъ другой толкъ давалъ... Автамонъ! право Автамонъ!»

Почтмейстеръ не ошибся. Почта пришла, въ Новгородъ писемъ не было; сумка осмотрѣна, передана прѣзжему почтальону; уѣхала почта; Федоръ Ильичъ повѣхалъ съ нею до своей усадьбы; Автамонъ улегся на полати въ кукки; почтмейстеръ осмотрѣлъ небольшой окованный сундучекъ, стоявшій подь иконами, потушилъ свѣчу, перекрестился на иконы и легъ возлѣ жены. Настасья Ивановна притворилась спящею; она знала словоохотливость мужа, а черезъ щелку въ верегородкѣ видѣла, что настойки въ полуштофѣ и на полрюмки не осталось. Благоразуміе Настасьи Ивановны увѣнчалось успѣхомъ. Богданъ Кирилловичъ захрапѣлъ.

Поутру почтмейстеръ всталъ очень рано; одѣлся какъ слѣдуетъ въ форму, которую онъ покидалъ только ночью, и какъ на дворъ было еще сѣро, ни свѣтъ, ни заря, свѣчки, экономіи ради, жечь даромъ не хотѣлось; Богданъ Кирилловичъ и подошелъ къ окошку и давай его оттаивать дыханіемъ и рукою. Между тѣмъ разсвѣло: день наступилъ богатый; ни облачка; морозъ такъ и трещить. Богданъ Кирилловичъ сълъ читать Московскіе Куранты, хотя онъ ихъ звалъ чуть не наизусть, прочелъ послѣдній нумеръ, другихъ не было, отданы въ чтеніе городскимъ чиновникамъ; нечего дѣлать, почтмейстеръ вынулъ адресные списки отправленнымъ письмамъ и прочитывая, выводилъ статистическія заключенія, какой Новгородскій купецъ съ какими Московскими и Петербургскими купцами имѣетъ ближайшія сношенія. Но вотъ проснулась Наташа, встала и Настасья Ивановна, запищалъ и Никита Богдановичъ въ колыбели... Пошелъ шепоть за перегородкой, и скрипъ колыбели, и шушуканье; этотъ поэтический семейственный говоръ упоялъ счастливаго отца чистѣйшею радостію. «Спасибо Государю» подумалъ онъ» правда поцѣловала меня проклятая карточка въ ногу; орехъ кажется, а на всю жизнь окалечило; умирать приходилось; такъ нѣтъ на казенный контъ вылечили... Спасибо свѣтлѣйшему! Слово сказалъ ямской канцеляріи — Богданъ почтмейстеромъ въ Новгородъ, Богданъ въ почетъ, Богданъ женатъ, Богданъ семь лѣтъ живетъ припѣваючи; у Богдана Наташа по седьмому году

красавица, у Богдана — наследникъ есть, пойдетъ въ солдаты; если глупая картечь не задѣнетъ, махнетъ и въ генералы; нынче заслуга, что прежде родъ — сталь и новый порядокъ; генераль; почтъ-директоръ по всей дорогѣ почтмейстеровъ чуть не палкой взыскалъ, а Богдану спасибо. Не только мелкіе дворяне Богдану въ дружбу пошли, да и большіе, и чиновные, и богатые... Вотъ Оома Иванычъ Зябликъ и бригадиръ кажется, а всякій разъ къ себѣ въ Туровку зазываетъ въ гости, и ужь не я буду, если не приготовилъ на каждое рыло наше по гостинку. А что въ самомъ дѣлѣ Настасья Ивановна, нынче день не почтовый; почитай два дни никакой почты не будетъ; вторичная отошла, а пятничная въ субботу придетъ, а вторичная изъ Москвы раньше пятницы не будетъ. А у насъ приемъ въ среду прошелъ, а до пятницы далеко. Какъ ты думаешь?..»

— «Не мое дѣло объ этомъ думать. У меня своя забота, надо Никитку искупать по вечеру; такъ и благо, что эти почтари холодить избы не будутъ.»

— «Да не то, Настинька! Я думалъ бы къ его высокородию, къ Оомъ Иванычу съездить; здѣшній ямъ даромъ меня свозить, а въдь его высокородіе не безъ причины въ Туровку кличетъ. Видно желаетъ чѣмъ ни есть наше къ нему почитаніе наградить!»

— «Такъ что же! Въдь не я повѣду, не мое и дѣло; повзжайте съ Богомъ; расходу меньше.»

— «И то правда! Такъ я повѣду, Настинька!»

— «Поѣзжайте!»

— «Постой же, я Автамону скажу...» И почтмейстеръ распорядился. Вернулся Богданъ Кирилловичъ, одѣлся въ Автамоновъ тулупъ и кепки; инакка зимняя своя была; подпоясался почтальонскимъ патронтажемъ съ пистолетами; Автамонъ про случай зарядилъ ихъ пулями, и сани готовы. «Ну, прощай, Настинька» сказалъ Богданъ Кирилловичъ и сталъ жену и дѣтей цѣловать; отцѣловалъ дѣтей, да хотѣлъ на иконы перекреститься. Глядь, сундучекъ стоитъ.

— «Неслужай, Настинька, ты ларецъ-то прибереги, припрячь; тутъ за тысячу рублей казеннаго сбора.»

— «Ахъ ты Господи, бѣда какая, я отъ страху умру. Слышалъ ты, что вчера Ефимъ рассказывалъ.»

— «Вздоръ, Настинька, сущій вздоръ, веры далече, а я про случай Автамону накажу, чтобы не отлучался, а ты знаешь Автамона, не выдасть. Да и подъ самымъ городомъ; ямщики тутъ же; двѣ пары почтовыхъ лошадей на конюшнѣ. Вздоръ...»

— «Такъ смотри же, Богданъ Кирилловичъ, не забудь Автамону сказать...»

— «Да вотъ Автамонъ въ конторъ стоитъ. Слышишь, Автамонъ, тутъ за тысячу рублей казенныхъ денегъ, такъ не плонай, никуда не отходи; если привѣзжіе будутъ, сюда никого не пущай; въ приемныя комнаты пусть идутъ; станція велика! Слышишь!»

— «Слушаюеъ ваше благородіе, не изволь безпоконтъся; у меня топорикъ есть, за боевое всякое ружье справится.»

— «То-то же, гляди!»

Почтмейстеръ уѣхалъ, а Настасья Ивановна, сама не зная, за чѣмъ схватила ларецъ, потрясла, золотомъ и серебромъ отзывается; ей такъ стало страшно, что, ни приведи Господи, съла она на ларецъ да и давай Никиту качать, а Наташа съ куклой по своему лепечеть... Прошелъ часъ, другой. Настасья Ивановна со страхомъ освоилась, только все ларчика изъ-подъ мышки не выпускаетъ; стала она и обѣдъ стряпать, а ларецъ все на глазахъ; то и дѣло Автамонъ кличетъ: «туть ли ты, Автамонъ?»

— «Туть, матушка, не бойся, двери на щеколдѣ, топорикъ точу про случай.»

И точно Автамонъ отпускалъ старую, ржавую сѣкиру съ особеннымъ усердіемъ. Чѣмъ чище становилось желѣзо, тѣмъ съ большею жадностію засматривались глаза Автамона на тусклое, широкое поле топора, на тонкую линію острія и старые глаза мутились, и топоръ выпадалъ изъ черствыхъ рукъ его.

— «Тѣфу, ты нечистая сила!» бормоталъ Автамонъ. «Такого со мной, ни подѣ Туркомъ, ни подѣ Шведомъ не прилучалось.»

— «Съ кѣмъ ты тамъ разговоръ ведешь, Автамонъ?»

— «Такъ про себя бормочу...» отвѣчалъ онъ громко, а потомъ сказалъ тихо: «да, про себя!»

Нѣтъ! Съ чортомъ! Сгинь, пропади нечистое навожденіе!»

Автамонъ подошелъ къ дверямъ своимъ, посмотрѣлъ, плотно ли заперты, влезъ на полати, да и давай ко сну себя неволить; закрылъ глаза, а въ глазахъ искры, будто изъ кошки ночью огнемъ сыплеть; тѣ искры часъ отъ часу круглѣе, крупнѣе, да и стали добрыми кружками, то серебрянникомъ прокатится, то упадетъ златницей. Не спится Автамону; видитъ бѣда, да самъ не знаетъ какая. Затянулъ-было пѣсню во всю ивановскую; голосъ его отъ военныхъ невзгодъ былъ такой сиплый, будто вѣтеръ поздней осенью; перепугался Никитка, да и давай кричать. Почтмейстерша вышла въ почтальонскую избу, глянула на тепоръ, да тутъ не обомыла, а съ полатей Автамонъ пуще кричитъ.

— «Полно, Автамонушка!» говоритъ почтмейстерша: «не пугай дѣтей!»

— «Просимъ прощенья! Виновать, что-то за сердце укусило, такъ я хотѣлъ злую муху пѣсней согнать. Ахъ, ты Господи, чудно право... Скоро ли-то баринъ воротится?...»

— «Э, Богданъ Кирилловичъ любить кутнуть! Я больно боюсь, чтобы ему не запоздать. Того гляди, къ приему не вернется...»

— «Не изволь беспокоиться! Баринъ службу знаетъ и насъ службѣ училъ...»

Ушла почтмейстерша да и воротилась; вынесла Автамону стаканчикъ настойки, штей миску и добрую окраину хлѣба.

— «Кушай на здоровье!» молвила и пошла съ Наташей объдать.

Автамонъ молча стоялъ передъ настойкой и думалъ крѣпкую думу: «Пить или не пить! Экая, добрая! А отъ чего добрая? Недобраго боится; а въ другой день барина журить, зачѣмъ старому Автамону рюмку водки пожаловалъ, а рюмка-то съ наперстокъ. Право не знаю, пить или не пить! Да ужъ куда не шло; отъ стакана не охмѣлю.»

Проглотилъ Автамонъ стаканчикъ, да и рожу скорчилъ, будто нелюбо.

— «Ухъ, обожгло! А ты чего глядишь! Пошелъ прочь!» И съ неистовствомъ бросилъ съкиру подъ лавку. «Лежи тамъ, пока спросятъ.»

Сталъ Автамонъ пши хлѣбать, да за каждымъ хлѣбкомъ и вздохнетъ. Не довѣлъ Автамонъ, да и задумался; передъ нимъ рыжій мужикъ стоитъ, да усмѣхается; не то чтобы зубы у него изъ-подъ усовъ торчали, а кабаньи клыки; не то чтобы ногти на рукахъ, а длинныя рукавицы, да изъ-подъ тѣхъ рукавицъ черныя когти вылезли... а глаза не глаза: уголья; да ихъ будто кто изъ нутра раздуваетъ, такъ и пышутъ, да и огонь тотъ какой-то заколдованный; не то чтобы страхъ наводилъ, а будто въ стужу, банный духъ, такъ и нѣжитъ, всѣ косточки разбираетъ. Любо смотреть на рыжаго, а рыжій собой хуже всякаго пугала; постоялъ рыжій, постоялъ, да и нагнулся, взялъ топорикъ, да и хотѣлъ въ контору.

— «Незамай!» крикнулъ Автамонъ. «Я и самъ справлюсь.»

— «Оно и лучше!» сказалъ рыжій. «А деньгу, пожалуйста, всю себѣ возьми; у меня и своей довольно!»

— «Ой ли?»

— «Да! а на тысячу рублей нашему брату, простому челоуьку, и въку не хватитъ столько денегъ изжить. Ну, такъ прощай! Сегодня встретимся!» и ушелъ рыжій.

Автамона будто что укололо; проснулся; на дворъ стукъ; возятся ямщики; сани закладываютъ; не успѣлъ онъ и въ окно поглядѣть, проѣзжій съѣлъ, да и уѣхалъ.

— «Гмъ! Да зачѣмъ же топоръ?» сказалъ Автамонъ: «И такъ отдастъ. Только развѣ для страха ей показать. А ужъ деньги мои... Заживетъ Автамонъ; а закричитъ, проклятый Сергѣй ямщикъ услышитъ; только одинъ и остался...»

Зазвенѣлъ колокольчикъ. Не прошло двухъ-трехъ минутъ, ямщикъ Сергѣй въ избу стучится.

— «Возьми, Автамонъ, ключи...» кричитъ ямщикъ. «Господинъ какой-то прѣхалъ, никого нѣтъ, я барина повезу на моей парѣ, а съ той станціи ямщики ждать не хотятъ, говорятъ, что ужъ дома покормятъ; такъ возьми ключи...»

— «Пожалуй!»

Отворилъ Автамонъ двери, взялъ ключи, да за думой своей черною, забылъ двери запереть и съѣлъ въ избѣ на лѣсенкѣ, которая на чердакъ вела. Сидитъ. Смерклося, а съкира и въ темнотѣ свѣтитсѣ... Сталъ онъ озираться; показалось ли ему, али и за правду изъ запечки рыжій глядитъ, будто спрашиваетъ: «Что же ты, Автамонъ?»

— «А вотъ, сейчасъ, была не была!» И пошелъ въ контору.

— «Кто тамъ?» спросила Настасья Ивановна дрожащимъ голосомъ.

— «Да, что, родимая, право не въ мочь! Крѣпился, крѣпился, не могу, подай деньги!»

— «Деньги?»

— «Деньги, родимая, видишь руки дрожать, топорики подь лавкой; сердце жжетъ; не супротивься; я тебя не трону; давай ларчикъ... Въ лѣсъ... Рыжій проводить.»

— «Что это съ тобой, Автамонъ! Ты честный служивой; Богданъ Кирилловичъ на тебя что на самого себя надвѣлся...»

— «Да и надвѣлся, да видишь не устоялъ!»

— «Да вспомни Автамонъ Бога! Въдь ты будешь хуже всякаго вора; вспомни, какой у насъ Царь и строгій и всезнающій, отъ него не уйдешь; въдь ты же и крещеный, не какой нехристь, Автамопушка, ты у насъ что сынъ...»

— «Быть по твоему!» сказалъ Автамонъ, махнулъ рукой и пошелъ въ избу. Настасья Ивановна спрыгнула съ постельки, ларчикъ подь мышку, да и бѣжить къ дверямъ; приложила ушко, слынить реветъ Автамонъ, видно Богу плачется; не тутъ-то было; опуталъ его нечистый: зло слезы выжимаетъ; схватился онъ съ прилавка, поднялъ съкиру, кричить: «Не могу! Суди меня Богъ и Государь, не могу!» и бѣжить въ контору.

Обмерла Настасья Ивановна, да за дверьми и притаилась, а онъ словно быженный за перегородку.

Кричитъ: «Подай, вѣдьма, деньги, подай!» Тутъ Настасья Ивановна въ избу почтальонскую, да на лѣсенку, да на чердакъ, да дубовую дверь и за-двинула...

— «Стара шутка!» кричитъ Автамонъ: «не уйдешь!» Да Никитку изъ колыбели за ноги ухватилъ, свѣчу взялъ, да на лѣсенку и лезетъ.

— «Подай деньги!» кричитъ: «не то хвачу твоего щенка объ стѣну! Подай деньги!»

— «Не могу!» кричитъ почтмейстерина не своимъ голосомъ: «Не мое, царское!»

Тутъ Наташа выбѣжала, видитъ или такъ не видя, что двери отперты, выскочила на дворъ, на улицу, кричитъ во все дѣтское горло... Анъ тутъ у воротъ сани; офицеръ какой-то спрыгнулъ.

— «Сюда, сюда!» кричитъ Наташа; офицеръ за нею, въ избу, а тамъ уже и ребенокъ и Настасья Ивановна въ крови плаваютъ; офицеръ шпагу наголо; Автамонъ не поддается; офицеръ пуще, пуще, да и прокололъ Автамона; вдругъ выстрѣлъ, завизжала пуля, офицеру въ самое сердце впила, тотъ повалился на мертваго Автамона, да и духъ вонъ...

— «Вотъ тебѣ, разбойникъ!» сказалъ почтмейстеръ, держа въ рукахъ пистолетъ. «Бѣдный Автамонъ! Дорого ты за усердіе заплатился!»

Но каковъ же былъ ужасъ почтмейстера, когда Наташа кое-какъ, однакоже достаточно понятно, рассказала все дѣло; мертвая жена, разбитый ребенокъ, чужой человекъ, случайный защитникъ семейства почтмейстера, убитый его рукою; о! та-

кая чаша горечи не выпивается за разъ, и разсудокъ теряетъ свои силы... Богданъ Кирилловичъ упалъ на трупъ офицера и, обливая слезами, искалъ сердца его: не бьется ли? но шинель распянулася — военный человекъ; почтмейстеръ угадалъ рангъ убитаго; хуже, онъ встрѣтилъ на груди его сумку, красивую, новую, плотно застегнутую; сорвалъ несчастный сумку, осмотрѣлъ ее весь дрожа, въ послѣдній разъ въ жизни пришлось ему осматривать сумку... тамъ собственноручный указъ Царя Петра, тамъ роковая подорожная... И все вымало изъ рукъ его.

— «Боже!..» закричалъ онъ, блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ: «Что надѣлалъ я! Убилъ знатнаго слугу Царскаго!.. Остановилъ Государеву святую волю!.. Прощай, Наташа!»

И несчастный опрометью бросился изъ избы... Туда уже давно заглянули ямщики и почтмейстерскій и офицерскій, и видѣвъ кровопролитіе, побѣжали въ городъ, дали знать воеводѣ.»

— «Едоръ Ильичъ!» сказалъ воевода: «хоть ты у меня и гость, а въ такой причинѣ надо свидѣтелей твоего десятка, честныхъ, служивыхъ, съ добрымъ именемъ; пойдѣмъ!»

— «Пойдѣмъ, ваше высокородіе. Только мнѣ что-то не вѣрится, кажется у насъ объ разбойникахъ ничего слышно не было. А пойти, пойдѣмъ. Я и такъ хотѣлъ завернуть къ Богдану Кирилловичу, да вотъ ты, ваше высокородіе, забесѣдничалъ; а пойти, пойдѣмъ...»

Очень трудно было произвестъ точное слѣдствіе,

потому что единственною свидетельницей была Наташа, семилѣтній ребенокъ, и та съ перепуга говорила несвязно; всѣ ея рѣчи были тщательно записаны воеводой, засвидѣтельствованы другими чиновниками, набѣжавшими уже послѣ, и Федоромъ Ильичемъ; мертвецы убраны, и размѣщены въ разныхъ комнатахъ станціи; бумаги и казна опечатаны, карауль приставленъ, и всѣ, разсуждая о необыкновенномъ событіи, стали собираться по домамъ. Оставалась Наташа. Никто объ ней и не подумалъ. Только одинъ Федоръ Ильичъ взялъ ее за руку и сказалъ по своему сурово: «Наташа, ты со мной пойдешь...»

Наташа плакала, но повиновалась. Вышли всѣ на улицу, и повернули въ городъ, а Федоръ Ильичъ на большую дорогу.

Поднял онъ единственною рукою Наташу, подставилъ коленку, укуталъ въ свою шубу, опять подхватилъ рукою и понесъ, какъ будто кролика, на свою усадьбу. Дома у него еще не спали; Боря, единственный сынъ Федора Ильича, сидѣлъ у няни въ комнатѣ и весьма исправно помогалъ ей ткать красивый ручникъ. Мальчику былъ двѣнадцатый годокъ на исходѣ и Федора Ильича крѣпко кручинили женскія привычки Бори; но у отца не было никакихъ средствъ къ воспитанію сына, какъ прилично дворянину.

«Пусть живетъ подъ Богомъ,» думалъ Федоръ Ильичъ: «а придетъ пора, проснется въ немъ дворянинъ, на службѣ перемѣнится.»

Входя въ комнату съ Наташей, зналъ Федоръ

Ильичъ гдѣ искать Борю, и прямо пошелъ къ нянь.

— «Вотъ тебѣ, Боря, сестра!» сказалъ онъ, поставивъ Наташу на полъ. «Люби ее какъ родную. Акулина, дай-ка намъ закусить чего нибудь.»

—
II.

Какъ Федоръ Ильичъ захотѣлъ опять на службу и о Борисѣ Федоровичѣ нѣчто.

Воевода распорядился по своему; похоронилъ кого какъ — и донесъ обо всемъ кому какъ слѣдуетъ; а въ Московскихъ Курантахъ черезъ добрый годъ написали повѣстку, что «послѣ несчастной смерти почтмейстерши купно со младенцемъ, и послѣ пропажи почтмейстера Богдана Чегликова, какое движимое имѣніе оказалось, належито опечатано; а буде сыщутся ближніе родственники, то имѣють явиться съ документами къ опекунамъ оставшейся въ живыхъ малолѣтней Наталіи Чегликовой, сирѣчь: къ Новгородскому воеводѣ и отставному капитану Федору Ильичу Шаплыгину съ прописаніемъ жительства послѣдняго.» Каковъ былъ опекунъ воевода, неизвѣстно, но что касается до капитана Шаплыгина, то Наташа нашла въ немъ не опекуна, а истинно прекраснаго, добродѣтельнаго отца; закупилъ онъ ей куколь въ рядахъ, можно сказать за послѣднія деньги, потому что имѣніе Шаплыгина состояло изъ довольно обширной усадьбы съ тремя огородами и большимъ фруктовымъ садомъ, да изъ четырехъ крѣпостныхъ людей, изъ

коихъ одинъ былъ садовникъ, два огородника, а четвертая, жена садовника, состояла няней при Борь, кухаркой и домоправительницей. У Шаплыгина было до тридцати дворовъ, но во время продолжительной службы его, до проклятаго случая, когда онъ потерялъ руку, деревня сгорѣла до тла, кромъ одной усадьбы; жена со страха захворала и умерла; люди разбрелись, а вѣрными остались только четверо и то потому, что садовникъ былъ мужъ, а огородники родные братья Акулины, а няня Акулина такъ любила покойницу и своего питомца, что не хотѣла ни на шагъ отлучиться отъ усадьбы.

Безрукій капитанъ, какъ истинный стоикъ, оплакалъ жену, потужилъ объ деревнѣ, погоревалъ о глупыхъ крестьянахъ, и сталъ себѣ жить да поживать истинно по-философски. Три огорода, да фруктовый садъ кормили всѣхъ шестерыхъ, за однимъ столомъ; работать капитанъ не могъ за увѣчьемъ; однакоже не рѣдко помогалъ съ Борей садовнику собирать клубнику, малину и яблоки, а огородникамъ полоть и поливать грядки. Няня Акулина придумала завести домашнихъ птиць, и мужъ ея къ Рождеству два раза возилъ въ Петербургъ живность и возвращался съ немалой деньгой; тогда Акулина придумала искупить барипу добрую колымагу и господскую лошадь, но на такую расточительность капитанъ не соизволилъ, весьма справедливо доказывая, что онъ раненъ не въ ногу, а въ руку, а притомъ же и городъ недалече, и получаса пути вѣтъ; а предло-

жилъ съ своей стороны проектъ: искупить на тѣ деньги быка и двухъ коровъ. Предложеніе апробовано единогласно и скоты искуплены, отъ чего доходъ усадьбы значительно возвысился. Съ переселеніемъ Наташи въ Тетеры, такъ называлась усадьба, увеличились нѣсколько и расходы, правда, но Наташа была такое милое, доброе дитя, такъ понравилась Боринькѣ, что Акулина смотрѣла на все сквозь пальцы, даже и на то, что баринъ за послѣднія деньги покупаетъ ей всякую дрянъ. Федоръ Ильичъ былъ поведенія трезваго, характера молчаливаго и по наружности суроваго; привычекъ не имѣлъ никакихъ, но по званію своему, а больше отъ скуки, поддерживалъ связи, т. е. ежедневно послѣ обѣда ходилъ въ городъ пѣшкомъ въ гости къ тому или другому изъ городскихъ чиновниковъ, изъ коихъ и устроилъ себѣ очередь; всякій былъ радъ капитану и потому неудивительно, что онъ домой возвращался поздно, также пѣшкомъ, и ужъ развѣ только въ крайнихъ случаяхъ, съ почтой, причемъ однакоже всегда платилъ почталіону алтынъ, а ямщику двѣ деньги. Наступило уже пятое лѣто съ того печальнаго дня, когда Наташа осиротѣла такимъ страннымъ образомъ; Боръ пошелъ семнадцатый годокъ, Наташѣ двѣнадцатый кончился. Акулина не могла налюбоваться на своихъ дѣтокъ, какъ она ихъ называла и безъ обиняковъ говорила, что какъ Боръ стукнетъ двадцать, а Наташѣ пойдетъ шестнадцатый, такъ ихъ и обвѣнчаютъ у святой Софіи. Не смотря на возрастъ, въ которомъ иногда

очень хорошо знают что такое свадьба, ни Боря, ни Наташа не понимали, что этимъ хочетъ сказать няня, да и не допытывались, потому что считали вънчаніе какимъ ни есть обрядомъ, привязаннымъ къ означеннымъ годамъ; жили себѣ въ любви и дружбѣ, неразлучные, и не догадывались, что любятъ другъ друга безъ памяти. За обѣдомъ какъ-то случилось, что няня, журуя за что-то Борю, и говорить: «Слушаться, Боря! Вотъ какъ будешь Борисомъ Федоровичемъ, да женишься на Натальѣ Богдановнѣ, тогда...»

— «Что ты врешь, баба!» сказалъ капитанъ сурово, «что ты это мальчику такую дурь въ голову вбиваешь. Я не какой ни есть Царскій озорникъ; я свой долгъ, какъ свою молитву, знаю. Пора бабское дѣло бросить. Пора Царю и Царству службу справить, какъ вадлежитъ каждому честному челоуьку и дворянину особо. Вотъ какъ оповѣстятъ дворянъ; я Борю и отдамъ въ солдаты. А не оповѣстятъ, такъ и такъ отдамъ. Дай Богъ Наташѣ въ немъ жениха увидѣть, да безъ десяти лѣтъ царской службы и я его въ домъ не пущу. Скучно мнѣ и тяжело на этомъ свѣтѣ. Въ сверстникахъ есть у меня и генералы; а я то что? За пожаромъ — однодворецъ, за увѣчьемъ — инвалидъ; а тутъ еще рука теперь такъ докучать стала, будто горячимъ желѣзомъ по ней водятъ; ночи не сплю; сонъ пропалъ; безъ ропота подъ часъ смерти прошу у Бога, да вспомню про Борю, да и отпрашиваюсь, пока на службѣ его не увижу. — Такъ помни Боря что я тебѣ сказалъ; знай

что у тебя не только одинъ отецъ былъ, а дѣдъ и прадѣдъ; всѣ на службѣ царской умерли, только мнѣ, калѣкѣ, этой чести не досталось. Ужъ бы хотѣ противъ разбойниковъ этихъ, что стали подѣ монастыри наши подходить, лишь бы умереть на службѣ, какъ присяга велитъ.»

Въ этотъ день капитанъ былъ суровѣе обыкновеннаго; даже Акулина не смѣла противорѣчить и когда Ѳедоръ Ильичъ взялъ шапку и ушелъ въ городъ, няня только качала головою и приговаривала: «Ну не къ добру, не къ добру!...» Но и въ этотъ разъ счастливы не поняли чѣмъ угрожалъ суровый старикъ; они еще не умѣли и времени мѣрять годами; Боря даже радовался, что онъ послужитъ Бѣлому Царю, что Наташа будетъ любоваться на его мундиръ и оружіе.

— «Десять лѣтъ прослужу, такъ что не увидишь» говорилъ онъ: «изо всѣхъ силъ, Наташа, служить буду, чтобы тѣ десять годовъ поскорѣ прошли; три-четыре города возьму, такъ и безъ сроку отпустятъ; вотъ батюшка про такіе случаи не разъ намъ сказывалъ...»

И служба ихъ вовсе не печалила. Гораздо больше испугала ихъ рѣчь капитана про разбойниковъ. Напуганные сказками той же Акулины, они приставали къ ней съ вопросами, какой именно разбойникъ принелъ: Стенька, или самозванецъ какой, или Карло волшебникъ... Няня долго отпѣкивалась, да видить, не отстаютъ, перекрестилась, да и молвила: «Съ нами крестная сила! Чтобъ бѣды не накликать; говорить, да за правду никто не видалъ...»

— «А что же говорить, няня?...»

— «Извѣстно, всякую страсть, да можетъ со страху.»

— «Да чего же люди разбойниковъ боятся. Собратъ всѣмъ честнымъ да добрымъ въ окологдѣ, монастырскихъ людей взять, да и пойти на нихъ миромъ...»

— «Что ты, что ты, Боря, Господь съ тобою. Бѣда коли такія рѣчи слышать...»

— «Да развѣ они близко?...»

— «А кто ихъ вѣдаетъ. Можетъ, подѣломъ гдѣ сидятъ, да и смѣкаютъ. Говорятъ въ Туровкѣ были; бригадира, самого бригадира обворовали...»

Недолго продолжалась страшная, но вмѣстѣ и занимательная для молодыхъ людей бесѣда. Капитанъ противу обычая воротился рано; не въ духъ; разогналъ собесѣдниковъ; и не смотря на то, что солнце еще не закатилось, приказалъ ложиться спать. Оставшись одинъ, капитанъ осмотрѣлъ по обычаю всякое свое ружье, заперъ самъ ворота и улегся; но всю ночь ему не спалось; онъ вставалъ и подходилъ къ той комнатѣ, гдѣ спалъ Боря, прислушивался и казался довольнѣе, веселѣе. Къ утру и онъ маленько заснулъ, но первый лучъ вошедшаго солнца, привыкшій всегда будить Федора Ильича, и на этотъ разъ исполнилъ свою должность исправно. Капитанъ всталъ, почистилъ себѣ сапоги и платье, умылся, одѣлся и все это одною рукою, какъ будто у него никогда другой и не бывало. Разбудилъ онъ и Борю и

Наташу и Акулину. Всѣ встали хотя и не охотно, какъ будто предчувствуя что-то недоброе. Одылись. Шаплыгинъ и говоритъ сыну: «Боря! Ступай въ монастырь къ игумену Власію и отдай эту полтину отъ меня на молебень. Ступай Боря, не близко, и самъ за тѣмъ молебномъ помолись за всѣхъ за насъ, а пуще за Наташу.»

Впервые сердце юноши вздрогнуло на новый ладъ. Онъ смотрѣлъ на отца, будто спрашивалъ: что это значить, но капитанъ продолжалъ: «Ступай, ступай! Ея дѣло сиротское; объ ней надо больше молиться... Ступай!» Боря пошелъ, но чувство, единожды взволнованное, не скоро уляжется. Конечно, смѣшно бы и сказать, что Боря былъ влюбленъ въ Наташу, по всѣмъ правиламъ Овидія и нашего вѣка; онъ любилъ ее, какъ сестру, съ которою разлучиться на короткое время онъ бы еще смогъ, но навсегда... Но подобная мысль ему и въ голову не приходила; онъ опасался самъ не зная чего, должно еще оглядывался на усадьбу; наконецъ исчезъ въ волнахъ золотистыхъ нивъ... Капитанъ провожалъ его глазами.

— «Глупъ я былъ!» сказалъ онъ, потерявъ сына изъ вида: «Я долженъ былъ впередъ бѣду видѣть, а теперь какъ набѣжала, дай Господи только убраться. Ну, Наташа, впродвѣсь, пойдемъ въ городъ погулять...»

Наташа тоже посмотрѣла на него значительно съ примѣтнымъ недоумѣніемъ и вошла одѣваться. Капитанъ глубоко вздохнулъ.

— «Глупъ я былъ!» сказалъ онъ: «А теперь

передъ родными во лгунахъ; да что ты станешь дѣлать; языкъ на правду не новорачивается. Пойдемъ, Наташа!»

— «Не къ добру, не къ добру!..» ворчала Акулина, глядя во слѣдъ капитану и защищая рукою старые глаза отъ солнца. И точно не къ добру. Капитанъ скоро вернулся изъ города, но одинъ.

— «А гдѣ Наташа?» вскрикнула Акулина.

— «Не твое дѣло!» отвѣчалъ старикъ и, не слушая восклицаній Акулины, заперся въ своей комнатѣ. Акулина бросилась къ садовнику, тотъ кликнулъ огородниковъ и Акулина нѣсколько разъ сряду рассказала и про Борю и про Наташу. И послѣ каждого раза всѣ трое восклицали: чудно! и снова слушали неумолчную Акулину. Между тѣмъ вернулся Боря; завидѣвъ усадьбу, онъ не шелъ, а бѣжалъ, и прямо къ отцу.

— «Что, Боря, исправилъ ли ты все, какъ наказано?»

— «Исправилъ.»

— «Ну, хорошо, ступай себѣ, спасибо.»

Боря въ дѣвичью, нѣтъ Наташи: Боря въ большую избу, нѣтъ Наташи; къ отцу и тамъ нѣтъ, опять въ дѣвичью, опять къ отцу...

— «Кого ты ищешь, Боря?» сиротилъ капитанъ печально.

Боря покраснѣлъ до ушей и двѣ крупныя слезы блеснули на глазахъ его...

— «Милый сынъ!» сказалъ Федоръ Ильичъ такимъ голосомъ, какого Борѣ слышать не уда-

валось. Казалось говорить не отецъ, а вѣжная мать въ часъ сердечнаго умиленія, не храбрый капитанъ, а растроганная баба. «Знаю кого ты ищешь! Но не забудь, что Наташа мнѣ не дочь, тебѣ не сестра. Богъ мнѣ поручилъ ее; а тутъ прѣхаль родной ея дядя; говоритъ: подай Наташу. И горько было, тоска всего изломала, а удержать нельзя; родные прежде насъ. И человекъ онъ не простой! Царскій чиновникъ! Я было къ воеводѣ — и тотъ говоритъ: подай, чужаго не удерживай! Самъ ты знаешь, какая намъ она чужая?... Отдалъ, отдалъ! Боря! Я отдалъ Наташу!...» И вся военная твердость капитана исчезла; онъ обнялъ сына послѣднею рукой и оба горько и долго плакали.

— «Не кори меня, Боря!» сказалъ истинно жалкій старикъ; онъ въ эту минуту постарѣлъ десятью годами; такъ слеза тихаго, добраго, житейскаго чувства безобразить лицо богатыря. «Не кори меня, Боря! Видитъ Богъ, отстоять не могъ... Не ходилъ я никогда и никогда не пойду противу закона!...»

— «Успокойся, родимый, ненаглядный ты мой, успокойся!» въ свою очередь, рыдая, заговорилъ Боря. «Хорошо, что ты мнѣ намѣкъ далъ про Наташу; я такъ молился, что ужъ развѣ Богъ не услышалъ, а не то...»

— «Услышалъ, сынъ мой, слышалъ!»

— «Ну, такъ будь спокоенъ, Наташъ за моей молитвой худа на этомъ свѣтѣ не будетъ. Да кто же нашъ злодѣй?»

— «Говорятъ тебѣ, родной дядя, царскій комиссаръ, на Питербургъ: казенною фабрикой заправляетъ; тамъ у него всякую парчу и позументы дѣлаютъ изъ царскаго золота и серебра. Видишь, въ какой онъ у Царя вѣрв.»

— «Да какъ же онъ про Наташу свѣдалъ?»

— «Куранты, проклятые Куранты, чортова выдумка! Говоритъ: отъ сосѣда взялъ, скуки ради, за старыя годы, да и начиталъ, чтобъ у него глаза...»

— «Да развѣ тамъ написано...»

— «Все написано, чтобы тѣмъ друкарямъ добра не было, у нихъ самъ сатана на послугахъ, все знаютъ и друкуютъ на пагубу честнымъ людямъ.»

— «Эхъ, родимой, да вѣдь и эти Куранты по царской волѣ.»

Это замѣчаніе остановило капитана. Печаль его унялась. Онъ самодовольно посмотрѣлъ на сына, поцѣловалъ его въ лобъ и молвилъ съ гордостью:

— «Спасибо, Боря, спасибо! глупъ я сталъ. Учи, учи отца тому же, чему я тебя училъ. Молодецъ, Боря. Твоя правда. Нѣтъ въ Курантахъ зла, коли на то царская воля. Зла царю не нужно, а тутъ видно, такъ Господу угодно, а мы передъ Нимъ смиримся и помолимся.»

Въ это время вбѣжала въ комнату Акулина захавшись и объявила, что изъ города сила валить, такое многолюдство, что и счету нѣтъ, ратный строй съ воеводой, полкъ не полкъ, а много полковъ въ одномъ... И отецъ и сынъ выбѣ-

жали на крыльцо, и точно: ратные люди, да въ маломъ числѣ, а за ними всякій сбродъ, инвалиды, дворяне безъ мундировъ, монастырскіе служки, мужварье съ дубинами, боярскіе дѣти и всякаго рода служилые люди, кто на конѣ, а больше, пѣшіе, а впереди точно не то воевода, не то полковникъ, на дрянной клячѣ. И у самыхъ воротъ Федора Ильича весь этотъ сбродъ остановился; полковникъ слезъ съ своей клячи и вошелъ въ калитку...

— «Батюшка свѣты!» закричалъ капитанъ: «Федосѣй Юрьевичъ, ты ли?»

— «Что, Федоръ Ильичъ, узналъ не бойсь!»

— «Откуда, дружище?»

— «А вотъ погоди, узнаеешь. Прежде служба, а потомъ дружба. Не въдаешь ли ты, Федоръ Ильичъ, гдѣ либо по сосѣдству, или не слышалъ, не обрѣтаются ли тати, воры и разбойники, и буде есть, то гдѣ пристань держать?..»

— «Нѣтъ, ваше высокоблагородіе, Федосѣй Юрьевичъ, придти въ нашъ уѣздъ, пришли, а гдѣ пристань держать, не въдаю, и то говорю по святѣй Христовой непорочной Евангельской заповѣди Господней: ей-же-ей вправду.»

— «Ну, дружище, такъ значитъ до нихъ еще далече и значитъ наши язычные толки правду молвили, и значитъ про насъ заслышали и оглобли поворотили, да мы ихъ на становищахъ и пристаняхъ всѣхъ изловимъ, лишь бы народу служиваго собрать побольше.»

— Такъ ты, Федосѣй Юрьевичъ, ваше высокоблагородіе... царскій сыщикъ!..»

— «Полно, братъ, чиниться; не оторви у тебя руки, ты бы надо мной начало имьль. Ну, признаюсь, радъ что засталъ дома; а то какъ свѣдалъ я отъ воеводы, что ты здѣсь, да послѣ объденъ на прогулку ходишь, — весьма опечалился. Служба царская; ждать до утра нельзя, а хотѣлось свидѣться...»

«Такъ что же мы это на крыльцѣ? Для такого гостя и ратаѳія найдется...»

И услысивъ старые друзья за бутылочкой ратаѳи и разговорились, и по дружбѣ полковникъ капитану царскую инструкцію показаль; тотъ попросилъ прочесть, а тотъ и давай читать, да какъ дочитался полковникъ до того мѣста, гдѣ указано сыщику Федосью Юрьевичу Козину съ собою имать по всемъ городамъ у воеводъ отставныхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей, Федоръ Ильичъ весело схватился съ мѣста и сказалъ: «Постой, постой, прочти-ка еще: кого съ собою имать тебѣ?» — Полковникъ повторилъ.

— «Довольно!» закричалъ капитанъ: «довольно! Спасибо Государю, что онъ въ часъ нужды старыхъ своихъ служивыхъ не забываетъ.»

Съ этими словами капитанъ ушелъ, но скоро воротился при шпагѣ, держа въ рукахъ военную шляпу.

— «Что съ тобой!» закричалъ Козинъ.

— «Что указано! Радъ я радехонекъ, что на поганомъ пуховикѣ умереть не удастся... Государь Великій! Не забудь моего сына! Пойдемъ!..»

— «Да куда же?»

— «Съ тобой на татей, воровъ и разбойниковъ, но Государеву глаголу...»

Напрасно полковникъ, Боря, Акулина и вся дворня уговаривали его остаться дома. Капитанъ былъ неумолимъ; только и согласился на предложеніе огородника, старшаго брата, взять бурую лошадь, что на огородъ служить; подвели ему бурую лошадь. Капитанъ благословилъ сына и сказалъ: «Ну, Боря! жди меня, да не тужи, а не дождешься, ступай самъ куда Богъ велель, на честную службу Царю. Прощай!»

И армія тронулась въ путь! И Боря не дождался отца, а ужъ зимою, вмѣсто отца, пріѣхалъ полковникъ Козинъ, одинъ, на почтовыхъ, нашель Бору за ткацкимъ станкомъ и немало удивился. Первые мгновенія отчаянія и рыданій миновались. Капитанъ Щаплыгинъ, послуживъ главнѣйшимъ орудіемъ къ уничтоженію Можайскихъ злодѣевъ, почти при самомъ окончаніи военныхъ дѣйствій, попался въ засаду, самъ третьей съ двумя боярскими дѣтьми. Число было слишкомъ не равное. По капитанъ, положивъ на мѣсть четырехъ злодѣевъ, преслѣдовалъ остальныхъ до цѣви; ни одинъ не избѣгъ поимки; но капитанъ въ ту же ночь умеръ отъ ранъ, полученныхъ въ этой стычкѣ.

Борисъ прослушалъ разговоръ полковника въ глубокой печали и сказалъ:

— «Всѣхъ? Изловили всѣхъ?... Жаль!»

— «А почему?» спросилъ изумленный полковникъ.

— «Погому что не на комъ теперь моего гора выместить.»

— «Ну, что же ты, Боря, будешь теперь съ собою дѣлать.»

— «Что отецъ указалъ. На службу!»

— «Такъ поѣдемъ со мной?»

— «Спасибо, полковникъ.»

Коротки были сборы Борисовы; оцъ простился съ людьми, какъ съ родными, надѣлъ отцовскую шубу и шапку, сѣлъ въ сани и покатилъ въ Питеръ.

— «Въ какой же ты полкъ запинешься?» спросилъ полковникъ дорогою.

— «На позументную фабрику...»

— «Куда?»

— «На позументную фабрику...»

— «Что ты Боря, да дворянское ли это дѣло?..»

— «Мое дѣло, полковникъ, а служба Царю, вездѣ Царю служба.»

— «Да...»

— «Да ужъ сказано, будетъ и сдѣлано! У меня отцовскій нравъ. На своемъ поставлю.»

III.

Какъ Борисъ Федоровичъ Шапльинъ познакомился съ тѣми персонами, кои ему были нужны, и о тѣхъ друиыхъ персонахъ нѣчто.

На острову Свѣтлѣйнаго Князя Меньшикова, который впрочемъ и тогда, какъ и нынѣ, люди звали Васильевскимъ, противу деревянной церкви, гдѣ

теперь Андрей Первозванный, это придется около 6-й нынѣшней линіи, набросано было множество домовъ мелкаго разбора и такого дряннаго строенія, что съ перваго взгляда можно было замѣтить, что всѣ они поставлены только *ad interim*, на время. Тамъ жили разнаго рода художники и ремесленники; между старыѣхъ деревъ торчали въхи, указатели новой планировки этой части города; одно мѣсто было уже радикально разчищено и между двухъ въхъ поставлено доброе голландское строеніе въ два жилья. Въ этомъ домѣ, подъ неуклюжею крышею, во второмъ жильѣ помѣщался комиссаръ позументной фабрики, Ардалионъ Кирилловичъ Чегликовъ, а черезъ сѣни въ другой квартирѣ, Федоръ Федоровичъ Вурстъ, позументный мастеръ; въ нижнемъ жильѣ, въ двухъ палатахъ, жили ученики, числомъ десять, да во флигель одинъ подмастерье, изъ Нѣмцевъ, кухня и другія хозяйственныя принадлежности; отъ того флигеля шла дощатая ограда съ каменными столбами вокругъ небольшого сада и, обогнувъ главное зданіе полисадникомъ, примыкала опять къ флигелю, по сю сторону чернаго двора.

Рано по утру Ардалионъ Кирилловичъ, выкушавъ по нѣмецкому обычаю чашку кофе и надѣвъ мундиръ, отправился по дѣламъ службы на адмиралтейскую сторону. Наташа убирала вмѣстѣ со служанкой комнаты и съ безпокойствомъ поглядывала на двери.

— «Да не бойся, Наташинька,» сказала Марѳа, то есть служанка. «При мнѣ окаянный не посмѣетъ

поддипать къ тебѣ; вѣдь я не посмотрю, что онъ нѣмецъ: такъ щеткой съвѣзжу, что въ кренгель свернется, точь въ точь, что на вывѣскѣ.»

— «Слышинь, слышинь, Марѳа, уже на лѣстницѣ!»

— «Не бойся!»

Марѳа стала въ позицію; двери отворились, вошелъ Боря, и какъ удивилась Марѳа, когда съ крикомъ радости Наташа бросилась къ молодому челоуьку и повисла у него на шеѣ. Марѳа оперлась на щетку, разинула ротъ, и качая головою, смотрѣла въ оба на счастливую чету.

— «Ты ли это, Боря!»

— «Я, душенька Наташинька!»

— «А я ужъ думала, что никогда тебя не увижу.»

— «А я ужъ этого не думалъ; я далъ себѣ слово и сдержалъ, и до конца то слово сдержу...»

— «Какое же то слово?»

— «Молода ты больно, дай годокъ, другой, сама смѣнешь, а я пока возлъ тебя служить буду...»

— «Какъ служить!»

— «Да ужъ такъ, у дяди твоего подъ началомъ, на позументной фабрикѣ ученикомъ...»

— «Ученикомъ! Да какая же это служба, тутъ только бѣдные сироты ремеслу учатся...»

— «А мы съ тобою, Наташа, кто?.. А выучусь, дальше пойду. Спасибо Акулинъ, ткацкое дѣло разумью; пригодилось... Ну, гдѣ же твой дядя?»

— «А Богъ его знаетъ; пошелъ куда-то. Сказалъ, что черезъ часъ вернется.»

— «Ну, такъ я обожду. Только знаешь, Наташа, у меня есть до тебя тайная просьба...»

— «Говори, говори, Марѳа не скажетъ; такая добрая, что твоя Акулина...»

— «Вотъ ужъ Наташа не годится стараго друга такъ обижать. Авось пригодится...»

— «Да я такъ только, потому что мнѣ тутъ, кромѣ Марѳы, любить некого; а тамъ я другихъ больно любила. Да въ чемъ же твоя тайная просьба?...»

— «А вотъ въ чемъ: дядя твой не могъ знать, что мы вмѣстѣ выросли, кто я; будемъ жить, будто незнакомые, пока не придетъ часъ воли Божіей...»

— «Какъ! и не разговаривать, и не гулять; такъ зачѣмъ же ты ко мнѣ пришелъ?..»

— «Гмъ! Погоди годокъ, другой, сама смѣкнешь. И я думалъ по твоему, да горе на иной ладъ разумъ перевернуло... Такъ что же, Наташа, быть по моему?...»

— «Да зачѣмъ же я съ тобою не стану разговаривать; мнѣ и такъ гулять не съ кѣмъ; вышли мы разъ съ Марѳой на перинпективу, что князь строитъ; дядинька какъ увидѣлъ, меня на замокъ, а Марѳу побилъ; такъ я съ тѣхъ поръ и не гуляла, чтобы Марѳушу въ бѣду не ввести. Лучше бы я тебя не видала, чѣмъ...»

— «Ну, хорошо, Наташа, коли ты не хочешь дать слова, такъ прощай; иду въ солдаты, прощай!»

— «Изволь, изволь, Боря, слушаюсь, возьми слово, только какъ же мнѣ быть. Я, право, не умью...»

— «Ахъ, какая ты, Наташа! Ну, не смотри на меня...»

— «И не смотрѣть! Господи, да зачѣмъ же онъ ко мнѣ пришелъ...»

— «Тише, Наташа, идуть. помни слово...»

Наташа хотя и объявила, что притворяться не умѣетъ, однакоже въ одно мгновеніе обернулась лицомъ къ окну и стала въ садъ смотрѣть; Марѳа видно также притворяться не умѣла, стала полъ мести со всеусердіемъ, а Борисъ уместился въ уголь и, опустивъ глаза, стоялъ чинно, какъ слѣдуетъ просителю. Двери отворились и вошелъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вурстъ; на немъ былъ коричневый кафтанъ и черные шелковые исподни; одинъ чулокъ, по модѣ того времени, красный, другой синій; жабо или манжеты, изъ чистаго голландскаго холста и крахмала; лицо у него было дряхлое, скуловатое, ноги длинныя-предлинныя; при каждомъ его шагѣ, являлось подобіе Колосса Родоскаго; роста былъ онъ крайне высокаго; но когда шагаль, казался меньше средняго; прочихъ достоинствъ фигуры Вурста не описываемъ; все было въ гармоніи съ ногами. Когда Ѳедоръ Ѳедоровичъ вложилъ одну ногу въ комнату комиссара, Марѳа подняла щетку вверхъ и стала въ позицію; Борисъ, полагая, что столь торжественно можетъ входить только одинъ хозяинъ, двинулся-было впередъ, но Наташа не утерпѣла. «Это не онъ,»

сказала она торопливо: «это г. Вурстъ, здѣшній главный мастеръ...»

— «Не онъ?» спросилъ значительно Вурстъ: «а кто же этотъ онъ?»

— «О чемъ тутъ споръ?» спросилъ комиссаръ, входя въ комнату: «ты за чѣмъ тутъ, Федоръ Федорычъ?»

— «Я приходилъ за матеріяли; никакое золото неестъ.»

— «Ну, а ты за чѣмъ?» спросилъ Чегликовъ, искоса поглядывая на Бориса...

— «Я пришелъ къ тебѣ, ваше благородіе, на фабрику, въ ученики проситься...»

Чегликовъ осмотрѣлъ Бориса съ ногъ до головы, почесался въ затылкъ, да и сказалъ съ личной важностью:

— «Знаемъ мы вашу братью: въ ученики просишься, а потомъ учителя или комиссара проведешь; ухъ, какъ знаемъ; а не комиссара, такъ комиссаршу; и это знаемъ; помниш Федоръ Федорычъ?» Тотъ значительно кивнулъ головой. Чегликовъ продолжалъ: «Нѣтъ, братъ, отваливай! Ты для нашей фабрики больно того... то есть молодъ... или старъ... какъ хочешь... только не годишься!...»

— «Я, ваше благородіе, ткать умью...

— «Знаю, знаю, что ты все умвешь! А потомъ, того гляди такую штуку выкинешь, покажешь что умвешь того... Нѣтъ, нѣтъ, ступай, не хочу.»

— «Да за что же, ваше благородіе, ты меня гонишь, когда я изъ дворянъ, да по доброй охотѣ...»

— «Наше ремесло не дворянское. Ужъ и видно, что злой умыселъ, ступай! Вотъ Богъ — а вотъ двери!»

— «Такъ ты ужъ никакъ принять меня не хочешь?»

— «Да пошелъ же вонъ!»

— «Иду, только ворочусь, ваше благородіе!»
сказалъ рѣшительно Боря, и ушелъ.

Время было зимнее; по Большому проспекту Васильевского Острова, который въ то время не только соперничалъ съ Невскимъ, но имѣлъ предъ нимъ совершенный преферансъ, до того, что Невскаго съ Большимъ неудостоивали и сравненіемъ, — такъ по этому проспекту изъ гавани катилось много саней прямо ко дворцу Свѣтлѣйшаго. Борисъ былъ ослѣпленъ богатствомъ поѣзда, одеждой сѣдоковъ, больше всего удивлялъ его необыкновенный привѣтъ, которымъ пѣнеходы встрѣчали поѣздъ. Не смотря на сильную стужу, всѣ снимали шапки и кланялись въ поясъ. Боря, само собою разумѣется, не считая проѣзжихъ своими знакомыми, не разсудилъ за благо снять шапки, и больше занятъ будучи размышленіемъ: какъ бы опредѣлиться на позументную фабрику, подивился, подивился, да и задумался. Вдругъ, откуда ни возьмись, налетѣли на него сани, остановились у самаго такъ сказать носа.»

— «Эй ты, тетеря!» кликнулъ изъ саней какой-то генералъ....

— «Кого это онъ кличетъ!» подумалъ Боря, да и смотрѣлъ въ оба на генерала, а тотъ будто

дѣло дѣлаеть, такъ и заливаеться, ругаетъ на столадовъ, да и говоритъ:

— «Ты развѣ не видѣль, кто проѣзжалъ!»

— «Видѣль! Важно проѣхали, и убранство отмѣнное.»

— «Да что ты дуракомъ прикидываеишься, али и за правду дуракъ?»

— «Нѣтъ, ваше благородіе, не изволь дворянина такимъ словомъ взыскивать, а лучше скажи изъ чего ты ко мнѣ привязался?»

— «Ахъ, ты олухъ Царя небеснаго! Да развѣ ты не въдаешь, что проѣхалъ Государь съ Резидентами!»

— «Государь, самъ Государь! Правду говоришь, ваше благородіе, олухъ я за правду; прозѣваль Царя, а у меня до него важное дѣло.»

— «Какое же у тебя дѣло? Подай; я Государю доложу...»

— «Видишь какой! Я братъ, ваше благородіе, и самъ сказать съумѣю, лишь бы гдѣ съ Царемъ повстрѣчаться.»

— «Коли я позволю.»

— «Стану я очень у тебя спрашиваться. Пойду да и скажу.»

— «Анъ не скажешь! Царя запрещено беспокоить...»

— «Разсказывай! Слышалъ я довольно про Царя; къ нему всякой приходи, только съ правдой, а мое дѣло простое; скажетъ слово, свѣтъ послушается; а тутъ и слова то не надо; только глазкомъ мигнулъ и я счастливъ.»

— «Послунай, чудакъ, добро что ты ко мнѣ попался; я вѣдь генераль-полицеймейстеръ, такъ ужь извини, по должности моей поступить обязанъ.»

— «А поступай себя по должности! Такъ и слѣдуетъ!»

— «А коли такъ слѣдуетъ, такъ, пожалуй, ко мнѣ въ сани садись.»

— «Зачѣмъ?»

— «А я тебя повезу.»

— «А куда ты меня повезешь?»

— «Въ Сѣвѣжій Домъ Полиціи.»

— «Зачѣмъ?»

— «Тамъ тебя на хлѣбъ на воду посажу...»

— «Спасибо; у меня есть и своя копѣйка, на хлѣбъ станеть, а въ водѣ, въ Питербургѣ нѣтъ недостатчи. Спасибо! Не изволь трудиться...»

— «Такъ я изъ тебя и плеткой добуду, за чѣмъ въ Питербургъ пожаловалъ.»

— «Не изволь трудиться; я и самъ скажу, только не тебѣ. Ты моему дѣлу не помочь; тебя Ардаліонъ Кириловичъ не послушаетъ.»

— «Ой ли! Ну-ка, ну-ка, не изволь власти противиться; садись!»

— «Да гдѣ же твоя власть, покажи!»

— «Изволь! Эй, часовой, возми-ка этого парня за шиворотъ, да усади ко мнѣ въ сани.»

Часовой въ одно мгновеніе исполнилъ приказаніе Дивіера, такъ что Боря не успѣлъ и оглянуться, какъ уже сидѣлъ въ саняхъ, возлѣ генераль-полицеймейстера...

— «Право, чудно!» разсуждалъ Боря громко: «какіе тутъ у васъ въ Питербургъ смѣшныя порядки. Каждому встрѣчному и поперечному изволь разсказывать, за чѣмъ къ Государю прѣхаль! У меня отецъ былъ капитаномъ, да инога не спрашивалъ. А ужъ вѣрно у меня отецъ былъ постарше тебя! Сыщикъ Козинъ, даромъ что полковникъ, а со всякимъ почетомъ былъ къ отцу; Шаплыгинъ въ сборномъ полку, послѣ полковника, былъ первый.»

— «Такъ ты сынъ Шаплыгина?»

— «А то кто же? Борисъ Ѳедоровъ сынъ Шаплыгинъ. А ты и этого не зналъ? Ну, у насъ по всему околодку, да что въ околодку, по всему Новгороду Борю знали. Чай и Государь про Шаплыгина слышалъ.»

— «Какъ же не слышалъ! И держитъ память его въ почетъ.»

— «Вотъ видишь, самъ говоришь, а сына обижаемъ.»

— «Да чѣмъ я тебя обижаю; къ Государю везу; Его Величество радъ будетъ тебя видѣть; вѣрно въ Семеновскій, а можетъ и въ Преображенскій полкъ запишетъ...»

— «Ну, послушай, генералъ, ты видно не такой крутой, какъ мнѣ сначала показался; такъ, ужъ сдѣлай дружбу, не вези меня къ Государю, потому что Царь добра мнѣ хочетъ, я это знаю; у него такой норовъ; изъ того и бѣется, чтобы пока живъ, побольше добра надѣлать.»

— «Такъ отчего же ты къ нему не хочешь?..»

— «Отчего! Знаешь, иной разъ чловѣку нужна бичевка, а ему золотой позументъ дарятъ; что ему въ томъ позументъ, коли нужна бичевка? Разъ въ повѣситься?..»

— «Такъ видно ты службы бѣгаешь?»

— «Эхъ какой ты, право, безтолковый. Не службы! Я за службой сюда пришелъ, да хочу службы по моимъ силамъ и умъню, а Царь какъ увидитъ меня, да больно обрадуется, да сгоряча, не взначай въ Преображенскій меня и запишетъ. Ужъ тогда мнѣ не приходится противу царской воли идти. Царскаго слова назадъ вернуть нельзя, а я и въ дуракахъ, на всю жизнь горемыка, и себѣ и Царю безъ пользы...»

— «Такъ гдѣ же ты хочешь служить, въ подъячихъ что ли?»

— «Ну, ужъ это ты для другихъ побереги, а у меня есть свое ремесло. Была не была, скажу тебѣ, только покажи молодца, выпроси у Государя указъ, да полно ты ведешь ли разговоръ съ Государемъ?»

— «Каждый день по два раза непременно, а иногда по десяти и больше...»

— «И ты не лжешь?»

— «Ей-же-ей, вправду,» сказалъ Дивіеръ, душевно восхищаясь простодушіемъ Бориса, который смотрѣлъ на Дивіера въ оба, съ приметнымъ сомнѣніемъ...

— «Чудно!» сказалъ Боря: «да ужъ видно такъ Богу угодно; хуже не будетъ; авось не продашь. Такъ послушай: Царю лишь бы служба,

лишь бы мы, дѣти его, для его пользы трудились и выгоды его берегли, и объ нихъ радѣли ..»

— «Умница ты, право, умница; сколько свѣдѣхъ бородь, а такъ умно не разсуждаютъ.»

— «Насилу-то смѣкнулъ: ну, такъ не все ли ему одно, что я буду Преображенскимъ солдатомъ или позументнымъ мастеромъ. Солдатъ-то съ меня плохой, а ткать—такъ я тебѣ и теберъ лучшую скатерть вытку. — Вотъ я и ходилъ къ Ардалиону Кирилловичу, въ ученики на фабрику сталь проситься; онъ меня чуть не по шеямъ; я осерчалъ, да и пошелъ къ Государю. И хорошо что не дошелъ, а то бы Царь ни за что, ни про что, въ богатыри упряталъ. Ну, что же ты на это скажешь? Что мнѣ дѣлать? Можешь ли ты мнѣ помочь?»

— «Могу и помогу. А ты у меня въ дѣму посиди. Коли Царь въ духъ, такъ еще сегодня пойдешь на фабрику...»

— «Ну вотъ теберъ я вижу, что ты большой царскій слуга. Всякому добра хочешь. Всегда такъ дѣлай ..»

— «Спасибо за советъ! Постараюсь.»

— «Только Бога проси, поможетъ, а на свою гордость не надѣйся.»

— «И за это спасибо!»

— «Не за что. Всякой тебѣ то же скажетъ.»

Между тѣмъ сани остановились у крыльца огромнаго дома, который на то время въ Петербургъ былъ великолѣпнѣйшимъ и, въ своемъ родѣ, почти единственнымъ строеніемъ. На Невѣ толпилось множество народа; по объ стороны дома на площадяхъ

стояло саней за двѣ сотни; у свѣтлѣйшаго князя былъ обѣденный столъ для иностранныхъ резидентовъ, возвратившихся съ зимней прогулки на Котлинъ островъ, гдѣ они пробыли весь вчерашній день вмѣстѣ съ Государемъ. Музыка уже играла въ обширной залѣ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ Дивіеръ: «Это уже они прикладываются къ водкѣ; съ морозу чай обогрѣваются. Ну, Борисъ, такъ ты ступай ко мнѣ на домъ, а я вернусь послѣ обѣда.»

— «Нѣтъ, ужъ позволь мнѣ тутъ на народъ поглазѣть. Для меня вѣдь диковина все, что у васъ ни дѣлается... А ты себѣ ступай, кушай на здоровье, а я по вечеру къ тебѣ зайду; чай, ямщикъ твой знаетъ, гдѣ ты живешь.»

Дивіеръ улыбнулся, сказалъ: «Хорошо, быть по твоему,» и поспѣшилъ во дворецъ Меншикова...

IV.

Какъ Борисъ Федоровичъ потерялъ фамилію.

Рано по утру Арсэліонъ Кирилловичъ курилъ трубку; Наташа, заплаканная, распухшая, варила въ кухнѣ кофе, а Марѳа подкладывала подъ кофейникъ трески. Шмыгъ на кухню Федоръ Федоровичъ Вурстъ, да къ огню, да трубку свою фаянсовую приложилъ и закуриваетъ; да мимо, потому что Федоръ Федоровичъ не на огонь смотрѣлъ, а на бѣдную Наташу...

— «Это вы, кажется, плакали.

— «Нѣтъ!» отвѣчала Наташа.

— «Какъ нѣтъ? Вы имѣете красныя глаза.»

— «Ну, а хоть и плакала» отозвалась Марѳа: «да тебѣ, Федоръ Федоровичъ, какое дѣло! Не про тебя, а про себя плакали.»

— «Я очень жалѣть...»

— «Поди ты съ своей нѣмецкою жалостью во свояси. Коли любишь чортова зѣлье сосать, такъ держи про него кремень да огниво, какъ у барина; и барина ты испортилъ, а ужъ на кухнѣ злаго духа терпѣть не приходится...»

— «Ты, Марѳуша, всегда очешь грубъ.»

— «Счастье твое, что баринъ дома, а то бы я тебя половною щеткой, кочергой, ополовникомъ, чѣмъ ни наестъ, а нагрубила бы такъ, что другой разъ носу бы къ намъ не показалъ.»

— «Да что ты, Марѳуша, такой мой неприя- тель!»

— «Знаетъ кошка, чье мясо съѣла! Больно къ дитяти подлипаешь! Пусть только Ардалионъ Кирилловичъ смѣкнетъ, такъ онъ тебя тростью, а я кочергой...»

— «Хм!» съ улыбкою сказалъ Вурстъ, выставивъ осанисто лѣвую ногу, которая въ этотъ день была въ бѣломъ, а правая въ желтомъ чулкѣ: «Тростью! Хм! Мы увидимся.»

— «Да что же ты, трубку закурилъ, такъ и проваливай. Ахти, Господи, и кофе бѣжить, а ты, Наташинька, такъ задумалась! Сказала это Марѳа, да кофейникъ съ огня схватила и будто ненарокомъ погнула; кофе Вурсту на ногу. И обожгло и замарало...»

— «Ахъ ты мерзкій баба!»

— «Самъ ты мерзкій Нѣмецъ! Чего ты въ чужой кухнѣ незваный торчишь. Неси-ка. Наташинька кофе, готово!»

Наташа ушла...

— «Послушай, Марѳуша!» сказалъ Вурстъ, глядя умильно вслѣдъ Наташѣ: «Зачѣмъ ты на меня сердита, а я тебѣ самый лучший позументъ въ карманѣ принесъ.»

— «Чтобъ тебѣ на томъ позументѣ повѣситься!»

— «Погляди, какой позументъ, первѣй сортъ.»

— «Отстань, Федоръ Федорычъ, не то, право барину скажу.»

— «А позументъ на сарафанъ— очень хорошо...»

— «Ну, коли не отстанешь, такъ я вотъ сейчасъ къ барину...»

— «Мальши, малыши!» И Вурстъ торопливо ушелъ, а Марѳа понесла въ комнаты нѣмецкій крендель на тарелочкѣ. Ардаліонъ Кирилловичъ былъ Русскій европеецъ, какихъ и нынѣ много на святой Руси. Курилъ трубку, пилъ кофе и пиво, ходилъ въ пикейномъ халатѣ и въ колпакѣ, не крестился передъ обѣдомъ, а равно и послѣ обѣда; носилъ туфли, нюхалъ табакъ и считалъ себя человекомъ, вполне образованнымъ по-европейски. Онъ походилъ на философа, который, не зная слова по-нѣмецки, но снабдивъ главу свою субъективностью и объективностью, и другими терминами нѣмецкой философіи, отправился въ Берлинъ, слушать Шеллинга въ оригиналъ.

— «Гуть моргенъ Наташа!» сказалъ Ардаліонъ

Кирилловичъ : «Какъ ты почивала? Гуть или негуть? У тебя что-то глаза красны...»

— «Отъ дыму, дядюшка, да и голова что-то всю ночь болѣла.»

— «Нихтъ гуть! Надо въ аптеку послать.»

— «Зачѣмъ?..»

— «Это ихъ дѣло; ужъ они знаютъ что прислать противъ головы; мази какой, али помѣси своей аптекарской... Вѣдь это нѣмцы, обману нѣтъ, отпустятъ хорошій товаръ. Слышь, Марѣа, сходи...»

Марѣа по обычаю собиралась противорѣчить, да не успѣла; по лѣстницѣ кто-то бѣжалъ опрометью, такъ, что самъ Вурстъ не утерпѣлъ и съ трубкой выскочилъ. Но Борисъ прошелъ, мимо его, къ Чегликову въ комнаты, да прямо къ Ардаліону Кирилловичу и сунулъ бумажку какую-то въ руку, которую онъ было-протянулъ, чтобы взять кофе; Наташа вздрогнула и чуть-было не уронила подноса; Марѣа закашлялась, потому что спорнымъ словомъ поперхнулась; для дополненія картины въ полуоткрытыхъ дверяхъ показалась фізіономія Вурста и желтый чулокъ.

— «Видишь какой!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ. «Видно рекомендацію досталъ; да напрасно трудился; у меня протекція ни почемъ; я и читать не стану.»

— «Однако же!» отвѣчалъ Борисъ: «Потрудись, ваше благородіе, письмо письму рознь...»

— «Да и это не поможетъ; пожалуй я прочту, да послѣ, а ты себѣ стуай и на порогъ мой ни

ногой. Вотъ я и сосѣда хочу отучить отъ глупаго обычая. Дома ли я, не дома ли, а онъ то и дѣло торчитъ въ моей квартирѣ. Ну, прощай, пока добромъ изъ дому выпрашиваю, а не то...

Желтый чулокъ и физиономія исчезли, а Борисъ сказалъ :

— «Не изволь напрасно гнѣваться, ваше благородіе! Я и вчера и сегодня прихожу къ тебѣ не по доброй воль. Самъ я знаю, что не дворянское дѣло позументному кудожеству учиться, да коли такъ указано...»

— «Какъ указано?» спросилъ Чегликовъ, развернулъ бумажку, да очковъ не было; онъ и подаль записку Наташѣ, а та и прочла дрожащимъ голосомъ:

«Государь указаль мнѣ объявить, а тебѣ принять подателя сего въ ученики на фабрику, на Царскій Его Величества конштъ, а Федору Вурсту учить его всякому позументному мастерству, какъ контрактомъ обязался. Дивіерь.»

— «Ну, тутъ спорить нечего!» сказалъ Чегликовъ. «По неволь аккардовать должно; только тутъ у меня въ нижнихъ цимерахъ — самые дѣти живутъ; а ты не то чтобы подростокъ, ты совсѣмъ выросъ: такъ тебѣ съ ними не компанія. Марѳа, сходить-ка, позови подмастерью, а ты, Наташа, безъ дѣла не стой; ступай-ка въ спальню; ну, а ты, молодецъ, подай-ка мнѣ свои бумаги.»

— «Какія жъ у меня бумаги. Я челомъ билъ на словахъ!»

— «Да челобитной не нужно, когда указъ есть, а видъ какой ни есть, кто ты, откуда?»

— «Да зачѣмъ же видѣ, когда указъ есть.»

— «Да вѣдь надо же тебя какъ ни есть въ регистры внести и въ рапортахъ прописывать. Какъ твое имя, отчество, фамилія?»

— «Имя?.. Борисъ...» И Шаплыгинъ приостановился. Ардаліонъ Кирилловичъ записывалъ.

— «Ну!» сказалъ онъ, приготовляясь писать дальше.

— «Что?»

— «Что?... Отчество, фамилія, родъ и такъ далѣе.»

— «Отчество?.. Ѳедоровъ...»

— «Ѳедоровъ. — А фамилія?..»

— «Фамилія! —»

— «Ну да! Чтѣ прежде было прозвище, а нынѣ фамилія?»

«Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ Борисъ: «Да этакъ онъ съ разу смѣкнетъ про Наташу. Круто ей за меня придется. Ахъ ты, Акулина, Акулинунка, зачѣмъ ты меня лгать не научила; а теперь бы и пригодилось.»

— «Ну, какъ же твое прозвище?»

— «Да причина со мной, вание благородіе, приключилась!» сказалъ Борисъ, покраснѣвъ до ушей: «Я своего прозвища не знаю.»

— «Какъ не знаешь?»

— «Хоть убей не знаю! Всегда меня и отецъ и сосѣди сначала Борей, потомъ Борисомъ, а ужъ передъ самымъ отъѣздомъ Борисомъ Ѳедоровымъ кликали. Только у меня и прозвища было.»

— «Такъ можетъ быть ты и есть Ѳедоровъ.»

— «Да какъ же не Федоровъ, настоящій Федоровъ!»

— «Такъ и запишемъ!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ: «А изъ какого званія?»

— «Дворянинъ...»

— «Какой губерніи?»

— «А вотъ ужъ этого право не въдаю. Городъ нашъ пребольшой, а возлъ того города наша усадьба.»

— «Да какъ же зовутъ тотъ городъ?»

— «Городомъ, такъ и зовутъ.»

— «Какъ городомъ! Да въдь не только у каждого города, у каждой деревни, монастыря есть ранга и титулъ.»

— «Это ты лучше знаешь, ваше благородіе; ты человекъ ученый и знатный царскій слуга, а намъ какъ знать въ захоlustь, какая у нашего города ранга. Коли отецъ, али другой кто, туда собирается, говорить: пойду въ городъ, — а какъ его кличутъ во всемъ околдкѣ, никто не знаетъ.»

— «Ну, хорошъ! Да ты чай изъ сибирскихъ или изъ черкасскихъ городовъ?»

— «Должно быть изъ черкасскихъ, потому что Сибирь отъ насъ, говорятъ, далече; дальше Москвы.»

— «Да ты по этому не дворянинъ, а шляхтичъ, али вольный казакъ.»

— «Что ты, право, ваше благородіе, ты этакъ скоро меня драгуномъ сдѣлаешь.»

— «Ну, послалъ Богъ тетерю!» сказалъ комиссаръ, закрывая книгу и смѣясь во все горло:

«Такого не прилучалось и видѣть. Послушай, мейнгерръ подмастерье! Вотъ тебѣ обрубокъ, изволь его оболванить и отполировать; всякой политикъ научить, чтобы не стыдно было показать Государю; того для и жить ему съ тобою вмѣстѣ и держать тебѣ его во всякомъ страхѣ и ученіи; а Федору Федоровичу я самъ про него скажу... Пошелъ!»

Вошедшій при окончаніи сего разговора подмастерье Максимъ Ивановичъ, выслушавъ приказаніе въ дверяхъ, сдвлялъ знакъ рукою Борису, поклонился и ушелъ съ новопоступившимъ ученикомъ прямо во флигель. Максимъ Ивановичъ былъ предобрый человекъ. Но къ несчастію добрые люди бываютъ иногда глупы; Максимъ Ивановичъ тоже былъ глупъ, работалъ чуть не день и ночь, но не смотря на то и на пятьдесятъ два года, особымъ искусствомъ въ своемъ художествѣ не отличался; собственно онъ не былъ нѣмецъ, а нѣчто въ родъ нѣмца; говорилъ по-русски чисто, во ходилъ въ кирку, курилъ табакъ, пилъ кофе и пиво, ѣлъ преимущественно молочный супъ, картофель во всевозможныхъ видахъ и, только по смѣшанной породѣ своей, изрѣдка кислую капусту съ сосисками; сверхъ того въ число доказательствъ, что онъ былъ нѣмецъ, можно привести необычайную опрятность его во всемъ и экономію. Собственно на себя онъ издерживалъ по три или четыре алтына въ день, хотя самъ себя назначилъ ежедневнаго жалованья по пяти; пятый алтынъ обращался на вспомошествованіе бѣднымъ; добрый Максимъ Ивановичъ умѣлъ читать и писать, и тщательно

записывалъ только расходъ; приходъ сохранялся въ умѣ; и весьма справедливо, приходъ состоялъ изъ опредѣленнаго жалованья, всегда былъ одинъ и тотъ же; зачѣмъ же записывать, зачѣмъ истрачивать бумагу? Максимъ Ивановичъ сверхъ того отличался безкорыстіемъ, отъ чего зимою всегда и ложился спать и вставалъ въ потемкахъ, тогда какъ ему весьма было бы легко воспользоваться казеннымъ освѣщеніемъ фабрики, и забирать съ собою огарки; но онъ видѣлъ, что этимъ доходомъ пользуется фабричный сторожъ и предпочиталъ честную тму неправедному свѣту. Какъ только Максимъ Ивановичъ привелъ Бориса въ свою квартиру, тотчасъ предложилъ сѣсть на своей постели, а самъ на скамью и за работу. Борисъ не долго смотрѣлъ на него; задумался; его мучила мысль, что онъ обманулъ комиссара — и еще два раза!! Не смотря на то, что Максимъ Ивановичъ вовсе имъ не занимался и даже не глядѣлъ на него, Борисъ безпрестанно краснѣлъ и вздыхалъ. Чувства, пробужденныя свиданіемъ съ Наташей, какъ-то оправдывали его, но опять подымались сомнѣнія, и Шаплыгинъ пуце краснѣлъ и охалъ.

— «Что съ тобой?» спросилъ Максимъ Ивановичъ, продолжая гонять челнокъ по золотымъ нитямъ: «видно хочешь перекусить, да я дома съестнаго не держу, а ученики скоро за столъ сядутъ и тебя позовутъ; повремени маленько...»

— «Нѣтъ, мастеръ!» отвѣчалъ Борисъ: «Мнѣ скучно безъ работы. Учиться, такъ учиться! Позволь-ка я за тебя сяду, а ты погляди: такъ ли?»

— «Куда ты сядешь?»

— «А вотъ за твой станокъ!...»

— «Та та та! Этотъ позументъ не для науки; это широкій, первый сортъ; тебя прежде посадятъ золотую нитку крутить, а тамъ тонкіе шнуры вязать, а тамъ уже въ ткацкую; моли Бога, чтобы черезъ пять лѣтъ перенять нашу хитрость...»

— «Э, вздоръ! Давай ка челнокъ, я уже при-смотрѣлся...»

— «Полно, пожадуй полно, сдѣлай милость полно, не балуй, мастеръ основу самъ ставилъ дня три или четыре; испортишь, разысканіе, а я этого терпѣть не могу; преглупое наказаніе: виновать, такъ на то есть пажа, а деньги все-таки отдай. Эхъ, братъ, сдѣлай милость отстань, заболтался и плохо вышло... Мейнъ Готтъ, мейнъ Готтъ! И поправить нельзя!»

— «Вотъ ужъ и нельзя! Самый вздоръ!»

Борисъ въ одно мгновеніе перетянулъ нитки и поправилъ ошибку подмастерья, да не позволяя ему очнуться отъ удивленія, давай ткать дальне съ такимъ проворствомъ, ловкостью и умѣньемъ, что Максимъ Ивановичъ только ахалъ и приговаривалъ разныя нѣмецкія слова, которыя въ переводъ не могутъ достаточно выразить мѣры и силы его изумленія.

Скоро молодой ученикъ приобрѣлъ уваженіе не только учениковъ и мастеровъ, но и самого комиссара. Ученье не шло, а кипѣло. Не прошло мѣсяца, Шаплыгинскіе галуны отличались необыкновенною чистотою и плотностью, мастеръ то и

дѣло увеличивалъ его работу; Шацлыгинъ не усталъ, неутомимо трудясь иногда до поздней ночи. О поведеніи и говорить нечего: трезвость и трудолюбіе, повиновеніе и особенное расположеніе къ уединенію во время отдыха до того приводили въ восторгъ комиссара, что онъ сомнѣвался: Русскій ли Борисъ? и не разъ громко объявлялъ о своей догадкѣ. Какъ ни больно было это слушать Наташѣ, но связанная словомъ, она молчала, надѣялась отъ всего этого чего-то добраго, была весела, здорова, а при такихъ условіяхъ, если уже молодая дѣвушка имѣетъ расположеніе быть красавицей, то хорошеетъ не по днямъ, а по часамъ.

Стукнуло Наташѣ и тринадцать лѣтъ, помель четырнадцатый; въ день рожденія Наташи, комиссаръ пригласилъ гостей; обѣдали, гуляли, перепились и шумѣли. Борисъ слышалъ изъ садика, ночью, какъ весело кипѣлъ пиръ у комиссара; время тогда было уже лѣтнее; онъ сидѣлъ на скамьечкѣ подъ деревомъ и будто ничего не думалъ; а куда тамъ ничего! Только и думы, что про Наташу; все, казалось, случилось по его желанію: вотъ онъ уже больше полугода на позументной фабрицѣ; Шацлыгинскіе позументы Царь знаетъ, а онъ еще и не подмастерье, — онъ простой ученикъ, за котораго комиссаръ никогда не выдастъ Наташи. Для того надо быть по крайней мѣрѣ мастеромъ, если не такимъ же комиссаромъ, какъ и Ардалионъ Кирилловичъ. Другая кручина пуще первой мучила Борю. Какъ это Наташа не вышла, въ семь сланикомъ мѣсяцевъ, никакого случая съ нимъ пови-

даться. Какъ, по крайней мѣрѣ, не переслать ему добраго слова съ Акулиной. Мысль о любовныхъ запискахъ само собою не могла тогда еще имѣть мѣста въ головѣ Бориса... Больно; горько стало Борису; онъ съ досадою посмотрѣлъ на комиссарскія окна, изъ коихъ только два глядѣли въ садикъ, и тѣ были въ конторѣ, а не въ жилыхъ покояхъ. Посмотрѣлъ и затрепетало сердце; окно тихо отворялось, женская рука бережно поднимала половинку, чтобы не скрипнула; то была Наташа, Борисъ не могъ обмануться; та же рука опустилась и держала что-то; Борисъ подбѣжалъ и въ рукахъ его очутилась порядочная окраина заливнаго пряника.

— «Наташа? Ты ли! Что съ тобой? Здорова ли ты?.. Любишь...»

Но Борисъ не кончилъ вопроса. Окно опустилось. Наташа исчезла. Счастливецъ, онъ восхищался своимъ пряникомъ, будто блистательнѣйшимъ подаркомъ, даже устами коснулся его, не для того чтобы откусить, а чтобы поцѣловать милую ковригу... Онъ запрягалъ его подъ тюфякъ и воротился въ садикъ. Но, увы! въ конторѣ уже горѣли свѣчи, дымъ валилъ столбомъ изъ открытыхъ оконъ, два собесѣдника играли въ дашки, а прочіе съ трубками, окруживъ игроковъ, внимательно слѣдовали за ходомъ игры. Изъ гостей онъ узналъ одного Вурста; Федоръ Федоровичъ безпрестанно отзывалъ Ардаліона Кирилловича въ сторону; но комиссаръ кричалъ во все горло:

«Отстань, пожалуй, отстань! При всѣхъ осрамлю. Куда тебѣ! Не вашего поля ягода...»

— «Да послушай!..»

— «Нихтъ! Нихтъ! Вотъ тебѣ! Пошелъ!»

Такъ встрѣтилъ Борисъ памятный для него день рожденія Наташи; завтра все вошло въ обыкновенную колею свою; наступила и осень; прѣхалъ въ столицу Государь и потребовалъ къ себѣ всѣхъ учениковъ позументной фабрики; въ третьемъ часу по полудни они явились въ кунсткамеру съ мастеромъ. Государь, разсмотрѣвъ работы всѣхъ учениковъ, въ особенности остался доволенъ Шаплыгинымъ — и, вынувъ изъ стола узоръ, приказалъ ему, по данному образцу, сдѣлать къ Рождеству сто аршинъ позумента; Шаплыгинъ хотѣлъ-было сказать что-то, но Вурстъ не далъ ему говорить, вырвалъ образецъ изъ рукъ и сказалъ торопливо:

— «Будетъ какъ два капель вода!»

— «Такъ ступайте же съ Богомъ, и за работу...»

Точильное колесо завизжало; Государь приставилъ къ нему кость, а позументная фабрика in cogroge должна была удалиться...

— «Помилуй, Ѳедоръ Ѳедорычъ» сказалъ Шаплыгинъ уже на улицъ: «да какъ же я сдѣлаю, когда я не умью стана приготовить. Право я всему искусился, только ты мнѣ эту послѣднюю мудрость открой...»

— «Мы увидимся! Еще рано! Еще будетъ время.»

— «Ну ужь Богъ въдаетъ, когда это время прійдетъ!»

— «А вотъ какъ я жениться будетъ.»

— «Да ужь нельзя ли Федоръ Федорычъ тебѣ жениться поскорѣе.»

— «Нельзя! Невѣсть очень молодъ, перезъ одна годъ.»

— «Годъ!»

— «Меньши! Будущее лѣтомъ!»

Борисъ вздохнулъ. Тайна была въ рукахъ Вурста! Онъ приготовлялъ станы въ особой комнатѣ, куда не пускалъ даже Максима Ивановича и самого комиссара; не рѣдко Вурстъ тамъ просиживалъ цѣлыя ночи, а по утру раздавалъ ученикамъ работу, заставляя не только ихъ, но и Максима Ивановича ткать по готовымъ основамъ. И на этотъ разъ Вурстъ заперся на нѣсколько дней въ тайную рабочую; только и выходилъ къ пищѣ, и въ недѣлю съ небольшимъ выдалъ работу Шаплыгину; тотъ нѣсколько дней не могъ приняться за челнокъ; глядѣлъ, разсматривалъ какъ устроенъ станъ, добивался на ученическихъ станкахъ, какъ сдѣлана основа; но не могъ открыть тайны. Вурстъ замѣтилъ, чего добивается Шаплыгинъ, сталъ погонять его къ работѣ, безпрестанно торчалъ надъ нимъ, и до того боялся его усердія и смѣтки, что рѣшился взять его на верхъ въ свою квартиру для ночлега, чтобы онъ ночью какънибудь не отгадалъ опаснаго секрета. Тогда Вурста могли бы отпустить на волю, тогда прощай знатное жалованье, тогда прощай... Но мы уви-

димъ, чего больше всего опасался Федоръ Федоровичъ.

Позументы были изготовлены за цѣлый мѣсяць до срока; но Государя не было въ столицѣ и Федоръ Федоровичъ запряталъ ихъ въ комодъ и когда уходилъ, всегда запиралъ даже комнату, гдѣ стоялъ комодъ. Но въ случаяхъ, когда Вурсту приходилось отлучиться съ фабрики куда либо въ городъ, онъ бралъ съ собою и Бориса. Вурстъ зайдетъ куда къ знакомому, а Борисъ жди его на улицѣ. Смерть надвѣла Борису такая жизнь: онъ бы ушелъ съ фабрики, если бы не Наташа и не географическія выгоды, которыя доставило ему переселеніе изъ флигеля на верхъ, въ квартиру Вурста. Онъ только и ждалъ удобнаго случая и не сомнѣвался, что этотъ случай представится. Однажды пошли они съ Федоромъ Федоровичемъ Вурстомъ слона смотрѣть, который жилъ тогда въ особомъ сараѣ, за Почтовымъ дворомъ. У самаго крыльца Почтоваго двора стояло трое саней, нагруженныхъ всякою живностію. На крыльцѣ, Акулина отогрѣвала замерзшія руки и объ чемъ-то спрашивала сторожа.

— «А кто его знаетъ!» говорилъ сторожъ басомъ: «Мало ли кого въ Питеръ нѣтъ, такъ на Почтовомъ дворѣ всѣхъ и въдай. На то есть другія мѣста.»

— «Да какія же, батюшка, мѣста?»

— «Да разныя: канцеляріи, господа сенать, коллегіи, полиція, мало ли у насъ какихъ мѣстовъ нѣтъ!...»

— «Ахъ ты, батюшка мой, кормилецъ, да вѣдь Боря-то на почтовыхъ поѣхалъ съ сыщикомъ, такъ гдѣ же ему, окромя Почтоваго двора, и быть!»

— «Вотъ дурище! Пошла прочь, стану я съ такой безтолковой морозиться. Ищи Борю гдѣ хочешь, а здѣсь нѣтъ, и не бывалъ...»

— «Ну, Ермолаичъ!» сказала Акулина: «Чудно, право! Въ Новгородъ хотъ воеводу спроси, всякой укажетъ, а тутъ погляди какіе спѣсивые!»

— «Да что, жена? Лучше мы гдѣ на постояломъ пристанемъ, а тамъ, дастъ Богъ слѣдъ найдемъ.»

— «Да что ты это, Ермолаичъ, право? Вѣдь я моего сердечнаго два года не видала. Что жъ, моимъ трудамъ, пропадать, что ли? Я и такъ до Питера чуть дотерпѣла, а тутъ еще и въ Питерѣ терни. Хотъ бы развѣдать, гдѣ тутъ воевода, тотъ на вѣрно вѣдаетъ. Постой, вотъ съ Невы господа идутъ; не обидятся, чай, коли про молодого барина спрошу... Батюшки свѣты! Погляди-ка Ермолаичъ, старымъ глазамъ моимъ не вѣрю, не онъ-ли?»

— «Вотъ ужъ и онъ. Боря поменьше былъ, только право капитанскій тулупъ.»

— «И шанка-то Федорова Ильичева. Право такъ. Послунай, Ермолаичъ, чтобы намъ въ пресакъ не попасть, ты, знаешь, гаркни такъ, будто на вѣтеръ: «ахъ ты Господи, гдѣ то намъ искать Борю Шанлыгина» да погромче!...»

Но этой уловки не было нужно; молодые Бо-

рисовы глаза тотчасъ узнали Акулину; въ три прыжка онъ уже былъ на ночтовомъ крыльцѣ и какъ родную мать обнималъ со слезами Акулину...

— «Великъ Богъ!» кричала Акулина: «Бѣдненькій охъ, а за бѣдненькимъ Богъ! Отогрѣлась, право отогрѣлась! Ай да Акулина, куда старость ушла! Погляди, мой ненаглядный, каковы-то индюшки; въ полпуда каждая; а поросята, перебила я ихъ, корму много идетъ, да ужъ за то не скажешь, что не молочные; а кабаны, такъ повъришь ли, въ Новгородъ, на мѣсть, по два рубля давали. Курей немного; два сорока; да ужъ за то гусей то, гусей: съ верху утокъ паръ двадцать, не больше; а тамъ все гуси, кормленные, жирные; одного сала будетъ на много лѣтъ; масла не много привезла, такъ только для обиходу пудовъ пять, а что ни было масла у меня, сыровъ, все въ городъ продала; хорошую цѣну взяла; да, знаешь, денжонками-то я мало тебѣ привезла, надо было искупить лошадей; бурая-то съ Федоромъ Ильичемъ не воротилась; замотали окаянные; такъ объ одной лошади, нечего и въ Питеръ везти, да и коровъ-то у меня нынче пять, а ужъ какъ промыслила! Удача, просто удача! А еѣ огородовъ доходъ, и за то и за это лѣто, весь со мной. Ахъ ты, мой Боря, богатырь! Опозналась, право опозналась бы, еслибъ не Федорова Ильичева шуба, да шапка; а знаешь ли, на твоей, да на Наташиной яблони, помнишь, что капитанъ сажалъ, какъ Наташу принялъ, такъ вотъ этакія,

больше моего кулака, яблоки уродило; сердись не сердись, всё засушила, да тебя привезла. Да какія яблоки, будто съ одного дерева...»

— «Матушка ты моя, Акулина! Богъ тебя наградитъ...»

— «Что ты это, ненаглядный, красное мое солнышко, гляжу на тебя и будто лѣто для меня стоитъ на дворъ. А Наташа? Что Наташа, гдѣ она, моя ненаглядная! Чай у дяди не то что у насъ: и не досмотрятъ, и не докормятъ, забыла чай свою Акулину, да гдѣ ей теперь обо мнѣ старухъ помнить; чай, что ни шагъ, такъ на нее служивые богатыри засматриваются; ну, а наше бабье дѣло извѣстное; про себя скажу: бывало и старый какой хрѣнъ зубы оскалить, глядя на меня, такъ сердце и запрыгаетъ, а ужъ если молодой парень, бѣда: ничего не вижу, въ жаръ бросить, краска по лицу бѣжить, да и въ глаза заглянетъ! Охъ, стара стала Акулина, ужъ теперь и память не та, а прежде не только того, что мнѣ любовное слово скажетъ, да и того, кто взглянетъ на меня ухмыляючись, всѣхъ помнила... Да, ненаглядный ты мой! Такъ что жъ твоя Наташа?»

Этотъ оборотъ разговора не понравился не только Борису, но и Вурсту. Онъ измѣнилъ позицію Колосса Родосскаго и вытянулся въ миногу. Борисъ понялъ его движеніе, взвѣсилъ всю опасность свиданія Акулины съ Наташей и какъ уже въ столицѣ онъ пробылъ не мало, то, ни сколько не обинуясь, собирался: какъ бы поискуснѣе отлгаться и предупредить опасность.

— «Эхъ, Акулина» сказалъ Борисъ съ притворною горестью: «Не нанель я Наташи въ Питеръ; она съ дядей уѣхала, а куда, Богъ въдаетъ. Видно не суженый я, а вотъ какъ обогрѣмся, такъ я тебѣ покажу мою невѣсту.»

— «Другую? И видѣть не хочу! Грѣхъ, Борисъ Ѳедоровичъ! Право грѣхъ! А если она по тебѣ до смерти изноеть?»

— «Да гдѣ же ее взять, Акулина? Если я эту брошу, да пойду другую искать, такъ Параша до смерти изноеть. Той не найду, а эту потеряю... Я только объ томъ и думалъ, какъ бы сотеньку накопить, да и за свадебку...»

— «Сотеньку?» закричала Акулина торжественно: «Сотеньку? А три сотеньки не хочешь? да живности всякой на годъ; да... Нѣтъ! Пстой! Лучше ты деньгу прибери; ночи не спала, чтобы мышечковъ не повынимали, да не поотрѣзали. Вотъ...»

— «Пстой, Акулинушка! Видишь слезы у меня на глазахъ; ты вижу только для меня и на этомъ свѣтъ жила; чай сама не доспала, не доѣла, а я тебя тутъ что таракана морожу; зайдемъ въ почтовую австерію; тамъ и выпьемъ, и закусимъ и обогрѣмся, и что дѣлать, разсудимъ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, не откажи пожалуй рюмочку ратафій; самъ видишь какая у меня радость; мнѣ теперь не до слона; а я тебѣ за то заморскаго вина флагу поставлю, да пару гусей на праздники подарю...»

Вурсть пріятно улыбнулся и, глядя на Акулину, сказалъ съ ужимкой:

— «Мы старѣй друзья! Взе пополямъ! Онъ у мене и живетъ на квартирѣ. Отказантъ я не смѣй...»

И всѣ отправились въ почтовую австерію, которая въ это рабочее время дня была совершенно пуста. Усѣлись около стола всѣ четверо; т. е. Борисъ, Вурстъ, Акулина и Ермолаичъ; при сѣняхъ остался огородникъ, меньшей братъ; подали и водочки простой, и ратаѣи, и поросенка подъ хрѣномъ, и того, и другаго; Акулина не могла ѣсть на радости, а Борисъ ее уговаривалъ закусить, а пока не закусить, отказывался съ нею бесѣдовать; Акулина стала ѣсть черезъ силу; а Борисъ все своему мастеру знай подливаетъ.

— «Что, Ѳедоръ Ѳедорычъ?» спросилъ Борисъ послѣ десятой или одиннадцатой рюмки: «Вѣдь ты охмѣлѣешь.»

Вурстъ моталъ головой и улыбался.

— «Да ты и теперъ уже по одной доскѣ не пройдешь.»

— «Пройдетъ!»

— «Нѣтъ, не пройдешь.»

— «Зматри!»

И Вурстъ сталъ шагать по комнать весьма исправно; въ это время Борисъ нагнулся къ Акулинѣ и сказалъ шопотомъ:

— «Душа моя, родная ты моя, ни о чемъ не спрашивай, дѣлай все что я ни скажу — не то пропала моя головушка.»

Акулина всплеснула руками, хотѣла-было спросить что-то, да языкъ отнялся отъ страха; между

тѣмъ Вурстѣ, по ошибкѣ ли, а можетъ нарочно, вмѣсто рюмки протянулъ къ Борису стаканъ. Тотъ ему до вѣнчика ратафію изъ полуштофика всю выцѣдилъ; Вурстѣ хлопъ, молодецѣмъ осушилъ, усѣлся, да и давай Акулинъ объяснять братскую любовь свою къ Борису. Та не совсѣмъ хорошо понимала ломаный языкъ Вурста, отъ котораго и мы уволимъ нашихъ читателей, потому что подобное подражаніе природѣ никогда не можетъ казаться вѣрнымъ, какъ бы оно ни было близко къ подлинникамъ. Всякій иностранецъ ломаетъ нашъ языкъ по своему; мы постараемся сохранить только содержаніе рѣчей Вурста, а эти рѣчи откуда брались; такъ и льются, а Борисъ такъ и подливаетъ. Въ припадкѣ откровенности Вурстѣ открылъ часть своихъ намѣреній; съ ужасомъ объ нихъ услышалъ Шаплыгинъ: Наташа была ихъ цѣлю. Одно его утѣшало. Коммиссаръ постоянно не соглашался на предложеніе Вурста.

— «Да это не поможетъ!» продолжалъ Вурстѣ, разгоряченный и виномъ, и прелестнымъ предметомъ бесѣды: «Есть у меня средства. Онъ отдастъ племянницу, если ему не нравится путешествіе въ Сибирь, или палки, или другое наказаніе.»

Борисъ обомлѣлъ и пересталъ поить мастера.

— «Полно, Федоръ Федорычъ!» сказала Борисъ: «Коммиссаръ — человекъ честный.»

— «Честный, только бѣдный, а въ бѣдности — соблазнъ великъ. Сумма у него на рукахъ. Рапорты онъ пишетъ исправно; да въ наличности того нѣтъ, что написано; это я знаю.»

— «Полно, Федоръ Федорычъ, что такое сто, двести рублей. Конечно деньги не малыя, да за нихъ въ Сибирь не пошлютъ.»

— «Сдѣлай одолженіе, казенная конѣйка хуже чѣмъ приватная тысяча, а въ конторѣ должно быть теперь тысячу четыреста рублей, полтина, семь алтынъ и двѣ деньги .. это я знаю...»

— «Сколько?»

Вурстъ повторилъ.

— «Такъ чтожъ?» сказалъ Борисъ: «Коли должны быть, такъ и есть.»

— «Нѣтъ!»

— «Ужъ будто ничего нѣтъ!»

— «Есть, да безъ четырехъ сотъ семи рублей!»

— «Куда же комиссаръ дѣвалъ ихъ?»

— «Ну ужъ куда дѣвалъ, не знаю; да изъ жалованья не скоро пополнить; а не отдастъ Натаншу, такъ...»

— «Федоръ Федорычъ, а еслыбы заморскаго бутылочку. Я отродясь не пилъ; говорятъ слаще меду...»

— «Меду? Медъ только можетъ пить русская глотка. А нанни рейнвейны — цари пьютъ. Это не вино. Это такой нанитокъ, что только развъ на свадьбѣ бываетъ такъ пріятно...»

— «Такъ что же, Федоръ Федорычъ, выпьемъ?»

И бутылочку рейнвейну Вурстъ осушилъ, одинъ, потому что Борисъ вовсе не пилъ, а няня Акулина отвѣдала и выплюнула. «Кислятина!» сказала она: «Не пей, Ермолаичъ!» А Ермолаичъ былъ мужъ сошме іі fau; уже было и рюмку къ гу-

бамъ поднесъ, какъ сказала жена не пей — онъ поскорѣе рюмку назадъ, да за ратафію обѣими руками хватился.

Вурстъ былъ вполне доволенъ, счастливъ и пьянъ; но, не смотря на свою опасную позицію, никакъ не терялъ ни памяти, ни равновѣсія, и весьма обрадовался, когда Борисъ сталъ проситься, чтобы ему не идти на фабрику, а остаться съ Акулиной и озаботиться о ея пристанищѣ и другихъ хозяйственныхъ надобностяхъ. Вурстъ кивнулъ головой въ знакъ согласія, пошелъ домой, осмотрѣлъ комодъ, перемерилъ позументы, заперъ все три двери на замокъ и заснулъ богатырскимъ сномъ.

—

V.

Какъ Борисъ Федоровичъ безъ недуга былъ боленъ.

Наступилъ и праздникъ Рождества, на фабрику перестали работать. Было время вечернее. Борисъ сидѣлъ дома, сложа руки; Вурстъ приглашалъ его пойти прогуляться; но Борисъ отговаривался нездоровьемъ.

— «Богъ въдаетъ, что со мной творится, Федоръ Федорычъ!» говорилъ онъ: «Мнѣ кажется, что я умру ученикомъ и никогда не буду подмастерьемъ. Знаешь, что я жалю, зачѣмъ не послушался Акулины и не увкалъ въ свою усадьбу съ нею вмѣстѣ. Дастъ ли Богъ съ нею увидѣться?»

— «И полно! Зачѣмъ такія мысли! Вотъ я же-

нюсь на Наташъ, ты на Парашъ, мы и разъедемся; я свою фабрику заведу, а ты свою, и зажигемъ господами.»

— «Нѣтъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ! Па то не похоже. Меня жжетъ въ груди. Сердце крѣпко болитъ; хотѣлъ въ аптеку сходить, да ноги не несутъ.»

— «Да ты бы лучше легъ въ постель...»

— «Нѣтъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, лучше я перемогусь...»

— «А мнѣ кажется лучше лечь.»

— «Ложись, Ѳедоръ Ѳедорычъ; я ужъ и умру ходя.»

— «Какъ же это умирать ходя; должно быть право неловко.»

— «Не знаю, а вотъ, какъ умру, такъ и увижу.»

Вошелъ комиссаръ и объявилъ, что со дворца истопникъ прибѣжалъ; приказано сейчасъ какіе-то заказные позументы принести. Вурстъ въ минуту одѣлся, схватилъ позументы и побѣжалъ чуть не опрометью во дворецъ.

— «Послушай, Борисъ Ѳедоровъ!» сказалъ комиссаръ значительно, оставившись одинъ съ Борисомъ въ квартирѣ Вурста: «Вѣдь ты не Ѳедоровъ, а Шаплыгинъ; такъ тебя и Государь кличетъ.»

— «Коли такъ Государь кличетъ, такъ вѣрно я Шаплыгинъ; я почему знаю. Какимъ чиномъ Государь меня не пожалуетъ, останусь доволенъ.»

— «Да это не чинъ, а фамилія.»

— «А пусть себѣ и фамилія. Мнѣ все равно; знаю только, что мнѣ умирать приходится.»

— «Какъ умирать! Пожалуй, не умирай! Намъ за тебя отъ Государя достанется.»

— «Тебѣ-то за что? Не ты меня кормишь!»

— «Эхъ, Борисъ, за то-то мнѣ и достанется, что я, ради интересу, нѣмцу позволилъ взять тебя къ себѣ на «уражъ»; а онъ тебѣ какого ни есть зѣля въ пищу и подмѣшиваетъ.»

— «Должно быть что подмѣшиваетъ, такъ и мутить, такъ сердце и поджигаетъ.... Плохо, плохо!...»

— «Ахъ, ты Господи! Пстой же, я въ аптеку схожу, да и спрошу: чѣмъ тебѣ помочь; а ты бы въ постелю легъ, да плотно укрылся, пропотѣлъ бы, авось полегчебъ стало...»

— «Спасибо за твою отцовскую заботу. Мнѣ право и жить не хочется, и сны-то у меня такіе страшные; вотъ вчера причудилось мнѣ, будто сыщики у тебя вездѣ по сундукамъ роются...»

Чегликовъ поблѣднѣлъ. Борисъ продолжалъ:

— «Порылись они довольно, не досчитались, а Ѳедоръ Ѳедорычъ на тебя и указываетъ, а ты на меня, да и говоришь сыщикамъ: вотъ я, Христа ради, больного его къ себѣ взялъ, а онъ меня и обворовалъ. Сыщики на меня. Цапъ царапъ; скрутили; я говорю: да помилуйте, меня Ардаліонъ Кирилловичъ на порогъ не пускаетъ; по чистой лѣстницѣ не велитъ ходить; Богъ его знаетъ, али онъ ревнуетъ, али норовъ такой дикой, такъ какъ же мнѣ деньги съ конторы стащить?... Не послушали меня сыщики, потащили, я сталъ отъ нихъ выбиваться, да и проснулся...»

— «Мудреный сонъ!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ, мрачно, изъ подлобья глядя на Бориса, а тотъ смотрѣлъ въ окно съ покойнымъ, но болзненнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Размысленія обоихъ были прерваны возвращеніемъ Вурста; Ѳедоръ Ѳедоровичъ пришелъ не въ духъ; бросилъ шляпу на полъ и сказалъ Борису съ неудовольствіемъ: «Ступай къ Государю! Сейчасъ ступай къ Государю!»

— «Къ Государю?» спросилъ Борисъ радостно и чуть не измѣнилъ себѣ. Но привыкшій къ принужденію и притворству, онъ тотчасъ опомнился и сталъ охать.

— «Ахъ, ты Господи!» возопилъ Ардаліонъ Кирилловичъ: «Посмотри, Ѳедоръ Ѳедорычъ, что ты надѣлалъ? Государь видѣлъ Бориса молодцомъ; какъ посмотреть теперь, что онъ скажетъ?»

— «Не тревожься, Ардаліонъ Кирилловичъ, я Государю скажу, что отъ работы истомился, что какъ Его Царскій заказъ теперь покончилъ, да отдохну, такъ и оправлюсь.»

— «Умница ты, Борисъ, право умница!— Ужъ только этотъ разъ не выдай, а тамъ я тебя приберегу; мѣста нѣтъ у меня, такъ живи себѣ въ конторѣ; а кушать будешь съ моего стола. Марѳа тебѣ носить будетъ всего, всего!»

— «Такъ простите же, отцы мои родные!» съ поклономъ сказалъ Шاپлыгинъ, одѣлся и потащилъ ноги, будто къ нимъ пудовики были привязаны; кашлялъ онъ еще на лѣстницѣ; кашель ослабѣвалъ, наконецъ затихъ.

— «А позволю спросить Ардалионъ Кирилловичъ» сказалъ Вурстъ: «почему въ конторъ я почему не у меня?»

— «Такъ! Есть резоны; казенный интересъ того требуетъ; я тебѣ рапортовать не обязанъ; твое дѣло ихъ учить, а мое кормить, поить, одѣвать и помѣщать по усмотрѣнію... Прощай!»

— «Постой, Ардалионъ Кирилловичъ! Хорошо что мы одни. Наташъ ..»

— «Нихтъ. Нихтъ! И слушать не хочу.»

— «Такъ по неволѣ будешь слушать; не то я доносъ подамъ.»

Чегликовъ струсиль.

— «Какой доносъ?»

— «Полно, полно, Ардалионъ Кирилловичъ! Много ли у тебя казенныхъ денегъ?»

— «Это мое дѣло.»

— «А если завтра обревизуютъ?»

Чегликовъ совершенно растерялся.

— «Вотъ видишь, Ардалионъ Кирилловичъ, если бы мы были въ родствѣ, такъ на всякую ревизию мѣшокъ рублей и можно бы найти у племянника...»

— «Я подумаю, Ѳедоръ Ѳедорычъ. Въдѣ нельзя же тебѣ сейчасъ жениться; молода больно.»

— Ну, ужъ не такъ-то и молода; полгода повременить можно; а пойдетъ пятнадцатый, просимъ прощенія, дальше терпѣть не будемъ.»

— «Такъ и поговоримъ тогда.»

— «Нѣтъ! Теперь — дай слово, а тогда — женимся.»

— «Да что ты это присталъ! Успѣемъ!»

— «Я знаю, что ты успѣешь ее за другаго засватать. Такъ знай же, что если ты сейчасъ не дашь мнѣ слова, не поклянешься передъ своими иконами, не объявишь меня женихомъ Натанъ, такъ я сію же минуту иду къ Государю; а вотъ и доносъ. У меня все готово.»

И руки и ноги у Чегликова дрожали будто струны; Вурстъ вырвалъ у него роковое слово, и не Чегликовъ Вурста, а уже Вурстъ Чегликова повелъ къ Натанъ.

Между тѣмъ больной, отъ свѣжаго воздуха, или отъ другихъ причинъ, выздоровѣлъ на дорогѣ, пришелъ во дворецъ бодръ, свѣжъ, веселъ; отъ Государя увѣжали сенаторы; остался только одинъ, но этотъ гость не принадлежалъ къ чиновнымъ людямъ и не имѣлъ въ Петербургѣ своей квартиры, а тѣмъ паче своего дома. Онъ жилъ во дворцѣ, въ особомъ концѣ, который по его милости и назывался Кузнецкимъ. Шаплыгинъ вошелъ въ дубовый кабинетъ въ самое то время, когда Государь отпускалъ на покой своего гостя...

— «Прощай, Демидычъ!» говорилъ Царь Петръ, держа его за руку: «Спи съ Богомъ! Не хочешь съ нами святокъ проводить, повѣжай, да не забудь, Демидычъ, нищи небольшие золота и серебра; вотъ и этому молодцу дорогихъ металловъ много нужно... Прощай!»

— «Храни тебя Богъ!» отвѣчалъ Демидычъ: «а искать сыщемъ, только бы гора золото носила!»

Гость ушелъ, а Государь обратился къ Шашлыгину и сталъ хвалить его работу.

— «Что, надежа-Государь, мнѣ отъ тебя такой чести и принимать не слѣдуетъ!»

— «Какъ не слѣдуетъ?»

— «Да что я? Ткачь простой. Максимъ и другіе то же сдѣлають, когда имъ готовые станы поставятъ.»

— «Да развѣ ты самъ стана поставить не сможешь?»

— «Не могу и не умью.»

— «Такъ чему же васъ мастеръ учить?..»

— «Ничему. Ткать я еще въ деревнѣ умѣлъ, а станы Ѳедоръ Ѳедорычъ готовить, запернись, ночью, а намъ готовые даетъ ткать...»

— «Да онъ по контракту обязался въ семь лѣтъ научить васъ всему, что до позументнаго дѣла принадлежитъ, а теперъ уже восьмой пошелъ.»

— «Эхъ, Государь-надежа! Пожалуй, онъ намъ и покажетъ что полегче, а что похитрѣе, спрячетъ; не выманишь у него ничѣмъ. Ужъ я его и деревенской живностью дарилъ, и ратаѳію ему ставилъ; до заморскаго вина доходило; ничѣмъ не беретъ!»

— «Да изъ какихъ же ты это доходовъ?.. Отецъ тебѣ ничего не оставилъ?»

— «Нѣтъ, Государь, оставилъ добрую усадьбу и добрую няню Акулину; такъ передъ Рождествомъ всего навезла и наличной деньги не мало. Вижу—корысть его не беретъ, такъ я на хитрость

пустился. Не осерчай, Государь; я весь замыселъ мой такъ распорядилъ, что и не оглянется Федоръ Федорычъ, а я у него все мастерство высмотрю. Ахнетъ, да будетъ поздно. Только ты мнѣ позвожь, Государь, да не мѣшайся въ наши дѣла до времени.»

— «Быть по твоему!»

— «А теперь, Государь, нѣтъ ли у тебя самыхъ трудныхъ образцовъ, да разныхъ: каждаго образца закажи мнѣ пожалуй сажени по три, больше не нужно; а я ужъ смѣкну... Мое дѣло!»

— «Спасибо, Шапльгивъ! Быть по твоему. Только когда все исправивъ, скажи мнѣ. Прощай!»

VI.

Какъ Борисъ Федоровичъ изобрѣлъ зрительную трубу домашняго устройства.

Борисъ, едва передвигая ноги и кашляя, подымался на лѣстницу; въ самое то время въ комнатахъ Чегликова раздавался громкій женскій плачь, а на кухнѣ хлесткая ораторская рѣчь Марѳы, украшенная всеми фигурами кухоннаго краснорѣчія. Борисъ остановился и сталъ прислушиваться:

— «Видишь?» кричала Марѳа, одна на кухнѣ, и въ сердцахъ переставляла пустые горючки со стола въ печку и обратно, какъ будто дѣло дѣлала. «Негопырь безхвостый ласточку ловить. Цапля, право, цапля длинноногая, а туда же, окаянный, жениться; будто человекъ! Дура я, право дура, надо было давно кочергой голову проло-

нить! А теперь поди, поздно! стовору добивается; гостей позови, возьми и каждому расскажи свое безчестіе. Ахъ ты, подъячій какой! А этотъ-то, этотъ! Доигрался въ молчанку; изъ-подъ носа невѣсту дрянной нѣмецъ утащилъ... Нюня, право, тетеря, а съ виду и мнѣ молодцомъ показался.»

— «Ага!» сказалъ Борисъ: «это ужъ, Марѳа, ты мнѣ на орѣхи прикинула, да не на таковскаго напала; меня не подождешь; а я самъ справлюсь. Благо на то Государь волилъ... Охъ!..» Да какъ сталъ Борисъ стонать да охать, такъ все услышали; первая выбѣжала Наташа и кричить во все горло: «Пропала моя головушка! Боринька!..»

— «Не бойся, Наташа!» сказалъ Борисъ шопотомъ; «все это пустякъ; алтына не стоить; держи только слово твердо. Тсъ! Охъ!..»

— «Что съ тобой, Борисъ!» спросилъ Ардалионъ Кирилловичъ, выходя изъ комнаты съ примѣтнымъ безпокойствомъ: «Сюда, сюда, въ контору; ужъ хоть мы и родиться собираемся. Федоръ Федорычъ, а ужъ извини, я тебѣ Бориса не довѣрю, Царь его жалуетъ. Ну, что сказалъ тебѣ Государь?»

— «Спасибо!»

— «И только?»

— «Только. За недугомъ не хотѣлъ держать меня дольше.»

— «Видишь, видишь, Федоръ Федорычъ! Въ контору! Борисъ, въ контору! Тамъ тебѣ Марѳа постельку постелеть, напоить чѣмъ ни есть теплымъ, прикроетъ.»

И Борисъ помѣстился въ конторѣ на комиссарскихъ креслахъ; Марѳа ворча стлала постель; Ардаліонъ Кирилловичъ и Федоръ Федоровичъ раздѣвали больного, а онъ постоянно больше и больше терялъ силы. Прибѣжалъ на слухъ и Максимъ Ивановичъ, посмотрѣлъ на Бориса, да и ахнулъ; постоялъ, постоялъ, да и заплакалъ; Борисъ, въ знакъ признательности, протянулъ руку, а это еще болѣе растрогало Максима Ивановича; онъ разрыдался; наступила истинно великая картина; точь въ точь смерть Британика: Максимъ Ивановичъ изображалъ жену героя; и какъ жена къ мужу ближе другихъ, то Максимъ Ивановичъ и предложилъ сходить за лекаремъ. Борисъ перепугался.

«Ахъ, ты Господи!» подумалъ Борисъ: «Войдетъ же въ голову Максиму такое зло. Придетъ знахарь, такъ сейчасъ и смѣкнетъ, гдѣ у меня недугъ; выдастъ, выдастъ...»

— «Такъ чего же стоишь? Ступай!» сказалъ комиссаръ: «У Свѣтлѣйшаго на дворъ чай пять нѣмцовъ такихъ, что всякой недугъ знаютъ... Ступай!»

— «Не ходи, Максимъ!» закричалъ больной не своимъ голосомъ: «Не хочу лекаря. Вотъ только заслышу, что по лѣстницѣ идетъ, такъ на мѣсть и умру... Не ходи!»

— «Не ходи, не ходи, Максимъ!» повторилъ комиссаръ: «Видно ужъ недугъ такой злой, что лекаря не сносить. Да чѣмъ же тебя на ноги поставитъ?»

— «Бузиной, Ардаліонъ Кирилловичъ!» произ-

несъ больной слабымъ голосомъ: «Бузиной! Такъ и снится бузина, будто паръ отъ нея идетъ, да носъ щекочеть: и во рту у меня вкусъ будто отъ бузины...»

— «Слынишь, Марѳа, бузины!»

— «Такъ ко сну и клонить, Ардалионъ Кирилловичъ!»

— «Засни, Борисъ, а какъ бузина будетъ готова, такъ ты проснись. Видно ужъ такъ тебя сама натура лечить... Ну, прощай. А будетъ худо, крикни, я черезъ двери все услышу.»

Оставили Бориса одного. Тотъ, не долго думая, зъвнулъ раза два, да и заснулъ такъ крѣпко, что Марѳа съ трудомъ его бузиной разбудила. Больной выпилъ стакана три, на все вопросы Марѳы не отвѣчалъ ни слова, только на двери указывалъ, за которыми, по всемъ примѣтамъ, сидѣлъ комиссаръ; укутался и опять заснулъ.

— «Экой злой недугъ!» сказала Марѳа: «Самая черная горячка; знай спать, а бузину пить и слова не вымолвить.»

Рано по утру, комиссаръ прокрался въ контору на цыпочкахъ; глядитъ, Борисъ проснулся, глаза у него мутные; онъ такъ глупо смотритъ, будто голова не въ порядкѣ...

— «Что Борисъ?» спросилъ комиссаръ со страхомъ.

— «Слава Господу, полегче стало, весь испотѣлъ, перестало мутить, только всего изломало. Ни ноги, ни руки поднять не могу. Будь милостивъ, Ардалионъ Кирилловичъ, приподыми подуш-

ку... голова низко лежитъ, а самъ не могу поправить.»

— «Ну, это слабость, послѣ сильнаго недуга, всегда и у всякаго. Будешь здоровъ. Прощай, Борисъ, надо мнѣ къ Государю идти; опять прибѣгалъ истопникъ; зовутъ и меня и мастера; за тобой Марѳа пока присмотрить. Прощай!»

Только того и нужно было Борису; онъ внимательно слушалъ, пока щелкнетъ огромный замокъ въ калиткѣ; щелкнулъ; Борисъ на ноги, давай одѣваться; одѣлся; выходить въ сѣни; пусто; Марѳа на рынокъ пошла; онъ сѣни засовомъ заперъ; въ квартиру комиссара; заперта на замокъ, да на счастье изъ кухни окно было въ сѣни; перепуганная Наташа скоро пришла въ себя, видя Бориса и здрава и одѣта; отперла окно; тотъ прыгъ въ кухню; тутъ безъ всякихъ обиняковъ чмокъ другъ друга въ губы, да и давай оба отъ радости плакать. Поплакали и перестали. Стали смѣяться. Посмѣялись и перестали. Давай объ дѣлѣ говорить.

— «Гдѣ ты спишь, Наташа?» спросилъ Борисъ....

Наташа въ слезы; обидѣлась.

— «Что ты это, Боря?» говорить: «Видишь, каковъ сталъ! Ужъ мы съ тобой не дѣти. Много я отъ Марѳы слышала. Спасибо, Боря, что ты напрямки вздумалъ меня безчестить.»

— «Что ты, Наташа! Какъ тебѣ не стыдно. Мнѣ надо знать, гдѣ ты спишь, вошь для чего: много я думалъ и раздумывалъ, и вотъ мнѣ что

сдается, будто мастерская Федора Федорыча какъ разъ подь твоей спальней.»

— «Велика бѣда! Какъ разъ подь моей спальней! Да вѣдь лѣстницы нѣтъ...»

— «Эхъ не то, Наташа! Тамъ онъ станы ставить.»

— «Велика бѣда! Слышу каждую ночь, какъ онъ возится, да рѣчи не доходятъ; развѣ пѣсню запоеть, да я по нѣмецкому не разумью...»

— «Все не то, мой другъ! Мнѣ надо высмотрѣть, какъ онъ станы ставить. У меня въ сѣняхъ за дровами буравъ припасенъ. Пока они отъ Государя вернутся, я себѣ въ мастерскую окно сдѣлаю, а ночью все и высмотрю...»

— «Ночью!..»

Наташа покраснѣла, и чуть-чуть не задохлась отъ внутренняго волненія.

— «Что съ тобой, Наташа?»

— «Духъ отняло! И не думай, Борисъ! Срамъ да и полно.»

— «Да какой же срамъ? Какъ я высмотрю все, Вурста по шеямъ, я самъ буду мастеромъ, и тогда чай комиссаръ счастьемъ нашему поперечить не будетъ. А безъ того, прощай, Наташа!»

— «Какъ прощай! Что же съ тобой будетъ?..»

— «Что будетъ? Бѣда! Я тогда ужъ безъ шутокъ слягу и безъ шутокъ умру. Безъ тебя не хочу я жить на этомъ свѣтѣ.»

— «Ахъ, ты Господи, Господи! Да самъ ты подумай: Борисъ, какъ же можно, ты будешь ночью въ моей комнатѣ сидѣть?..»

— «Да что же, я вѣдь не для тебя, а для царскаго дѣла въ твоей комнатѣ сидѣть буду...»

— «Такъ бы ты и сказалъ, Борисъ! Для царскаго дѣла... Да какъ же ты въ мою комнату пройдешь? Между нами стѣна, а кругомъ надо черезъ дядинкину комнату проходить.»

— «Очень нужно! А зачѣмъ вокругъ всего втораго жилья карнизъ идетъ?»

— «Какой карнизъ?»

— «Выпускъ, да еще жестью окованъ: пройду къ тебѣ, какъ конка...»

— «Да подумай, Боря. Теперь зима. Окна двойныя...»

— «Да хоть бы и тройныя, велика бѣда; у меня, въ конторѣ, Ардалионъ Кирилловичъ выйметъ, а у тебя я; а на день, у тебя силенки на столько хватить; раму приставишь цвѣточными горинками, подопреешь; будетъ держаться. Милая Наташа! звать нечего. Надо сейчасъ за дѣло приниматься...»

— «Ахъ, Боже мой, Боже мой! Да нельзя ли высмотрѣть тебѣ все это днемъ?»

— «Какая ты, Наташа! Будто я тебя безъ нужды стану позорить. Ну, такъ я иду за буравомъ...»

— «Да нельзя ли завтра, Боря?..»

— «Сегодня или никогда!» сказалъ Борисъ строго, принесъ буравъ и подъ самую кроватю Наташи провертѣлъ наискосокъ добрую дыру. Наташа стояла у окна на часахъ, и тихо плакала, а Борисъ наслаждался удобствами своего телескопа....

— «Идутъ!» закричала Наташа. Борисъ бросился къ окну; точно шли, только не комиссаръ, и не Вурстъ, а два трубачиста. Борисъ принялся за окно; и едва-едва успѣлъ окончить работу, какъ на перспективѣ заподлинно онъ увидѣлъ комиссара и Вурста. Не смотря на опасность, онъ не забылъ поцѣловать Наташу, отодвинуть засовъ и въ три мига, больной, раздѣтый, онъ лежалъ весь въ поту отъ усталости и металъ подушками и одеяломъ.

— «Ну что, каково?» спросилъ комиссаръ, входя въ комнату.

— «Жарко, душно, Ардалионъ Кириллычъ, задохнусь, право не могу выдержать!»

— «Да помилуй, сегодня здѣсь и не топили.»

— «Да отъ твоихъ хоромъ духъ сюда идетъ. Не могу, право не могу! Вели меня вынести на лѣстницу; тамъ полегче!..»

— «Да что ты, Борисъ! Тамъ вода мерзнетъ!»

— «Э, я привыкъ въ холодной горницѣ спать; чай отъ того и недугъ приключился... А ужъ если ты меня въ сѣни непустишь, такъ вели хоть одно оконко вынуть. Право не могу; отъ духоты умру...»

— «Вотъ что дѣло, то дѣло. Вотъ я сейчасъ позову сторожа.»

Вынули окно. Больному стало легче, да все-таки онъ не могъ ни руки, ни ноги поднять; лежалъ себѣ недвижный; языкъ у него плохо поворачивался, за что въ особенности на такой злой недугъ сердилась Марѳа. Наступилъ и вечеръ; больной слышалъ, какъ Вурстъ за ужиномъ у бу-

душаго тестя любезничалъ съ Натаншей; какъ Марѳа ругала его на кухнѣ, какъ Ардаліонъ Кирилловичъ вздыхалъ; кончилась трапеза; Вурстъ ушелъ, не домой, а по лѣстницѣ внизъ; комиссаръ заглянулъ къ Борису; видитъ что спитъ, и самъ ушелъ спать; все утихло; только одна Марѳа ворчала, укладываясь на кухнѣ. Нельзя было терять времени; Борисъ наскоро одѣлся, въ окно, на карнизъ, шагъ, два, а жестъ проклятая отстала, гудитъ и хлопаетъ... Наташа, въ ужасъ, не раздвѣваясь, потушила свѣчу, и бросилась на колѣни передъ иконой... А тутъ въ окнѣ показалась черная тѣнь. Обомлѣла Наташа. А Борису ни слова сказать нельзя; того гляди свалится. Конечно невысоко, да все-таки кости поломаешь; постучаться нельзя, комиссаръ услышитъ... Просто между небомъ и землей... Самъ не знаетъ, что дѣлать. Между тѣмъ помолясь святымъ иконамъ, Наташа нѣсколько пріободрилась; бережно отняла горшки: съ трудомъ опустила на полъ тяжелую раму, отворила окно; Борисъ влезъ подъ кровать, но Наташа не смѣла лечь и все прислушивалась, что дѣлаетъ Ардаліонъ Кирилловичъ. Ужасъ ея возрасталъ больше и больше. Комиссаръ сквозь сонъ безпрестанно повторялъ: «Четыреста два рубля... ровно 402 рубля! Бѣтъ, столько не будетъ. Надо справиться!» сказалъ онъ почти громко и всталъ. Наташа, задыхалась отъ слезъ и стыда, и укутавъ голову въ вѣзвѣнную надъ нею лисью шубу, умирала каждую минуту. Тяжелые и ровные шаги комиссара раздались въ смеж-

ной комнатъ; сквозь щелку замочную прокрался лучь отъ свѣчки; исчезъ; комиссаръ рылся въ бумагахъ; листы шелестѣли; счеты щелкали...

— «Ровно четыреста два рубля! Бѣдный Богданъ! Гдѣ ты, Богданъ! Ты и не знаешь, что тебя оправдали!... Не повиненъ ты въ крови честнаго офицера! Но за то я многогрѣшный повиненъ суду Божію и Государеву... Четыреста два рубля!... Плохо, плохо, какъ невзначай сундукъ посмотреть... А этого бѣдняка за что губить? И такъ тяжкій недугъ несетъ...» И опять шелестѣли листы и скрипѣло перо и вдругъ все затихло. Ни живъ, ни мертвъ лежалъ Борисъ подъ кроватью; объ Наташѣ и говорить нечего: она, хоть и въ потмахъ, но съ упрекомъ смотрѣла въ ту сторону, гдѣ скрывался Борисъ, и молилась Богу; Боря рѣшился наконецъ оставить засаду, тѣмъ болѣе, что Вурстъ уже ушелъ изъ мастерской. Наташа задрожала всѣмъ тѣломъ, и не безъ удовольствія смотрѣла, какъ черная тѣнь медленно и осторожно уходила въ окно; ушла; Наташѣ стало легче, но хлопанье жести опять бросило ее въ жаръ; затихла и жечь, и скоро въ смежныхъ комнатахъ конторы и Наташи водворилась совершенная тишина...

«Вотъ въ чемъ штука!» думалъ Борисъ, лежа и кутаясь отъ смертельнаго и добровольнаго холода въ плохое одѣяло: «Сдавалось мнѣ, что ни въсть какая мудрость, а дѣло плевое; надо только на станкѣ перевѣрить, то ли? Вотъ та причина пуще? Четыреста два рубля... А что если я... Ну, да утро вечера мудренѣе.»

На другой день Ардалионъ Кирилловичъ былъ приятно изумленъ совершеннымъ выздоровленіемъ Бориса. Шаплыгинъ непременно хотѣлъ одѣться и идти на фабрику работать. Коммиссаръ рѣшительно запретилъ подобную неосторожность, а чтобы Борису не было скучно, приказалъ принести ему станокъ и принадлежности въ контору; Борису того только и нужно было; въ недѣлю онъ совершенно убѣдился, что онъ повысмотрѣлъ въ одну ночь весь приемы и тайны мастерства Вурста; но, по окончаніи каждаго опыта, имѣлъ осторожность уничтожать все сдѣланное, такъ что самъ Вурстъ, посѣтивъ больнаго, посмотрѣлъ насмѣшливо на станокъ, потрепалъ Бориса по плечу и сказалъ съ гордостью. «Нѣтъ, Шаплыгинъ! Эта мудрость не для твоей головы.»

— «Да куда намъ!» отвѣчалъ Шаплыгинъ смиренно: «Я-то и ремесло хочу бросить; пойду въ солдаты; у меня и недугъ-то отъ сидѣнья прилучился.»

— «И конечно!» замѣтилъ Вурстъ: «Для дворянина тамъ каррьеръ лучше.»

— «Точно! Вотъ я и собираюсь къ Государю.»

— «Хочешь, я тебѣ и оказію дамъ. Отнеси позументы по новому образцу.»

— «Давай!»

И Шаплыгинъ отправился во дворецъ. Пробылъ тамъ недолго, воротился и объявилъ, что Государь завтра поутру самъ на фабрику будетъ. Ни какому мѣсту, отъ мала до велика, Царское по-

сѣщеніе не было въ диковину. Но на этотъ разъ оно казалось комиссару страшной гибельной грозой, да и Ѳедоръ Ѳедорычъ Вурстъ не совсѣмъ хорошо себя чувствовалъ.

— «Какъ хочешь, Ѳедоръ Ѳедорычъ!» сказалъ комиссаръ, запершись въ спальнѣ своей съ Вурстомъ: «А по условію подай деньги; четыреста и два рубля; неравно Государь заглянетъ...»

— «Что ты это, Ардаліонъ Кирилловичъ! Извини, ужъ это совсѣмъ не по условію! Прежде выдай за меня Наташу, а тогда уже денегъ спрашивай. И отъ чего же ты струсишь? Вѣдь ревизія тебѣ необъявлена. Подозрѣній никакихъ нѣтъ; съ чего Государь станетъ кассу осматривать; безъ доноса, Онъ не станетъ обижать своего чиновника.»

— «Да вѣдь деньги твои не пропадутъ. Полежать въ сундукъ, и воротятся.»

— «Эхъ, Ардаліонъ Кирилловичъ, гдѣ это видано, чтобы деньги назадъ приходили?»

— «Такъ чтоже, ты ко мнѣ кредиту не имѣешь?»

— «А ты ко мнѣ имѣешь кредитъ? Будто я не знаю, что ты съ Наташей ходилъ къ Лукьяну Андреевичу на крестины, и хозяину говорилъ, что не дурно бы Наташѣ жениха побогаче прискаты. Зачѣмъ ты Наташу чужимъ людямъ показывалъ? А? Развѣ я не женихъ? А? Ты слово далъ, чтобы только глотку мнѣ зажать, отъ доноса избавиться. Такъ знай же, Ардаліонъ Кирилловичъ, что если ты завтра самому Государю не скажешь, что за меня Наташу отдаешь, такъ я тутъ же, при тебѣ доносъ подамъ...»

— «Да ужъ нечего дѣлать, скажу, только ты деньги подай!»

— «А вотъ, какъ скажешь, такъ я тебя хоть при Царь мѣшокъ въ руки.»

— «Тогда будетъ уже поздно!»

— «А теперь рано!»

— «Такъ не дашь?»

— «Недамъ!»

— «Чортъ же тебя побори!»

— «Прежде онъ за тебя ухватится...»

Но Ардаліонъ Кирилловичъ послѣднихъ словъ уже не слышалъ; онъ шелъ домой; въ сѣняхъ наткнулся на Бориса, который изъ кухни несъ въ контору клей въ черепкѣ. Прошелъ Борисъ, а комиссаръ остановился въ задумчивости посреди сѣней и не зналъ на что рѣшиться.

— «Не легко солгать, а придется! Скажу: онъ одинъ въ конторѣ сидѣлъ, болѣзнь ради; отъ нечего дѣлать, отъ скуки, а можетъ быть отъ злаго умысла деньги изъ сундука и стащилъ; а у меня цѣлы были... Или ужъ и ключъ ему подложить... Что будетъ, то будетъ!... Авось и такъ обойдется...»

Ардаліонъ Кирилловичъ, не только весь вечеръ, да и ноченьку всю проходилъ по комнатамъ своимъ; разговаривалъ самъ съ собою, считалъ на счетахъ, поминалъ Богдана, на что-то рѣшался, но не могъ рѣшиться. Наступило и утро, и застало его не раздѣтаго. Но какое утро? Темное, такъ что ни зги не видно; наше зимнее, Петербургское утро; въ пятомъ часу ученики, подма-

стерье и самъ мастеръ сидѣли на фабрикъ за работой; Шаплыгинъ вынесъ въ сѣни станокъ, постель, очистилъ и убралъ контору, сошелъ внизъ и усвася въ большой рабочей палатѣ на своемъ мѣстѣ; только и шума было что отъ челноковъ, да отъ ткацкаго пристука, да когда ученики у свѣчь носы снимали. Топотъ копытъ и стукъ въ большую калитку возвѣстили о прибытіи Государя. Комиссаръ встрѣтилъ Его Величество въ корридоръ. Царь Петръ прошелъ прямо въ большую мастерскую палату; видъ его былъ грозенъ; чело наморщено; съ неудовольствіемъ посмотрѣлъ онъ на мастера и всѣхъ учениковъ.

— «Что это значить, Федорычъ?» сказалъ Государь гнѣвно: «Когда ни приду, все ткутъ, а становъ нестановятъ. Велика, Федорычъ, при мнѣ пускай свое мастерство покажутъ; семь лѣтъ прошло. Пора!»

Федоръ Федорычъ просто одурѣлъ; у него отъ страха глаза закатились; бормоталъ онъ что-то, бормоталъ, да никто не могъ понять, что онъ говорить. Максимъ Ивановичъ, желая выручить начальство, по добротѣ своей, вытащилъ порожній станъ на середину, да и глядѣлъ, что за симъ повелитъ мастеръ; но Вурстъ только хлопалъ глазами и не могъ выговорить слова.

— «Ну, что же, Федорычъ? Пускай Шаплыгинъ ставить.»

Шаплыгинъ вышелъ впередъ покойно и принялся было за дѣлю... Но Государь остановилъ его.

— «Я тебя во дворецъ проэкзаменую!» сказалъ

Государь: «А ты, Федорычъ, за безчестные поступки линаешься мѣста и предаешься суду. Ты не исполнилъ контракта, только семь лѣтъ времени у меня уворовалъ, обманывалъ меня, пусть же судъ тебя, по винѣ твоей, и оштрафуетъ.»

Ардаліонъ Кирилловичъ ужасно обрадовался что избавился отъ Вурста, не утерпѣвъ и закричалъ:

— «Вотъ что дѣло, то дѣло! А я тебя, Федоръ Федорычъ, говорилъ: будетъ худо, а ты мнѣ на каждое слово свои резоны и экскузы сыпалъ. Анъ и поймали!»

— «Не радуйся чужой бѣдѣ!» заговорилъ Вурстъ какимъ то адскимъ голосомъ: «Государь и тебя мнѣ дастъ въ компаньоны подѣ судъ; только въ кассу заглянетъ.»

— «Что это значить Кирилычъ!»

Комиссаръ поблѣднѣлъ.

— «Такъ и ты мнѣ не поправдѣ служишь? Замотался!»

— «Великій Государь!» сказалъ Шапльгинъ смиренно! Это поклепъ на Ардаліона Кирилловича, а чтобы тебя въ сумнительствѣ на слугу своего не оставаться, удостой Самъ кассу освидѣтельствовать, коли досугъ.»

— «Пойдемъ!»

Государь пошелъ въ контору, тамъ все было чисто убрано; комиссаръ не могъ надивиться порядку; съ трепетомъ подалъ ключъ; дрожая всѣмъ тѣломъ, притащилъ книги; казна соочитана; все на мѣствъ, до копѣйки. Комиссаръ самъ себя не

вѣрилъ; слезы лились у него изъ глазъ ручьемъ, Государь посмотрѣлъ на него гнѣвно...

— «Тутъ что то было не такъ, да не мое дѣло; передъ закономъ Кирилычъ правъ, а ложному донощику будетъ худо. Шаплыгинъ! Сегодня послѣ обѣдень, изволь ко мнѣ во дворецъ придти со станкомъ и съ матеріаломъ. Посмотримъ твое мастерство!»

Государь ухалъ. Вурстъ бросился въ свою квартиру, чтобы успѣть припрятать деньги и кой какія вещи; да за жадностью и опоздалъ; и то ему хотѣлось удержать, и другое утаить; копался, спѣшилъ, сбивался, а тутъ прикатилъ самъ Дивіеръ; квартиру Вурста опечаталъ, а самага въ сани, да и увезъ раба Божія въ безопасное мѣсто.

— «Вотъ тебѣ и Вурстъ!» Сказала Марфа, провожая глазами изъ кухни пльнника: «Вотъ тебѣ и Ѳедоръ Ѳедорычъ! Повѣзжай соболей ловить! Туда тебѣ дорога! И безъ кочерги обошлось. Вотъ тебѣ и Вурстъ, вотъ тебѣ и Ѳедоръ Ѳедорычъ! Надо барину сказать, что Ѳедоръ Ѳедорычъ изъ сосѣдства выбылъ, а пуще барышнѣ, нѣтъ лучше барину.. Я порядокъ знаю.»

И пошла въ контору, да какъ увидѣла, давай плакать отъ радости и Натану кликать. Ардалионъ Кирилловичъ со слезами обвинялъ Борю; а сундукъ отпертъ; тамъ куча денегъ; Ардалионъ Кирилловичъ кается, что онъ хотѣлъ было всю вину на Бориса сложить, воровъ сдѣлать, что деньги издержалъ на подъячихъ, чтобы брата Богдана въ убійствѣ оправдали; да на бумагу, да на то, да на

другое; на силу на великую Богдана въ монастырь на покаяніе присудили. Скажетъ слово Ардаліонъ Кирилловичъ, да и зарыдаеть, у Бориса прощенія просить, а тотъ ему въ ноги, да себѣ давай каяться, и про Наташу разсказалъ, и про окно, и про рѣчи Ардаліона Кирилловича, и про деньги, что Акулина привезла, да еще въ придачу въ Питеръ за живность выручила, да про кружокъ въ сундукъ; такой счастливый сукъ прилучился, что и не замѣтно; цѣлковики туда спустиль, да потомъ сучокъ съ клеємъ заложилъ, обтеръ, никто и не увидить; каялись, каялись, да и свели рѣчь на Наташу; та какъ про себя слышала туда же каяться; покались да и свели на любовь и свадьбу... Удариди по рукамъ, положили, какъ стукнетъ Наташѣ пятнадцать, свадьбу играть. И счастье поселилось снова въ обители, гдѣ такъ недавно бушевали смуты и сердечныя бури.

Пошелъ Шапльгинъ во дворець, да и пропалъ; что-то съ недѣлю его не было. Воротился Борисъ; Наташа его чуть не за версту узнала. Комиссаръ, племянница, Марфа, Максимъ Иванычъ и всѣ ученики на улицу встрѣчать его выбѣжали; а онъ себѣ въ жалованомъ царскомъ кафтанѣ гоголемъ по перспективѣ идетъ, лѣвой рукой въ карманѣ цѣлковиками постукиваетъ, а встрѣчныя, то встрѣчныя, подъ самую церковь дошли, и Церковь отперта. Борисъ подошелъ, поклонился Ардаліону Кирилловичу и молвилъ:

— «Благословилъ меня Богъ; милостию Государь взыскалъ; знатный я Ему кусокъ въ недѣлю вы-

ткаль. И не смѣй меня никто въ лобъ цѣловать; Государь меня за службу царскимъ лобызаніемъ въ чело ошастливилъ, въ подмастерье произвелъ, платьемъ наградилъ, десятью цѣлковыми пожаловалъ. Борисъ, не гордись, лучше Богу помолись. Эхъ, родимые, благо Церковь не заперта. Богу за Царя помолимся!»

И всѣ, безответно, заливаясь слезами радости, пошли въ деревянную Церковь. Тамъ уже обѣдня отходила; Борисъ молебна попросилъ; начался и молебенъ; а на клиросѣ какой-то монахъ стоитъ, да съ дьячками поетъ, только голосъ у него такой, что всю душу принимаетъ; такъ сердце отъ него и плачется... Отошелъ молебенъ; стали къ образамъ прикладываться. Наташа идетъ отъ образа, взглянула на монахи и ахнула. Всѣ къ ней, а Наташа стоитъ на коленяхъ, только ручки къ монаху протянула; а монахъ сошелъ съ крылоса, скорбнымъ голосомъ сказалъ: «Благослови тебя Господи, Наташа, а я не смѣю.» И ушелъ...

— «Богданъ!» закричалъ Ардалионъ Кирилловичъ: «братъ Богданъ!» но монаха нигдѣ не было, и нигдѣ отыскать не могли... Только уже черезъ полтора года безъ малаго, когда комиссаръ Питербургской казенной позументной фабрики Борисъ Федоровичъ Шапыгинъ, въ пятнадцатый день рожденія Наташи, въ той же церкви, вѣнчался съ Наталіей Богдановной Чегликовой, племянницей сенатскаго оберъ-секретаря Ардалиона Кирилловича Чегликова, послѣ церемоніи, когда молодые также прикладывались къ образамъ, тотъ же монахъ бла-

гословилъ молодыхъ супруговъ именемъ Господа и скрылся на вѣки. Больше объ немъ и не слышали.

О дальнѣйшей жизни и подвигахъ нашего героя известны только два слѣдующія обстоятельства: на свадьбѣ Бориса и Паташи присутствовали Акулина съ мужемъ садовникомъ и двумя братьями огородниками; въ тотъ же день всѣ четверо получили отпускныя и въ даръ Шаплыгинскую усадьбу. А второе обстоятельство, что, при уничтоженіи казенной позументной фабрики Императоромъ Петромъ II, Шаплыгинъ остался въ званіи комиссара при прежнемъ окладѣ и на той же квартирѣ, гдѣ и умеръ въ тысячу семь сотъ шестьдесятъ пятомъ году, проживъ достохвально на семь свѣтъ шестьдесятъ и шесть лѣтъ.

Вѣчная ему память !



ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ:

II.

X. Прокуроръ	стр.	4.
XI. Антонію	»	28.
XII. Капустинъ	»	69.
XIII. Корделія	»	109.
XIV. Сказаніе о Синемъ и Зеленомъ Сукнѣ	»	156.
XV. Часовой	»	213.
XVI. Максимъ Созонтовичъ Березовскій	»	353.
XVII. Позументы	»	495.



